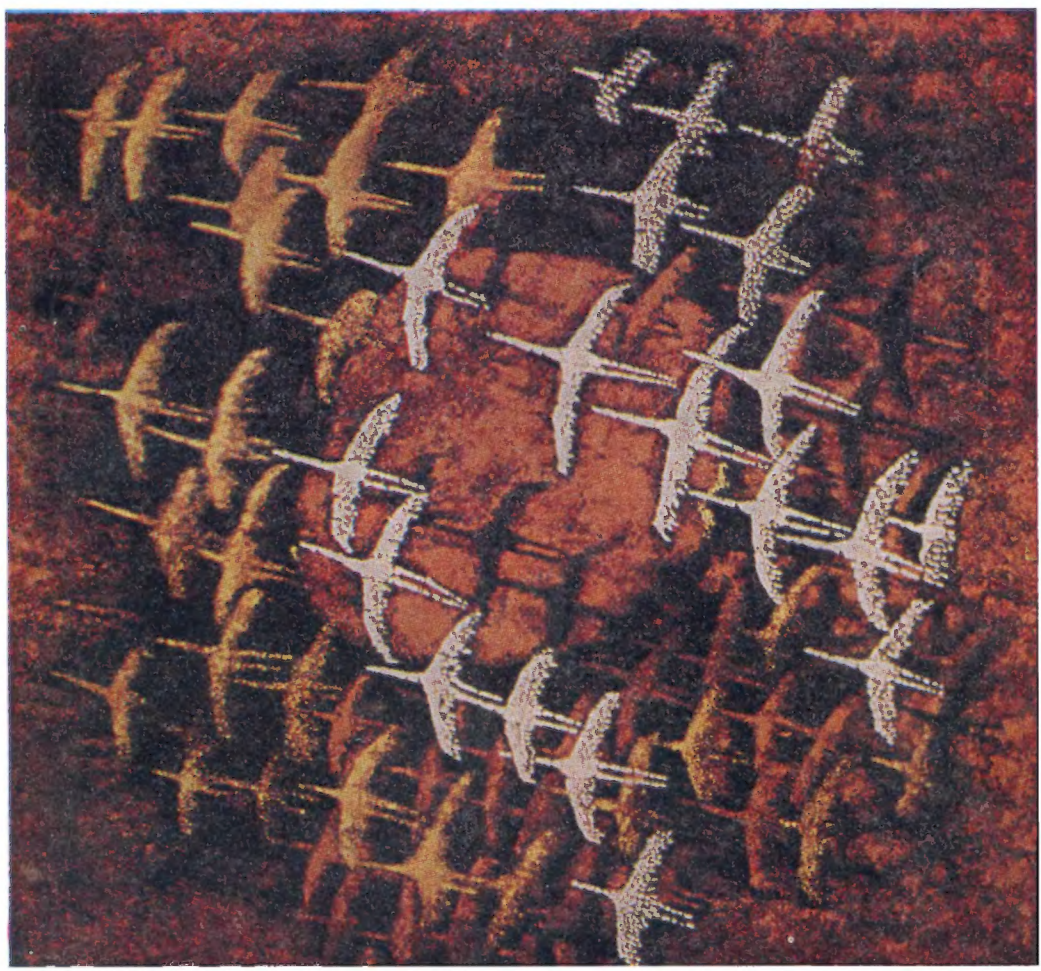
ISSN 0130 – 6545

4. 1987

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ЧИСОН ЯНЬЧЖЭНЬ. «Возвращение».

Цветные иллюстрации номера — работы современных китайских художников

На 1-й и 4-й страницах обложки:
ЧЖЭН ЛИВЭН. «Стремительный полёт».
ЧЖАО ПЭЙЧЖИ. «Буйное цветение».

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

4 апрель 1987

Содержание

РИСТО ТРИФКОВИЧ — Рассказы *(Перевод с сербскохорватского Т. Вирты, Р. Грецкой)* 3

МАНУЭЛЬ ДИАС МАРТИНЕС — Стихи *(Вступление и перевод с испанского Бориса Дубина)* 29

ДЖОН ИРВИНГ — До Айовы рукой подать *(Рассказ. Перевод с английского А. Герасимова)* 34

ФЕРНАНДО НАМОРА — Река печали *(Роман. Продолжение. Перевод с португальского Лилианы Бреверн)* 44

АНТОНИО ПОРТА — Стихи *(Вступление и перевод с итальянского Евгения Солоновича)* 99

ХЯРТАН ФЛЁГСТАД — У-3 *(Роман. Окончание. Перевод с норвежского Л. Жданова)* 105

Публицистика

БОГУСЛАВ ШНАЙДЕР — Золотой треугольник *(Главы из книги. Продолжение. Перевод с чешского Виктории Каменской)* 177

Письма из-за рубежа

ТИБОР ЧЕРЕШ — Поколения и мода... 193

Культура и современность

Алексей Григорьев — Третий в диалоге *(Международная встреча журналистов в Яблонне)* 196

Критика

Из бесед в редакции

Голос автора и проблемы романа *(О некоторых особенностях современной западной прозы. Окончание. Т. Мотылева, Д. Урнов, Н. Анастасьев, Д. Затонский)* 201

Трибуна переводчика

Споря и соглашаясь...

А. ПАРИН — Перевод классики и наше время 211

О. СОРОКА — Можно ли в Шекспире найти новое? 215

Наши интервью

Л. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА: «Наша коллекция литературы уникальна» *(Беседу записала Л. Васильева)* 222

Антирубрика

ОНДРЖЕЙ НЕФФ — Рассказы *(Перевод с чешского Е. Ц. Аронович и И. А. Бернштейн, Т. Осадченко)* 226

Если был бы весь мир бумажным

Из английской народной поэзии *(Перевод с английского Виктора Лунина)* 231

Наши гости

Ибрагим Самель, Хашем Гамшарик, Насер Рахъяб *(ДРА)* — И. Доронина 234

Ченджера Хови (Зимбабве) — И. Тогоева 235

Среди книг

Издано в СССР

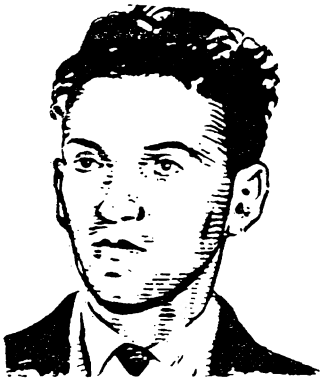
Виктор Топоров — Рост арлекина трисмегиста *(Гийом Аполлинер. Избранная лирика)* ✦ Л. Черкасский — «Спрашиваю себя...» *(Поэты Китая и Вьетнама в переводах Л. Эйдлина)* ✦ Михаил Вольпе — Кто поведет вперед? *(Коле Омотосо — Воспоминания о недавнем буме. Фелла делает выбор)* 237

Издано за рубежом

А. Мулярчик — В защиту «обыкновенной Америки» *(Энн Тайлер. Случайный путешественник)* ✦ Эрнесто Гарсиа Эльсола — Сильнее пушек *(Мануэль Диас Мартинес. Незавершенные стихи)* ✦ Хантер Дэвис — Английские бестселлеры 241

Из месяца в месяц 248

© «Иностранная литература», 1987



РИСТО ТРИФКОВИЧ

Рассказы

■

С сербскохорватского

Фатальное происшествие с д-ром Полесковичем

Д-р Полескович дожидался своей очереди на прием к следователю.

Что он мог сказать в свое оправдание?.. Ничего! Ровным счетом ничего! Сорвавшись ни с того ни с сего, д-р Полескович схватил за грудки ни в чем не повинного человека, влепил ему затрещину, да еще в придачу, по свидетельству очевидцев, надавал по шее! Люди повскакали с мест, началась суматоха, кутерьма, женщины завизжали. С ума он, что ли, спятил, да где ж это видано кидаться на людей?! Все в ужасе пялили друг на друга глаза, но самое печальное заключается в том, что и сам д-р Полескович был не в состоянии объяснить причину своего поведения. Он вдруг затрясся и бросился на человека. После чего ему сразу стало легче и он сам испугался своей выходки. Ибо всего какое-то мгновение назад д-р Полескович в рассеянности размышлял про себя примерно в таком духе: пусть, мол, этот кретин несет чепуху, пусть молотит языком на здоровье, какое мне дело до этого... Подумаю о чем-нибудь другом... о чем-нибудь приятном... После обеда пройдусь по Вильсоновой аллее под липами, через Гряду Первую, потом через Гряду Вторую, денек выдался теплый, самое приятное время, можно развеяться, расслабиться, отдохнуть душой... После полудня часов в пять; вечером на Вильсоновом променаде толчея, не пробьешься. И вдруг посреди этого блаженно-дремотного предвкушения прогулки вдоль Миляцки и взад-вперед по аллеям его точно прорвало! Именно прорвало, по-другому не назовешь! Р-раз... и в зубы! Знаменитому оратору. Такому-то и такому-то. Дал по физиономии вышеупомянутому оратору, находившемуся в пылу красноречия и вдохновенно моловшему воду в ступе, человеку малознакомому, с которым при встрече лишь: «Привет-привет» (это сдвоенное приветствие было изобретением д-ра Полесковича и стало его прозвищем).

Когда по здравом размышлении д-р Полескович хладнокровно проанализировал этот прискорбный случай и рассмотрел его, так

РИСТО ТРИФКОВИЧ — (род. в 1924 г.)

Югославский писатель, пишет по-сербски. Живет и работает в г. Сараево. Автор романов «Птичий крик» («Крик птичурине», 1970), «И пробудится человек» («И пробудисе човјек», 1972), сборников рассказов «Сараевское лето» («Сарајевско љето», 1962), «Короткие рассказы, снова» («Нове приче, опет», 1973) и др., книги эссе «Современная литература Боснии и Герцеговины» («Савремена књижевност у Босни и Херцеговини», 1968).

Публикуемые рассказы взяты из сборников «Сараевская фуга» («Сарајевска фуга», Сараево, «Веселин Маслеша», 1981) и «Записки о Карановце» («Запис о Карановцу». Нови Сад, «Матица Српска», 1975).

сказать, под лупой, словно речь шла не о нем самом, а о каком-то постороннем лице, он не мог найти ни единого смягчающего обстоятельства в свою пользу. На него нашло затмение. И что теперь? Самое странное, что по прошествии времени он мог проследить каждое свое движение буквально по секундам. Вот он встает, напрягается, подскакивает к оратору. Замахивается. И — бац! Сплеча. Наносит удар вот этой самой рукой. Вообще-то, если посмотреть, довольно-таки немощной и слабой. При этом он испытывал смешанное чувство удовлетворения, ярости и облегчения. А потом бочком, сопровождаемый выкриками, выбрался в коридор отдышаться.

Уравновешенный, несколько рассеянный, доброжелательный и робкий, каким был до сих пор д-р Полескович, — о нем рассказывали забавные истории, по обыкновению преувеличенные и вызывавшие у него терпеливый смешок, — чтобы этот самый д-р Полескович, застенчивый тихоня, вдруг врезал человеку в морду! Да это же просто неслыханно! Немыслимый скандал, который еще и раздуют! Осрамят его перед целым светом! Такой скандал замять невозможно... И это называется интеллигентный человек, нет, это чересчур, чересчур! Живет себе человек, семейный, уважаемый, с положением и, нате вам, в один прекрасный день превращается в какого-то агрессивного типа! Срывается с места, кидается на оратора, известного златоуста, и дубасит его кулаками...

При всем желании д-р Полескович не в состоянии объяснить себе свою выходку. Не видит абсолютно никаких логических доводов. Просто-напросто на него что-то нашло. И точка. Нечего тут объяснять. Да, он виновен, и все тут.

Сидит д-р Полескович в приемной, и в общем-то ему не так страшно, как он себе представлял. Он не оправдывался и не пытался что-нибудь сказать в свою защиту. Только посмеивался, по обыкновению, неопределенным смешком, щурился близоруко, поминутно протирал без всякой надобности очки и при этом отмечал, к своему удивлению, что люди на него смотрели с почтением, более того — с восхищением! Кто бы мог сказать! Однако по трезвом размышлении он понимал: ему нет оправдания. Он должен быть наказан. В самом деле, на что это похоже — вскакивать с места и накидываться с побоями на людей? Д-р Полескович и не пытался изобрести объяснение. Бесполезно. Обычно он такой рассеянный, застенчивый! Даже на прозвище не сердился! И всегда завидовал практичным людям. Сам он робок, неловок. С большим усилием разыгрывал роль этакого светского человека, несколько как бы небрежного, любезного, коммуникабельного, остроумного, только у него это выходило всегда натянуто, искусственно, с явным перебором, и самое печальное заключалось в том, что он это сознавал, уличенный в неискренности тем, другим, внутренним д-ром Полесковичем. Он, или вернее тот, другой д-р Полескович, трепетал от страха, боясь, что уловка его будет раскрыта, и ему казалось, будто над ним уже посмеивались, подозрительно поглядывая на него, отчего ему становилось еще более не по себе. Бывало, посреди разговора или какого-то рассказа он под этим недреманным оком внутреннего наблюдателя вдруг сбивался и на самом важном, что называется ключевом, месте начинал заикаться, путаться и замолкал. В молодости при подобных обстоятельствах с ним мог случиться приступ кашля, неудержимого чихания или какой-нибудь иной совершенно неуместный конфуз. Он принимался откашливаться, тереть нос, высмаркиваться или вдруг начинал беспокойно вертеться, встревоженный внезапно закравшимся подозрением, что будто бы у него помят костюм, и все это именно в тот момент, когда его торжественно кому-то представляли или он решался наконец за кем-то поухаживать и входил в свою излюбленную роль этакого светского льва. Если ему предстояло выступить на каком-то собрании и этого нельзя было ни под каким предлогом избе-

жать, он терял покой и сон. Он целыми днями готовился, пребывал в каком-то угаре, ночью мучился кошмарами и так далее. Обычно все сходило как нельзя лучше, хотя однажды с ним произошел досадный казус. Едва он успел собраться с мыслями, взойдя на кафедру и по неловкости пролив воду из стакана, приготовленного для оратора, как, к своему ужасу, обнаружил, что забыл дома свой доклад, над которым корпел две недели кряду. Оставил его в кармане другого пиджака. Промямлив что-то невразумительное в свое извинение, д-р Полескович неожиданным жестом выбросил на край кафедры сцепленные руки с набрякшими жилами, навалился всей тяжестью тела на ее внутренний борт, больно врезавшийся в его ребра, что было даже приятно, а затем странно помертвевшим, бесцветным, но уверенным голосом произнес реферат наизусть! Успех превзошел ожидания, тем не менее повторить опыт д-р Полескович никогда бы не решился. Он втайне завидовал присяжным трибунам, краснобаям и брехунам с хорошо подвешенным языком, попугайской самовлюбленностью и патетически возвышенным тембром голоса, завидовал их элегантности и позе, рассчитанной на эффект, непринужденной манере и велеречивости, а также упоительно-сладостному опьянению, которое, по всей видимости, испытывает оратор, находясь в пылу вдохновения.

Однажды он допустил такой промах, который мог бы послужить ему хорошим уроком на будущее. Ему надлежало выразить сочувствие семье одного высокопоставленного лица, и он, заранее смущаясь и панически боясь что-нибудь напутать, беспрерывно твердил про себя приличествующие случаю слова и ненароком ошибся на целых два этажа и вместо похорон попал на свадьбу. Едва переступив порог квартиры, д-р Полескович сразу почуял неладное — возбужденные, веселые лица, в глазах пьяные слезы, столы ломятся от обилия закусок и выпивки, словом, множество разных примет насторожило его, однако остановиться он уже не мог и с сокрушенным, скорбным видом, потея и уставясь в одну точку, рассыпался перед свадебной компанией в выражениях искреннего сочувствия в постигшем их горе: покойный был, конечно... и так далее... и тому подобное... все мы, знаете ли, когда-нибудь отправимся в тот путь... до каждого очередь дойдет,— с трудом выговаривал он одеревеневшими губами мертвые фразы... которые были, к величайшему его изумлению, встречены... ликующим хохотом и новым взрывом веселья этих подвыпивших невежд! Ну и шутник! Да кто он такой, скажите на милость! Д-ра Полесковича окружили, затеребили, все покатывались со смеху... Он был растерян, однако лишь с третьего захода, предпринятого им для изъявления самого искреннего сострадания к семье покойного, осознал роковую ошибку и, покрывшись багровыми пятнами и бормоча слова извинения, ретировался. На лестнице он поспешил принять печальный вид и с горящими щеками после только что пережитого конфуза, отчего казался заплаканным, очутился в объятиях убитого горем семейства и тут наконец произнес приличествующие случаю слова. Потом забился в угол, счастливый благополучным завершением дела после стольких перипетий, но на прощание чуть было снова все не испортил, пробормотав свое обычное: «привет-привет». Понял он это, однако, лишь спустившись с лестницы!

И едва унес ноги!

В то роковое утро д-р Полескович отправился на собрание с твердым намерением держаться тихо и больше помалкивать. Да и самочувствие у него было неважное. Так поначалу и было; надев на себя маску скептической сдержанности, д-р Полескович временами посмеивался деланным, глуповатым смешком, ибо был почему-то убежден, что этот вымученный смех производит благоприятное впечатление, или вдруг, уставясь на оратора, изображал повышенный интерес к его речи, чем приводил в смущение сидящих рядом, за-

ставляя их на полуслове обрывать бесконечные перешептывания. Все эти приемы были отработаны д-ром Полесковичем многолетней практикой, позволяя ему тем временем думать о чем-то своем. И вдруг, именно в тот момент, когда выступающий достиг апогея в своем витийстве и пустозвонстве — гладкие фразы без всякого содержания так и текли, перегоняя одна другую, — д-р Полескович вдруг почувствовал, как у него засосало под ложечкой, возможно, от приступа зависти или от раздражения, которое вызывала в нем эта самодовольная, сияющая физиономия на кафедре, руки с короткими, точно обрубленными пальцами, дурацкая жестикуляция, сопровождавшая медоточивое словоизвержение оратора; как бы там ни было, только д-р Полескович ощутил какое-то странное беспокойство и, продолжая уговаривать себя оставить в покое, какое, мол, тебе дело до него, пусть молотит свой вздор, ведь это единственный его способ заработка, главное, сохранить независимость мышления, быть выше этой бессмысленной, попугайской говорильни, на которую ему плевать с высокой колокольни, начал замечать, что помимо своей воли медленно, медленно поднимается с места, явственно ощущая, как на него накатывает неотвратимая мутная волна и отчетливо слыша свое собственное рычание, похожее на рычание дикого зверя, как потом передавали очевидцы, кидается на вышеупомянутого оратора, хватает его за грудки, едва не придушив, разворачивается и — разраз! — врезает ему зуботычину, так что стены задрожали, как от взрыва, по словам все тех же очевидцев. А затем все смолкло, наступила общая растерянность... какая-то, что ли, разрядка... какое-то облегчение. Ну, а потом уж последовало и все остальное...

Нет, это безусловно невозможно объяснить! Он продолжает настаивать на этом. Да и что тут, собственно, объяснять?

Судьба одной гениальной идеи

В этом рассказе не будет ничего лишнего. Ни единого слова! Браво! — патетически воскликнул Баксоня, пораженный потрясающей простотой своего открытия! Именно открытия! Ни одного-единственного! Браво! Это именно то, что нужно! Хватит занудства. Бесконечных эпических длиннот! Довольно! Затянутых отступлений. Статичности. Наших авторов невозможно читать! Давайте, наконец, признаемся в этом откровенно! Даже собственная жена заявляет мне с досады, что она на второй странице моих произведений спотыкается, начинает зевать и дальше ни с места! Вот такие дела. Баксоня вполне этому верит, какие у него есть основания не верить? Он сам испытал подобное за чтением своих коллег. Разбежишься, но не тут-то было!

Да, он действительно сделал открытие! Блестящее. Ничего лишнего. Слово к слову, одно к другому, словно кирпичи в кладке. Один к другому. Вот это стиль, вот это прочность! Проверено веками. И как он раньше не додумался? Не фраза за фразой, это же вздор, фатальное заблуждение, изживший себя предрассудок, а только слово за словом, вот что дает прочность. У каменщиков надо учиться, у каменщиков! Раствор, шов, таков закон строительства. Опля! Стена растет, поднимается, как из воды. Поразительно. Только необходимые слова, никаких компромиссов. Пробуешь его на зуб. Испытываешь под давлением собственного каблука, проверяешь на слух и, если оно не выдерживает пробы, прочь, откидываешь без всякой пощады. Вот оно, наконец-то осенило. А сколько он бился, сколько мучился! Сколько бессонных ночей пролетело в бесплодных поисках!

Единственное, что портит приподнятое настроение, не дает всласть упиться, — так это навязчивость жены, которая бродит за

ним по пятам и требует, чтоб он сходил и купил ей... какую-то чертову синьку для белья и проволочную мочалку для паркета. Да подороже, пусть не жмется, не бросает деньги на ветер!

Слышу, слышу! — отбивается раздраженно Баксоня. Сказал — схожу, значит схожу! Провались они пропадом эти мочалки и синьки! Иду!

Черт возьми, и так всегда... Да... на чем это я остановился? Вот, изволите ли видеть, стоило меня прервать — и вся концепция рухнула...

Ах, да, вот оно — без единого лишнего слова! Совершенно верно. Лишние слова — вот в чем порок. Хватит с нас переливания из пустого в порожнее. Берешь самое необходимое, оформляешь его, конечно же, соответствующим образом, округляешь — и полный порядок, дело в шляпе! Не так ли? Довольно с нас бесконечных разглагольствований, к великому, так сказать, всегда приходили через самое простое. Осенит человека элементарная догадка, мелькнет счастливая мысль — и в самую точку! И к вам приходит слава. Не успеете вы хлопнуть в ладоши, как слава облетит весь земной шар. Может, эта идея прямо под ногами у вас валяется, а вы ее не видите, не замечаете. Так уж человек устроен. Возьмите Хемингуэя! Какой убийственный стиль! Можно сказать — отсутствие всякого стиля, вы согласны? На первый взгляд. Блестяще! Коротко, как будто он тебе пощечину влепил. Бац — и вы сражены наповал. Этот сказал то-то и то-то, тот сказал то-то и то-то. И все. А вы буквально сходите с ума, до того это здорово, обалденно, потрясающе. Удар в солнечное сплетение. В самую точку! И вы в нокдауне.

Или возьмите нашего Андрича. Все основательно, размеренно, а какая прочность, каждое слово на месте, как будто его поставили на века. Поистине первый класс. Какая мощь звучания. Будто солдаты рявкнули на плацу во всю глотку. В полную силу. Никакого кокетства, чувствительности и тому подобного. Божественно, не так ли?

Да, да, иду, да заткнись ты, я слышу. Иду сейчас же. Горит у тебя, что ли! О боже, эти женщины! Не отделаешься! Приспичило ей, придется идти, никуда не денешься. Дались ей эти чертовы мочалки именно в тот момент, когда он на пороге, так сказать, эпохального открытия... Она знай свое твердит... Слышу, слышу, ты мне сто раз говорила. Слава богу, не глухой. Паркет, то есть для паркета... И еще синька... Что за синька такая? Боже мой, чего только люди не придумают! Просто невероятно! Не забуду, не забуду, конечно, запомнил, нет, не перепутаю, пропади оно пропадом... Ну, положим, спутал один раз, так теперь ты меня до скончания века будешь попрекать...

Он напевает. Насвистывает.

Нет, осознать свою ошибку никогда не поздно, но чтоб дойти до нового открытия своим умом, надо пошевелить мозгами хорошенько... если, конечно, котелок варит. А то ведь наши как пойдут бумагу марать, и марают, и марают. Нет, сейчас такое не годится. Прошли те времена, теперь нужен телеграфный стиль. Сказал, что и как, — и баста. И точка. Пора усвоить слово «стоп»! «Стоп» — и уж без всякой проволочки! Изволь закругляться! Писанину развести всякий может, легче легкого наговорить с три короба, запудрить мозги, напустить тумана — смотрите, мол, какой я мастер! Как же — новатор, первооткрыватель!

Баксоня самодовольно посмеивается, подскакивает на ходу.

Весенний денек, изумительный, чудесный! Настоящий майский денек, типичный. Сирень и всякое такое. Уф-ф-ф! Втягиваешь носом, нюхаешь ветку, н-да.

Баксоня пританцовывает. Наслаждается листочками, бутончиками... Горьковатым ароматом вишни, в русском вкусе, русские большие любители всей этой прелести, старины, классики. Клейкое, мед-

вяное. Так и забирает за душу. Благоухание весны! Обезоруживающее, расслабляющее...

Да и что тут удивительного, это же божье чудо, красота... Раствориться бы в этой неге... без остатка... позабыть обо всем на свете, не будь разных докучных обязательств...

Да, так что же он там решил с эпохальным открытием?.. Как это? Совсем без слов? Ну и анекдот. Это что же — предложение без слов? Что за дикая идея?! А что? Ей-богу, здорово! Как в музыке, партитура... без слов... То-то будет разговоров, обсуждений... Такими идеями не бросаются...

Баксоня перебегает улицу... Останавливается. Что-то его настораживает. Запах сирени сводит его с ума. Завораживает. Куда это он направился, черт возьми? Слово, ну да, совершенно верно, вначале было слово, а что потом? О чем, то бишь, он потом размышлял? О чем-то прозаическом... но о чем? Ну вот... не может вспомнить... насчет предложения без слов, ей-богу, великолепно! Замечательная идея! Черт возьми, но куда он направился?.. Никак не вспомнить...

Баксоня стоит, размышляет. Вдыхает запах сирени. Он разливается по всему телу, очищает его легкие, освежает, размягчает. Омолаживает. Так о чем же это он думал?.. Как это там у него — предложение без слов... Впрочем, не важно, он еще к этому вернется, как-нибудь после... потом... Ах, эта сирень, как сильно она на него действует...

А вот возьмем Кафку. Ведь это же чистое надувательство. Клянусь богом. Фокус, рассчитанный на глупцов. Здорово он дурачил людей. Эти идиоты умирали от восторга, а он над ними потешался всласть, голову даю на отсечение. Над стадом кретинов. Он же мистифицировал публику! Кафка — это тоннель без выхода, вот что он такое. А из него сделали сенсацию! Да прекратите вы, прошу вас, прекратите! Ерунда! Где это видано! Устроить из литературы балаган! Вот что такое этот ваш кумир!

Баксоня забрел неведомо куда. Ноги ноют. Как он тут оказался, черт возьми? И чего его носит, чего ему не сидится! Случается, он через два дня хлопнет себя по лбу и воскликнет: да ведь я пошел туда-то и туда-то! Или по две недели носит в кармане смятое письмо, хотя собирался пойти на почту и срочно его отправить. Обнаружив промах, Баксоня на себя сильно сердится. И как это он оплошал? А бывает, что и махнет рукой — не стоит, мол, из пустяка раздувать драму! Что-нибудь в таком духе. В конце концов, это обычная человеческая слабость, признайтесь — разве с вами не случается такого! Случается, со всеми случается!

А вот жена меня не понимает, она непримирима. Я же, говорит, посылала тебя за тем-то и за тем-то. Да почем я знаю, за чем ты меня посылала? Ну да, прости меня, пожалуйста! Баксоня почесывает затылок в смущении. Не будет посылать в следующий раз! И правильно сделает, это самое рациональное решение из всех возможных. Действительно, зачем посылать человека, если он такой забывчивый.

Ну, еще бы, шипит жена, тебе бы только отвертеться, только бы руки умыть. И осыпает Баксоню градом упреков и оскорблений!

Замечательная идея, гениальная (эта идея в нем засела, он ее чувствует нутром), только вот... дай бог памяти... Надо поднатужиться немного — и она родится на свет божий. Вот она тут, совершенно оформленная, готовая... На подходе... Вот-вот сорвется с языка... Впрочем, простые вещи и забываются быстрее всего, именно в силу того, что они просты, как фасоль. Сколько раз испытывал это на себе.

Баксоня зашагал обратно, насвистывает. Конечно, он вспомнит, в чем дело. Не может эта идея исчезнуть, как какой-то фатальный мираж... Так что не будем создавать трагедию...

Возвращается он с пустыми руками, с невинным выражением лица.

Когда это он является? — напустилась на него с негодованием жена. И где покупки?

Покупки?.. Какие покупки, то есть я хочу сказать... Ах, да, действительно! Синька для паркета... Забыл, честное слово, забыл, прости меня, пожалуйста... Запамятовал. Не знаю, как вышло... ей-богу, не знаю... Нелепость какая-то.

Жена рвет и мечет, клянет его.

Баксоня слабо отбивается.

В следующий раз он обязательно запишет... просто вылетело из головы... Нет, правда, он и сам видит, что неисправим... Но он исправится, только на этот раз пусть она его простит, умоляет Баксоня сокрушенно.

Он сбегает сейчас же! Ему нисколько не трудно, он мигом! Не надо? Почему не надо?

Ты что, в своем уме? Не знаешь сколько времени? Или прикидываешься полоумным?

Баксоня смотрит на часы. Действительно! В самом деле... Где это он до сих пор был?

Жена в бешенстве уходит, не желает с ним говорить. Хлопает дверью. Баксоня корит себя, раскаивается. Помириться бы с ней, загладить вину. Но как? Он обещает ей, что с завтрашнего дня будет совершенно другим, вот увидит... Все, что было, не в счет, с завтрашнего утра он начинает жить по-новому — договорились, моя лапочка?

Жена грубо обрывает его. Пусть проваливает со своими обещаниями! Придурок, законченный кретин.

Баксоня покорно соглашается...

Ему бы только поймать за хвост ускользнувшую идею... все остальное так незначительно... так мелко.

Черный день Гаврилы Попадича

Настал траурный, черный день для Гаврилы Попадича!

(Эх, Гавро, Гавро, и надо же, чтобы такое на твою голову свалилось, видно, суждено тебе все невзгоды этого мира на собственной шкуре испытать, видно, тебе, и никому другому, на роду написано, чтоб все беды, какие на белом свете есть, на горбу своем вынести и чтоб ни одна не миновала горемычную твою головушку, самую невезучую из всех твоих сверстников и дружков!)

Горько сетует, стонет, плачет Гавро в душе, хоть и не выдает себя ни единым звуком. Молча готовится. Провожает он племянничков на заработки на немецкую сторону! Двоих зараз на одном расходе. Пристали с ножом к горлу... и вот! Не смог их остановить, не сумел. Отговаривал, просил, задабривал, бранился, чертом и дьяволом стращал, уперлись племянники и — точка! Едут!

Утро кислое, хмурое. Всю ночь моросило. Да теперь уж ничего не поделаешь, пришла пора провожать их на станцию Ч-че, на ту самую станцию, которую он дважды поджигал и дважды помогал из руин поднимать. Чтоб она неладна была, эта станция, чтоб ей провалиться совсем, да куда ж теперь от нее денешься? Надо идти, приходится! Баба замоталась в тряпье, свалилась, кряхтит. Начисто опустеет дом Гаврилов, заглохнет ветвь Попадича! Остынет очаг. Останется Гавро один на один с болящей женой горюшко мыкать да бога клясть, покуда сам копыта не откинет и не испустит дух, ему-то что, ему, видит бог, чем скорее, тем лучше! Единственный сын погиб на

войне, и притом не на нашей стороне, а в четниках[1] капитана староюгославской армии Вукомана Радонича, так что за сына пособия ожидать ему не приходится, за сына в него только шишки летят, срамят сыном почем зря, а не ровен час — еще и взыщут, хоть он ни сном ни духом ни в чем не повинен! Сыт по горло старый Гаврешина невзгодами, едва концы с концами сводил. Дом обветшал. Дважды за войну горел и два раза моба[2] собиралась, снова отстраивался с помощью соседей да односельчан. Брата старшего, Данилу, между лопатками прошило, в аккурат картошку сажал («картофь», говорит Гаврила), весной 1945-го. Народно-освободительная армия выметала тогда остатки банд, и вот шальная пуля ненароком брату в спину угодила! Тут и надумал Гаврила обеих своих племянников к себе на воспитание забрать. Вдвоем с бабой поднимали. Кому же о них и позаботиться? Им с женой это на радость. Есть о ком печься, для кого стараться, на кого надеяться. Вырастут ребятишки, будет замена и опора на старости лет! Только бы здоровья бог послал, а так-то вон они какие вымахали.

И дождался — дом его осиротеет, сотрется под корень род Попадича! Поднялись на ноги его племяннички (Гаврило их сыночками зовет, привычней ему так-то!), распрямились, точно сосны зеленые, оба рослые, плечистые, вылитые в отца ихнего да мать-покойницу Стеванию, сам-то Гаврила мелкий, сутулый, а браток его Данило (покойный) был как из камня выточен — и детям отцовская стать передалась! Здравко — старший, Стоядин — младший. Лица у обоих румяные да белые, чисто девичьи. Ну, писаные красавцы! Покладистые ребята, а сметливые. Проводил их Гаврила, как положено, в армию, отслужили они свой срок. Писали ему, давали о себе знать. Здравко, тот до самой до Куршумлии дошел, на край света, Стоядин в Высоком служил. Из армии вернулись возмужавшие, видные, еще сильнее в плечах раздались, в доме тесно стало. У Гаврилы сердце радуется, как глянет на них. Сейчас видать — ихней породы, Попадичи! Эге, вот мы их поженим честь честью... и пойдет все как бог завещал! Да заупрямились племяннички (сыночки, как их Гаврило по-своему величает). Гаврило этак исподволь разговор о женитьбе заводит, о том, что, мол, у них с бабкой Евдой не те уже года, сдали они, а земля рабочих рук просит, земля ухода и заботы требует, в дом, мол, невестки нужны, и все такое. Здравко ему в ответ:

— А вот и не угадали вы, дядя Гаврило. Не собираюсь я жениться, у меня этого и в мыслях нет. Куда я девушку приведу?.. Сюда, что ли, в нищету? Какая на такое пойдет?

— Да любая пойдет! Как же ты, это, дальше быть мерекуешь? — мямлит Гаврило.

— Очень просто! В Германию едем, на заработки. Перемогусь годок-другой, заработаю, а там дом себе выстрою где-нибудь в плодородных местах, земли куплю или в Срем подамся, а то в городе осяду, как знать. Одно только точно я знаю — обратно в Чабарцы, в эту дыру, меня не заманишь!

У Гаврилы так челюсть и отвисла, не может от изумления в себя прийти! Это еще что за напасть? Виданное ли дело?

Младший, Стоядин, наладился за братом. Как брат, так и я. Вместе поедем. Что тут делать? Земля не родит, ссохлась коркой сухой. Разве на ней проживешь? В армии они всего наслушались... и решились!

Помрачнел Гаврило. Небо ему с овчинку показалось. Может ли такое быть? Стал их вразумлять, переубеждать, да куда там, племянники знай свое твердят, уперлись! Едут, дело решенное!

---

[1] Четники — предатели родины, воевавшие на стороне фашистов. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Форма коллективной помощи на строительстве или на сельскохозяйственных работах.

Загоревал Гаврило, свет ему не мил, почернел от горя, места не находит. Баба и вовсе занемогла. Стонет по ночам, а Гаврило жажда замучила, то и дело поднимается воду пить, жар его иссушает; или по двору маячит как потерянный, присядет на порог сарайчика, под луной, опять сорвется, а потом сожмет голову обеими руками, точно простреленный. Мотается по полям, по выпасам, напролом через заросли, через буераки. До рассвета шастает, пока усталость с ног не свалит. Э-эх, полюшко ты мое заброшенное, донимают его горькие думы. Как было ты невспаханным, так и останешься. Такие уж времена настали. А по временам и нравы. Потянулись люди из родных мест на отхожие промыслы! Как знать, может, и сам он, будь помоложе да посмелей, тоже вот этак на заработки бы подался; как говорится ноги в руки — и была ни была! И такая тоска одолевает его от этих мыслей, так бы и заверещал, ровно поросенок недорезанный. Пустыми и бесплодными останутся наделы Попадичей! Сначала война разорила, все до крошки выклевала, а теперь вот — чужбина! Не знаешь, что из этих напастей страшнее и безжалостнее!

А парни собираются. Уже и день определили. В бюро заявление подали, ждут вызова, когда документы будут оформлены. Уже обо всем договорились. Из села едут семь-восемь человек ребят, а за ними увязались и две девушки!

И вот он наступил, самый страшный из черных дней, какие только довелось пережить Гавриле Попадичу, тому Гавриле, которому выпало на долю дважды собственными своими глазами видеть, как горит его дом, выглядывая из лесных зарослей, точно крот какой-нибудь, Гавриле, схоронившему сына, а потом и брата, а теперь надлежало Гавриле проводить детей на станцию (пропади она пропадом!), а он, как назло, никак с опояской не справится, путаются в руках ремешки, не завяжет никак. Глаза слезятся. А на душе черным-черно. Баба стонет. А парни точно на свадьбу собираются! Так и рвутся в путь, им все нипочем!

Черные мысли вертятся в голове у Гаврилы: эх ты, кровля моя сирая, и какого ж часа суждено было тебе дождаться! Хоть взвой в полный голос, но приходится подавить стон, не положено ему, не пристало причитать, надобно долг свой до конца честь по чести справить, все вытерпеть. И вот уже повалил народ, оскальзываясь и запинаясь о камни, с их крутогорья, провожают парней и тех двух девчат, которые с ними в бега подались. Провожают всем селом, соседи и родня, гогочущей шумной гурьбой. Какая-то женщина всхлипнула, на нее зашикали, замахали руками, пусть, мол, не дурит, где это видано, чтоб по живым причитать да оплакивать, не водится эдак у нас, не порядок... А тут вскорости и станция Ч-че показалась. С горы вид открылся, сверкнули рельсы, станционный домик маячит.

У Гаврилы ноги подкашиваются. Вот так-то однажды на заре летом 1942 года подобрались сельские жители вместе с армией к станции, подожгли ее, вагоны поопрокидывали, расковыряли пути, а немного времени спустя нагрянули каратели, село спалили дотла, отстреливаться было нечем, затаился Гаврило с ныне покойным братом и с этими самыми ребятишками в пастушьей хижине... Если пронюхают про них, конец, всех перебьют!

Э-эх, где ты, моя смертушка, заблудилась, вздохнул Гаврило и заскользил с пригорка. А станция новенькая, как конфетка, только глаза бы на нее не глядели! Пришли они, конечно, слишком рано, как всегда. Поезда, говорят, еще с добрый час дожидаться! Расселись, приткнулись на корточки кто где, и бутылка с ракией нашлась, пошла по рукам. Вкруговую. Никто слова не проронит, молчат. Только ракия перегонная в горле булькает. Женщины, будто наседки, подоткнули юбки под себя, примолкли, подавленно вздыхают, боятся выдать себя, чтоб не заругали. Парни стоят вокруг, точно рекруты, пересмеиваются с провожающими их девушками.

Вот ведь, думает свою думу Гаврило, какая беда на меня навалилась! Не переболеешь ее. Разорит нас германец проклятый, вконец изведет, не мытьем, так катаньем своего добьется. Не взял нас огнем да железом, так деньгами проклятыми погубит. Деньги в любую щель просочатся, куда и сверлом не доберешься. Уж как их уговаривал Гаврило не ездить — и тут, мол, в один прекрасный день лучше будет, надо только поднапрячься, да куда там! И слушать его не хотят! Поедем, и точка. Стоядин, тот все больше отмалчивается, а Здравко так и чешет в ответ, востер на язык парень, точь-в-точь как мать, покойная Стевания. Во веки веков, мол, село с городом не сравняется, можешь что угодно твердить. Тем более наше, боснийское. Затерялось за хребтами, в увалах и ложбинах, за спиной у господа бога. Ты вкалываешь, надрываешься на земле, все одно — ничего она тебе взамен не даст, не отблагодарит. Перебиваешься на сухой корке. Ливни польют — все посевы смоют, хоть шаром покати, любуйся потом сколько влезет, как солнце по небу ходит. А дождешься ли, чтобы тебе хоть ломаный грош подкинули?! Черта с два дождешься, да никто и не обязан. Еще с тебя же норовят налоги содрать, последнее вытрясти. И это называется жизнь, не жизнь, а жалкое прозябание!

А душа-то, как душа-то не болит у тебя, Здравчило мой,— пытается разжалобить его старик.

— Оставь ты душу в покое. Сначала будет тяжело... а потом свыкнешься. Так-то, дяденька Гаврило. Сам знаешь, как бывает. И в армии так же. Первые дни маешься, так бы и взвыл с тоски, а после осмотришься, дружков себе найдешь. А тут тебе подъем, там учения, то, другое — так время и пролетит незаметно. Жаль нам с тобой расставаться. Только другого выхода нет, поверь мне, старый. Куда ни кинь — всюду клин. Ушли те времена.

Гаврило взывает к родительским могилам отца и матери, к иконе святого Георгия, покровителя семьи, к священному порогу и кровле родного дома, взывает к дедовскому очагу, взывает к... к... (он не находит слов, комок подкатывает к горлу)... На племянников ничего не действует, кривятся парни в усмешке, отмахиваются рукой. Этим их не удержишь. Оставь свои байки, старый! Хватит с них, наслушались они и об очаге, и о кровле, и о всем этом убожестве, сыты этими байками по горло. Они жизни хотят. В других местах, рассказывали им, и живут лучше, и вкалывают меньше. Дома чистые, просторные, светлые. Сами видели. (Стоядин согласно кивает, привычка у него такая.)

Чувствует Гаврило — проиграл битву, все свои доводы исчерпал, разбили его парни по всем статьям в пух и прах, выходит, несправедливо и грешно с его стороны детям руки связывать, не давать ходу, пусть попытают счастья, коли уж им в голову втемяшилось, только одно дело — понимать разумом, и совсем, совсем другое... Подбородок у него трясется... совсем, совсем другое... от сердца отрывать кровинку родную, самое что ни на есть дорогое на свете и больше никогда... никогда уж больше...

Туман застит глаза... Просвистел паровоз. Все повскакали на ноги, засуетились. Засморкались, завсхлипывали, загалдели... Пиши! Напишу! Береги себя ради матери! Старика затормошили... чмокнули... он судорожно вцепился в младшего... Дернулись вагоны, кокнулись друг об дружку, точно пасхальные яйца, и исчезли его сыночки из глаз... Осталась опустевшая станция...

Уехали от него, навсегда оторвались... Проклятый германец... будь ты проклят сто раз... Гаврило стоит на опустевшей станции... стоит точно вкопанный... ноги отяжелели... года его немалые уже, старость... А дорога обратно крутая, скользкая, как черт... Дом покосился... больная старуха... запустение, сиротство... Да, такие дела... Стоит Гаврило, а вагоны все катятся мимо него, мелькают... и кажет-

ся ему, что это дурной сон, неправда это все... Вернутся они... обязательно вернутся... утешат старика...

История, рассказанная Ёшило

Об одном старике, белом свете и тому подобных вещах

В свое время, когда я по белому свету скитался (приспичило мне, видишь ли, мир посмотреть, и при этом на собственные свои, трудовые, рассказывает Ёшило), ну и хлебнул же я горюшка с этим ихним заграничным наречием! Туго мне приходилось, прямо вам скажу, замучился вконец! Мычишь что-то такое невразумительное, и ни с места! Чистое наказание эта их тарабарщина! Вот уж никому бы я не посоветовал очертя голову в заграницу соваться хоть по делу, а хоть и без дела, проветриться просто так, для своего удовольствия, прошвырнуться да вокруг поглазеть, как это я себе в ту пору позволил, ох, не посоветовал бы! Ежели, как говорится, по-ихнему тебе шпрехать невдомек и рта не можешь открыть — так мой тебе совет: смирно сиди где сидишь и не рыпайся! Поверь моему совету, не то пропадешь. Знай только пялишь глаза, как баран на новые ворота, а сам точно бессловесный какой-то, точно кляп тебе в горло всадили. Давишься, тужишься, из кожи вон лезешь, стараешься втолковать им свое, а уж когда и вовсе подопрет, так и на пальцы переходишь — тычешь в рот: есть, мол, хочется. Ну, уж когда до этого дойдет, тут они догадливые. Враз смекнут, к чему ты клонишь. Закивают иностранными своими головешками, мол, ферштейн, ферштейн!

Чего только тогда не приключалось со мной! Останавливают меня как-то на улице, спрашивают о чем-то, а я никак в толк не возьму, чего они от меня добиваются, карты какие-то подсовывают, руками размахивают, а я это из себя глухонемого представляю, пальцами себе в уши тычу, мол, на уши я тугой, а что ж мне, скажите на милость, делать еще оставалось, чтоб отвязаться от них, отделаться поскорей. И надо же им было на меня налететь, который ни бельмеса в их тараторшине не смыслит, ведь и без меня народу тьма-тьмущая!

Да, каких только чудес со мной не бывало! Иной раз такое приходилось наблюдать, что уж я сомневаться стал, да в своем ли я, братцы, уме?! Скажу вам сразу, чтоб зря не тянуть, спервоначалу сильно удивлялся я тому, что тамошний народ в точности такой же, как и наш. Просто в голове у меня такое не укладывалось — да как же это так! Втемяшил я это себе в башку, сам не знаю, откуда это взял, будто бы наши люди словно бы какого-то особого сорта, — окинешь взглядом и тут же смекнешь, что наш это, как говорится, человек, а другие, мол, какие-то не такие, как наши, не скажу в точности, какие именно, да только другие, враз это видать! А на поверку вышло — ни черта подобного! Бывало, только подумаю, что вон тот кособокий точно наш богом клянусь, этакий мешковатый, ручищей на ходу загребает, идет враскачку топает, как слон, закинул тыкву свою пустотелую, точно корону на ней несет! Наша это деревенщина, ей-богу, наша, видать, только-только из опанок в ботиночки перелез, а они ему жмут, вот он, родимый, и хмурится, у меня так сердце и захолонет от радости, так бы и чмокнул его, этакого косматого, косолапого, скособоченного, колоду этакую неотесанную, — эвон в какую даль наш волк забрел! Как вдруг этот «свой» и затараторит на своем парле/франсе или еще каком-нибудь этаком наречии. Да как же это так — не нашей, значит, веры этот человек! Таращишься на него и в себя прийти не можешь! Вот ведь чудо какое, люди добрые! Просто даже обидно становится, словно он тебя обманул, в доверие

к тебе втерся и обворовал, так-то у тебя на душе нехорошо! Повесишь нос, бывало, сникнешь вовсе, пригорюнишься. Да ведь он же нашей, топорной работы, сляпан тяп-ляп, быть того не может, чтоб не наш, в голове не укладывается! Глыба этакая, под два метра станет, не меньше, да и поступь его выдает (рассуждаешь ты про себя), все это в бок его как-то заносит, как будто бы он взбрыкивает на ходу или камни с плеча бросает,— наша это людина, с наших гор, из-за наших каменюг и завалов, позабытых и богом и дьяволом! Вон он какой вымахал, нескладный, точно бы его от цельного утеса отвалили, земля под ним трясется, что называется, ну чистый медведь из медвежьего угла, на него посмотреть, на этакого медведя косолапого, душа радуется! Сколько раз, бывало, брошусь я за таким-то вдогонку, чтоб его поприветствовать, забегу вперед, а у него усищи свисают, брат ты мой, юнацкие, черные, что воронье крыло, или на молодецкий манер закручены, и только ты руки расставишь, чтобы кинуться в объятья своему земляку, — здорово, мол, юнак, дай бог тебе долгих лет и всяческого благополучия, и все в таком духе! — как он тебя тут и осадит на своем шпрехен зи дойч, точно холодной водой обольет, так что сердце у тебя так и екнет в груди, похолодеешь весь и в себя никак не придешь! Да может ли такое быть, спрашиваешь себя, а вот ведь, оказывается, может. В чистом виде нашего покроя детина, а выходит, не наша мать его родила! Вот оно как оборачивается.

Или опять-таки собралась троица за столом, пригнулись друг к дружке, руками размахивают, спорят о чем-то. Присматриваюсь я это к ним исподтишка и говорю себе: да это же, Ёшило, чтоб ты знал, наши мужики, бьюсь об заклад не иначе как наши (надавать бы мне палок за дурацкую мою самонадеянность!)... Подхожу я это к ним, подваливаюсь к ихнему столику, а заседатели как рявкнут на меня по-своему, по-бусурманскому, тут уж у меня сомнений нет — опять накололся, чужаков за своих принял!

А не то еще и такое со мной стряслось: шествует по улице щеголь какой-то, весь пестрый и в клеточку, а уж затянут до того, что, прости господи, все у него напоказ так и выставилось, срамотища одна, и вдруг этот самый расфуфыренный как пошлет кого-то по-нашему, да к тому же одним из самых наших скверных слов, меня аж в жар бросило, точно током насквозь прожгло. Так бы и провалился на месте со стыда. И надо же, чтоб этот гнусный гад оказался моим земляком, так сказать соотечественником!

Вот ведь оно как получается, сокрушается Ёшило.

Да я уж потом и не стал в заграница той делить людей на наших и ихних, я их потом и вовсе не различал, все они, выходит, из одного теста замешены! И у них там тоже как у нас, разный народец попадается, поди-ка угадай, кто какой!

А еще вот какой случай был у меня на чужой той стороне, я его и посейчас из сердца выкинуть не могу, часто о нем вспоминаю и спрашиваю себя: как-то он там и что с ним дальше сталось?!

Повстречался я, видите ли, в Германии этой с одним стариком разнесчастным, о котором я вам сейчас расскажу коротенько!

Присаживаюсь я отдохнуть, ноги вытянуть, подошвы у меня совсем спеклись, горят у меня подошвы от того моего слоняния по улицам, а тут мне вроде бы какой-то славный скверик попался, фонтанчик брызгает, старички на скамейках носом клюют — в тех краях, чтоб вы знали, за скамейку в парке тоже надо платить. А то как же, у них там ничего тебе не будет задарма! Смотрю, какой-то дядечка на той же скамеечке расположился и все в мою сторону глазами косит, приглядывается словно бы ко мне и вроде даже чуть-чуть улыбается, а может, это мне так кажется. Нет, вроде бы точно на меня заглядывается, обмахивается шляпой, будто бы, это, обвевается, а сам из-за шляпы по мне так глазами-то и шныряет... Ну, я про себя

и думаю: отцепись ты ради бога от меня, не видишь, что мне несладко приходится, но, между прочим, любопытство меня самого разбирает. Поглядываю я на него, старик здоровый такой, кряжистый, что твое дуплистое дерево! Сильно в годы вошел! Усы у него обвисли, сбились набок, точно петушиный гребень! И что же вы думаете? Старик этот самый вдруг ко мне и обращается, вот как я к вам сейчас: «Мое почтение, мол, земляку... кровиночке родной... всяческого тебе счастья и благополучия...» Говорит, а в горле у него так что-то и заклокотало!

Я так глаза-то на него и вытаращил!

Тут старик ко мне подсел и поведал, кто он и откуда, все как есть рассказал по порядку. «Подсказало мне сердце, — признался он мне, — что наш это человек, который ботиночки с ноги сбросил и морщится, наш это бедолага, по-нашему объясняется, убей меня бог!» Ну, я ему тоже в свой черед про себя пояснил все такое, кто я и откуда... И что вот, мол, совестно признаться, вошла мне в голову такая блажь белый свет посмотреть! Тут слово за слово, и рассказал мне этот старик свою историю... Я ее и по сей день точно въяве слышу.

«Вот уж (говорил старик) пять лет минуло, два месяца и пять дней, как я со своего места снялся, дом свой оставил и, значит, границу пересек! С той поры каждые сутки отсчитываю, точно рекрут, который побывки домой дожидается! У сыновей своих я живу, так-то. Сыновья у меня — старший и младший, дай им бог здоровья! — обзавелись тут жильем, поженились, прочно обосновались. И стали меня одолевать: приезжай, мол, старый, будешь тут как сыр в масле кататься, чего тебе там, в Капустнице этой, куковать с тоски в одиночестве... Отбиваюсь я изо всех сил: мол, не хочется мне на старости лет срываться с насиженного гнезда, страх меня берет на чужую сторону подаваться... А сыновья знай свое долбят, все уши прожужжали и добились своего, обработали меня, обратили в свою веру! Ну, ехать так ехать! Не могу я тот черный час позабыть, когда дал уговорить себя оторваться от пуповины и покинуть родные места! Сердце у меня так и разрывается на части! Нет никакой мочи! Пройдет это, утешают меня сыновья, не дури, это поначалу тоска заедает, а потом отпустит, полегчает, притерпишься. Да какое там, время идет, а мне нисколько не легче! Такая заедает тоска, что хоть вой! Не слушается меня мое сердце, не смиряется. Плачет, стонет. Я бы и сам хотел, чтобы по-ихнему было, но сердцу, как говорится, не прикажешь, так его сдавило, что продохнуть не могу! Словно бы умерло что-то во мне Выгорело внутри. Убеждаю сам себя успокоиться, чего, мол, тебе недостает, чего еще на старости лет желать — живу среди своей родни, невестки душевные у меня, тут уж ничего не скажешь, так и вьются вокруг меня, обихаживают, а мне все одно — тошно на чужой стороне, и все тут! Точно льдом меня сковало, точно весь я окоченел, оледенел. Подохну я тут, если меня обратно не отпустят! Сыновья меня ругают! Заставляют немецкий учить — только этого мне еще не хватало, чтоб я в моем-то возрасте стал себе этой ихней тарабарщиной язык корежить! Ну, уж нет, и не думайте, лучше совсем не жить! У меня, может быть, только то и осталось что моя родная речь! А ее позабуду — считай, самого себя к чертям потерял!

Не знаю, что тебе еще о жизни моей сказать, земляк мой дорогой, друг ты мой сердечный! Днем-то еще вроде бы терпимо, с внуками вожусь, а уж ночь-то! Ночь! Точно голодный студеный год тянется эта ночь и никак не кончается. Тоска совьется клубком и так и давит на сердце, душит его, камнем тяжелым прижимает. Слезы сами собой так и текут! И такая на душе печаль, что и сказать нельзя! Мучение, да и только! Не выдержу, думаю я. В один прекрасный

день разорвется у меня сердце в груди от этой печали и тоски и придет мне конец!

А как грянет весна, тут я еще пуще загорюю: там-то у нас земля по весне влагой нальется, разомлеет, запахнет, из-под снега выпростается этакая черная, жирная, маслянистая, рыхлая, трава клейкая из-под воды попрет, заполонит все вокруг, точно свадебная процессия, когда двинется она селом со знаменами да с пальбой, и возликует душа твоя, и сердце наполнится радостью!

Лето медом усладит, зима землю выбелит. А в заграница здешней круглый год все на одно лицо — дунет, раскиснет, едва проклюнется, и не знаешь, что на дворе стоит, весна или лето уже. А там, глядишь, и вовсе все отцвело и облетело! Да и то сказать, как оно тут цветет, насмотрелся я. Бледно этак, хило, запоздало, точно опалил кто этот цвет. Нет в здешнем цвете и в помине нашей силы, когда он в буйство войдет, и закипит, и запенится! И до чего ж меня тянет... хоть напоследок (тут у него снова горло перехватило, забулькало что-то в нем)... в своем краю побывать, чтоб с легким сердцем оставить белый свет! Еще бы хоть один годочек, к стенке привалясь, у своего дома посидеть, погреться на солнышке, старческие свои кости пропарить, последний лучик солнца словить, посасывая трубочку свою неразлучную. Когда и помолчать в свою волю, а когда и побалакать с кем придется... чего бы я только не отдал за это! Последней капли крови бы не пожалел, как говорится, остаток жизни бы пожертвовал. Я и теперь каждый вечер вижу точно въяве, как у нас там солнце к закату клонится, чувствую воздух тот сладкий, густой, слышу милые сердцу звуки, исконные звуки вечерней поры, которые заполняют село... Пастухи собирают стада, мычит скот, женщины заторопились с подойниками... Вот послышалась песня.

Сыновья мои костят меня почем зря! Говорят, это я им нарочно хочу досадить... свой норов показываю, характер свой вредный, ишь ведь как уперся, сам не знаю с чего... Словом, что тут говорить?! Расскажи-ка лучше ты мне, друг дорогой, как там у нас в наших краях жизнь идет, что там новенького? По-всякому люди с ума сходят с тех пор, как сами себя помнят!»

Глаза его влажно блестели. Вспоминаем. Сидим.

Расстаемся мы долго и тяжело! Трясем руки, машем друг другу на прощание, желаем всего доброго — должно же и нам напоследок повезти! Худо мне, а старику еще хуже.

Я и сейчас вижу, как он уходит от меня, обмахиваясь шляпой, сгорбившийся, уходит в ту свою жизнь, из которой пришел, незнакомый мне, но такой мне дорогой! И я все время думаю о том, жив ли он и вернулся ли он в свои родные края успокоить свою душу и сложить свои старые кости в ту самую землю, о которой так тосковал!

Вот она, какая горькая бывает судьба, заключает рассказ Ёшило.

Перевод Т. ВИРТА

Самая большая на свете картина

Художник Сейфулла Дубак заметно подергивал левым плечом (признак нервозности, неудовольствия). Он нехотя поднимался в свою мастерскую. В дверях остановился: кисловатый запах красок, непроветриваемое помещение, подрамники, кисточки, незаконченные полотна развешаны в беспорядке или прислонены к стене. Постоянный хаос. Близкий сердцу бедлам. В общем, обстановка, где художник только и чувствовал себя нормально. Протолкнувшись в помещение, поставил кофе. С некоторых пор он заглядывает сюда лишь по привычке, нет у него желания работать. Нет прежней страсти и упорства, чем был известен и славился. Эскизы, начатые и безвольно брошенные полотна, высохшие краски. Это портило ему настроение.

Всей тяжестью навалился на оконное стекло. Бросил отсутствующий, рассеянный взгляд. Скользнул по волнистым сараевским крышам, которые, стремительно обрываясь, создавали впечатление темного сгустка крови. Когда-то он носился с мыслью написать что-то подобное. Набросать коричневой, ржавой краской. Так, казалось ему, он бы передал и это головокружительное падение в бездонные расщелины улиц, и округлые террасы площадей, пронизанные шпилями минаретов и притупленные плоскогорьями небоскребов. И чтоб было несуразно, разорвано, перевернуто, как на самом деле, и чтоб напоминало ему о смятении и разладе с самим собой, о неудовлетворении, угнетающем его в последнее время. Вот взять хотя бы картины! (Он обвел их взглядом. Словно ощупал!) Чего достиг, до чего поднялся? А ведь годами думал, дерзал! Написал их целую кучу, несколько сотен, самому не сосчитать, кое-что раскидал — висят по галереям, и учреждениям, и где-то еще, выставлялся на десятках собственных и бессчетных коллективных выставках не только у нас, пробрался в мир, путешествовал, снискал известное имя, репутацию, и все честно, заслуженно, а ведь это не раз плюнуть! И все-таки... С некоторых пор душит его неудовлетворенность всем и вся! А больше всего самим собой и этой его проклятой мазней. Других еще можно как-то обмануть, себя — нет. Он словно вдруг прозрел! Вероятно, это его уже давно неосознанно угнетало, мучило, а прорвалось сразу, как чирей, взорвалось. Он считается удачливым художником, некоторые ему даже завидуют. Особенно ловко он владеет цветом! Цвет — его сильная сторона! Он слышен, имеет голос, кричит с полотна, только что не говорит! За это время сам он прошел несколько так называемых фаз, как принято считать («Пустая фраза,— усмехается Дубак, — вранье»), последняя, по общему мнению, наиболее эффектна — лиловая! На переднем плане — сильный лиловый мазок, густой-густой, сочный, с постепенным переходом и переливом в оранжевый или лимонно-желтый, карминно-красный и тому подобные. Наверху, в верхнем левом углу, крошечный нечеткий рисунок, вроде как мушиный след или плевок, порхающая птица несет в клюве земной шар, или очаровательная женская головка, а за ней чуть виден силуэт козерога или какого-то другого праживотного, или просто надетый на спину кубик, или еще что-то. Зритель останавливается, изумленный смелым цветом, который задевает или сражает. Более внимательный обнаружит в углу знак, может какой-то шифр, и задастся вопросом: что это такое? Некоторые приподнимаются на цыпочки, чтобы разглядеть. (Художник поглядывает на них иронично.) Самые догадливые пользуются лупой. Нехотя, неприязненно осознают, что в этом есть определенный недоступный им смысл. Но какой? Во всяком случае, что-то есть! Догадываются. Большинство ничего не понимают, помалкивают. Потихоньку уходят. Подумаешь, настроение художника, каприз. Приманка. Посвященные, знатоки скрупулезно докапываются, доискиваются. Их не проведешь. Разумеется, им все ясно. А самые любознательные выспрашивают: «Маэстро, что это означает?» И тычут пальцем. Художник почесывается, изображает неловкость. Пожимает плечами. «Это, говорите? Ах, если бы я знал! Просто-напросто получилось, а что — черт его знает». Посетители отходят с брюзжанием, с неудовлетворенным любопытством, считая, что старик лукавит, некоторые многозначительно покачивают головой, как будто теперь им все ясно! Не хотят казаться глупыми. Внушение! А Дубак знает, что это всего лишь игра, уловка, анекдот. Фокус. Сработанный, чтобы вызвать любопытство, заинтриговать. Полотно и к нему приправа. Таким образом картина становится загадочной. Естественно, обман, ловушка для наивных и дураков. Воспламеняет! Многие попадаются на крючок! Только себя так дешево не обманешь, не одурачишь. Игры! Загадки! Было время, он усердствовал, переписывал, страстно, до самозабвения отдавался

работе, как в бреду! Что получится. С нетерпением кидался к холсту. Если не спалось, поднимался, приходил и писал, пока не падал от усталости. Теперь у него просто не идет, израсходовался, остыл. Начнет и бросит. Спотыкается. Заставляет себя, поднимет руку с кистью, набросает краску, но рука, отяжелевшая, точно неживая, отказывает, падает. Рука тут ни при чем. Ничего-то им не движет, нет внутреннего горения, потребности, толчка. Творческий кризис. Так говорится. Безволье. Оскорбляла обидная мысль: зачем? Зачем писать, когда все так обычно, очевидно? Нагромождение холстов, многое выставлялось, удостоено похвал, однако по существу — пусто. Все не то! Нет огня! Нет откровения. Привычка, рутина. Манера, ремесло, техника. Работает холодно. Без волнений, без трепета. А единственно подлинная проблема — вот она: вмешаться, взволновать себя и других! Не довольствоваться рутиной, смело выделяться из хора и толпы подобных и одинаковых. Стоит заплыть в воды усредненности и посредственности, и тебя затянет, ты пропал! Иногда он сам себя укоряет: «Легко размышлять, надо работать, а там что получится. Что-нибудь да получится!» Напрасно подгоняет себя, не идет. Мертвые движения, без души. В общем, к чему эта бездушная пачкотня? Быть своим в общей толчее и суматохе. Но как этого достичь? Многие задаются этим вопросом, напрягаются, дрожат, переливают из пустого в порожнее, варьируют, паразитируют или надоедают до тошноты тем, маститым. А слабаки поддаются соблазну разнообразных измов, направлений и школ, известных и модных — абстракционисты всех мастей, примитивисты, которые пользуются хорошим спросом на рынке, вдохновенные «поп-артисты» или новые фигуративисты и тому подобные, — не понимают, что заблуждаются, что все это лишь преходящая мода, а живопись живет сильными талантами, не подражателями и не копировальщиками. Рисовать — не значит паразитировать или продаваться по дешевке всесильному потребительскому вкусу. Быть самим собой — значит своевольничать, быть заговорщиком, ренегатом, еретиком, жертвовать собой, если потребуется! К черту, легко сказать такое, а как осуществить? Уже сама эта мысль отдает душком привлекательной фразы, банальностью!

Он потягивает кофе. Сараевские крыши — это всего лишь эпизод! Литературщина! Угрюмо рассматривает полотна. Серость. Чепуха. Загляделся в расселину улиц внизу. Как вырваться из тяготящей посредственности, которая тебя душит? Он понимает: это не только его, Дубака, проблема, это более или менее общая проблема. Настанет момент, когда все разом с этим столкнутся. Легион художников. В одном Париже их пятьдесят тысяч! А ведь только горстке удалось пробиться. Остальные влачат жалкое существование. Страдальцы. Мученики. Отщепенцы, раздавленные жизнью оборванцы. Наполовину ослепшие. Опускаются, спиваются. Бородатые скелеты. Карикатуры. Разбросанные по трущобам нищие. Он обошел их чердаки. Каких только не встречал. Пестрота. Вернулся раздраженным. С уязвленной душой. Вот тогда-то с ним это и началось! Неудовлетворенность. Зачем?

Скульптор Достило, шумный, пропыленный, чем-то похожий на квадратный громоздкий шкаф, мельтешит, суетится. Он работает в подвале, когда ему надоедает, поднимается к художнику, чтобы поболтать, передохнуть. Уже от дверей кричит:

— Эй, что это с тобой! Не сдвинулся с места! Прокис, что ли? Не годится так работать, старина!

Дубак смотрит равнодушно.

— Работай! Дерзай! Ты слышишь, я тебе сто и один раз твержу — в работе все! Если работаешь... значит, живешь! Что-нибудь да получится! Вот я, скажем, делая эскиз, разрабатываю идею, планирую, так сказать, каждую зарубку и вдруг, случается, посреди ра-

боты ощущаю, как рушится идея, ломается, рука сама собой идет куда-то в сторону, против и помимо моего желания. И я даю ей волю — пусть идет, раз ей хочется! Смотрю только, куда и зачем. И веришь, всегда получается лучше, чем я рассчитывал! Есть... внутреннее... что-то подсознательное... черт его знает что...

Дубак слушает. Не стоит переживать. Сколько раз слышал он такое и сам говорил похожее, но сейчас? Эту муку нельзя передать словами, все не так просто. И меньше всего Достиле, болтуну. Верно, само по себе ничего не получится, ничего гениального, нужно обязательно напрячь силы, а там или приблизишься, или не приблизишься, только у него-то нет уже ни прежней страсти, ни упорства, не может он кинуться очертя голову — сомневается!

Что-то в нем сломалось.

А Достило спорит сам с собою, наступает и напирает, словно катит перед собой бочку, мечется, крутится, разводит и воздевает свои кургузые короткие руки, которые создали его личность, и непрестанно, без умолку болтает. Дубак смотрит на него с досадой, ждет, пока выговорится. Наконец Достило исчезает так же, как и пришел, вприпрыжку, шумно. Уходит задыхаться в пыли мрачного подвала!

Однажды его осенило — необходимо написать самую большую на свете картину! Картину как небо. Растянуть ее, разостлать. Люди будут собираться и дивиться на нее как на чудо.

Разумеется, фантазия, бессмыслица. Где бы он ее выставил? Как бы повесил? Глупость, ерунда!

Однако от мысли не отказался. Нет-нет и задумается. Пишем же на лоскутках, картинки для декораций, по заказу и для украшения, чтобы простофилям нравилось, приятные цветные картинки, ну там что-нибудь рекламируем, подстраиваясь к общему сомнительному усредненному вкусу. Мастера Ренессанса делали большие полотна. Величина! Размах! Этого хочется. Жест. Живопись в размахе. Как и музыка. Монументальность. А маленькие серенькие картиночки для паршивеньких выставок — одна суета, с этим покончено!

Воодушевленный, взволнованный Дубак вынашивал в мыслях эту свою большую... самую большую на свете картину! Вытащить что-нибудь из предсознания, из предсущества! Только бы подойти! Сейчас самое главное — решить практический вопрос: как осилить самое большое полотно на свете? Где его поместить? Как писать?

В размышлениях сверкнула мысль. Все очень просто: он будет писать мозаичные кусочки, холст разделит на квадратики. Развернешь — и картина выстрелит... вспыхнет... словно поляна... И раздавит вас!

Он напишет историю человечества! Со времен прасостояния, от магмы и туманности до того момента, как человек выпрямился и слез с дерева миллионы лет тому назад. Хаос, первый огонь, рабство, завоевания, крестовые походы, инквизиция, восстания, могилы, концлагеря, цивилизация, континенты... Короче, все, что было и будет, только очень сжато, и над всем этим триумф человеческого разума! Хождение человека по мукам до сего дня и дальше!

И он лихорадочно накинулся на работу! Окрыленный, делал эскизы. Картина раскручивается, разветвляется, вырисовывается, растет. Вокруг — кипы бумаги. Он завален ими. Работает неистово. Он всем покажет... он...

Нашел его скульптор Достило — ворвался, как всегда, посмотреть, как там приятель — что-то он совсем опустился, закоснел, не появляется, скис, кризис! Так ведь пройдет кризис, надо надеяться...

На куче разбросанных бумаг... он увидел его, скрюченного, окоченевшего, с остекленелыми глазами...

Ас Асе!

Стройные, мускулистые смуглые ноги, ножки! Легкие, балетные! Избитые, в коросте! Он сразу на них нацелился, нюх есть. Взгляд смолой приклеился к жилистым мальчишечьим ногам в беззаветной игре с мячом. Он замер на ходу. Мальчишки с ором гоняли мяч на пустыре! Сколько в своей жизни видел он таких вот полянок с играющими ребятами, потому и собирался пройти без задержки. Кто-то невзначай обратил его внимание, теперь уж он не помнит, ни кто, ни когда, — да он и не любил такие понукания, надеялся на собственный нюх и слух, как говорил не без хвастовства, ибо в этом вся прелесть и удовольствие неожиданного открытия!— пусть, мол, завернет в свободную минутку и посмотрит мальчишек на Широкаче, Бреке и еще кое-где. Не пожалеет! Мальчишки носятся, калечат ноги, кто как не он сумеет оценить, «есть ли здесь что-то»! Разумеется, людям свойственно преувеличивать. Понадеялся, как не раз до этого, на свой знаменитый инстинкт, «нюх».

— У меня обостренный нюх на такие вещи! Чую за километр!

Поистине он обладал чисто охотничьим счастьем открывать футбольные таланты, «свежее пушечное мясо», как говорилось на их жаргоне. Это вошло в кровь, стало его хобби, развлечением. Страстью! Он даже вычислял удачу в процентах!

Итак: Бодош, знаменитый ловец «свежего мяса», прославленный в городе специалист по подобного рода деятельности, остановился словно вкопанный! Орущие сопляки. Ноздри заходили.

«Беру этого на прицел... под себя... не давать ходу, — прикидывал Бодош, пожевывая,— прочитаю его насквозь... и выточу классного игрока... если материал подходящий, а если нет — выгоню под зад коленом, к обоюдному удовольствию!»

Понятное дело, сначала все идет нелегко, парни тяжело привыкают к поражениям и отпору, упрямятся, но в конце концов смиряются. Выходит по его, по Бодошу!

(Импозантный, с бронзовым загаром лицо, подвижный, всегда в «форме», спортивные, броские майки, дубленки, ветровки, тречкоты — «последний крик!» — не забывает напомнить; по-своему влиятельный, Бодош представляет в своем деле «фирму», это признают даже завистники. Он внушает доверие, надежность. Умеет себя поставить! Есть у него привычка всегда что-то жевать, перемалывая крупными челюстями земляные орешки, миндаль, тыквенные семечки, все равно что, лишь бы рот был занят, да и — подмигивает — польза от этого немалая!)

Парнишка сразу зацепил его глаз! Вообще-то не парнишка как таковой, а его длиннющие, тонкие ноги, тот отбор, который он ловко провел! Как держит мяч, как ведет его, словно ласкает, любовно убаюкивает, укрощает, и тот ему покоряется, понимает, с кем имеет дело, — все сразу стало ясно! Инстинкт! Талант! Есть он или его нет! Владеешь им или ты пустое место! Третьего не дано. И ничего тебе тут не светит! Бодош самодовольно прикидывает, изображает, что смотрит куда-то в сторону и игра ребятишек его не интересует. Короче, на такие вещи у него безошибочное чутье! Каков удар! Проход, поворот и сильный, твердый замах! И гол! Понятно, только так и должно быть!

Бодош щелкает миндаль, грызет, хрустит крепкими зубами. (Потенция и все такое.) Этот мальчишка... есть что-то в нем! Рановато предсказывать, прогнозировать и все-таки... Короче, посмотрим, спешить некуда! Не умно выскакивать перед бегущей лошадью! Стиль Бодоша — не торопиться, не форсировать!

Завтра он сюда заглянет. Негоже кидаться вслепую — проверить и затем схватить! Обмозговать, не просчитаться! Первое впечатление

может еще как обмануть. Выучится парень каким-нибудь финтам, имитирует их, а там смотришь — ничего своего! Бодош ненавидит эти маленькие мелкие надувательства. Здесь игра в жизнь! Это не пустяк! Первое впечатление обманчиво, как и в любви, берется в расчет только то, что приходит потом, — терпение, пот, выдержка, верность!

А такое выдерживает не каждый, нет!

Ишь, как он его обнюхивает! Таращится на мальчишечьи ноги словно завороженный! Асе, Асе! — кричат мальчишки. Бодош сразу догадался, что это относится к его избраннику. И в самом деле, не обманулся! У малыша дьявольские ноги! Прицелился... удар! И готово!

Вытянутое, мальчишеское, угловатое, неказистое личико. Буйные волосы растрепались по лбу. Вспотевший.

— Эй, как тебя кличут, парень? — спросил вроде бы небрежно.

— Меня? Асе, Асе Мушетов! Так меня зовут!

— Наверное, Хасе, от Хасана,— поправил он.

— Меня все зовут Асе,— мальчик заупрямился.

— Идет, пусть будет по-твоему, Асе! Я ничего против не имею. Меня интересует, как у тебя дела в школе. Не прогуливаешь? Мяч тебе не задурил голову? — с прищуром спрашивает Бодош.

Мальчик выпятил грудь. (Бодош уловил упрямство. Неплохо для начала, потом мы это поломаем!)

— Я отличник, все пятерки,— похвастал Асе.

— Ну, значит, ошибся, поздравляю. Ты настоящий парень! Не терплю врунов, так и знай, не переношу! — И потрепал его за чуб. Мальчик отпрянул. (Дикарь — подумал, однако укротится запросто.) — А за кого ты, Асе, болеешь?

— А зачем спрашиваешь?

— Да так, интересно мне. Бьюсь об заклад, что знаю: за Желю! Это написано у тебя на носу!

Мальчик непроизвольно почесал нос.

— Мы все за Желю! — сказал гордо.

— Да, выбор и мне не кажется плохим...— Бодош вроде бы уступал.— Хотя у Жели не все в лучшем виде, как думаешь?

Мальчик ответил по-стариковски, наставительно:

— Сейчас не в форме, верно.— И сразу заторопился, повернувшись на пятках к своим.— Но это пройдет, как только войдем в первую лигу!

— Ладно, ладно, посмотрим! — соглашается Бодош, обнимая угловатые плечи мальчика...

Асе впоследствии до тонкостей вспоминал тот разговор на пустыре, столько раз он пропускал его через себя, повторял, переживал, грезил о нем — порой ему даже казалось, что он его выдумал, настолько все было невероятным! Этой случайной встречей — когда он впервые надел тренировочный костюм и бутсы — начался головокружительный взлет нашего аса Асе. Одиннадцать лет промелькнули светом молнии! И исчезли! Теперь Асе томится на скамье запасных. Дважды ломал голень! Он в отчаянии. Изводится, мучается. Психует! От волнения дергается. Не может угомониться. Места не находит! Ногти обкусал до крови. Лицо в красных пятнах, точно в лишаях. Ему только двадцать семь, а знаменитый Асе уже руина, развалина. Когда-то этот же стадион трясся от криков: Асе, Асе! Сломали его! Дрожал как в лихорадке. Сейчас же, павший духом, подавленный, Асе с трудом высиживает на краешке скамьи, и нет у него сил до конца досмотреть игру. Спрятаться бы! Он не может выносить взглядов победителей, они словно прожигают его насквозь! Он жалуется, оправдывается, говорит о своих правах, но его даже не слушают! Избегают. Есть у него глаза, сам видит, не сумасшедший! Недоверчиво покачивают головами. Что ему надо,

чего уперся, пусть потерпит месяц-другой, не горит же, все устроится, он же совсем молодой, что с ним... заупрямился как вол! Асе теряет самообладание, кидается на людей. Доказывает, что здоров, что травма зажила, что он может играть, почему не доверяют ему? Почему не попробуют его? Чего тянут? Неужели он заслужил, чтобы с ним так обращались? Прямо трясется от ярости. Бодош, не переставая жевать и хвастать своим «нюхом», охотится за новым «свежим пушечным мясом»! Асе больше его не интересует! Его время прошло! Кретин, как он этого не понимает! Создает ненужные проблемы, чего не исчезнет с глаз долой? Такова жизнь, говорит Бодош флегматично и продолжает жевать и поплевывать. Асе не может этого вынести, подходит и орет на него! Сжимает до боли кулаки! Слезы душат! Асе требует разобраться с ним, иначе, иначе... Он задыхается от злости! Знать бы, в чем дело, почему его задвигают? Ни у кого уже нет терпения разбираться с ним, возиться. Удивляются: что это на него накатило, что стряслось, почему не угомонится, ну, там будет видно, на кой черт он сорвался, чего добивается, хочет опять сломать ногу и навсегда остаться калекой, этого хочет, дурак! Что он тут разыгрывает мученика, героя! Настучал деньжищ, заложил в банки миллионы, водит «мустанга», соорудил дом на Паламе, и все ему мало, чего еще надо? Чего, черт побери, не утихомирится и не уразумеет, чего пристает к ним, чего дергает? Собственная мастерская на Башчаршии работает на полную катушку, деньги капают со всех сторон, за прежние заслуги на многое смотрят сквозь пальцы, а он оказался вонючкой! Хочет, чтобы с ним цацкались! Э, это уж слишком, понимать надо. Асе мечется, страдает. Никто не понимает, как ему тяжело, не хочет понять! Он отдаст свои миллионы, и «мустанга», и дом в придачу, все отдаст, лишь бы снова играть! Снова слышать тот приглушенный взрыв воодушевления, от которого цепенеешь: Асе, Асе! Все бы отдал, полжизни, чтобы пережить это заново, чтобы поднять на ноги стадион, как бывало! Теперь бы он поостерегся, избегал бы, честное слово, силовиков, костоломов, грубых живодеров, которые прут на игрока, а не на мяч, больше бы он не лез в свалки, переигрывал бы техникой, дриблингом, играл бы по-умному, так, как этим пентюхам не суметь никогда! Почему его не попробуют? Чего боятся? Он бы заиграл, словно как в свои незабвенные денечки. (Ноги его дрожат, сами приплясывают.) Разве это для него — сидеть на скамье запасных среди выбракованных? Если вспомнить, сколько всего он вынес и перестрадал за последние десять месяцев — костыли, коляски, лечебная физкультура, санатории и прочее — и ради чего? Ради надежды, что снова будет играть! Асе, Асе! Будут ли когда-нибудь еще взрываться стадионы от выкриков его имени? Кончено, все, словно сговорившись, бросают его, отворачиваются! Почему, что он им сделал плохого? Потому, что требует своего по праву? Мяч для него — жизнь, все! Как они этого не хотят понять?! Хотят, чтобы он их на коленях молил? Неужели до такого дошли?

В бесцельных скитаниях, вконец издерганный, однажды... он набрел на тот самый пустырь... и увидел мальчишек, гоняющих мяч! Словно зачарованный, с бьющимся сердцем, замер! Ноги подкосились от слабости! Как... неужели возможно? Неужели забыл? Где же он был все эти годы?

В глазах туман, круги... Смотрит он на ту самую полянку, где... Дыхание спирает...

Вдруг остро... острее, чем когда бы то ни было, он видит себя... сорванца... как... как...

Не выдержал, заплакал! Горячие слезы текут по лицу! И внезапно понимает, что молодость его прошла... что самые лучшие свои годы он отдал футболу... что все и навсегда... безвозвратно прошло... К чему ныть, надоедать людям, зачем? Как он этого не осознал

раньше? Все было и прошло! К чему самоистязания и все прочее? У каждого человека есть свой миг, свои пять минут, шанс, и у него он был, а больше нет... никогда больше... Он был счастливчиком, баловнем судьбы... поднимал стадионы на ноги... Асе, Асе! Разве такое может длиться вечно? Должно было когда-то кончиться! И вот кончилось, а он не смог понять, смириться... с этим болезненным фактом! Постоянная круговерть — одни приходят, другие уходят. Так всегда. И нет в этом ничего необычного. Теперь на очереди новые мальчишки, новое «свежее мясо», публика ждет перемен... нового возбуждения... Хватит с нее старого, хромого развалюхи Асе! И они придут и уйдут, сегодня ловкие, хитрые, длинноногие, а завтра? Завтра тоже будут кипеть от злости, не понимая, что происходит, они, вкусившие славы, пережившие муки доказательств и постижений, горечь поражений...

Он смотрел на полянку, слушая гомон мальчишек. Когда-то и он так... Бодош, противный старый добрый Бодош прав: такова жизнь!

Он сидит задумавшись, курит (закурил после второй травмы!). Его пронизывает тупое крепнущее смирение! Впервые после стольких месяцев бессонных ночей, кошмара, позора...

Опускаются ранние прозрачные сумерки. В домах зажигаются лампочки.

Вытерев слезы, Асе устало встает, идет, волоча ноги, словно тянет за собой судьбу — больше нет надобности лицемерить...

Эрна-Игбала

Памяти земляка и писателя Исаака Смоковлии

Как только на рассвете усташи отправили группу сараевских евреев, набив до отказа грузовики, хамал [1] Калдо, оглядевшись, принялся вынюхивать, поддевая ногой отбросы, не выпало ли чего в толчее и суете. За пустыми перевернутыми коробами и баками для мусора, оцепенев от неожиданности, он увидел девочку лет трех-четырех, перепуганную и заплаканную. Калдо даже рот раскрыл! Он сразу узнал ее. Эрница, дочка Гаонова, аптекаря из Александрова. С малышкой он, случалось, шутил, гладил по головке, качал на ноге. Между прочим, у Гаоновых он был постоянным «перевозчиком», приносил для них посылки с вокзала. И всегда-то они угощали его кофе! («Перевозчик» — это было и красивее, и придавало важность и значительность, а был он всего-навсего хамал, таскавший на спине тюки с поклажей.)

— Что... что ты тут делаешь? — зашептал он как мог тише, испуганно оглядевшись, не следит ли кто за ним.

Малышка вытаращила глазенки, подбородок у нее задрожал, вот-вот расплачется.

— Не плачь... не бойся... я Калдо... Ты помнишь меня? Я папин перевозчик!

Он вытянул руку, чтобы погладить ребенка по голове. Девочка сжалась. На мгновение рука повисла в воздухе, словно его застигли на чем-то дурном. Что делать, на что решиться? Оставить ребенка там, где нашел, не годится, а заявить о нем и передать властям — совсем уж грех и позор!

— Слышишь, Эрница,— заговорил он дрожащим голосом, доверительно,— ты ничего не бойся, мы что-нибудь придумаем... Тебя

[1] Носильщик *(турецк.)*.

твой Калдо... это... спрячет... А твои потом придут, не беспокойся, они вернутся...

И сам удивился своему решению! Он нищий, а Гаоновы будут ему признательны, когда вернутся. Еще как! Он обнял девочку, взял ее за руку. Девочка переступает с ноги на ногу, вертится, заглядывает в лицо старика.

Будь что будет, храбрится Калдо, озираясь. К счастью, улицы еще пусты. Он придумал: скажет, мол, девочка из беженцев, бедняжка осталась одна. Зовут Игбала. Откуда-то из Чайнича, четники перебили ее родных, всех до единого, дражиновцы [1], сукины дети!

И научит ребенка! Девочка умница, смышленая, запомнит. Ишь кивает!

Калдо отозвал жену в сторонку. Все как есть объяснил. Такие, мол, дела. Малышка Гаоновых, аптекаря, воля божья. Ребенок потерялся, подбросили, разве нет? Для соседей и всех остальных она Игбала. Беженка! Откуда-то из Чайнича. Ее близких, всех до единого...

— Уразумела? И чтоб мне ни-ни, не то... Это тебе не шутка, такое головы стоит! А вернутся Гаоновы, уж мы не просчитаемся!

Жена согласно кивала, поглядывая на ребенка.

Малышке сшили пестрые димие [2], чтобы не отличалась от местной детворы, с которой она быстро сошлась и подружилась. Лишь иногда, ссорясь, ребятишки дразнили ее цыганкой или беженкой, но девочка не выдавала себя. Помнила, кто она! С черными огромными глазами, смоляными волосенками, маленькая Эрна-Игбала начала свою двойную жизнь. Случалось, первое время старая Рабия заставала ее в слезах. Утешала:

— Не плачь, приедут твои, только не сейчас, они напишут... Даст бог скоро... И заживешь ты опять со своей мамой и со своим папой...

И гладила по растрепанной чернявой головенке, девочка льнула к ней, ластилась, пока не засыпала. Старый Калдо умилялся. Когда мог, приносил слипшиеся сладости, а если ничего другого, то кусочек сахару, полакомиться, тачал на зиму теплые сапожки... Он тоже гладил Эрну по встрепанной головенке, брал на колени, покачивал на ноге, спрашивал, не голодна ли, наигралась ли и невзначай нашептывал, что родители ее приедут живы-здоровы, что они пишут письма и посылают ей привет... И пусть не признается, кто она, опасно это, теперь она Игбала, беженка, а Эрна — это потом!

Женщины-соседки были ласковы с ней. Расчесывали ей волосенки, заплетали косицы. Говорили — быть ей красавицей писаной.

Годы были голодные, нищенские, полные лишений. Кормились чем разживутся — по весне крапивой, летом тыквой, чем придется! Часто без соли.

Девочка прижилась, привыкла. Отзывалась на Игбалу, с ребятишками водилась и гоняла по переулкам, и непросто было отличить ее от других. Калдо наблюдал за ней с радостью. У него не было детей, а теперь вот под старость и дом ожил! Шустрая! Словно перепелочка! Есть и ему о ком заботиться.

— Приедут твои... шлют весточку... ты не беспокойся,— говорил он иногда, а у самого сердце сжималось.

А тут и свобода пришла, вокруг Сараева слышалась стрельба, махальскими проулками спускались с гор партизаны.

Калдо опять занялся перевозкой. Работы было не густо. Все ждал известий от Гаоновых. Почему-то со страхом. Живы, нет ли? И вестей не подают, и не приезжают. Да и мало кто возвращается оттуда. Сожгли их, говорят. А малышка уже вытянулась, подросла,

---

[1] Так называли четников (по имени Дража Михаилова, их организатора).

[2] Шаровары *(турецк.)*.

еще немного — и в школу. Калдо волновался, не знал, как быть. Советовался с женой. И той нелегко. Сроднилась с ребенком, говорит. Калдо вздыхает. Встает ночью, укрывает малышку. Жена шмыгает носом. Девочка смотрит грустно-вопросительно. И она ждет! Калдо прямо извелся. Что ей сказать? Изворачивается, тянет. А обманывать негоже. Грех. Ему ничего не надо, слава богу, а ребенок?

С тяжелым сердцем повел девочку в Народный комитет. И рассказал все как было. Пусть рассудят! Малышка никакая не беженка, не Игбала, а Эрна Гаон, дочка известных Гаоновых из Александрова, аптекаря. Он нашел девочку, когда увезли ее родных, и все такое. При одной мысли, что ребенка отберут, сердце у него разрывалось. Но... для блага же девочки! Выслушали его по порядку, поблагодарили, сказали, что поступил он честно и благородно... Пусть отведет девочку в еврейскую общину, там спросит... может, там больше знают...

Встретили его, выслушали... Такое, сказали торжественно, вытирая слезы, никогда не забудется... Родные... ах, да... пока неизвестно... по сути, известно... только...

Калдо поднялся через силу... повесил голову... Подбородок дрожит... Девочка останется, ее устроят... недостатка ни в чем испытывать не будет... Калдо наклонился поцеловать ее... Слезы застилают глаза...

Эрна-Игбала, вдруг повзрослевшая, рассудительная, словно только сейчас поняла, что ей уготовано. Ее заберут... куда-то отправят... Заплакала. Крепко, судорожно ухватилась за ногу старика худенькими ручонками, прижалась.

— Не хочу никуда... никуда... от дяди Калдо,— захлебывалась, размазывая по лицу слезы.— Никуда... никуда... Я Игбала, беженка...

Напрасно ей объясняют.

Старик разводит руками, сил нет говорить. Крепко прижимает девочку к себе, гладит ее спутанные растрепанные волосенки...

Нелегальный

Окончательно его разбудил страшный грохот. Он едва успел загримироваться: очки в черепаховой оправе, делавшие его пучеглазым, надвинутая низко на лоб шапка, тонкие черные усики — он все опасался, что они отклеятся, и потому поминутно ощупывал их,— усики придавали дешевый, франтовский вид, что сейчас ему было весьма кстати. Он оказался среди прохожих и почувствовал себя вроде бы в безопасности. Ему передали: идут повальные аресты, явки провалены, повсюду засады, необходимо сориентироваться и на время где-нибудь укрыться. Где, как? Нервы — натянутая тетива, на лице беззаботное выражение, он судорожно размышлял, к кому обратиться в случае нужды — такой, как сейчас. Обескураженный, тщетно перебирал знакомых — никого надежного, ко многим и вообще нельзя обратиться ни под каким предлогом. Вот они, люди. Откажут учтиво, а кое-кто и выдаст, цинично, услужливо и ревностно предоставив его приметы: такой-то и такой, ушел в том-то и том направлении! Лишь бы спасти собственную шкуру, лишь бы умилостивить их. Ничтожества, гниды! И все-таки падать духом не следует, нужно во что бы то ни стало и немедля найти убежище! Хотя бы на сегодняшнюю ночь! Иначе каюк. Он судорожно стискивает потными пальцами рукоятку револьвера. До комендантского часа время еще есть — что-нибудь прояснится! Ему показалось, что за ним «хвост», шпики: он ускорил шаги и свернул в первую же улицу. Шаги как будто становились все громче. Вбежал в густую прохладу подво-

ротни дома на Штроссмайеровой, на одном дыхании взлетел на три-четыре пролета, затаился, с бьющимся сердцем ждал! Никого! Показалось! Осторожно вышел. А выйдя, сразу же, словно его осенило, вспомнил про доктора Селеша, большого друга отца — они ведь были неразлучны! Попросить его! Пусть спрячет. Во имя старой дружбы. В кошевской больнице или еще где-нибудь. На день-два, пока все уляжется. Отец и доктор Селеш посиживали по кофейням, играли в кегли, подтрунивали друг над другом. Мать все сердилась: сколько можно... и вообще... Доктор, конечно, выручит. Только как его найти? Бежать в больницу? Но больница охраняется. Позвонить домой? Если он не на дежурстве, тогда...

Почта за углом.

Осмелев, окрыленный надеждой, набрал номер.

— Алло,— прошептал, голос перехватило,— алло, это квартира доктора Селеша?

— Да. А кто его спрашивает? — Женский голос, холодный, неприветливый, раздраженный.

Он пытался завязать беседу, умилостивить, смягчить.

— Один хороший друг! Он мне очень нужен! Всего на минутку! Будьте так добры, позовите его! — Голос просительный, заискивающий.

Пронзительное пустое молчание, какие-то шумы, затем — хлоп! — связь прервалась, трубку положили. Он покрылся холодным потом, позвонил вторично. Долгие гудки! Теперь и трубку не возьмут. Затаились. Да, все ясно. Ведьма, еще вопрос, сказала ли вообще старику о звонке?

Под мышками взмокло; он опять смешался с заметно поредевшими прохожими. Пропала последняя надежда, последний шанс. Что теперь? С темнотой укрыться в какой-нибудь заброшенной развалюхе, залезть в канализацию? Или в кустах Главного парка? Что-то надо предпринять, лишь бы переждать ночь. Или все-таки попробовать выбраться из города? Податься в Ковачичи, а там на Врац! Отстреливаться... Нет, не годится!

Упал духом, глубже натянул шапку на глаза. Остановился в тени Кафедрального собора, чтобы собраться с мыслями. Сутулясь, торопятся прохожие. Патрули озабочены, свистки, вой сирен. Как в аду. Старинная стена толстая, сейчас он почувствовал это спиной. А вдруг его узнают и неожиданно окружат? Не успеешь и подумать о бегстве, не только что выстрелить! Душевные и физические силы на исходе. Колени дрожали, когда он увидел Фату, прозванную Дайтебог,— она ковыляла, скособочившись под тяжестью мешка. Фата, бедолага! Ее приглашали к ним домой убираться. К Фате он мог обратиться без опаски. Живет она на Хриде в старом, покосившемся домишке, и не с главного входа, а сбоку, словно бы в дыре или в норе. Там вечная сырость, сквозняки, нагромождение каких-то труб. Иногда он заходил к ней, чтобы передать мамино приглашение или привет.

Он подал ей неприметный знак. Фата прищурилась. Не узнает. Чего ему надо?.. Оглядывается. Неуверенно подходит.

— Фата, это я...

Она остановилась, от неожиданности тараща глаза, подняла брови.

— Дайтебог... да кто ты?..

И вдруг вспомнила, узнала его.

Тяжело дышит. Не понимает.

— Меня ищут,— выдавливает он глухо.— Мне негде укрыться.

Шел он на приличном расстоянии, чуть в стороне. Смеркалось. Район Башчаршии, пользующийся дурной славой, ресторация «Дри-

на», оттуда слышны крики пьяных усташей[1]. Беледия. Крутые переулки. К дому подходили бочком, словно бы ненароком.

— У меня негде, и самой-то тесно,— сказала Фата,— да есть здесь, дайтебог, чуланчик. Для инструмента. Дам тебе что-нибудь из тряпья.

Он пытался поблагодарить, засуетился, однако она только слегка оттолкнула его.

Копоть, плесень, пыль, хлам. Темень.

— Тут тебя никто не станет искать. Люди не знают про него. Будь покоен, дайтебог. А отыщется что из еды... поделим... Не бог весть что, нищенское...

Скрючившись, уткнув подбородок в колени, слушал он тяжелую поступь Фаты, она двигалась где-то совсем рядом, иногда покашливала, словно от желания подбодрить его. Главное, он в укрытии, в безопасности. А что воняет углем и пылью — это он выдержит. Глоток бы холодной воды, смочить горло, нёбо. Фата его ни о чем не расспрашивала. Добрая душа! Он поддался сентиментальности. Наконец решил устроиться поспать. Не получается! Вслушивается в далекие приглушенные выстрелы, крики, лай собак. И это в родном городе, подумал, я валяюсь на тряпье и слушаю храп Фаты. Жизнь. Все вместе. Вот так. С револьвером под рукой. Извечная густая вонь махалы[2], заснувшие мечети, все тонет в тяжелом черном безмолвии, словно время остановилось. Только собственное дыхание. Мысль. Копоть. А интересно: если его вдруг обнаружат, что он сделает — станет отстреливаться, попытается бежать и, упав, изрешеченный пулями, умрет как подобает или трусливо сдастся и, сломленный духом, перепуганный, начнет вымаливать милость? Хуже всего — он не знает, как бы поступил. Не знает и не будет знать, пока этого не случится. Он так дьявольски слаб, словно слабонервная козявка, всегда пугается, волнуется без причин. Плохо спит. Все, с кем он дружил, были двужильные, чему он завидовал: они казались ему спокойными, сильными, уверенными в себе, и он, подражая друзьям, старался держаться так же. А сейчас ему стыдно признаться: он истерик, слабый, потерявший голову человек. Они бы стали презирать его. Интеллигентик! Самое горькое, что это истинная правда. Или у них нет воображения? Стойкие. Встрепенувшись, он улышал тяжелые шаги по плиткам, стук в дверь. Кто-то стоял прямо над его каморкой. Он задрожал. Лихорадочно стучали зубы.

Слышалось ворчание Фаты с ее обязательным «дайтебог».

Голоса резкие, грубые, голос Фаты заспанный.

— И чегой-то вы, дьявол вас забери, в такую пору ломитесь к сиротинушке горькой... дайтебог...

Наконец уходят, спотыкаясь. Голоса и шаги растворяются во мраке ночи.

Напряжение отпустило. Ноги сами собой подергиваются. Фата прокашлялась, давая знать, что все в порядке.

Мучает, угнетает сознание: он бессовестно переводит у Фаты и без того скудные запасы картошки и кукурузной муки. Говорит ради самоуспокоения: вот только поутихнет, он все вернет, но Фата не хочет и слушать:

— Перестань, дайтебог...

Однажды он понял — с него хватит. И тоскливого ожидания, и страха, и угрызений совести. И себя самого. Он решил выйти. Пройтись по городу. Поискать связи. Сделать что-нибудь. Так больше нельзя. Нельзя. Он выбрался из укрытия, стараясь остаться незамеченным, и вот уже почти беззаботно, в развевающемся плаще, спускается к центру. Дерзко заглядывает в лица испуганных прохожих, патрульных, смешивается с толпой, заходит в магазины. Где

[1] Хорватские националисты.

[2] Квартал *(турецк.)*.

эти агенты? Где эта страшная стоглавая гидра? Пусть ловят, пусть попробуют схватить, чего медлят. Вот он, ждет их. Плечи сами собой расправились. Вид дерзкий. Не иначе они вообразили, что он один из них, из мошенников. Что они могут ему сделать? Идет гордый, твердым шагом. Неожиданно прямо перед собой увидел Краба, страшного Краба, шефа агентов. Идет навстречу. Раньше бы засуетился, растерялся. Теперь же с вызовом уставился Крабу в лицо. Идет не сворачивая. Чуть улыбаясь, нагловато. Пусть его узнает! У Краба глаза зеленые, лицо испитое, волосы прилизаны... И ничуть не страшный! Плюнуть бы на его элегантный костюм... Или... Совсем просто, даже сам удивился, палец лег на курок, и рука вытащила револьвер. Прицелился. Изумление на лице Краба! А он спокойно, словно его не касается, идет дальше. Заходит за угол. Слышит топот, глухой шум, голоса. Нет, он не станет оборачиваться. Он победит себя, свои чувствительные, утонченные, интеллигентские нервы!

Шум становится все слабее, наконец пропадает совсем.

Он убил Краба!

Возможно ли такое? Все равно что бомба взорвалась: это им за то, что они сделали с нашими,— и это только начало, пусть знают! Это предупреждение.

Теперь он не боялся. Поднимаясь к Фатиному чуланчику, понимал, что там он сможет разве что переночевать еще ночь. Надо уходить. Как-нибудь прорвется. Все лучше, чем сидеть так. Сейчас он сдал экзамен. Проверил себя, выдержал испытание. Теперь он знает: главное — не дрогнуть. Все прочее несущественно. Он будет идти сквозь опасность и дальше, не сгибаясь, дерзкий, как сегодня, пока не упадет. И пока жив, будет помнить изумленные зеленоватые, навыкате глаза Краба, и Фатину бессловесную душевность, и прежнюю свою трусливость: как стучали зубы, как дрожал, самоистязаясь вопреки сознанию. Это его унижало. Когда-то! Теперь же в подобных обстоятельствах он лишь чуть соберется, посуровеет, напружит спину...

Как недавно. Как только что.

Перевод Р. ГРЕЦКОЙ

■

МАНУЭЛЬ ДИАС МАРТИНЕС

Вступление и перевод с испанского БОРИСА ДУБИНА

Мануэль Диас Мартинес принадлежит к тому поколению кубинцев, чья юность пришлась на последние годы диктаторского режима Батисты, пору подпольного сопротивления и открытой вооруженной борьбы, завершившейся 1 января 1959 года победой революции. Поэтическое свидетельство того времени — исторического канона — стихотворение «Хроника 1958 года». Оно могло бы показаться идиллическим воспоминанием о детстве, если бы не обобщенность почти газетного заглавия и тревожная заключительная нота стихотворения — внезапно легшая на страницу тень вездесущей власти, от которой не защитят и теплые стены родного дома, когда

с улицы в ворота постучат
и раздастся незнакомый голос:
«Именем закона!»

Отстраненный от учебы за участие в студенческих демонстрациях против диктатуры, Мануэль Диас Мартинес лишь после революции получает возможность завершить образование и активно включается в культурное строительство. Он занимается журналистикой и литературной критикой, работает консультантом в издательствах, советником по вопросам культуры в Болгарии, возглавляет одну из программ гаванского радио. Одна за другой выходят книги его стихов. Сейчас поэт готовит отдельное издание своих очерков о латиноамериканской литературе и новый сборник лирики «Колесница смертных».

Основной жанр его можно было бы назвать «портретом-памяткой». В его стихах, как правило, есть «герой», которому они посвящены, предмет обращения, пусть даже неодушевленный. Это лица родных, картины все более далекого детства, пейзажи Европы, галерея прославленных или безвестных современников; это может быть дерево, дождь, ночной город — их «портреты» очеловечены. И почти всегда в этом мгновенном наброске — предощущение потери и предчувствие памяти, дающей всему дорогому для поэта вторую жизнь.

Одна из ранних книг Диаса Мартинеса называлась «Одиночество и другие темы». Теперь можно сказать, что этими «другими темами» и стали «другие», чьими спасенными от забвения лицами год за годом все теснее заселяется остров памяти поэта. Спустя четверть века в стихотворении, названном «Невозможное одиночество», Мануэль Диас Мартинес как бы подытожит:

весь мир в безостановочном пути
спешит от нас, чтобы уйти с другими
и, полнясь ими, снова к нам прийти.

МАНУЭЛЬ ДИАС МАРТИНЕС — MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ (род. в 1936 г.)

Кубинский поэт. Автор сборников стихов «Одиночество и другие темы» («Soledad y otros temas», 1957), «Дороги» («Los caminos» 1962), «Страна Офелии» («El país de Ofelia», 1965), «Что значит жить» («Vivir es eso», 1968), «Пока скользит пылающая рыба» («Mientras traza su curva el pez de fuego». Ciudad de la Habana, Ediciones Unión, 1984), «Незавершенные стихи» («Poesía inconclusa». Ciudad de la Habana, Editorial Letras Cubanas, 1985).

Публикуемые стихи взяты из двух последних сборников.

Хроника 1958 года

Ветка мушмулы или мамея —
я уже не помню — шелестела
у того забора,

а в просторной сыроватой кухне —
красный кафель плиток,
и душистый лук, и майоран.

А за нею — закоулки дома,
путаного словно лабиринт.
До чего он был тогда прекрасен:

выцветшие краски старых одеял,
синие обои
и портреты в рамках,

сундуки, пропахшие лавандой,
этажерки, столики и стулья,
потемневшие за столько лет.

В узкой галерее под застрехой —
клетки канареек и дроздов,
зачарованных своей руладой,

вечное круженье голубей
и тугая плеть
бешено цветущей пикуалы.

Больше я не помню ничего,
кроме страха, что однажды ночью
с улицы в ворота постучат

и раздастся незнакомый голос:
«Именем закона!»

Край стола

Край стола,
вода,
луковица,
руки.

Край стола,
лепешка,
книга
и шитье.

Край стола,
мой рот
и его конечное молчанье.

© Ediciones Union, 1984
© Editorial Letras Cubanas, 1985

Кто?

Кто там, где я когда-то обитал,
ступени топчет, что и я топтал,
кто ловит луч, который я ловил,
и любит тень, как я ее любил,

мечтает у окна, где я мечтал,
рыдает за дверьми, где я рыдал,
спешит во двор, куда и я спешил,
и всем живет, чем я когда-то жил,

кто тень мою лошадкой понукает,
своей рукой мою отодвигает,
кричит, зовет, мое не помня имя,

кто, обведен моим же силуэтом,
идет к концу — не ведая об этом! —
следами стародавними моими?

Дождь вдруг затих

Дождь вдруг затих.
А только что плясал по мостовой
и шлепал тысячами легких пяток
по зыбким очертаниям
мгновенья.

Играл себе, сверкая чистотой,
плескался, озоруя,
такой короткий и неповторимый,
что сердцу было хорошо — и страшно.

Дождь вдруг затих.
На сбитом в грязь листке
застыла — чудом ото всех чудес —
клокочущая, яростная капля.

Неистребимое безмолвье

Но в сердце мне вошла такая сила,
что не найти ей равных и мечтою
не охватить, и снова
я мучусь тем, чему не сыщешь слова.

Гарсиласо[1]. «Песни», II

Тысячелетье испанского слова.
Боже мой!
Десять веков
разносилась по свету
испанская речь,
и до сих пор не засеяно
столько безмолвья!

[1] Гарсиласо де ла Вега (1503—1536) — великий испанский поэт.

Жить

Жить — значит воздвигать
за миром мир,
и так — ежесекундно!

И день за днем копить воспоминанья,
где звуки, как шаги
в ночной траве.

Стихи к погребенной

Кто вспомнит о тебе? Кто позабудет?
Вот все вопросы — никаких иных.
Была ты нежной, теплой и недолгой,
рожденная как розы для любви.
Когда прохожий различает имя
на сером камне, что́ ты для него?

Уж не застанет новая весна
тебя ни пробужденной, ни уснувшей,
и роз твоих любовь не разожжет.
Не быть тебе недолгой, теплой, нежной.
Кто вспомнит — даст тебе другую жизнь.
Другую смерть — тот, кто тебя забудет.

Смерть поэта

Где его гигантские веки,
исполинская стать поэта?
Где восторженный этот пращник [1],
проходивший по белу свету,
сочиняя за песней песню
и даря их спутнику-ветру?

Той порою глухих засовов
только смерть к нему постучала:
«Я хочу, чтобы плоть поэта
мой кровавый труд увенчала».

Страх и злоба свинцом и сталью
дом печали огородили —
с холодеющим телом Пабло
и его израненным Чили.

Че

Та рука, что вчера еще нас обнимала,
то плечо, на какое любой опирался,
и то сердце, которое всех понимало,
и тот взгляд, что любому в ответ загорался,

[1] «Восторженный пращник» — книга стихов Пабло Неруды.

отчеканены в памяти жгучею болью.
И тот голос его, глуховатый и страстный,
что пространства истории полнил собою,
надо мной и сегодня звучит ежечасно.

Дон Кихот наших дней, пролетарский наш рыцарь,
чьи глаза не мечтателя, а ясновидца
великанов не смешивали с ветряками!

И теперь твоя тень вдоль бескрайних нагорий
к новым битвам спешит, Росинанта пришпоря,
по дорогам, пролегшим иными веками.

Автопортрет

Черпать жизнь из собственных смертей,
день за днем не покладая рук,
не смыкая глаз.

Мой учитель — дерево в саду:
цвет — плодам,
а остальное — в печь.

Диктовка

А ну посмотрим,
ты мне говоришь,
что получилось?
Да и так известно,
и хватит,
точка.
Времени — в обрез!
Давай продолжим.
Мы остановились
на слове «жизнь».
Начнем
опять
с него.

■

ДУБИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1946 г.)

Советский поэт-переводчик. В его переводах публиковались стихи испанских, португальских и латиноамериканских поэтов (А. Мачадо, Х. Р. Хименес, Ф. Гарсиа Лорка, Ф. Пессоа, Х. Л. Борхес), французских (Т. Готье, Г. Аполлинер), венгерского поэта Э. Ади и др.

ДЖОН ИРВИНГ

До Айовы рукой подать

РАССКАЗ

Перевод с английского А. ГЕРАСИМОВА

Миниатюра Джона Ирвинга, писателя среднего поколения, пожалуй, не хуже его романов иллюстрирует целый ряд социальных, нравственно-психологических и бытовых проблем, характерных для так называемого американского образа жизни.

Америка села на автомобиль давно — еще в 20-е годы, теперь же в Штатах возникло целое явление, которое западные социологи называют «автокультурой». Некоторые ее стороны запечатлелись в рассказе Ирвинга. «Вольво» у него предстает как живое, чувствующее существо, тогда как герой рассказа не имеет ни лица, ни характера, ни имени. Он назван функционально — «водитель». Мы почти ничего не узнаем о нем, кроме того, что у него нелады с женой и он бежит от нее, бежит из опостылевшего дома, бесконечно колеся по дорогам страны, бежит, сам не зная куда.

«Вольво» не просто живое существо, но самое б л и з к о е для водителя существо. Он разговаривает с автомобилем так, как в нормальных условиях разговаривают с женой, родителями, детьми, друзьями. В этом — неизбывная одинокость и непреодолимая отчужденность человека за рулем.

Насилие и жестокость, как раковая опухоль, разъедающая общественный организм Америки, находят яркое выражение в бессмысленно чудовищном акте вандализма. Кто-то покорежил «Вольво» — точно так же, как покорежена душа и психика водителя.

Произведениям Ирвинга вообще присущ некоторый художественный сдвиг, намеренная неопределенность, даже неясность. Так и здесь. У рассказа две концовки: благополучная и трагичная. Катастрофа — то ли одно из вероятий, какими так богата действительность, то ли подлинное происшествие (или самоубийство). Однако в данном случае это не имеет особого значения, потому что благополучный исход — возвращение домой — обещает только то, от чего хотел убежать герой.

Проза Джона Ирвинга публикуется на русском языке впервые.

© 1973 by Esquire Inc.

ДЖОН ИРВИНГ — JOHN IRWING (род. в 1942 г.)

Американский писатель. Начал печататься в 60-е годы. Автор повестей «Выпускаю медведей на волю» («Setting Free the Bears», 1973), «Веривший воде» («The Water-Method Man», 1975); романов «Мир по Гарпу» («The World According to Garp», 1976), «Отель «Нью-Гэмпшир» («Hotel «New Hampshire», 1981), «Инструкции для сидроварильни» («The Cider House Rules», 1985). Рассказ Дж. Ирвинга «До Айовы рукой подать» взят из журнала «Эсквайр» («Esquire», Nov. 1973).

Водитель любил путешествовать — в дороге хорошо думалось. Тем не менее его «Вольво» не доводилось бывать за пределами Вермонта. Водитель не забывал о своих обязанностях: он следил за уровнем масла и чистотой ветрового стекла, а в нагрудном кармашке рядом с шариковой ручкой носил манометр для измерения давления в шинах. Ручка была нужна, чтобы делать записи в путевом журнале — расход горючего, дорожные налоги, время пути.

«Вольво» умел ценить заботливость своего хозяина; вермонтская автострада номер девять, соединявшая Братлборо с Беннингтоном, не вызывала опасений. Увидев первый указатель направления на Нью-Йорк, водитель сказал «Вольво»: «Все в порядке». «Вольво» верил своему хозяину.

Это был двухдверный ярко-красный «седан» 1969 года выпуска, на черных радиальных шинах «Семперит», с четырьмя передачами, двумя карбюраторами и пробегом 45 238 миль, без радио. Водитель чувствовал, что радио мешало бы им обоим.

Они выехали из Вермонта глубокой ночью.

— Восход встретим в Пенсильвании,— сказал водитель встревоженному «Вольво».

В Трое, штат Нью-Йорк, водитель долго ехал на понижающих передачах и заверял «Вольво» ласковым голосом, что скоро они выберутся на прямую дорогу.

— Осталось совсем немного,— успокаивал он.

«Вольво» верил ему на слово. Иногда надо предаваться иллюзиям.

Возле съезда на нью-йоркскую автомагистраль какой-то растерявшийся «фольксваген» проявил нерешительность при выборе полосы движения. Водитель прижался к «фольксвагену» сзади и разрешил «Вольво» посигналить; перепуганный «фольксваген» метнулся вправо. «Вольво» устремился влево и, вырвавшись из образовавшегося затора, возмущенно помигал хвостовыми огнями.

«Вольво» почувствовал себя лучше.

По нью-йоркской автомагистрали можно ехать прямиком очень и очень долго. Водитель знал, что однообразие — вещь опасная. Поэтому возле Сиракьюса он съехал с автомагистрали и сделал большой крюк в сторону Итаки, обогнул озеро Кейюга и вернулся на автомагистраль неподалеку от Рочестера. Местность вдоль дороги напоминала Вермонт. Это успокаивало. В воздухе разливался аромат зреющих яблок, кленовые листья кружились в свете фар и падали на дорогу. Лишь в одном месте из ночи выскочил странный знак, который отчасти нарушил спокойствие «Вольво». На щите было написано: «Живая приманка». Водителю это тоже показалось странным, но он знал, что проявлять беспокойство не следует. Беспокойство — вещь заразная.

— Это просто маленькие червяки,— сказал водитель мягко урчавшему в ответ «Вольво». Но в голове водителя затаилась мысль о существовании приманки другого рода — «приманки наоборот», действующей по обратному принципу: вместо того чтобы заманивать рыбу на крючок, она гонит ее прочь из водоема. Стоит бросить немного этой особой «приманки» в воду, и перепуганная, задыхающаяся рыба сама выскочит на берег вам в руки. А может быть, «Живая приманка» — это просто вывеска ночного клуба?

Вернувшись на автомагистраль, водитель испытал облегчение. Не всегда съезд с большой дороги заканчивается благополучным возвращением. Но водитель лишь похлопал рукой по приборной панели и сказал:

— Скоро будем в Баффало.

Небо озарилось светом — тем светом, что знаком лишь охотникам на уток и влюбленным, не знающим усталости. Водителю редко доводилось видеть этот свет.

Стальная гладь озера Эри напоминала поверхность океана в безветренную погоду; на пенсильванской автостраде попадались только ранние пташки, спешившие на своих автомобилях в Огайо.

— Не дай Кливленду вымотать тебя,— предупредил водитель.

«Вольво» был в отличной форме — ступицы не грелись, пробег на одном галлоне горючего — 22,3 мили, уровень масла — по верхней риске, уровень электролита в аккумуляторе — нормальный. О тяжелой ночи, проведенной в пути, свидетельствовала лишь масса таинственных следов, оставленных на ветровом стекле разбившимися насекомыми, множество которых застряло также в решетке радиатора.

Служащему бензоколонки пришлось изрядно поработать резиновым скребком.

— Куда путь держишь? — спросил он водителя, но тот лишь пожал плечами. «Никуда!» — хотелось закричать ему, но ведь «Вольво» находился рядом.

Иногда приходится быть осторожным, чтобы твои слова не причинили кому-то боли. Водитель, например, никому не сказал о своем отъезде.

Они выскользнули из объятий Кливленда, обогнув его по окружной дороге; за спиной им чудилось недовольное ворчание города, которому в этот утренний час пик не удалось пропустить их через свое чрево.

На указателе было написано «Колумбус», и стрелка указывала на юг, но водитель только презрительно фыркнул и повернул на запад.

— Всех тебе благ, Колумбус,— сказал водитель.

Если вам удалось преодолеть тяготы ночной езды и утром вы понимаете, что обогнали на эту ночь весь мир, тогда даже Огайо не так уж далеко, даже до Толидо рукой подать.

— Позавтракаем в Толидо,— смело объявил водитель.

Шедший со скоростью семьдесят пять миль в час «Вольво» вздрогнул, рванул до восьмидесяти и обрел «второе дыхание». Солнце вставало у них за спиной, и они вместе любовались бегущей впереди тенью «Вольво». Им казалось, что эта тень доведет их до Индианы.

Если мы хотим чего-то достичь, иногда стоит предаваться иллюзиям — особенно тем, что возникают перед нами ранним утром.

Стали появляться съезды на Сандаски. Водитель остановил машину возле одного из многочисленных безымянных павильонов для отдыха; из-за калильного зажигания мотор не желал глохнуть, и его пришлось усмирить при помощи сцепления. У обоих это вызвало раздражение. Подсчитав пробег и расход горючего после очередной заправки, водитель легкомысленно позволил себе выразить недовольство:

— Четырнадцать и семь десятых мили на галлоне! — Тут же он стал заверять «Вольво», что вовсе не хотел задеть его:— Все дело в бензине. Тебе дали плохой бензин.

Послушав работу двигателя на холостом ходу, водитель отъехал от павильона. Он подумал, что сейчас самое время сказать: «А масло-то — по верхней риске, ни капли не выгорело». Это было неправдой. Масла выгорело примерно полкварты — доливать еще не требовалось, но все же уровень масла понизился. Проезжая мимо одного из многочисленных съездов на Сандаски, водитель задумался: а знает ли об этом «Вольво»? Внутри у водителя что-то екнуло. В дальних

поездках доверие важнее всего. Может ли автомобиль ощущать, что у него падает уровень масла?

«Завтрак в Толидо» горьким упреком ворочался в голове водителя. Проснувшийся голод напоминал ему, что завтрак понапрасну ждет его возле любого из четырнадцати съездов, которые лгали, будто приведут в Сандаски. Господи, что же такое этот Сандаски на самом деле?

«Вольво», напоенный и умытый, после Баффало не отдыхал по-настоящему ни разу. Водитель тоже решил обойтись без завтрака.

— Я вовсе не голоден,— бодро сказал он, ощутив на своих плечах тяжесть второй лжи.

Водитель знал, что некоторые жертвы носят символический характер. Раз уж вы единое целое, то все должны делить поровну, и в первую очередь страдания. Участок дороги со знаком «Толидо», пройденный в молчании, принес неизъяснимое облегчение. Что касается падения уровня масла, то водитель чувствовал, что пережил его на равных с «Вольво». О, Огайо.

Форт-Уэйн, Элкхарт, Манси, Гэри, Терре-Хот, Мичиган-Сити — о, Индиана! Иная страна, не закованная в бетон.

— Зелени как в Вермонте,— прошептал водитель. Вермонт! Магическое слово.— Конечно, я просто хочу ему польстить,— добавил он и испугался: не слишком ли много он сказал?

В Лагрейндже над «Вольво» разразилась гроза с проливным, очистительным ливнем; пробег на одном галлоне горючего составлял двадцать и две десятых мили. До самого Нигонира распевал водитель эту цифру, словно литанию. Продвигаясь в глубь штата, водитель ощутил приближение незнакомого доселе «третьего дыхания».

Коровам, видимо, нравилось жить в Индиане. Но что представляет из себя типичный индианец?

Поужинать в Саут-Бенде? Это в двух-то шагах от Нотр-Дама? Что за чушь! Пробег на одном галлоне горючего — двадцать три и пять десятых мили! Поднажмем!

Даже гостиницы выглядели заманчиво; рядом с ними поблескивали бассейны. Выспись хорошенько! — казалось, пела Индиана.

— Еще не время,— сказал водитель.

Он уже видел указатели направления на Чикаго. Проснуться утром с мыслью, что обвел Чикаго вокруг пальца, преодолел благополучно — вот это будет здорово!

На границе Иллинойса он прикинул время пути, расстояние до Чикаго, отметил, что приедет туда в самый час пик... Калильное зажигание прекратилось, при выключении мотор сразу же глох. Индиана придала им сил, так стоит ли бояться Иллинойса?

— Мы проедем Чикаго к половине седьмого вечера,— сказал водитель.— Час пик уже будет на спаде. Остановку сделаем сразу, как только выберемся на природу. И тебя помоем, и я искупаюсь! Полосатая зубатка из Миссисипи, сваренная в белом вине, коньяк в баре «Красный атлас», зальем в бак пинту спецдобавки, давление в шинах немного понизим, в десять ляжем, с первыми лучами солнца пересечем Миссисипи, позавтракаем в Айове, попробуем колбасу местного изготовления, к полудню будем в Небраске, кукурузные оладьи к ленчу...

Он уговорил «Вольво». Они ехали в страну, которая именуется страной Линкольна.

— Прощай, Индиана! Спасибо тебе, Индиана! — пропел водитель строчку из старой песенки «Хотел бы я быть индианцем», музыка М. Лэмперта. Мы готовы на все, лишь бы убедить себя, что нас ничто не тревожит.

Солнце, висевшее еще высоко, просвечивало сквозь дымку смога. Покрытие из гудрона сменилось бетонным, трещины постукивали ежесекундно: «тинка-танк...». Дым от жаровен, стоящих под открытым небом, стлался над бесконечной однообразной округой. У первой шоссейной развязки возле Чикаго водитель остановился заправиться, проверил падающий уровень масла, давление в шинах — просто так, для спокойствия. Движение становилось все более интенсивным. Транзистор, висевший на шее служащего бензоколонки, сообщал, что температура воды в озере Мичиган семьдесят два градуса по Фаренгейту.

Водитель икнул. Он заметил, что часы на бензоколонке и его наручные показывают разное время. Где-то он переехал в иной часовой пояс — возможно, в той стране, имя которой Индиана. Он подъезжал к Чикаго на час раньше, чем рассчитывал: вершина часа пик неслась за ними по пятам. Вокруг стояли мотели с плавательными бассейнами, вода в них была темной от копоти. Он представил себе коров в старой доброй Индиане, по утрам он просыпался бы от нежного звона их колокольчиков. Выехав из Вермонта в полночь, он провел в пути восемнадцать с половиной часов и лишь раз перекусил в Баффало.

— Один серьезный промах за восемнадцать с половиной часов — не так уж плохо,— сказал он «Вольво».

Оптимисты не могут обойтись без подобных замечаний. Сколько же надо всего не заметить, чтобы счесть этот промах первым?

— Привет тебе, Иллинойс. Привет тебе, половина Чикаго.

«Вольво» выпил кварту масла, точно бокал с индианским коктейлем, о котором мечтал водитель.

Если Сандаски показался водителю непомерно раздувшимся, то что уж говорить о Джолиете.

Два часа кружения по дорогам с бесчисленными поворотами увели его менее чем на тридцать миль к юго-западу от Чикаго. Он оказался там, где пересекаются дороги едущих на Запад — даже в Омаху — и на Юг, в Сент-Луис, Мемфис и Новый Орлеан, а также тех странствующих безумцев, что держат путь на Север, в Милуоки и Грин-Бей, и более редких путешественников, направляющихся в Сандаски и на Восток.

В Джолиете, штат Иллинойс, Чикаго парковал на ночь свои грузовики. Здесь люди, спутавшие дорогу на Висконсин с дорогой на Миссури, осознавали ошибку и приходили в отчаяние.

Пересечение четырех многополосных автострад, которые сплелись в узел, словно пара пауков, породило множество гостиниц: две «Говард Джонс мотор лоджис», три «Холидей инн» и две «Грейт уэстерн мотелз» — все с крытыми бассейнами, кондиционерами и цветными телевизорами. Цветное ТВ — абсурдная в своей наивности попытка: о каких красках может идти речь в месте, которое и не представишь иначе как черно-белым?

В восемь тридцать вечера водитель съехал с автострады.

— Вот невезение,— сказал он «Вольво».

В «Холидей инн» не было мойки для машин. Вряд ли «Вольво» услышал эти слова, и вряд ли его можно было утешить. «Вольво» мучился приступом калильного зажигания. Водитель не выдержал.

— Чертова машина,— пробормотал он и тут же смутился—вспышки быстро утихли.

«Вольво» полегчало. Автомобиль стоял, шипя валившим из радиатора паром, с раскаленными окаменевшими шинами, с безнадежно разлаженными карбюраторами, покрытыми нагаром цилиндрами, забитым грязью масляным фильтром.

— Прости меня,— сказал водитель.— Я совсем не хотел тебя обидеть. Завтра мы все начнем сначала.

В мрачной гостинице, залитой зеленым светом и уставленной аквариумами с черепахами и пальмами в кадках, оказалась тысяча сто зарегистрированных путешественников. Все они тоже находились в надломленном состоянии и говорили своим детям, женам, машинам: «Прости меня, завтра мы все начнем сначала».

Но недоверие чувствовалось во всем. Когда пропадает доверие, становится не так тревожно.

Водитель знал, когда пропало доверие. Он сидел на массивной двуспальной кровати в номере 879 в «Холидей инн» и звонил жене в Вермонт.

— Здравствуй, это я,— сказал он.

— Где же ты был? — закричала она.— Господи, тебя все ищут.

— Извини,— сказал он.

— Я обыскалась тебя на этой ужасной вечеринке,— сказала она.— Я была уверена, что ты куда-то улизнул с Элен Краниц.

— Что за чушь!

— Когда я нашла ее, мне даже стыдно стало... она была с Эдом Пойнсом.

— Да?

— А когда я увидела, что ты забрал машину, я испугалась, что ты много выпил...

— Я не был пьян.

— О Дереке Маршалле, который подбросил меня до дома, этого нельзя было сказать.

— Мне очень жаль.

— Так ничего же не случилось?

— Мне очень жаль...

— Ему жаль!— вскрикнула она.— Ты где находишься? Мне понадобилась машина отвезти Кэри к зубному врачу. Я звонила в полицию.

— Это еще зачем?

— Я думала, ты уже в каком-нибудь кювете.

— Машина в порядке.

— Машина! — вскрикнула она.— Ты-то где?

— Я в Джолиете, штат Иллинойс.

— Хватит с меня твоих дурацких шуточек...

— Если бы мы не застряли в Чикаго, я был бы уже в Айове.

— Кто это «мы»?

— Я один.

— Ты сказал «мы».

— Извини...

— Я только хочу знать, будешь ты к вечеру дома?

— Вряд ли я смогу быть дома,— сказал водитель.

— На меня тут свалился Дерек Маршалл, а все из-за тебя. Он возил Кэри к зубному врачу.

— Ну и что?

— Мне пришлось его пригласить. Разумеется, он вел себя по-джентльменски. Знаешь, он тоже беспокоится о тебе.

— Какого черта?..

— Ты не имеешь права со мной так говорить. Когда ты собираешься вернуться?

Мысль о возвращении не приходила водителю в голову. Поэтому он помедлил с ответом.

— Я хочу знать, где ты действительно находишься,— сказала жена.

— Джолиет, штат Иллинойс.

Она повесила трубку.

Теперь водителю стало не так тревожно.

Купаясь в крытом бассейне, водитель почувствовал раздражение. Бассейн напоминал ему аквариум с черепахами в вестибюле «Холидей инн». Прочь отсюда, решил он.

В ресторане «Беседка, увитая плющом» водитель изучил на удивление разнообразное меню и заказал салат из крабов. Салат принесли. Неужели и правда в озере Мичиган водятся крабы?

В баре «Таити» он заказал коньяк.

Местное телевидение сообщало о дорожных происшествиях истекшего дня; их кровавый калейдоскоп, мрачный перечень жертв гнал посетителя прочь из бара, в объятия беспокойного сна. Возможно, для этого сообщение и передавалось.

Прежде чем лечь в постель, водитель пожелал «Вольво» спокойной ночи. Он проверил шины, проверил чистоту масла, осмотрел трещину в ветровом стекле.

— Наверное, тебе было больно.

Дерек Маршалл! Мне тоже было больно.

Водитель вспомнил «эту ужасную вечеринку». Малышку Кэри оставили у соседей; никто не заметил, как он уехал домой. Он зашел в ванную за зубной щеткой.

Платье жены, его любимое платье, висело в ванной на крючке. Он уткнулся носом в шелковую ткань, почувствовал слабость; отстраняясь от него, зацепил манометром за застежку.

— Прощай,— твердо сказал он платью.

На мгновение ему пришло в голову: а не прихватить ли с собой всю ее одежду? Но уже полночь — пора в путь! Он направился к «Вольво».

Его жена ярко-красного цвета... Нет. Она блондинка, состоит в браке семь лет, имеет одного ребенка, а радио у нее нет. Радио мешает им обоим. Нет, все не так. Его жена носит платья десятого размера и бюстгальтер размера 36 Б, снашивает за сезон три пары босоножек и проезжает в среднем двадцать три и четыре десятых мили на одном галлоне... нет! Она миниатюрная брюнетка с сильными пальцами и бездонными глазами цвета морской волны; предаваясь любви, она обычно откидывает голову назад, как борец, вставший на «мост», или как человек, которому делают искусственное дыхание... У нее стройная, изящная фигура, и она обожает все, что облегает ее, прилипает к ней, виснет на ней... одежду, детей, больших собак и мужчин. Неправда. Она высокая, с длинными бедрами и вихляющей походкой, у нее большой рот размера 38 Д...

Наконец организм водителя восстал против испытания, которому его подвергал неисправный кондиционер: он громко чихнул и проснулся. Он отложил мысли о жене, о всех прочих женщинах в дальний угол своего сознания, напоминавший пустой вместительный багажник «Вольво». Он стоял под душем и думал о том, что наступил день, когда он увидит Миссисипи.

В действительности люди плохо знают самих себя, им нравится бередить свои раны.

Водитель собирался выехать, не дожидаясь завтрака. Он уже привык к превратностям судьбы, но надругательство, совершенное над «Вольво», потрясло бы любого человека, даже знакомого с дорожными нравами. «Вольво» стал жертвой вандализма. Он стоял возле двери мотеля, словно жена, которую во время ночной попойки выгнали из дома и которая ждет наступления дня, чтобы ударить под дых укорами совести.

— О боже, что с тобой сделали?

Все колпаки с колес были сорваны, гайки и ступицы обнажены, зеркальце бокового обзора украдено. Кто-то пытался отвинтить держатель зеркальца, но отвертка оказалась то ли слишком велика, то

ли слишком мала для винтов; винты были покорежены, вор оставил держатель на месте и попросту выломал зеркальце из шарнирного соединения. Пустое шарнирное гнездо казалось водителю кровоточащим плечом, из которого вырвали руку.

Они разбили ветровик и пытались открыть дверцу, но «Вольво» устоял. Вырвали резиновый уплотнитель со стороны водителя, но открыть замок им не удалось. Они пытались вломиться через окно — паутина трещин покрывала стекло со стороны пассажира. Пытались открыть крышку бензобака, чтобы выкачать бензин, насыпать песку или бросить спичку, они повредили запор, но до бака не добрались. Пытались поднять капот, но капот выдержал. Некоторые пластинки решетки были вдавлены внутрь, одна, отогнутая наружу, не выдержала и обломилась. Обломок торчал, точно рог.

В довершение всего разочарованные насильники, жалкая шайка джолиетской шпаны,— а может быть, это кто-то из постояльцев мотеля, раздраженный номерными знаками чужого штата, решил свести счеты с Вермонтом? — кто бы это ни был, в довершение бессмысленной жестокости этот кто-то взял инструмент (возможно, штопор из туристского складного ножа) и процарапал на ярко-красном капоте «Вольво» нецензурное слово. Царапины были глубокие, они доходили до самой стали... вот какое слово было нацарапано.

— ..? — вскрикнул водитель. Он прикрыл рану рукой.— Подонки! Свиньи, мерзкие подонки! — взревел он. В том крыле здания, перед которым он стоял, спало двести путешественников.— Трусливые вредители! — орал он.— Кто это сделал? — требовал он ответа.

Несколько балконных дверей открылись. Испуганные, заспанные люди смотрели на него. Из-за их спин доносились голоса женщин:

— Кто это? Что там происходит?

— ..! — вопил водитель.— ..!

— Эй ты, еще только шесть часов утра,— проворчал кто-то в дверях первого этажа и, быстро отступив назад, захлопнул за собой дверь.

Не так-то просто усмирить человека, которого охватило настоящее бешенство. Будь водитель пьяным или просто дебоширом, разбуженные путешественники заставили бы его умолкнуть. Но он был безумным — это видели все, а тут уж ничего не поделаешь.

— Что происходит, Фред?

— Какой-то парень свихнулся. Спи.

О Джолиет, штат Иллинойс, ты хуже чистилища, за которое я принял тебя поначалу!

Водитель потрогал замасленный держатель, на котором раньше крепилось элегантное зеркальце.

— Все будет в порядке,— сказал он.— Не беспокойся, будешь как новенький.

..! Это отвратительное слово, вырезанное на капоте, так бросалось в глаза, что водитель устыдился его грубой непристойности. Казалось, оно компрометирует его самого. Он увидел, как Дерек Маршалл подходит к его жене: «Послушай, подбросить тебя домой?»

— Ну что ж,— заплетающимся от усталости языком сказал водитель своему «Вольво».— Ну что ж, хватит с тебя. Пора домой.

Внезапная кротость водителя, его неожиданное благоразумие произвели впечатление. Обитатели второго этажа стали закрывать двери. Водитель прикрыл рукой слово, вырезанное на капоте. Он плакал.

Он проделал весь этот путь, чтобы уйти от жены, а добился лишь того, что изуродовал свой автомобиль.

Но невозможно доехать до Джолиета, штат Иллинойс, и не увидеть Миссисипи — главную артерию Среднего Запада, рубеж, с которого начинается путь на Дальний Запад. Нет, вы еще не попали на

Запад, если не пересекли Миссисипи; вы не можете сказать, что побывали там, если не дошли до Айовы.

Если же вы видели Айову, то вы видели место, где начинается Запад.

Водитель знал это; он попросил у «Вольво» разрешения только взглянуть.

— Мы сразу повернем обратно, я обещаю. Я хочу только увидеть ее,— говорил он.— Миссисипи. И Айову...— Места, куда он мог бы уехать.

Подавленный «Вольво» вез его через Иллинойс: через Старвд-Рок-стейт-парк, через Уэнону, Мендоту, Генри, Кевани, Дженесио, Рок-Айленд и Молин. Перед мостом через Миссисипи — мостом, переносящим вас в Айову,— была площадка для отдыха водителей. О Давенпорт, Уэст-Либерти и озеро Мак-Брайд!

Всего этого он уже не увидит. Он стоял возле «Вольво» и смотрел на ширь Миссисипи, катившей свои желтоватые воды. Что такое река для того, кто видел Атлантику! Но за этой рекой... начиналась Айова, а это совсем иная страна по сравнению с Иллинойсом! Водитель видел кукурузные поля, они напоминали армию болельщиков, размахивающих флажками. Там разводили гигантских свиней, он слышал об этом; он представил их себе — ему пришлось это сделать, так как на том берегу Миссисипи не было видно никаких свиней.

— Когда-нибудь в другой раз...— сказал водитель. Часть его души страшилась, что это сбудется, а другая часть страстно желала этого. «Вольво», пошедший на компромисс, стоял и ждал; изуродованная решетка и непотребное слово указывали на восток.

— Ну хорошо, хорошо...— пробормотал водитель.

Будь благодарен за то слабое чувство ориентации, которое у тебя есть. Бывает и так: в пылу метаний между востоком и западом водитель вдруг обнаружил, что едет в северном направлении — по полосе, ведущей на юг!

Из дела № 459 дорожной полиции штата Миссури: «Водитель автомашины марки «вольво» ехал по полосе встречного движения, что явилось причиной столкновения с бетономешалкой. Со стороны водителя последней нарушений правил движения не выявлено. На месте происшествия была найдена записная книжка с телефоном водителя «вольво». Ответил мужчина, назвавшийся Дереком Маршаллом. Он обещал передать известие вдове погибшего, как только она проснется».

Конечно, главные трудности еще впереди. Предстояло миновать пересечения дорог у Сандаски, а водитель находился уже не в лучшей форме. Впереди маячил Огайо, точно те годы брака, которые он так и не прожил. Но следовало подумать и о «Вольво». Ему, видно, на роду написано так и остаться в Вермонте. Ничего не поделаешь, придется деликатно замять эту историю с Дереком Маршаллом.

Он видел Миссисипи и щедрую, плодородную равнину, что простиралась за ней. Кто может сказать, какие сладостные тайны открыла бы ему Айова? Не говоря уже о Небраске. Или о Вайоминге! У водителя перехватило горло. Он вспомнил, что ему придется еще раз проехать через Джолиет, штат Иллинойс.

Нелегок путь домой. Но чего он добьется своим отсутствием?

В Ла-Салле, штат Иллинойс, водитель кое-как привел «Вольво» в порядок, установил новые стеклоочистители (он сразу и не заметил, что старые украли), приделал временное зеркальце бокового обзора, непристойное слово замазал антикоррозийной смазкой. Масло держалось на нужном уровне, но водитель обнаружил, что вандалы

натыкали в вентили маленьких камешков, чтобы при езде из камер выходил воздух. Служащему бензоколонки пришлось сорвать поврежденную крышку бензобака, чтобы залить бензин. Пробег на одном галлоне горючего составлял двадцать три и четыре десятых мили. «Вольво» не желал падать духом.

— Дома я тебя подкрашу,— сказал водитель.— Ты уж потерпи.

В конце концов впереди лежала Индиана. Некоторые вещи даже лучше воспринимаются во второй раз. В голову пришло сравнение: его брак напоминал бесконечную вражду между Огайо и Индианой — неустойчивое состояние на грани взрыва, предотвращаемого мирными договорами, которые заключались время от времени. Айова могла бы стать решающим аргументом. А может быть, некоторые реки лучше не пересекать? На одном комплекте покрышек в среднем по стране проезжают 25 000 миль, а у многих они снашиваются гораздо раньше. Пробег «Вольво» составлял 46 251 милю — с первым комплектом покрышек.

Нет, каким бы прекрасным и притягательным ни представлялось будущее в Айове, нельзя все же вести машину, не отрывая взгляда от зеркала заднего обзора. Теперь водитель уже стремился домой, на восток. Но сохранять решимость не так-то просто. Стойкость требует постоянного поощрения. Повторение утомляет. И вот приходит расплата за временное избавление от страданий.

■

ФЕРНАНДО НАМОРА

Река печали

РОМАН

Перевод с португальского ЛИЛИАНЫ БРЕВЕРН

На этот раз к прессе обратилась сама полиция. Случай оказался не таким простым и не остался незамеченным. Исчез человек, его домашних беспокоят загадочные телефонные звонки, а на пароме, курсирующем между Лиссабоном и Касильясом, нашли плащ. Человека, который был одет в этот плащ (или, наоборот, который в тот день так и не надел этого плаща), видели как раз на одном из паромов, он стоял, прислонившись к борту так, как будто страдал морской болезнью. Даже если все эти мелочи и не принимать во внимание, то от факта, что пассажир, поспешивший сойти сразу же, как только паром подошел к берегу, привлек внимание другого пассажира, который и обнаружил на скамье забытый плащ и попытался догнать его владельца, чего ему не удалось сделать, никуда не денешься. Не став утруждать себя розысками рассеянного человека, тот пассажир, что нашел плащ, отдал его капитану. Позже плащ поступил в бюро находок полицейского участка, а оттуда перекочевал в отдел розыска пропавших без вести, и перекочевал только потому, что сотрудник бюро находок прочел заметку Феррейриньи[1] об исчезновении Родриго дос Сантос Абрантеса.

Вот теперь появилась та самая перчинка, которой так не хватало главному редактору «Трибуны», чтобы заинтересоваться материалом Феррейры. И он крикнул ему:

— А твой пропавший все еще играет в прятки.

В тот самый момент Феррейринья был поглощен работой над хроникой-репортажем о мошенничестве цыганок и не расслышал слов шефа. Шеф повысил голос:

— Ты понял, о ком я? О *твоем* типе.

— О каком *моем* типе?

— Ну, который ушел из дома и исчез. Ты сохранил его фотографию?

Феррейринья остановился на полуслове фразы, выходившей из-под шарика его ручки («завладев золотом и деньгами заве...»), спокойно ответил:

— Случайно.

— Давай сюда. Тиснем ее в сегодняшний номер.

Репортер извлек фотографию из ящика стола (он взял ее у Терезы, отметив про себя, что лишний материал никогда не помешает), еще раз внимательно посмотрел на нее и с деланной неохотой протянул шефу. Он понимал, что упрекать шефа в том, что совсем недавно тот считал данный случай незначительным, он не мог, но напомнить ему о своей прозорливости не мешает:

— Выходит, моя «касса» не такая уж пустая!

---

[1] Феррейринья — уменьшительное от фамилии Феррейра.

Продолжение. Начало см. в № 3.

— Этого я еще не знаю. Раньше времени не задавайся. Знаю только, что тебе следует еще раз навестить жену Родриго. Расспросить ее хорошенько, словом, заставить разговориться. Делом заинтересовалась полиция.— Сказав это, он тут же поймал себя на новой мысли и добавил: — А вдруг этот тип связан с подпольщиками?

— С политикой?

— Почему бы и нет?

Феррейринья, прежде чем вновь углубиться в свой репортаж о цыганах, бросил, не поднимая головы:

— Тогда передайте этот материал кому-нибудь другому. Я в ПИДЕ не служу.

— Не болтай глупостей. Это всего лишь мои предположения. Но если и в самом деле тут замешана политика, я первый пошлю все к чертям. Слышишь?

Естественно, Феррейринья слышал. Слышал он, и слышали все остальные. Алсиндо, например, просто весь в слух обратился, и на губах его появилась сочувственная улыбка. От этой улыбки у Феррейры задрожали пальцы, шариковая ручка вышла из повиновения, слова, ложившиеся на бумагу, разобрать было невозможно — все буквы кривые.

— Дайте мне закончить начатое.

— А над чем ты корпишь?

— Да над историей с цыганами.

— Отложи до завтра.

— Но о цыганах предложила напечатать «Илустрадо».

— Тогда кончай. Много тебе еще осталось?

— Нет, самый финал.

— Закругляйся и показывай. Для меня твой Родриго Абрантес важнее цыган. И ты заслужил, чтобы им заниматься.

— Заслужил?

Шеф предпочел не расслышать вопроса и тут же занялся Жануарио, который с начала их разговора стоял возле его стола с листками бумаги в руках. Жануарио был неисправимым бездельником, способным просидеть полдня над тремя страницами. А потому единственным способом заставить Жануарио трудиться и не разлагать других было придуманное шефом чтение вслух (лентяй отличался красивым баритоном, и это при таком тщедушном теле) всего того, что он написал за рабочий день своим крупным витиеватым почерком.

Феррейринья принял условия игры и уступил Жануарио после того, как тот несколько раз дотронулся до горла, точно устраняя какую-то помеху, прежде чем приступить к исполнению своего номера. Потом шеф займется его текстом. И как только Жануарио закончил церемонию чтения и в знак чрезвычайного удовлетворения самим собой тряхнул головой, Феррейринья сказал: «Готово, шеф, пожалуйста».

Однако на всякий случай пробежал глазами заметку по диагонали: «В селении Соуто (провинция Алто-Алентежо) сеньора Кармо Видрейро — мельничиха, по словам соседей, женщина бойкая и осмотрительная, на днях была обманута цыганами, которые прибегли к столь обычному для них и всегда действенному приему, как «вкрадчивые речи». Вначале сеньора Кармо с презрением от цыганок отмахнулась, но потом, когда оказалось, что им ничего, кроме ее ладони, не нужно, чтобы сказать ей всю правду, попалась на удочку.

Следует заметить, что муж сеньоры Кармо — вот тут-то черт ее и попутал — проживает сейчас во Франции. Сначала над гаданием цыганок она подсмеивалась, потом ее разобрало любопытство, любопытство сменилось сомнением в верности своего мужа, а сомнение — желанием узнать, как ведет себя ее муж в столь долгой отлучке. А цыганки только того и ждали (шефу эта пачкотня не понравится) и тут же притворились ясновидящими (взять слово «ясновидящие»

в кавычки или оставить так?) и пошли чесать языками. Супруг, мол, ее такой-сякой, неверный, завел себе любовницу — бесстыжую, алчную бабенку, которая все денежки из него вытягивает. И если не удержать его от этого безумия, кончит плохо: оберет она его как липку.

Сеньора Кармо встревожилась и разгневалась. Она почувствовала, что нужно действовать, и как можно скорее. Но что, господи, она могла сделать? (Шефа бесит каждое неточное слово или фраза.) А может, цыганки ей помогут? Конечно, помогут, и лучше, чем кто-либо другой. Обе они, мать и дочь, согласились ехать во Францию и вырвать несчастного из когтей распутницы. Вот только Франция далеко и дорога туда стоит недешево. Если, конечно, сеньора даст денег на дорогу, то они согласны. Сколько у нее есть сейчас? Золотая цепочка и две тысячи эскудо?

Не так мало, конечно, но еще бы тысчонки две надо — сущий пустяк, а дело того заслуживает: муж сеньоры вернется к разумной жизни. Сеньора Кармо тут же пошла к родственникам и взяла взаймы нужные деньги. Да, взаймы, ведь как только муж избавится от этой чертовой француженки и вернется на путь истинный, он опять начнет зарабатывать деньги и откладывать на черный день.

Завладев золотом и деньгами и поклявшись выполнить все, что обещали: «Кто мы, по-вашему, сеньора?»— цыганки отправились в то путешествие, из которого, само собой разумеется, никогда не вернутся... (Отточие необходимо, оно доведет мою мысль до любого читающего.)

Ну, а как же чувствует себя честная, трудолюбивая и сметливая сеньора Кармо после того, как столь простодушно позволила себя обвести вокруг пальца? Или что скажет ее муж, который там, на чужбине, гнет спину за кусок черного хлеба, замешенного на трудовом поте и тоске по родине (нет, шеф подобных слов не пропустит), когда узнает об обмане?»

Концовку он, конечно, скомкал, но виноват в этом сам шеф. Теперь заголовок. Может, «Цыганки, золото, деньги и ревнивая мельничиха»? Если шефу не понравится, пусть придумывает сам.

Так что же такое эмиграция: застаревшая или уже хроническая болезнь? Мог ли предвидеть Феррейринья, завершая свой вымученный, жалкий фельетончик (он первый же и признал это), что шестнадцать лет спустя в стране (тогда говорили *«в этой стране»* и старались не думать, почему именно так говорили), лицо которой, по общему мнению, изменилось до неузнаваемости, где на все запреты наложен запрет, где написанные на стенах домов и дорожных щитах лозунги поэтично и истово зовут в сказочное будущее, новая газета *(эта страна* станет страной газет, свободного, пламенного слова, подчас не очень точного и утрачивавшего свой смысл) под названием «Алворада» опубликует в номере 660-м за август 1981 года репортаж на ту же тему об эмигрантах. Страна объявила себя «новой», или вставшей на путь обновления, и слово «новое» стало призывным, а иногда волнующим и даже гневным, однако наши горести и наши надежды, несмотря на гипноз этого слова, вызванного к жизни мечтой или отчаянием, продолжали оставаться прежними, как и в *старые* времена, в те годы, когда Феррейринья писал для «Трибуны» свои статейки, в которых между строк, если цензор был недостаточно бдительным, можно было подпустить непочтительность к властям и бунтарские намеки.

Так вот, об эмигрантах можно было прочесть, а вернее, прочел Андре Бернардес (проводивший свой отпуск на пляже Фурадоуро) на первой странице новой газеты. В привычный для него час он сидел в открытом кафе и в газете, висевшей на иссеченных восточным ветром скалах, прочел статью. Прочел внимательно, даже с жадностью. В то время у него уже вышла книга об эмиграции под названием

«Завтра — граница». Книга имела оспариваемый (или спорный?) успех и была его последним правдивым романом.

И вот, на первой странице газеты Андре Бернардес прочел: «Иммигранты на весь год, эмигранты только на месяц». Привозят валюту, а увозят тоску по родине. Там они иммигранты, здесь — эмигранты. Каждый день толпами прибывают на вокзалы Санта-Аполония и Кампаньян. Прибывают, попадают в объятия близких. В пути же терпят истинные муки. Поезда, несмотря на все заявления об улучшении положения на транспорте,— сущий ад (невольно вспоминаю письмо Марты, которое она писала по дороге в Париж, с тех пор прошло шестнадцать лет. Какое это было время! Какие ехали с ней люди!), а испанская таможня для наших соотечественников по-прежнему — врата ада.

Затем читателя отсылали на девятую страницу, целиком занятую фельетоном, в левом верхнем углу была помещена фотография мужчины в кожаной куртке свободного покроя с чемоданами в руках и еще две другие, сделанные на вокзале, на одной изображены стоящие без дела носильщики и толпа прибывших, на другой — дети, смотрящие из окон вагона на «диковинный для них португальский пейзаж». Ниже шел текст, который Андре Бернардес читал с особым вниманием и хладнокровно: это было поле его деятельности, и ему после романа «Завтра — граница» неприятно было видеть, как откусывают от того же пирога другие.

Содержание: «Мануэлы, Марии, Жоржи и Микелины возвращаются на родную землю в самое жаркое время года с красивыми чемоданами, набитыми одеждой, корзинами с продовольствием, валютой и накопившейся тоской по родине (Кастел-Бранко не преминул бы спросить: где-то я уже читал об этом?), и планами на будущее.

Они оставляют работу на заводах, фабриках и в домах, где живут в услужении, и едут на родину, куда прибывают только через тридцать с лишним часов. Они эмигранты. Чтобы возделывать землю, сеять и убирать хлеб, судьба вложила им в руки мотыгу с рукояткой в тысячу километров.

На таможне их лица преображаются. Это может показаться преувеличением, но в жизни бывают преувеличения — пусть читатель сам пойдет и проверит, насколько справедливо это утверждение: Вилар-Формоза вызывает у них чувство безопасности, которое возникает у людей, переступающих порог собственного дома. На самом деле, порог их дома здесь, в Вилар-Формозе, где они строят и рушат свои планы. Здесь или в любом другом месте, где иммигрант превращается в эмигранта. Все просто и законно: по зову крови эти люди каждый год предпринимают такое путешествие в поездах, битком набитых, грязных, без воды и света, идущих через чистилище кастильских равнин, да еще им нужно миновать таможню — все равно что переплыть пролив самого Сатаны, где смотрят на них с презрением и недоверием, словно после всех принятых мук ада они все равно недостойны рая».

Дальше шла запись бесед с только что прибывшими. Вот подборка ответов на вопросы, которые опущены: «Когда я родился, отец уже работал за границей. А когда мне исполнилось восемь лет, у меня умерла мать и я остался один. Меня взяла в услужение семья, в которой мать работала приходящей домработницей. Нет, сеньор, меня не обижали, но знаете, отец — это отец», «Всегда одно и то же. До испанской границы еще все ничего, а после начинается: поезда старые, ползут еле-еле. И так каждый год», «Знаете, сеньор, за два часа работы я получаю деньги, на которые кормлю семью, а то, что зарабатывает муж,— откладываем», «Смотрят на нас с подозрением, когда разрешают выезд, никак не могут взять в толк, что у нас одно-единственное желание — поскорее домой добраться», «Обирают как могут, за багаж берут двойную плату», «Что говорить, это надо ви-

деть. Проехать через эти (как они называются?) равнины — то же, что побывать в аду».

Ничего, даже увлекательно, скажет, прочтя все это, Андре Бернардес. В этой же новой газете (опять же шестнадцать лет спустя) можно будет прочесть (кроме всякой всячины из области декоративного искусства, светской жизни и хроники) о том, что баиянский [1] маг Жоржи Амаду открывает в Виана-до-Кастело [2] выставку материалов о недавно закончившейся «Неделе Эсторила [3] (Португалия) в Салвадоре (Бразилия)», что вокзалы Сан-Бенто и Кампаньян напоминают сточные канавы, что поджигатели (какие? у кого на службе?) продолжают уничтожать леса и кустарники, на месте которых остаются только обугленные остовы деревьев, и, наконец, что, «несмотря на ежемесячно переводимые эмигрантами двенадцать миллионов конто [4] в среднем, отрицательный платежный баланс в первом квартале 1981 года превысил тридцать три миллиона конто».

— Вот, шеф, пожалуйста,— сказал Феррейринья, выбирая блокнот потолще.— Постараюсь вернуться как можно скорее.

Шеф кивнул, не обращая внимания на Феррейринью: он уже придумывал заголовок для репортажа о цыганках (репортаж — нечто вроде газетной драмы — был рассчитан на среднего читателя), который, возможно, привлечет внимание, если его назвать «Buena dicha» [5].

Феррейра, заложив за щеку жевательную резинку, прошел мимо стола Алсиндо, ковырявшего самым длинным ногтем в носу, прошел, как бы невзначай задев его, но не извинился. Теперь уж он отыграется. Должен отыграться. И раз ему предоставили свободу действий, ни одна сволочь не сумеет подставить ему ножку. Сколько лет он ждал этого случая. Бывало, конечно, что ему поручали какое-нибудь дело, он старался вникнуть во все тонкости, включал воображение, но все кончалось ворохом бумаги, брошенной в мусорную корзину. Из всего, что он писал, печатали десять строк, да и то чтобы заполнить пустоты. Самое большее, на что он мог рассчитывать: заметка о каком-нибудь мошеннике, найденном в овраге младенце или ночных делишках всякого отребья. Этот же случай, если, конечно, Феррейру никто не обойдет, пикантен, и репортажем можно будет блеснуть. С одной стороны, нечто таинственное, с другой — будничная жизнь, каждую минуту озадачивающая людей сложностью ситуаций и человеческих отношений, и цель его, Феррейриньи, разгадать эту двойственность. Создать, как говорит Андре Бернардес, из этого Родриго дос Сантос Абрантеса «персонаж».

Кстати, Андре Бернардес может сослужить ему неплохую службу. У него большой опыт, он мгновенно (мгновенно? нет, быстро) способен дать совет, и притом дельный. Все им пережитое не прошло для него бесследно, он болезненно раним, и хотя раны зарубцовываются, рубец нет-нет да напомнит о себе. Андре Бернардес из тех, кто не просто что-то дает — он отдает себя целиком. Поэтому он, можно сказать, так отчаянно и подвергает себя любой опасности, которую все прочие умело и ловко избегают. Феррейринье он нравился всегда, но не своей непосредственностью, а тем, что он — объект злопыхательства и интриг. Ведь ни для кого не было секретом (включая самого Бернардеса), что за несколько месяцев до выхода в свет его романа «Пологие холмы» на вилле Кастел-Бранко собрались под

---

[1] Баия — штат Бразилии, в котором живет и работает знаменитый бразильский писатель Жоржи Амаду.

[2] Город на северо-западе Португалии.

[3] Португальская Ривьера, где расположены игорные дома и прочие увеселительные заведения.

[4] Денежная единица Португалии, равная тысяче эскудо.

[5] Удача *(исп.)*. Здесь: гаданье.

предлогом отведать сардин заговорщики, они решили сплотиться и разгромить эту книгу перекрестным огнем орудий разного калибра. Роль каждого была четко оговорена. Главная отводилась Диего Рейналдо — авангардисту с декоративной бородкой, поскольку тот имел полное право на открытый выпад в адрес традиционных прозаиков, таких как Андре Бернардес — явный последователь Камило[1] и командующий силами противника. Его успех у читателей расценивался как нанесенное всем оскорбление, кстати, Андре Бернардес был согласен с Пикассо и неоднократно ссылался на его высказывания, повторяя, что успех — это кара, которую боги обрушивают на художников. Поскольку общественное мнение о новой книге еще сложиться не успело, первой заботой заговорщиков было прослушать пульс этой книги и выяснить ее недомогания. В типографии у Кастел-Бранко имелись свои люди и среди них один корректор — женоподобный толстяк в полтора метра ростом, который и сумел передать Кастел-Бранко под столом — они обедали, цель оправдывала средства — нечто вроде козырной карты.

— Ну как, дорогой, прочли? — спросил Кастел-Бранко.

— Пришлось.

— И?..

Прикрыв толстой маленькой ручкой рот, чтобы хоть как-то скрыть свою нескромность и донести до слушателя полновесное слово, корректор ответил:

— Кошмар.

Неделю спустя этот приговор, даже не потребовавший осмотра больного, стал достоянием всех посетителей кафе.

А за несколько дней до этих событий многие из них явились свидетелями стычки между Андре Бернардесом и Марио Кастел-Бранко. Поводом, как правило, служит пустяк. Вот и на этот раз они шли по проспекту, и вдруг кто-то предложил поужинать в таверне за углом — облюбовал это заведение один киношник. Кастел-Бранко быстро выбрал рис с креветками. Не задумываясь, Бернардес сказал: «Я, пожалуй, последую твоему примеру». Тогда Кастел-Бранко, заложив большой палец в вырез жилета и откинув голову, пустил отравленную стрелу: «Да ты и так следуешь мне во всем». Андре Бернардес помедлил с ответом, вроде бы переваривая слова соперника, и решил промолчать. Между тем бывшая в их компании девушка потихоньку спросила Феррейринью: «Это действительно так?»— и получила уклончиво-неопределенный ответ. А несколько позже киношник расхвастался своими любовными похождениями. Кастел-Бранко тут же иронически заметил:

— Ты у нас настоящий партизан.

И тут Бернардес ударил по Кастел-Бранко прямой наводкой:

— Он-то настоящий партизан, а ты боец бывший.

— Что-о? — протянул Кастел-Бранко, готовясь к новой атаке.

— Я назвал тебя бывшим бойцом, но, если тебе больше по вкусу, можешь считать себя могилой неизвестного солдата.

Присутствующие молчали, ожидая последующих событий. Но напрасно. Обычно подобные словесные дуэли на виду у всех ничем, кроме ядовитых намеков и шпилек в адрес друг друга, не кончались, решительное сражение было еще впереди, и Кастел-Бранко готовился к нему упорно и тайно. Пусть погрызутся, пусть кто-нибудь кого-нибудь сотрет в порошок, а использовать чужую ссору можно всегда.

Решено, Феррейринья сейчас же предупредит Бернардеса о том, что снова идет навестить семью Родриго Абрантеса. Позвонить Бернардесу он решил из автомата: не дай бог какой-нибудь сплетник из «Трибуны» уловит смысл разговора. Андре Бернардес поблагодарил

[1] Имеется в виду португальский классик XIX века Камило Кастело Бранко.

за приглашение, естественно, это ему интересно. Свое появление вдвоем они объяснят, пусть только Феррейринья полчаса подождет его.

Тереза встретила Феррейринью равнодушно, даже не выразила неудовольствия при виде сопровождающего его Андре Бернардеса. Только сказала:

— Опять вы?

— Простите, я ненадолго.— В этот момент Тереза, а за ней и Феррейринья посмотрели на Андре Бернардеса, и Феррейринья, несколько смутившись, пояснил: — Это мой коллега.

Тереза устало кивнула головой и, грустно улыбнувшись, пригласила их в гостиную. Феррейра, теперь скованный присутствием Бернардеса (это следовало предвидеть), повторил все те же вопросы, что задавал и при первом посещении, испытывая от молчания, которое воцарялось всякий раз после ответа Терезы, тягостную неловкость. И все-таки Тереза не уклонялась (это было очевидно) от необходимости подробно отвечать. Неожиданно разозлившись на самого себя, Феррейра сник. Он уже раскаивался, что привел Бернардеса, и раздражался, хотя это раздражение должно было взбодрить его. Тереза обратила внимание, что нога репортера все время постукивает по низенькому столику, стоящему между диванами, а когда нога наконец успокоилась, посыпались двусмысленные и бестактные вопросы в неприятно-обвинительном тоне: какие были у Родриго привычки? часто ли по вечерам он уходил из дома? уезжал ли без семьи за город? какие у них были знакомые? ходил ли он на какие-нибудь собрания?

— Собрания?

Феррейра стиснул зубы, переглянулся с Бернардесом и, заручившись его молчаливой поддержкой, смело ринулся в бой:

— Ну, не знаю... на встречи с людьми, которых вы никогда не видели... людьми, связанными с политикой.

Тереза, как бы массируя, погладила пальцами правой руки тыльную сторону левой и ответила:

— Нет, никакой тайной от меня жизни у него не было, если вы имеете в виду именно это.

— А женщины? — Носок ботинка Феррейры опять застучал по столику.

— Вы хотите знать: не изменял ли он мне?

Спокойствие Терезы, приправленное едва заметной иронией, ставило Феррейринью в неловкое положение, сковывало его, не давало прибегнуть к заранее обдуманным хитрым поворотам. И даже, более того, вызывало чувство стыда. Тем не менее женщина, бравшая над ним верх, этого даже не сознавала, Феррейринья невольно восхищался ею, хотя, чем именно, не понимал, и был убежден, что то же испытывал к Терезе и Андре Бернардес, который не спускал с нее восторженных глаз.

— Я сам понимаю, роль моя не из приятных, но единственная цель наша — помочь вам. Мне нужны подробные сведения. Как бы это сказать?.. Характерные черты личности вашего мужа. Газета опубликует серьезную заметку.

— А мне-то какой прок от этой заметки?

— Прямой. В розысках примут участие наши читатели, так всегда бывает, и ваш муж найдется. В этом сила печати. Она сплачивает людей. И очень многое зависит от того, как будет написана заметка, на что обратит внимание и так далее, и тому подобное. Но это уж моя забота.

Слушала ли его Тереза? Время от времени на серьезном и встревоженном лице женщины, когда она начинала всматриваться в Андре Бернардеса, появлялось отсутствующее выражение. Казалось, ее интересовало лишь молчание этого внимательного наблюдателя. Она

была несколько необычна. Как, впрочем, и ее дочь — дома ли она? И, судя по всему, муж должен был быть таким же. Разве что... Надо суметь выжать из нее все возможное.

И действительно, Тереза не слушала Феррейринью, в мыслях своих она была далеко от назойливого и бесцеремонного газетчика.

Сейчас ей пришло в голову, что если бы Родриго был жив (а он жив, она не должна сомневаться), то ему вряд ли пришелся бы по душе ажиотаж вокруг его исчезновения. Но почему он исчез? Скажи мне, Родриго, скажи почему? Я не вынесу больше этого ожидания и этой таинственности. А может, причину исчезновения я знаю уже давно, с самого начала нашей совместной жизни?

— Простите, я не предложила вам кофе.

Феррейра замахал руками, показывая, что не считает себя вправе ее беспокоить. Однако Андре Бернардес повел себя иначе. Совершенно неожиданно он сказал:

— А я бы выпил.

— Очень хорошо. Ничего, если растворимый?

— Все равно.

Как только Тереза ушла в кухню за чашками, Феррейринья принялся сверлить взглядом Бернардеса, пытаясь понять, одобряет ли он его поведение, но тот, покусывая губу и готовясь раскурить трубку, был непроницаем. Подавая кофе Бернардесу и не глядя на него, Тереза вдруг заметила чуть дрогнувшим голосом:

— А вот вы еще ни о чем меня не спросили.

— Нет, не спросил. Я не хотел мешать коллеге.

Услышав эти слова, она резко вскинула голову и свела брови, отчего их рисунок тут же изменился.

— Скажите, пожалуйста, вы не...

Андре Бернардес привык к подобным вопросам, он не раз их слышал. И прежде чем она закончила, утвердительно кивнул головой, не то чтобы удовлетворенно или неудовлетворенно, а скорее по привычке.

— Я вас узнала, как только вы вошли: на прошлой неделе я видела вашу фотографию в «Илустрадо».

— Но друг мой не солгал, нет, мы с ним товарищи по работе.

— Не надо извиняться.

— А я и не извиняюсь.

— Это хорошо. Я, знаете, не люблю извинений. Не приношу сама и не требую от других.— Она помолчала, подперев подбородок кулаком, будто приготовилась слушать, что ей скажут.— Я прочла ваш последний роман «Пологие холмы».

— Он не последний,— поправил Бернардес.

— Нет? А какой последний?

— «День, когда Лиза не пришла».

— Лиза? Как могло случиться, что я просмотрела книгу с таким названием?

— Что вы хотите этим сказать?

— Красивое имя Лиза. Я люблю красивые имена.

— А свое вам нравится?

— Даже не знаю. А как вы даете имена вашим героям?

Феррейринья, начиная испытывать раздражение, кашлянул. Он никак не ожидал столь резкого поворота разговора. Не мог понять, как эта женщина, такая серьезная и потрясенная исчезновением мужа, вот так, вдруг заинтересовалась чем-то, не имеющим к ней отношения. Что касается Бернардеса, то тут все ясно — он не устоял перед льстящей его самолюбию возможностью оказаться в центре внимания. Безусловно. Все писатели одинаковы. От Кастел-Бранко он отличается разве что темпераментом. А вот прожорливость, слабость и обостренное самолюбие те же. Беседу их придется прервать: не может же он терять время попусту. Однако к теме разговора, что при-

вела Феррейру и Андре Бернардеса сюда, вернулась сама Тереза, она почувствовала растерянность репортера.

— Сеньор уже справлялся в полиции?

— Туда я тоже зайду взять интервью, но позже. Мне через час нужно быть в редакции.— Тут он взглянул на часы и сокрушенно добавил: — Да я опаздываю.

— Значит, вы брали у меня интервью?

Да-а, нужно быть осторожным на поворотах, а то жена Родриго замолчит, и тогда всему конец.

— Не совсем так. Скорее, у нас с вами состоялся обмен впечатлениями по поводу случившегося. Как я уже сказал, никто, кроме вас, сеньора, не может направить розыск по верному пути.— И добавил почти снисходительно: — Сегодня в вечернем номере мы дадим фотографию вашего мужа.

Похоже было, что Тереза его слов не слышала, потому как спокойно сказала:

— На одном из паромов нашли плащ, вроде бы его. На том, что ходит из Лиссабона в Касильяс. Об этом вам в полиции, конечно, расскажут.

— Что? Его плащ?

— О плаще вам все расскажут там.— И, резко отвернувшись, обратилась к Андре Бернардесу: — Я так растерялась. Хоть бы кто подсказал мне, что делать.

Бернардес никак не ожидал, что Тереза столь демонстративно даст понять Феррейринье, что разговор с ним окончен, а потому смутился.

— Это мой друг...

— Или коллега — так вы его отрекомендовали несколько минут назад.

— Поверьте, мой друг приложил немало усилий, чтобы газета, в которой он работает...

— Верю.

Ответ был неоднозначным. Смущенный взгляд Андре Бернардеса заметался по гостиной, переходя с вещи на вещь, в то время как рука его прикрыла рот. Феррейринья знал эту манеру Бернардеса настраиваться — еще минута, и он придет в себя: просто борьба с собственной робостью. Репортер снова взглянул на часы. Нет, больше он не может задерживаться:

— Ну, нам пора.

— Минуточку, Феррейра.— Бернардес порывисто обернулся к хозяйке дома: — Раз уж вы упрекнули меня в безучастии, не могу ли я задать вам несколько вопросов?

Опустив глаза, Тереза улыбнулась и расплела пальцы. Пальцы у нее были длинные, а когда она их сплетала, казались еще длиннее.

— Задавайте.

— Где вы познакомились со своим мужем?

— На одном из пассажирских паромов переправы через Тежо.

Андре Бернардеса осенило:

— Говоря о плаще, вы тоже упомянули паром?

— Да, упомянула.

— Это случайное совпадение?

Тереза задумалась, лицо ее опять приняло отсутствующее выражение. Оно было каким-то мучительно-тоскливым. Потом повторила:

— Да, на одном из пассажирских паромов, которые все мы знаем. Случайное знакомство. Мы познакомились вечером. В те годы я была ассистенткой социолога, вернее, проходила практику у социолога. Меня послали с анкетой к рыбакам в окрестности Фонте-де-Телья.

— И как же вы познакомились?

— Я уже сказала. На пароме, там был ребенок, он играл с воздушным шариком и упустил его, Родриго помог мальчику поймать шар. Вернее, мы оба помогли. Вот тогда-то Родриго и сказал мне: «Сегодня быстро стемнело». От этих слов я, не знаю почему, вздрогнула. Мне понравился его голос. Очень. Приятный, мужественный и в то же время ласковый. Он тронул меня до глубины души.

— И сейчас нравится?

— Что, голос?

Тут вмешался Феррейринья:

— Я не хотел бы прерывать вас, да меня ждут в газете.— Он полез было в карман за жевательной резинкой, но тут же передумал.— Простите, одно слово, и я ухожу. Если же мой друг хочет вас спросить еще кое о чем и вы...

— Да, если мое присутствие не тяготит вас, я бы просил... я бы, с вашего разрешения, задержался.

Неумело скрывая замешательство, она ответила:

— Нет, не тяготит.

Вполне возможно, что именно с досады Феррейринья опять застучал ботинком по столику и спросил:

— И все-таки, что касается плаща: не был ли он порван? Может, на нем были следы насилия?

— Насилия? — Во взгляде Терезы появилась растерянность.— Не могу сказать, не знаю.

— Простите, и еще: вы уже кому-нибудь давали интервью?

— Нет, вы первый. Никто ко мне не обращался.

— В таком случае придержите подробности для меня, если к вам обратятся мои коллеги. Преимущественных прав первым получить информацию у меня нет, но хотелось бы думать, что вы меня понимаете.

Тереза неопределенно, но скорее утвердительно кивнула головой и поднялась с кресла: она выпроваживала Феррейринью. Она не видела смысла спрашивать этого репортера, чем же его первенство в получении информации поможет Родриго и ей, ей, которой он, Феррейринья, обещал быть полезным.

Молчание прервал Андре Бернардес, он никак не мог усесться так, чтобы не затекали ноги.

— Вас действительно не тяготит мое присутствие?

— Нет, нет.

Бернардес чувствовал, что она искренна. Его несколько смущала простота этой женщины — серьезная, сдержанная простота. В Терезе было сочетание непринужденности и старательности. Он наблюдал за ней, пока она ходила на кухню, видел, как она кипятит воду и наливает в чашки. Лишних движений она не делала, но в каждое вкладывала всю себя. Создавалось впечатление, что все происходившее или требовавшее ее вмешательства в данный момент имело для нее особую важность. Андре Бернардес подумал, что мог бы полюбить такую женщину, нежность которой чувствуется в каждом ее жесте. Что у них общего с Мартой, с ее милыми глупостями и чем эти женщины отличаются друг от друга? Возможно, Марта создана для приключения, пусть серьезного и настоящего, а Тереза — для жизни? Каковы были ее отношения с мужем? Что кроется за ее горечью?

— Не случилось ли чего-нибудь в то утро, когда ваш муж уходил на работу?

— Нет, все было как всегда.

— Простите, а вы хорошо понимали друг друга?

— Смотря что понимать под пониманием. И все-таки я отвечу на ваш вопрос утвердительно. Мы жили дружно.

— Часто беседовали, делились?

Она заколебалась, пальцы ее снова сплелись.

— Раньше — да. Говорили обо всем на свете и никогда не скрывали даже того, что могло быть неприятно. Между нами вроде бы существовало соглашение, но не компромисс, нет. Потом мы стали менее откровенны, возможно боясь случайных обид. Это трудно объяснить. Мне кажется, вы меня понимаете. Но я с тоской вспоминаю то время, когда мы жили душа в душу. Я ведь ему говорила: «Как мне нужно, Родриго, чтобы ты разговаривал со мной, а я тебя слушала. В этом я больше всего нуждаюсь».

— Вы его любите?

— А почему вы спрашиваете меня об этом? Да и стоит ли теперь о том говорить?

— Вам неприятен этот разговор?

— Да нет... Иначе я бы не стала вам отвечать! Хотя мне совершенно безразлично, зачем и почему вы меня расспрашиваете. Мне приятен собеседник, который способен понять меня, и все. Я в некотором роде даже в каком-то особом положении... в силу обстоятельств...

— Вы его любите?

— Люблю. Бывают дни, когда я чувствую себя разбитой, разочарованной, полумертвой — жизнь как бы проходит мимо меня,— и я начинаю испытывать к Родриго неприязнь и даже враждебность, но знаю, любовь — это то, что остается в душе после всех жизненных столкновений и расхождений, влечений и отчуждений.

— Я понимаю вас.

— Моя дочь считает, что я в любви рационалистка. Это не так. Чувство у меня всегда на первом плане, и оно долговечно. Да, сейчас я вспомнила вчерашний вопрос дочери. Она увидела, что я задумалась, и спросила: «О чем это ты?» Я ответила: «Ни о чем. Дремлю». Она, возможно, мало еще что понимает, но для меня-то это состояние стало привычным.

— Расскажите о дочери.

— Зачем? Праздное любопытство?

— Не праздное. Ну, а если бы и праздное? Вы же сказали, что вам безразлично, о чем вас спрашивают?

— Но все-таки вы интересуетесь мной и моей дочерью не просто так, а с какой-то целью?

— Сам еще не знаю, во всяком случае, пока не знаю. Дело писателя — наблюдать, спрашивать, осмысливать услышанное. Со временем это превращается в своего рода болезнь, которую несешь как тяжкий крест. А иногда ведет к перерождению личности. За все надо платить, и большую цену. Жизнь у писателя нелегкая. Чаще всего она не складывается.

— Я догадывалась. Мне очень бы хотелось помочь вам.

Андре взглянул на нее с испугом, но тут же спокойно ответил:

— Мы заговорили о вашей дочери. Она дома?

— Нет, я настояла, чтобы сегодня она пошла на занятия. Девочка все время в напряжении, ей лучше быть на людях.

— Она очень переживает?

— Очень.

— А на кого она больше похожа?

— Говорят, на обоих.— Внезапно Тереза перевела взгляд на ковер и ушла в себя. Когда она опять посмотрела на Бернардеса, взгляд был твердым и решительным, как прежде.— Я нашла ее дневник. И, сознаюсь, он потряс меня.

— Дневник — дело обычное. Все молодые люди проходят через это. Все естественно. Ужасного ничего нет.

— Но меня поразило то, что я прочла в нем, и даже больше — свое отношение к прочитанному. Меня поражает то, что во мне, а не то, что в ней.

— Возможно. И что же вас поразило?

Тереза прищурила глаза, как это делают близорукие. Андре Бернардесу даже показалось, что на лбу у нее, подвижном и выразительном, запульсировали жилки. Ему захотелось погладить их, успокоить. Потом она заговорила:

— А может, вы прочтете несколько страниц ее дневника? Я кое-что переписала. И даже оттого, что я взяла и переписала, мне тоже не по себе. Как-то нехорошо.

— Вы склонны винить себя во всем, казнить за содеянное.

— Нет, нет, ошибаетесь. Я из тех, кто умеет отрешиться от того, чего поправить не в силах. Страданий я избегаю. Я не люблю страдать.

— Непохоже.

— И тем не менее это так, я такая. Вернее, была такая. В последнее время изменилась, конечно.

— Под влиянием мужа?

— Под влиянием жизни, той жизни, которой живу. Да и под влиянием мужа.

— Каков он, ваш муж? Я имею в виду характер, интересы.

— Обычный человек. Остро чувствующий, неудовлетворенный, в общем, мечтатель. Но если чего-то очень захочет, обязательно добьется. Общителен. Думаю, что чувствует определенную зависимость от меня. Бывает резким, грубым, и нередко. Иногда он мне кажется вулканом, который вот-вот начнет действовать, но тут же замыкается, уходит в себя, как, кстати, и дочь. Случаются дни, когда он весел, готов своротить горы, а то вдруг кажется, что он зашел в тупик и отчаивается оттого, что не может найти выход. Интересы? Любит искусство. Рисует, лепит, но тайком. Боюсь, он считает себя неудачником, из-за того что не стал тем, кем хотел.

— Вы обмолвились о зависимости. Какого рода зависимость?

— Не совсем зависимость. Я приведу пример, и вы поймете, что я имею в виду. Бывает, я не улыбнусь ему в тот момент, когда он особенно этого ждет, и у него весь день идет насмарку. Он страдает, я знаю. Может, конечно, то, о чем я говорю, вам покажется смешным, но, значит, я просто не сумела выразить то, что хотела.

— Сумели. А вы, что ощущаете вы, вы любимы, но...

Бернардес обратил внимание, что она опять подалась вперед и, выпрямив руки, будто потянулась, потом как-то слишком внимательно стала рассматривать свои ногти.

— Понимаете, иногда я сравниваю себя с фаянсовой, ну, чайной чашкой, что ли, у которой отбита ручка. Ручку приклеили — чашка вроде бы опять целая. Потом отбивают и край и ручку. И опять склеивают. Но вещь-то уже не та, хотя ею и пользуются, как прежде. Вот примерно так, но, может, и не совсем так...

— Меня несколько удивили ваши слова «хотя ею пользуются». У вас такое чувство, что вами пользуются? Зачем вы на это идете?

— И опять я не сумела выразить то, что хотела. У меня есть потребность отдавать себя. И я считала бы себя вполне состоявшейся, если бы знала, что моя близость, моя поддержка могут помочь состояться кому-то другому.

— Вы имеете в виду мужа?

— Мужа, да и дочь тоже, и брата, в общем-то любого человека, даже и не такого мне близкого. Но как только от меня чего-то требуют, давая мне понять, что я существую только для того, чтобы было хорошо другим, у меня опускаются руки. Нелегко объяснить. От меня хотят слишком многого, хотя это мне и приятно. Головоломка, да? Моя дочь мне как-то сказала: «Ты, мама, как ясное небо, но внутри у тебя собираются тучи».

— Можно ли назвать вашего мужа собственником?

— Слишком сильно сказано. Он всегда хочет присутствовать в моих мыслях, быть уверенным, что ничего личного, отдельного от него у меня нет и в помине. Но это ведь не значит быть собственником.

А как это назвать, не знаю.— Она замолчала, подыскивая подходящее слово.— Стоит мне задуматься, уйти в себя, как он тут же подойдет и с тревогой проведет рукой по моему лицу. Вообще-то в таком жесте нет ничего особенного, но у моего мужа он имеет особое значение. Муж ведь старается остановить меня, видя мое бегство, вернуть меня всю целиком в свой мир, которому я должна принадлежать безраздельно, иначе он чувствует себя неуверенно, а это для него невыносимо. Вот почему я оставила свою работу — я была ассистенткой социолога.

— Он ревнив?

— В пошлом смысле слова — нет, а по-настоящему — да.

— Стало быть, не уверен.

— Скорее, не безразличен.

— Простите, но я все-таки склонен утверждать, что он собственник.

— Я с вами не согласна. Вот его мать, она — собственница: все прибирает к рукам, никому из окружающих самостоятельно шагу ступить не дает. А если кто-то противится, выходит из ее подчинения, чувствует себя несчастной, считает, что ее предали. «Неблагодарность» — ее самое любимое слово.

— Этого не мог не унаследовать ваш муж.

— Унаследовал, да. Но в силу того, что все это ему хорошо знакомо, знакомо до ужаса, выражает как-то по-своему.

— Его родители живы?

— Да, живут в усадьбе, очень обособленно. Это все мать — она от всего и всех отгородила...

— Кого?

— Отца Родриго. Очень милый человек — приветливый, терпеливый. У меня такое впечатление, что он живой труп и ничто на свете его уже не интересует.

— А зачем ей так нужно?

— Хочет, чтобы муж принадлежал ей безраздельно. Как это ужасно, бог мой!

— Они уже знают, что их сын исчез?

— Уверена, что нет. Новости до них не доходят. Когда мы их навещаем, то привозим кучу газет.

— Как по-вашему, мне удобно к ним приехать?

— По-моему, удобно. Надо только найти предлог. Если хотите, я дам адрес. Они вас заинтересовали?

— Ответить определенно пока не могу.

— А что вы сделаете с тем, что я вам рассказала?

— Может, ничего, а может, многое. Смотря на что вы дадите согласие. Во всяком случае, после всего услышанного от вас мне гораздо легче представить, что может, а что не может сделать такой человек, как ваш муж.

— Мы, похоже, ваши подопытные, вроде кроликов.

— Если вам хочется понимать это так, не смею возражать. Писатель ведь чаще паразитирует на собственной жизни, но случается — и на чужой. Живет, беря все взаймы. И претворяет в слова то, что должен был бы претворять в жизнь.

— Из чего же создаются ваши романы?

— Я уже говорил: из наблюдений, из того, что услышишь, из пережитого. Ну и вымысел, конечно, но это уже совсем иной процесс.

— А что вы сейчас пишете?

На скулах Андре Бернардеса заиграли желваки, и он отвел взгляд. Затем задвигался кадык — казалось, он старался проглотить то ли вставший в горле комок, то ли смущение.

— Пытаюсь писать. Бывают дни, когда мы перенасыщены словами, нас тошнит от них, тошнит от всего, что мы сделали, и особенно от того, что мы повторяемся, а бывает, что мы пусты, пусты, как

пустыня, в которой, чтобы утолить жажду, не добудешь и капли воды, сколько ни копай и ни долби землю. Есть хорошая китайская пословица: «Цветы вянут, и с этим ничего не поделаешь».

— Когда читаешь ваши книги, ничего подобного даже в голову не приходит.

— А бывают и такие дни, когда сам себе говоришь: кончай с этим, оно не стоит такой муки. Или, вернее, стоит, но очень дорого, требует жертв, самоистязания. И ты идешь на это и платишь полновесной монетой. В общем-то, для писателя писать — потребность души, становящаяся роком. Простите за цветистость речи, я прямо-таки взошел на подмостки, не иначе. Впрочем, мы с вами об этом уже говорили.

— Вы меня напугали. Я не верю тому, что услышала. А вы подумали о других — о нас, тех, кто вас читает? Подумали о том, как вы нужны нам?

— В каком смысле нужен?

— Вы подумали о тех, кого ваши книги просвещают, утешают, поддерживают?

— Если бы хоть полдюжина писателей просвещали, утешали и поддерживали, если бы! Пусть даже изредка, пусть немногих, то все мы чувствовали бы себя значительными личностями. Однако все должны помнить, что никто, кроме них самих, если они того не захотят и не будут к тому стремиться, счастливыми их не сделает.

— Вы чувствуете себя несчастным?

— Но мы вели разговор не обо мне,— сухо и даже несколько раздраженно ответил Андре Бернардес.— Не сочтите обидным, но я хочу вернуться к разговору о вашем муже... Так когда же и при каких обстоятельствах видели вы его в последний раз?

— Да, вы меня разочаровали. Ну что ж, вернемся к дознанию.

— Вы прекрасно понимаете, что это не дознание.

— Оно. Последний раз я видела своего мужа, когда он переходил улицу, и помахала ему рукой. На улице было прохладно. Потом подошел автобус. Все как всегда, обычно.

— И что же все-таки, по-вашему, могло произойти?

— Не знаю.

— У меня на языке тот же вопрос, что задал мой коллега Феррейра: он предположил, что ваш муж занимался подпольной работой. Будьте со мной откровенны: он был борцом? Излишне говорить, что все услышанное я сохраню в полной тайне.

— Борцом?

— Да, против правительства.

— Откровенно говоря, не знаю. Но если бы и знала, вряд ли кому-нибудь об этом сказала.

— Было ли хоть что-нибудь такое в его жизни, что оставалось бы для вас загадкой?

Во взгляде Терезы, иногда становившемся холодным и твердым (да, очень холодным и твердым — отметил про себя Андре Бернардес и почувствовал неловкость, представив себя на месте Родриго, возможно очень ранимого и жившего бок о бок с этой женщиной, от которой в любую минуту можно ждать и самой большой нежности, и самого большого презрения), мелькнуло разочарование.

— Было, конечно, как бывает у всех. Года три назад он привел домой своего друга, с которым был в армии. Тот провел у нас шесть дней и ни разу не вышел из дома. Мне показалось это странным, но ни мужа, ни его товарища я ни о чем не спросила.

Бернардес встал с дивана:

— Что ж, пожалуй, вашим терпением больше злоупотреблять не следует.

— Я не считаю, что вы злоупотребляете моим терпением. Вы у меня задержались дольше, чем ваш друг-репортер, только потому,

что мне этого хотелось. Я чувствую себя лучше: разговор наш снял напряжение. Но вы не забыли о моей просьбе?

— Какой?

— Посмотреть дневник моей дочери.

— Да, забыл, вы правы, я все время думаю о своем.

— Еще чашечку?

— Нет, спасибо. Покажите мне дневник.

Женщина поднялась и вышла своей решительной, мягкой походкой. Без нее в комнате сразу стало холодно и неуютно — это Андре Бернардес почувствовал остро. Вернулась она с голубой целлофановой папкой. Когда она ее раскрывала, несколько листков упало на пол. Бернардес и Тереза наклонились, чтобы поднять их. Бернардес аккуратно, почти с удовольствием сложил листки — было видно, что это для него дело привычное,— зажав большим и указательным пальцами, поддерживая всю пачку ладонью и предвкушая удовольствие, он стал листать страницы дневника. Сначала перелистал их все, выбирая,— у Терезы затрепетали ноздри. Потом углубился в чтение одной страницы, другой, третьей и забыл о присутствии Терезы.

Когда последний раз мы виделись с Жорже он сказал мне что я стала совсем другой и это правда раньше я была дурнушкой и застенчивой на меня никто не обращал внимания а теперь я другая я нечто и мужчины смотрят мне вслед и отпускают комплименты пусть пошлые это не важно важно что они видят что на свете существует Сесилия и теперь я стала смотреть людям прямо в глаза. Странно но до сих пор я этого боялась а теперь не боюсь и мне приятно я чувствую себя сильнее. Но сегодня я плакала. Плакала потому что я не такая какой бы мне хотелось быть. Плакала потому что сижу одна в открытом кафе в этот вечер такой красивый и такой грустный плакала потому что не слышу ласковых слов но если бы Жоан был рядом он бы их сказал плакала из-за цвета его пиджака и потому что ему мала сорочка ну прямо смирительная рубашка а я ненавижу все что душит человека такая уж я глупая. И по его рукам плакала рукам в которые он берет мои как это было позавчера плакала по кошке и собакам — мне так жаль бездомных животных плакала над тем что я ленивая и по тому о чем мечтаю а еще больше по тому о чем мечтать не способна. Вообще по всему. Плакала по нашему несчастному дому в который кажется не заглядывает солнце. Когда я плачу мне становится легче. М. сказал мне что когда он бывает с какой-нибудь девчонкой то больше всего хочет чтобы та молчала а вот со мной наоборот потому что я говорю не то что все и еще наговорил мне много других приятных вещей. И я поняла что он хочет поднять настроение. Я спросила его зачем мне нужно мое душевное богатство если оно не нужно никому а он ответил хотя бы для того чтобы ты знала что оно у тебя есть просто невероятно услышать это от него рядом с ним я чувствую себя слабой хотя мне и неприятно видеть его красный нос надо же было родиться с таким носом. Я просто не понимаю как М. может не нравиться людям они его совершенно не знают не знают так как я а я знаю знаю даже о чем говорят его беспокойные глаза мне очень приятно просить его быть моим защитником и ласковым другом я его не боюсь и мне нравится как он смеется.

■ ■ ■

Когда я пришла домой мамы не было потом я услышала как стукнула дверь мать была у соседей она вошла вошла молча сверкнув своими светящимися как у кошки глазами. Я заметила что в доме отношение ко мне изменилось заметила что отец пришел домой опять расстроенный я не понимаю что происходит он даже чай не

пил. Думаю он взвешивает каждую мелочь на него ведь все так действует и он от всех старается держаться в стороне сторонится всех и меня тоже. Думаю что его жизнь ему не нравится эта служба в «Новилектре» докучает ему. Однажды мы пошли с ним в одно кафе под открытым небом и он сказал мне прямо даже смешно что он считает счастьем ту минуту когда может вот так спокойно посидеть в кафе он ведь ни собой ни своим временем не распоряжается.

Вчера я слышала разговор родителей они понятия не имели что я дома отец говорил ты Тереза чрезвычайно умна и это меня пугает мне иногда просто страшно становится оттого что ты такая умная и можешь меня обманывать я ведь не всегда верю тому что ты говоришь ты точно знаешь что мне надо сказать или что я хочу услышать. Ничего нового в том что я говорю сегодня нет. Я еще до женитьбы говорил что ты та женщина которую я люблю и разлюбить не сумею буду верен всю жизнь хотя знаю что ты заставишь меня страдать. Мне необходима твоя правда и твоя верность Тереза необходимо быть с тобой рядом и глядя в твои глаза знать что у тебя на душе я люблю люблю тебя Тереза а она взволнованно ответила я ведь тоже люблю тебя Родриго и как ты только можешь думать что я с тобой неискренна? Ты меня обижаешь Родриго очень обижаешь.

Не понимаю я их неужели когда-нибудь я буду говорить что-нибудь подобное? Неужели такое может случиться? Я даже расплакалась и мне захотелось вбежать к ним в комнату соединить их головы обнять их обоих и быть с ними но я ничего этого не сделала я похоже ни на что не способна. Потом мать пошла за джином.

■ ■ ■

Сейчас половина двенадцатого ночи а мать еще не ложилась. У меня долгов прорва и я никак не могу достать денег чтобы хоть немного расплатиться видно придется прибегнуть к небольшой операции. Собственно уже провела ее. Мне бы хотелось иметь взрослый бадминтон он в нашем районе как правило стоит 105 эскудо. У Филомены есть но она продает только за наличные. Премию Сан-Ремо [1] в этом году получила песня «Nel blu di pinto di blu» («На голубом голубым нарисовано») прекрасная песня сегодня Дин Мартин будет петь ее.

■ ■ ■

Если не ошибаюсь это было в прошлую пятницу. Я стояла на остановке мимо ехал какой-то тип в «фиате-600» таком же как у Карлоса Семедо я на него поглядела и он обернулся. Одет шикарно но старомодно я его уже раз здесь видела но как зовут не знаю. На следующий день этот Рудолфо Валентино уже ждал меня на том же месте должно быть выследил но тут как раз проезжал мимо Жоан он-то меня и подвез а когда я подходила к лицею Рудолфо Валентино уже был во дворе. Вот нахальство. В конце концов в четверг он предложил мне покататься и я согласилась. Доехали мы до Келуша [2] тут он попытался меня обнять и так нервничал что мне стало смешно потом поцеловал меня и положил руку мне на колено. Со злости я вцепилась ему в лицо и оттолкнула. Дождь лил как из ведра. Мы вернулись в Лиссабон он довез меня до парка тут мы и расстались привет.

[1] Место проведения песенных конкурсов в Италии.

[2] Живописное местечко недалеко от Лиссабона, где расположен дворец погибшего там короля Жоана IV.

■ ■ ■

Никогда больше не заговорю с отцом и тем более не пойду к тетке. Она с каждым днем хорошеет а я страшна просто монстр.

■ ■ ■

Мне немного нужно. Он пожал мне руку и потрепал по щеке и все. У его невесты нет причины для ревности. Я ведь та которая лишь мелькнула. Его я считаю хорошим хотя не знаю так ли это не умею определять. Я было пошла к двери но он не дал мне уйти я села на диван и прижав к себе книги расплакалась от счастья. Сказала ему что может уеду в Англию если согласится отец. Он сказал что это будет самой большой глупостью но я продолжала свое и вдруг объявила что хочу обнять его и уронила на пол книги. Я плакала и говорила а он успокаивал повторяя Сеси Сеси ты не должна уезжать. Взял мое лицо в ладони и настаивал на своем говоря что теперь я не должна уезжать и я не знала что делать. Он проводил меня до угла и сказал ты потрясающая девчонка Сеси. Я знаю что замуж за него я не выйду но все что было — мое и никто у меня этого не отнимет.

■ ■ ■

Я вспомнила что хотела проверить дома ли Жулио. Из машины ничего не было видно но я заглянула в окошко и увидела свет. Вошла внезапно наделала шума обозвала его эгоистом и как-то еще не помню. И после всего этого поняла что он смущен. За всем этим последовала сцена фантастической нежности. Таким нежным я его еще не видела. Он сказал что благодаря мне совершенно переменился прямо другим стал и что всем хорошим обязан опять же мне — я попросила его только не врать.

■ ■ ■

Вчера взяла у отца 350 эскудо а сегодня вернулась домой с 25 тостанами. Это плохо конечно но я купила одну нужную мне вещь которую честно и не думала покупать. Мы с Габи пошли на улицу Триндаде чтобы провести время и стали рассматривать витрины. В результате я вошла в магазин «Полчаса» и была потрясена пуловером. Не пуловер — мечта. Черт бы побрал! Он стоил 235 эскудо и ни сентаво меньше. Я его надела. Он английский как у Зулмиры я просто заболела. Мягкий божественный снимать не хочется.

■ ■ ■

Он пригласил меня прийти я пришла потом еще раз пришла. Не смогла отказаться. Это выше моих сил. Он закурил трубку поставил пластинку дал мне сигаретку погасил свет и уселся у моих ног. Я стала говорить. По-французски. Это смешно я знаю но продолжала. Назвала его обманщиком сказала что презираю его. Под музыку он умеет хорошо притворяться он был очень ласков легко снял с меня пальто а потом так же ласково пытался повалить на пол когда я сказала что мне холодно. И когда прижал меня к себе с яростью и когда поцеловал лицо и гладил плечи был тоже нежен. Я пыталась какой-нибудь шуткой развеять его очарование, но он был сильнее меня он не пошел дальше а только сказал мерси за то что ты мне сама позволила. Он умеет быть тонким знает чего я жду от мужчины зачем мне с ним ссориться как с Жоаном? Ведь существует же нежность без всего остального чуть-чуть больше чем нежность. Он сказал мне что я не была счастлива потому что не хотела. Конечно я это знаю. Я слишком требовательна это правда. Но ему я тоже сказала сказала что не верю

тому что он говорит. Когда я уходила был первый час ночи и когда мы прощались я сказала что у него должно быть и воспоминания не останется но он возразил ты же хорошо знаешь Сеси что останется. Осталось но только у меня а не у него. То чего я жду ни он ни кто другой мне дать не может. Любопытно днем он мне не нравится, а нравится вечером в темноте.

■ ■ ■

Сегодня я прошла по коридору тихо стараясь не шуметь у них дверь была открыта они лежали рядом не глядя друг на друга только держась за руки и ничего не говорили они так ничего и не сказали. Мне захотелось плакать.

Андре Бернардес собрал прочитанные листки и осторожно вложил их в целлофановую папку.

— Ну, и что вы скажете? — Улыбаясь, Тереза ждала ответа.

— Скажу, что все очень хорошо. И причин для волнения нет. Наоборот. Ваша дочь, как и следовало ожидать, очень впечатлительна. Ей необходимо внимание.

— И это все?

— Нет, не все.— Он помолчал, в уголках глаз собрались морщины.— Чтение этих страниц несколько изменило мое впечатление о вас и вместе с тем подтвердило его. Постараюсь выразить свою мысль иначе: если бы я ограничился беседой с вами, у меня было бы одно впечатление, доверился только дневнику вашей дочери — другое, а имел бы возможность побеседовать с вашим мужем, то наверняка... И так далее. У каждого человека — своя правда, как говорит наш жизненный опыт. Я говорю прописные истины. И все-таки к вам у меня еще один вопрос: ваш муж, случайно, не пишет?

— Нет, не пишет. Он лепит, рисует, я уже говорила вам об этом. Вон на той стене картинка. Это он нарисовал, и вон ту, что на веранде.

Забеспокоившийся Андре Бернардес теперь, казалось, не слушал ее.

— Мне пора. Заговорились мы, вот я и забыл о времени.

— Я была рада поговорить с вами, поверьте. Но мне бы хотелось знать: хоть что-то из нашего разговора вас заинтересовало?

— Конечно.

— А как вы используете все, что так или иначе вызывает ваш интерес, например люди?

— Они служат прототипами. Когда же рождается литературный герой, он обретает самостоятельность, отдаляется от события или человека, послужившего прототипом, и подчас становится полной его противоположностью. Вот почему иногда люди приходят ко мне, чтобы рассказать о своей жизни...

— Не думала, что такое бывает.

— Бывает, правда... потом разочаровываются. Подчас им трудно узнать себя. Главное у персонажа — это его независимость, которую он вдруг обретает. Не будь независимости, они бы утратили свою жизненность. Иногда один и тот же человек, который становится героем произведения, теряет первоначальную четкость характера и приобретает новый, обогащенный и более сложный, и больше того — воплощается в нескольких персонажах. Тут нет правил.

— И эта способность выдумывать людей и их жизнь приносит вам счастье?

— Совсем нет, я уже говорил. Счастье всегда так относительно и так индивидуально, это понятие упрощают, а писатель, наоборот, усложняет, и в первую очередь для себя самого.

Провожая Андре Бернардеса до двери, Тереза сказала:

— Заходите, если надумаете. Моему мужу было бы приятно с вами познакомиться.

Последние слова смутили Андре Бернардеса, они показались ему странными. В этот момент из лифта вышла Сесилия, на ее лице был написан испуг. Не дав матери представить незнакомого человека (он будто бы ей знаком?), она спросила:

— А отец?

— Ничего нового.

Смущенный, Бернардес поспешил откланяться. Спускаясь в лифте, он вспомнил, как, помогая ему подобрать с пола листки дневника Сесилии, Тереза коснулась своими волосами его волос. Он испытал приятное чувство.

Феррейринья так спешил написать заметку, что не пошел обедать. Интересно, что рассказала Бернардесу жена Родриго? Ах, черт побери, он совсем забыл о привратнице. Ведь привратницы — это истинный кладезь сведений. Но ничего, он еще к ней заглянет. Как бежит время, газету, того и гляди, сверстают, а он так и не даст ни строки. Феррейринья заложил бумагу в пишущую машинку, напечатал две фразы и бросил написанное в корзину. Он бил по клавишам с такой силой, что казалось, литеры вот-вот отскочат. А все потому, что их газету могла опередить любая другая. Наконец заметка была готова, и шеф даже не сказал, что она слишком большая. Такие, как Андре Бернардес и Кастел-Бранко, хоть и сетуют на бестемье, переварят и используют, когда требуется, любой материал. Ничего, он тоже возьмет свое. Нет, обрастать мохом здесь, в этой газете, нельзя никак, и, даже если жизнь вынудит его добывать хлеб насущный в вечной суете и спешке, он все равно напишет то, к чему его подталкивает предчувствие, писательский зуд, тайный зов.

Вот он, номер «Трибуны», вот две прекрасные полные колонки на третьей полосе и подпись — Луис Мануэл Феррейра. Да, именно так положено, за подписью, хотя шеф всегда говорит: «Никаких имен, никакого выпячивания, газета — труд коллективный, в ней саморекламе нет места». А то исключение, которое делалось для Алсиндо, было исключением. Да, две полные колонки и фотография — потрясающая «физия», четкая, без типографского брака (надо было попросить еще какую-нибудь, может, даже семейную, семейную было бы лучше: он, она и дочь — завтра-послезавтра к этому fait-divers интерес наверняка возрастет), и заголовок: «Тайна плаща». Вначале краткая биография Родриго дос Сантос Абрантеса (очень краткая — писать-то нечего), обычные бытовые подробности, какие-то намеки, несколько слов о семье (Тереза описана детальнее и четче), кое-что о фирме «Новилектра», о должном уважении фирмы к Родриго и, наконец, не очень ясная версия о найденном плаще, розыске, которым занята уголовная полиция, и анонимных телефонных звонках. Шеф не вымарал ни строки, наоборот, добавил имена полицейских агентов, и цензура дала зеленый свет. Блеск, просто блеск. И еще: «Ждите следующего номера». Кстати, вечером он напишет статью о замалчиваемой властями проблеме исчезновения людей: как исчезали, где, кто тому способствовал. А поскольку статистические данные все-таки имеются, за них можно и зацепиться. Справочный отдел «Трибуны» организован прекрасно: нет нужды долго копаться, чтобы найти необходимое количество вырезок. Словом, происшествие с Абрантесом ему как нельзя кстати, надо поговорить с Андре Бернардесом, может, тот подбросит еще что-то интересное.

Феррейринья открыл и полистал газету, пытаясь представить себя в шкуре читателя; каким бы рассеянным или зорким тот ни был, никаких сомнений — его материал бросится в глаза. Под второй колонкой осталось свободное место, и верстальщик заверстал туда весьма лаконичное сообщение о войне в Африке: «Служба информации Вооруженных сил сообщает, что в провинции Ангола пали в бою солдат

№ 95 224/62 Сержио да Понте и солдат № 44 228/64 Жоакин Крузес, а в провинции Мозамбик у ее северной границы погиб в автомобильной катастрофе солдат № 37 721/64 Алберто Мануэл Кампос».

На обратной полосе было дано краткое изложение доклада сеньора командора Антонио Сантоса де Кунья: «К положению португальских эмигрантов во Франции, их обреченности на бесправие и необходимости оградить эмигрантов от влияний, которым они подвергаются благодаря тем или иным условиям жизни: из сердец несчастных вырывают облагораживающие душу чувства — любовь к господу, Португалии и семье». Далее: «Крайне необходимо, чтобы церковь и государство немедленно протянули им руку помощи, дабы уберечь души порядочных людей <...> Было бы поистине ужасно, если бы эти люди возвращались на родину, лишенные добрых чувств, и становились разносчиками опасных идей, пятная тем самым честь нации, которую мы обязаны защищать любой ценой».

На той же странице сообщалось «о ликвидации сети вербовщиков и совсем недавно произведенных арестах, благодаря которым обнаружилось, что за последнее время как с острова Мадейра, так и из провинций Фундан и Ковильян уехало во Францию большое количество португальских граждан, заплативших вербовщикам свыше трехсот тысяч эскудо. Раскрытая организация располагала вербовщиками, доверенными лицами, проводниками, шоферами-перевозчиками и прочими, выполнявшими то, что от них требовали руководители».

Ни одно из этих сообщений не умаляло интереса к статейке Феррейриньи, а потому он небрежно сложил газету и заказал еще стаканчик вина. Скоро должен был прийти Андре Бернардес.

На появившуюся в «Трибуне» статью утром следующего дня откликнулись все газеты — такое часто случается,— и скорее всего потому, что главный редактор каждой газеты, прочтя перед сном заголовок репортажа Луиса Мануэла Феррейры, обвел его красным карандашом. Это заслуживало внимания: перед тайной не устоит ни один читатель. Так «Нотисиас» поместила сообщение об исчезновении Родриго дос Сантос Абрантеса на первой полосе, хотя текст шел под рубрикой «Общая информация». «Глобо» цитировала высказывания директора «Новилектры»: да, сеньор Родриго Абрантес пользовался большим доверием, его исчезновение можно объяснить только несчастным случаем, который по непонятным причинам до сих пор не установлен. «Новилектра», разумеется, будет помогать ведущим расследование организациям и просит журналистов упомянуть об озабоченности фирмы судьбой своего служащего. Что же касается найденного на пароме плаща, директор «Новилектры» считает шум, поднятый вокруг такого пустяка, напрасным. Плащи забывают где угодно, да и одинаковых плащей пруд пруди. «Глобо» опубликовала и фото исчезнувшего, относящееся к тому времени, когда тот проходил военную службу (на фотографии Родриго был в кругу товарищей, он единственный улыбался), под фотографией весьма двусмысленная подпись, гласившая буквально следующее: «Один из троих исчез, может, двое других, офицеры Вооруженных сил, знают, где он находится?»

Кроме этих сообщений утренняя печать писала о подрывной деятельности, развернутой на южном берегу Тежо одной из групп, участников которой довольно быстро выследили и обезвредили, и тут же, вполне возможно — по чистому совпадению, сообщалось о новых волнениях в промышленном районе Баррейро. То, что рабочие вышли на демонстрацию в разных районах страны одновременно, а кое-где объявили забастовку (незаконную, как и все прочие), наводит на размышление, однако РНГ [1] взяла дело в свои руки, и очень скоро на фабриках и в мастерских порядок был восстановлен. В столкновениях с

[1] Республиканская национальная гвардия, специально занимавшаяся разгоном демонстраций.

национальной гвардией шальными пулями были ранены несколько человек. Накануне газета «Комерсио» под рубрикой «На злобу дня» как бы между прочим (пример искусства обманывать цензуру) упомянула о проблеме занятости рабочих рук, массового исхода крестьян из страны, атрофии национального самосознания. И тут же поведала об усадьбе Амалии Родригес [1] (провинция Алентежо), из окон дома которой видна река Тежо. «Когда Амалия живет в усадьбе,— писал репортер,— она встает с зарей, сама занимается и севом, и поливкой, и сбором урожая, беседует с пастухами, топит печь на кухне, ест мигас [2] и оливки, охраняет птичьи гнезда и ложится спать вместе с курами (при свете керосиновой лампы, как поется в одном фадо[3], которое она исполняла). Мир, покой и сознание, что тебе принадлежит этот клочок земли, эта тишина и эта безмятежность,— «вот оно, счастье. Другой жизни мне не надо».

Как явствует, Феррейринья не заблуждался насчет того, что все прочие темы, затронутые прессой, не составят конкуренции его заметке о Родриго дос Сантос Абрантесе, и читатели, исключая разве что тех, которые задаются целью уловить за словесным туманом истинное биение пульса страны, отдадут предпочтение его сообщению.

Так вот, всякий, кто в последние дни брал в руки газету, приходил к одному и тому же заключению: этот Абрантес, то ли пострадавший от несчастного случая, то ли похищенный, то ли лишившийся рассудка (внезапное помешательство, предугадать которое невозможно), а может, поссорившийся с домашними (о чем не было ни слова) или скрывшийся по какой-либо причине,— *лицо значительное*. Вернее, он стал этим значительным лицом, как только попал в фокус читательского интереса. А раз уж он стал этим значительным лицом, то просто необходимо, чтобы поднятый вокруг него шум был оправдан, а возбужденный читательский интерес был удовлетворен.

Итак, мы уже кое-что знаем о будущих персонажах или предполагаем, что знаем, и если Родриго нам еще не совсем ясен, то ясно одно: наше представление о нем и представление прессы не совпадают. Родриго — простой лиссабонец, один из сотен тысяч ничем не примечательных лиссабонцев, счет которым никто не ведет. Он (как бы жестоко это ни звучало) обычный служащий фирмы по продаже бытовых электроприборов, стоящий на средней ступеньке иерархической лестницы без особых надежд подняться выше. Так ли это важно для Родриго? Это важно для всех и каждого, возразил бы нам здравомыслящий человек. Вне службы Родриго ничем особо не примечателен, разве что тягой к изобразительному искусству, что является своеобразной формой ухода от действительности, к которой, кстати тоже сознательно или бессознательно, тяготеет почти каждый городской житель. Его знали соседи по дому, в котором он жил, и кое-кто из домов поблизости, среди них и дона Грасинда — владелица табачной лавки напротив, там он просматривал иностранные журналы — не имея иной возможности познакомиться с их содержанием из-за их бешеной цены,— покупал газеты, спортивный еженедельник, почтовую бумагу, сигареты, бензин для зажигалки, поздравительные рождественские открытки и прочие мелочи. Знали его и в ближайшем кафе, куда он заглядывал утром по воскресеньям, и лучше всего в кафе «Мартиньо», где каждый вечер после работы он встречался с друзьями, среди них были банковский агент и таможенный чиновник. Они дружили, невзирая на разногласия в оценке спортивных клубов (по понедельникам, как правило, они ожесточенно спорили), поскольку их отношения начинались и кончались в кафе, где все посетители, нарушая моно-

---

[1] Известная португальская исполнительница народных песен.

[2] Крестьянская еда, приготовленная из кусочков хлеба, заправленных оливковым маслом и чесноком

[3] Португальская народная песня.

тонность будней, пусть не всегда тихо и мирно, но отдыхали. Карлос Мурта был не из их числа, он был Родриго вроде брата.

Возвращаясь к газетам, следует заметить, что на газетных полосах такие понятия, как «некто» и «никто», весьма неустойчивы. Тут все зависит от события. Конечно, газета предпочитает, чтобы ее полосы пестрели именами известными, однако всему головой все-таки событие, хотя и у событий есть своя иерархия: они могут быть более или менее острыми или проходными, как, скажем, бракоразводные процессы. Газеты то освещают подмостки, на которых разворачивается действие, огнями прожекторов, то гасят эти прожекторы, оставляя одну тусклую лампочку,— все зависит от тех или иных случайных или вынужденных обстоятельств, а бывает, что не зависит ни от чего. На освещение события влияет (как и на все в жизни) конкуренция, в данном случае конкуренция между газетами, которая то ослабевает, то усиливается.

Эта самая конкуренция и омрачила радость Феррейриньи: газета «Коррейро», желая хоть чем-то ответить «Трибуне», напечатавшей материал Феррейриньи об исчезнувшем Абрантесе, дала крупным шрифтом (в шесть столбцов, только представьте!) заголовок к одному банальнейшему fait-divers, но преподнесенному как важное событие дня. Броский заголовок возвещал: «Странная смерть старика в лесу». И кем же был этот старик? Простым нищим. Материал занял шесть колонок, была дана и плохо выполненная фотография покойного и каморки, в которой он жил. На место происшествия послали репортера. Как говорится: много шума из ничего. Вот что сообщала пространная заметка: «Тело семидесятичетырехлетнего старика, который исчез несколько дней тому назад (слово *«исчез»* предлагало читателю вспомнить материал Феррейриньи), было обнаружено позавчера одним пастухом в кустах на берегу Тежо около Фернан-Феро между Белверде и складами НАТО.

Согласно предварительному расследованию, никаких *подозрений* — как видно из доклада оперативной группы уголовной полиции — *на то, что совершено преступление*, не возникло. Однако, поскольку неизвестно, отчего наступила смерть семидесятичетырехлетнего старика, то ли не получившего в нужный момент медицинской помощи, то ли убитого и брошенного в лесу, где его и нашли, дело продолжает оставаться туманным.

Тело старика обнаружил пастух Сезар Аугусто Зебрейра. Встревоженный громким лаем собак, охранявших стадо, он свернул с мощеной дороги, пошел за собаками и наткнулся на труп Жозе де Силвы. Труп находился здесь, по всей видимости, дней пять. Метрах в десяти от него валялся пиджак, в кармане которого было найдено удостоверение личности, пятьсот эскудо и книжка вкладчика».

Далее следовал подзаголовок «Последние шаги» и ниже — несколько абзацев. Все читали только первый абзац, на остальные не обращали внимания: «Жозе де Силва, безусловно, потерпел поражение как в личной, так и в общественной жизни, последние дни он ютился в каморке, принадлежащей лесничеству Капарики». На фотографии была изображена жалкая хижина, где стоял топчан, на котором лежало скомканное белье, и с трудом, но все же можно было разглядеть одеяло и корзину, которой пользуются при сборе винограда.

Так «Коррейро» сделала из Жозе де Силвы героя дня. И только мертвый не узнает о том, сколь быстро он стал известен тысячам граждан, которые даже позавидовали его славе, пусть и печальной. Герой же Феррейриньи жив или предполагается, что жив,— ведь телефонные звонки продолжались и как бы опровергали смерть Абрантеса. Во всяком случае позволяли рождаться самым разным домыслам. И Феррейринья мог распоряжаться имеющимися в его руках

козырями, среди которых была и Тереза, до тех пор, пока все не разъяснится.

Однако что подумает читатель? А если говорить конкретно, что подумает взыскательный читатель, который следит за приливами и отливами пошлости в прессе? Бесследно исчезающих или тех, на чей след не могут напасть, а потом вдруг он обнаруживается при драматических или комических ситуациях, не счесть — загадочные исчезновения случаются ежедневно, и, кстати, по этому поводу репортер «Трибуны» привел подлинные и весьма впечатляющие документы, которыми никто другой уже поживиться не сможет. Стало быть, исключая родственников исчезнувшего и его друзей, вряд ли хоть кто-нибудь из читателей, отягощенных заботами и жизненными трудностями, сохранит дольше двух дней интерес к чужой тайне, даже если она и сдобрена соответствующей приправой. И исчезновение Абрантеса, сделавшееся сверхсенсационным, не стало бы таковым, если бы имелась только одна-единственная обращающая на себя внимание деталь — забытый на пароме плащ, деталь, которую, кстати, директор «Новилектры» счел малозначащей, и вполне заслуженно. Да, все так, но в арсенале Феррейриньи был не один плащ, а *кое-что* и еще, а именно, понимая, что возлагать большие надежды на такую мелкую и неэффектную деталь, как плащ, несерьезно, он все время будет останавливать внимание читателя на том, что хозяин плаща не пришел на работу и не вернулся домой ни в тот день, ни во все последующие, что был он мелким служащим с весьма строгими привычками, как того требовали или по меньшей мере ждали семья, служба и общество, подчинялся установленным правилам жизни, соблюдал традиции, терпел жестокую тиранию быта в самых разнообразных ее проявлениях. Безвестный, но идеальный горожанин. Он исчез, но оставил плащ — часть своей одежды,— оставил как напоминание о себе, как крик о помощи, а может, в насмешку? Кто знает. А тут еще эти постоянные телефонные звонки. Репортер «Трибуны» не упускал ни одной детали — ну кому было нужно звонить в квартиру Родриго и — услышав голос Сесилии: «Говори, папа!» — дышать в трубку? Эту деталь не обошла ни одна газета. Жизнь Родриго Абрантеса, хоть и не давала повода смаковать ее повороты, теперь, становясь достоянием читателей, прослеживалась день за днем и, что было совершенно безразлично прессе, искажалась или домысливалась.

Любопытнее всего, что Родриго вызывал всеобщую симпатию, как не менее любопытно и то, что еще большую симпатию вызывала Тереза, когда о ней упоминали как о жене исчезнувшего. Тот, кто никогда не знал и не видел Родриго, вполне возможно, счел бы черты его характера хоть и противоречивыми, но привлекательными, к тому же он мог быть еще и борцом-подпольщиком или мафиозо, которого преследуют его же сообщники. Так или иначе — личность не обычная. И когда тайна исчезновения Родриго будет раскрыта, а правосудие вдруг сочтет его нарушителем порядка, общественное мнение останется несомненно на его стороне. Ведь даже чисто внешняя, отмеченная в печати упорядоченность его жизни: дом — служба — кафе — дом, иначе говоря, семья — коллеги — друзья — семья,— этот неизменный и в то же время скучнейший круг вызывает усмешку. Любой человек рано или поздно старается освободиться от этой сдавливающей горло цепи, а может, Родриго уже не раз и освобождался, только как-то иначе, чего никто не знал, даже семья.

Дом, в котором проживал Родриго Абрантес, теперь купался в отраженных лучах той известности, которую принесло ему исчезновение его жильца. Потом лучи протянулись дальше, осветили весь квартал, каждый житель которого мог, не моргнув глазом, сказать, что он сосед, знакомый Родриго, а то и друг — почему бы и нет? — и, естественно, располагает теми же сведениями, которыми жонглирует пресса. Ведь и на самом деле не одна же привратница, обычно

проводившая время у дверей дома, уперев руку в бок, а в другой держа метелку из перьев, вдруг стала свидетельницей странного поведения Родриго: как-то она увидела его у рынка на Ривьере, он сидел в машине и гладил пышные волосы какой-то шикарной блондинки, потом к машине подошел — и это привратницу насторожило — какой-то пожилой человек и без всяких церемоний занял место блондинки. Что бы это значило? Конечно, Терезе она ничего не сказала, Тереза — такая славная женщина, в рождественские праздники она бывает щедрее других. А как-то в воскресенье утром сеньор Абрантес просидел бог знает сколько времени у окна с кисточкой в руке, смотрел, что происходит за домами на холме, где сохранилась засохшая оливковая роща, старые, редко стоящие деревья как бы образовывали процессию, направляющую к высящемуся там женскому монастырю.

В «Новилектре» дела шли своим чередом, но суеты стало значительно больше. Полдня служащие обсуждали случившееся, каждый приносил ворох газет, выискивал какой-нибудь повод для новых треволнений или что-либо обнадеживающее, а то и повергающее в глубокое уныние. В эти дни Мануэла только и выслушивала замечания то от директора, то от заведующих отделами: ее частенько не оказывалось в каморке коммутатора, связь с фирмой нарушалась, и быстро найти того или другого работника не представлялось возможным. И вот когда в третий раз кто-то сказал директору: «Мануэла сейчас будет, она вышла в уборную», он пригласил телефонистку к себе в кабинет и, брызгая слюной, заявил: «Вы, барышня, являетесь в «Новилектру» не для того, чтобы проводить рабочий день в уборной. Засиживаться в уборной вы можете дома, до прихода на работу».

И все же трескотня, поднятая вокруг имени служащего «Новилектры», устраивала всех, и больше всего именно директора. Название фирмы не сходило с газетных страниц, и каждый ее сотрудник чувствовал себя причастным к поискам: вспоминал те или иные пустяки, привычки или странности характера пропавшего, которые теперь представали в новом свете. К примеру, дона Леонор, заведующая отделом контроля. День ее рождения совпадал с днем рождения Родриго, и в этот день каждый из них спешил поздравить другого первым. А с некоторых пор их день рождения праздновался в «Новилектре» сообща: заказывали праздничный торт, куском которого и фужером шампанского сотрудники наслаждались в течение четверти часа после сирены, возвещавшей конец рабочего дня; новорожденные обменивались ритуальным поцелуем — они действительно были друзьями. Дона Леонор питала слабость к кошкам и отворяла дверь любой голодной и приблудной твари. Добрую дюжину она держала дома и почти столько же в своем кабинете в «Новилектре». Так вот только Родриго приносил ей в пластиковом пакете оставшееся от обеда молоко или что-нибудь еще, а иногда и пирожок, за которым он специально, если от обеда ничего не оставалось, ходил в молочную. Теперь все эти мелочи вспоминали, о них рассказывали с волнением, придавая им особое значение, объяснить которое могла только исключительность обстоятельств. Когда «Коррейо» дала фотографию плаща, дона Леонор не сдержала слез (как светская дама она плакала улыбаясь), не желая от нее отставать, Мануэла плакала тоже. Плащ. Что ж, вполне возможно, у «Коррейо» были основания предполагать, что на пароме была драка, внезапная и мгновенная, которой остальные пассажиры могли и не видеть, и Родриго, спасая жизнь, был вынужден броситься в воду. Может, на него кто-то напал, скажем, карманники, которых он пытался задержать. А умел ли он плавать? С этим вопросом репортеры бросились к Терезе, а не удовлетворившись ее ответом, обратились к Сесилии (уклончивой и раздражительной особе), потом к друзьям, в основном к Карлосу Мурте — самому близкому другу Родриго. А репортер «Нотисиас», который эту деталь счел особенно важной, пошел по следу, указанному соседом с первого этажа: Род-

риго Абрантес в теплые месяцы года посещал пляж в Каркавелос, и репортер принялся разыскивать старых служителей пляжа, которые обычно знают всех постоянных клиентов, в слабой надежде получить от них информацию о Родриго. Однако совершенно напрасно было надеяться, что кто-нибудь узнает его по фотографии в газете. Но тем не менее кто-то позвонил в полицию (в то время уголовная полиция уже соперничала с прочими органами расследования, занимавшимися делом Родриго) и сообщил следующее: я ехал на пароме и хорошо запомнил человека в плаще. Он был среднего роста, лицо бледное, волосы черные, по-видимому, жесткие. Какое-то время человек стоял у борта, потом к нему подошла худощавая женщина, они сели на скамью и стали разговаривать, никаких признаков интимности, отношения явно «уважительные», потом человек снял плащ, и тут-то около них оказался какой-то тип низенького роста со злым лицом, и между ними завязался спор. Все произошло в мгновение ока: то ли сам Родриго бросился в воду, то ли тот, другой, столкнул его за борт. Потом женщина и низкорослый тип исчезли, а плащ так и остался на скамье.

Репортер «Трибуны» потребовал начать поиски тела в реке Тежо. Родриго, в конце концов, мог быть просто убит. Что же касается убийц (говоря о них, репортер открыто осуждал гнусные намеки «Коррейо», которая упорно придерживалась версии о стычке с контрабандистами), Феррейринья только намекал на них, умело играя ссылками на прецеденты.

Так все и тянулось до 25 ноября, когда со дня исчезновения Родриго дос Сантос Абрантеса, так и не появившегося ни на работе, ни дома, прошло одиннадцать суток.

Два раза я был у Феррейриньи дома, но совсем не для того, чтобы обменяться впечатлениями по поводу новых сведений о Родриго (мы с Феррейриньей вступили в заговор — молчать в кафе и при коллегах о деле Абрантеса), а скорее поговорить о Фарии Гомесе. Боюсь, что Фария Гомес умирает. Его истощенный организм сопротивляться болезни уже не в силах.

Любопытно, что много лет Феррейринья тщательно скрывал, где проживает. Говорил, что в квартале Мадрагоа, а где именно, умалчивал и адреса никому не давал. Даже улицу не называл. Телефон, конечно, давал редакционный. Но вот однажды он заболел гриппом, и надолго. Я получил от него записку с просьбой взять в кассе нашей газеты (кассир был моим земляком и мог оказать мне эту услугу) его жалованье за месяц вперед. Больше он меня ни о чем не просил: деньги ему могли отправить с посыльным. Но я, решив, что моему приходу Феррейринья будет только рад, вызвался сам отнести конверт. Этот конверт кассир мне вручил, радуясь, что смог быть полезным. Вот тогда-то я узнал адрес Феррейриньи: Корабельный переулок, 30. Дом оказался одноэтажным с изглоданным двумя или тремя сотнями лет фасадом. Дверь мне открыла, поглядев в дверное окошечко, какое обычно бывает в старых деревенских домах, невысокая смуглая женщина лет сорока. Нет-нет, я не ошибся — Луис Мануэл Феррейра, журналист, проживал именно здесь. Входите, входите. Это была сестра Феррейры.

Да, дом. Сколько же в городе таких домов! Невес о них говорил не раз. Практически он состоял из одной-единственной комнаты, разделенной согласно назначению на четыре части двумя тяжелыми занавесками из набивной ткани, похожей на бумазею, правда, с одной стороны имелась не доходящая до потолка деревянная переборка. Я сразу догадался: это комната Феррейриньи — единственного из членов семьи (а всего их сколько?), кто располагал этой относительной обособленностью. В темном помещении, особенно темном для человека, вошедшего с яркого уличного света, в глаза бросалась швей-

ная машина, стоящая, подобно старой фамильной мебели, на самом видном месте, корзина с бельем, гладильная доска — все вместе как единое и неделимое целое. Потом, так бывает в пьесах, послышалось чье-то булькающее дыхание. Я повернул голову. В углу в кресле на колесах сидел пожилой человек, ноги его были укрыты одеялом, сидел скрючившись, точно зародыш во чреве. Сестра Феррейриньи проводила меня до двери в переборке, глядя на меня не то с укоризной, не то прося прощения: извините за беспорядок, Луис Мануэл так много говорил о вас, а это наш отец, его разбил паралич, и в таком состоянии он уже много лет. В этот самый момент сидевший в кресле старик издал протяжный, идущий из глубин его существа, хриплый, нечеловеческий вопль, за которым последовал приступ кашля, не отпускавший его долгое время, по подбородку на одеяло потекла слюна. Феррейринья никогда не простит мне этот визит.

Но он простил. Я даже думал, что наши отношения стали теплее, хотя теплота эта часто бередила не видимую глазу, но болезненную — как ни странно, для нас обоих — рану. Как-то, некоторое время спустя, мы шли с ним по проспекту, Феррейринья сказал:

— Не говорите о том, что видели, никому.

Я счел благоразумным не уточнять, что именно, и кивнул в знак согласия. Однако этим он не удовлетворился, возможно, его насторожило неопределенное выражение моего лица, и чуть позже добавил:

— Особенно в кафе «Мартиньо».

Феррейринья, конечно, имел в виду всех наших собратьев по перу, и в частности Кастел-Бранко. С тех самых пор как Кастел-Бранко стал публиковать свои «Апологетические заметки», мы чувствовали в нашей среде присутствие жадного и настороженного шпика. Создавалось впечатление, что, общаясь и сосуществуя с нами, он методически и с наслаждением исполнял особое задание: регистрировал все происходящее рядом с ним («Нет крупной рыбы, лови мелкую»,— иронизировал Фария Гомес), составлял на основе этой регистрации отчет, который должен был лечь в основу обвинительной речи, под впечатлением которой защитник будет вынужден отказаться от опровержения предъявленных подсудимому улик. Для Кастел-Бранко это была своеобразная возможность дать выход скопившейся желчи и одновременно хладнокровно и ловко осуществить заветный план — запятнать других, что делалось не без удовольствия и в целях устрашения, и тем самым обелить и возвеличить себя. После выхода в свет второго или третьего выпуска «Заметок» все писатели, как похвалялся Кастел-Бранко, втайне друг от друга потянулись к нему на поклон, это он говорил, посмеиваясь и намекая на их «вассальную» зависимость. Кому хотелось обнаружить на себя карикатуру или пасквиль в ближайшем выпуске «Заметок», которые только на сплетнях и держались, или же получить не подлежащий обжалованию приговор? Это, надо сказать прямо, повергало каждого из нас в тоску и уныние.

Начало всему, безусловно, было положено еще в Коимбре. И поскольку я опять вспомнил студенческие годы, я не могу не упомянуть братьев Камонес — все ведь взаимосвязано.

Вы, возможно, не забыли, что эпизод с Ауророй Заролья в какой-то мере был спровоцирован братьями Камонес, хотя подобное могло произойти в любой момент и без чьей-либо помощи. Так вот, несмотря на это, Кастел-Бранко не забыл их, он никогда ничего не забывал. По призванию он был доносчик, и все его существо только ожидало повода, чтобы стать им на деле. И повод представился: один из братьев Камонес, Флориано, был схвачен в Порто и брошен в застенок ПИДЕ, где на нем не оставили живого места.

Оказавшись снова в Коимбре, он с гордостью демонстрировал красноречивые рубцы на своем теле. Так вот, Флориано и его брат Зе Лобиньо — хитрый и на редкость изворотливый алгарвец, не раз оставлявший полицейских с носом,— были, как говорится, под стать

друг другу. На Террейро-да-Эрва эти короли коимбрской богемы вели себя как налетчики в saloon[1]: налетели — захватили. После ужина в пивной «Шоупал» (ее владелица Глория Менезес могла преградить вход в свое заведение пикету гвардейцев) или в заведении Олиндиньи они выбирали себе одну или двух-трех женщин и спали с ними либо там же, у Олиндиньи, либо уводили в «республику»[2].

И вот как-то утром после одной из таких ночей, проведенных с Кармен и Фанни, братья Камонес недосчитались одеколона, зубной пасты и прочих предметов личного пользования. Смеха ради их уволокли девицы. Зе Лобиньо, большой любитель театрализованных представлений, воззвал к мести и в один из вечеров взял да и унес одеяло Олиндиньи. Та (не меньшая любительница спектаклей), подойдя к окну, подняла на всю улицу такой крик — то была сцена из любительского спектакля,— что всякий, кто бы ни услышал, решил бы, что ее грабят. Вот тогда Кастел-Бранко, перекочевавший после скандала с Ауророй Заролья в заведение Элизабет, понял, что настал его черед: упустить такой случай никак нельзя, и вызвал полицию. Уж эти Камонес поплатятся!

Мальчишкам, по закону именуемым «докторами» [3], ничего, кроме ночевки в полицейском участке, не грозило. Но тут, поскольку главными в заварушке оказались сами братья Камонес, полицейские изошли злостью не меньше Кастел-Бранко. И вот, вместо того чтобы выяснить обстоятельства дела, как это положено, один из них залепил оплеуху Зе Лобиньо. Но Флориано был не из тех, что смотрят спокойно, когда бьют наших: разящий удар — и оба полицейских на земле, третьего он уложил одним из приемов капоейры [4]. В итоге шестерым полицейским потребовалась медицинская помощь, а Зе Лобиньо и Флориано в синяках и с переломанными ребрами оказались в наручниках.

Однако худшего еще следовало ждать: по стечению обстоятельств (нарочно не придумаешь) новый начальник полиции был только что переведен в Коимбру — и откуда? — из Порто, где служил в ПИДЕ и был одним из тех, кто истязал там Флориано.

Он не стал квалифицировать озорную выходку как «мелкое нарушение порядка», а посадил братьев в тюрьму. Устроил и показательный суд, на который пригласили студентов юридического факультета, надевших красные повязки,— ну, прямо торжественный акт в университете.

— Вы узнаете этих господ? — спросил судья Олиндинью, указывая на подсудимых.

— А как же, сеньор судья, это мои лучшие клиенты.

— Тогда почему же случилась кража?

— Кража, сеньор судья? Нет, мы просто обменялись сувенирами.

Дальше все бы шло в том же духе, не будь нападения на полицию, да еще весьма нелестных характеристик университетского сторожа — любовника Фанни, которого Флориано прозвал «храбрецом с палашом».

Приговор был мягкий: всего несколько дней тюрьмы, но осталось пятно — судимость. И спустя несколько лет, в разгар большой войны — битвы за Атлантику, когда оказавшегося на Азорских островах Флориано (туда с мулами и лошадьми он прибыл на видавшей виды морской посудине) командир полка счел возможным представить к званию лейтенанта медицинской службы, эта вот судимость — клеймо никчемной личности, славившейся драками и дурными склонностями, все и

---

[1] В баре *(англ.)*.

[2] Имеется в виду студенческое общежитие.

[3] «Доктор» по-португальски не только врач, но и человек, имеющий высшее образование.

[4] Бразильская борьба-танец.

испортила. Выше прапорщика Флориано так и не поднялся. Дурная же слава его только упрочилась, особенно после того как он, кутнув как следует с дружками, забрался в американский самолет, сделавший в Санта-Марии посадку, но, правда, прежде чем самолет взмыл в воздух, он успел из него выбраться, чтобы помочиться, и потому не стал дезертиром. Вовремя успел.

Однако вернемся к «Апологетическим заметкам». Почти накануне выхода в свет первого номера с этими заметками Кастел-Бранко, как видно, кольнула совесть — нас ведь с ним связывает общее прошлое, когда-то мы делили пополам невзгоды и радости. И кое-что из этого нашего прошлого было достойно уважения, а потому даже самая грубая несправедливость не могла зачеркнуть его. И однажды Кастел-Бранко, как бы в продолжение одной из наших обычных словесных перепалок, злых и жестоких, за которыми следовало, разумеется, молчаливое, даже приятное, примирение и которыми мы иногда развлекались, а зрители, ставшие нечаянно свидетелями, не понимали, что мы и мизинцем не задеваем друг друга: все было разыграно нами совместно,— так вот, Кастел-Бранко как бы в продолжение такой перепалки сказал:

— Знаешь, Андре (он редко называл меня по имени, и всегда без свидетелей), Алсиндо настоял, чтобы я вел в «Трибуне» еженедельную рубрику. За нее будут хорошо платить. И я решил заполнить ее мемуарами, кстати, мемуары всегда были в твоем вкусе, рано или поздно ты сам ими займешься. Помимо рассказов о себе и собственных болячках я собираюсь рассказать и о своих друзьях-литераторах, обо всех, кто так или иначе со мной соприкасался. Откровенно говоря, я сомневаюсь в успехе у собратьев: уже из первых набросков видно, что кого-то это обязательно уязвит. Ну, да бог с ними, всем не угодишь. Пожалуй, цель моих «заметок» — убить в себе тщеславие, оно живет в каждом из нас. И очень может быть, я помогу от него избавиться всем нам, поверь мне, прошу.

С тех пор как началась публикация «Заметок», мы с ним ни разу не говорили, но первым, кого они коснулись, был я. Уверен, что Кастел-Бранко рассчитал все. И когда спустя некоторое время мы встретились на одном светском коктейле, то поздоровались издали, приподняв бокалы, и тут же, сделав вид, что заняты болтовней и прочими пустяками, разошлись в разные стороны.

Я был уязвлен изрядно — он это знал. Уязвлен (так уж я устроен), но своим поведением и каждым сказанным словом всячески стремился сдержать его нападки на то, что для человека свято и должно оставаться святым, если мы не хотим раз и навсегда покончить с нашим общим прошлым. Впрочем, маловероятно, что Кастел-Бранко понимал это мое естественное стремление. Я терпел, терпел молча, как терпел многое другое, хотя временами мне казалось, что я истерзан физически, изодран в клочья, полит грязью, оглушен и все, что от меня еще осталось, находится в зубах хищника. Я знаю, что мягок, но в то же время я могу быть твердым. Так, во всяком случае, считает Марта, для нее я — воплощение твердости и надежности, я — возрождающееся из пепла дерево, которое устоит против любого урагана. В кафе опять воцарилась атмосфера недоверия; наши отношения, рвущиеся и грозящие быть принесенными в жертву чему угодно, по-прежнему требовали постоянного подштопывания.

Единственным, кто не стесняясь выказывал свое безразличие, а вернее, убийственное презрение к появившимся на свет незаконнорожденным «Заметкам» Кастел-Бранко, был Фария Гомес. Будучи человеком эксцентричным, человеком крайностей, он по сути дела являлся своеобразным связующим звеном, парадоксальным амортизатором в нашем разношерстном братстве. Под стать ему, пожалуй,

был только Невес. И возможно, потому, что был груб, груб до откровенного хулиганства и сам не писал, а был прихвостнем ведущих литераторов и вился вокруг них, как мотылек вокруг лампы. Не оставь этого занятия вовремя, он уже опалил бы себе крылья. Теперь в его огород не летит ни один камушек. Да потом Невеса частенько видели с Фарией Гомесом: он неоднократно приглашал его (Невес не решался пригласить Биа — Биа ведь была, как говорил Гомес, «моя экономка») пообедать, и все знали, что это значило для Фарии: ведь если бы не друзья, он даже не завтракал бы каждый день — не было денег. (И как только Биа, простая швея, получавшая жалкие гроши за сдельную работу, умудрялась выкручиваться — оплачивала квартиру и обеспечивала относительную независимость своему возлюбленному, на которого ни работа, ни хозяин не могли накинуть хомут?) Однако тяжелое материальное положение Фарии Гомеса не сказывалось на его общении с собратьями по перу, с гордой снисходительностью он делал одолжение — принимал приглашения пообедать или брал взаймы.

И снова мне вспоминается тот далекий вечер, случайно живущий в моей памяти. По мере того как в затянувшихся сумерках город вспыхивал отблесками никак не желавшего гаснуть воображаемого костра и казался бесприютным и тревожным, Фария Гомес становился все более и более разговорчивым. Я даже не мог себе представить, сколь необычным он оказался. Он жил в выдуманном мире и питался чудодейственными травами, о которых писал Карпентьер [1], выдуманном и абсолютно совершенном в этой своей выдуманности, а потому нам жить в его стране грез было затруднительно.

Как только представилась возможность, он тут же заговорил о своих коротких — страницы на две, на три — рассказах, иногда друг друга повторяющих, которые он рассылал в иллюстрированные журналы, чтобы получить жалкие гроши.

— И хорошо продаются, понимаете?! Я назначаю цену тому, что пишу, сам. Этим я живу и не жалуюсь.

Когда я похвалил один его рассказ о старых, согбенных старухах, придавленных многовековой молчаливой покорностью, он сказал просто и естественно:

— Вы правы, это удивительный рассказ.

По всей вероятности, он надеялся на продолжение разговора об этом рассказе как на возможность поговорить о самом себе. Но поскольку я медлил, он решил подстегнуть меня и, раздувая тонкие ноздри, принялся подыскивать в памяти нечто такое, что бы меня потрясло.

— Через неделю после появления этого рассказа в печати пять иностранных агентов запросили по телеграфу право на его публикацию. Они сразу почувствовали, что мой рассказ не туманная безделица, в которой автору и сказать-то нечего и которые тут же забываются — а именно такие у нас входят в моду. Но я отказал.

— Отказали?!

Совершенно неожиданно для себя я предоставил Фарии Гомесу право называть свои рассказы «удивительными». Рассказы и все прочее. И теперь смотреть на него, как смотрел бы крестьянин на приземлившегося у него на огороде инопланетянина.

— Да, отказался,— подтвердил он, придя в восторг от выразившегося на моем лице ужаса. Он пытался расстегнуть душивший его воротник, хотя мне казалось, что на его тощей шее болтался бы и воротничок номером меньше.— У меня, мой дорогой, есть еще время. Самое большое богатство человека — время, вернее, уверенность, что

---

[1] Алехо Карпентьер (1904—1980) — выдающийся кубинский писатель, воспевавший в своих многочисленных повестях и романах «чудесную реальность» своей родной Латинской Америки.

оно у него есть. Время и свобода. Я абсолютно свободен и могу ждать и надеяться.

На мой вопрос о его творческих планах, он ответил, что в ближайшем будущем роман или, скажем, повесть писать не собирается, нет. Роман — творение итоговое, отчет, полное самоуничтожение. Низвержение в пропасть. Заключительный акт трагедии, своего рода завещание. Писатель может написать роман в пятьдесят лет, не раньше. А до пятидесяти он должен по крохам собирать материал и точить заступ. Большего от него и требовать нельзя. И он, Фария Гомес, этим как раз и занимается, и будет заниматься впредь.

Опровергать это высказывание тысячами спорящих с его теорией примеров было бесполезно, да я и не отважился. А он продолжал:

— И если я время от времени и публикую какой-то рассказик, то на эти легкомысленные поступки меня толкают друзья. Но я всегда помню разницу между смальтой и мозаичным панно. Соберись я сейчас писать роман, то со мной произойдет то же, что с другими: я набью себе шишки.

Слушая его, я ощущал себя преступником, которому нет оправдания: написать роман в двадцать лет. И все же меня так и подмывало спросить: о накоплении какого жизненного опыта говорил он, жизнь которого состояла из вечерних прогулок по улицам города (образ ночного бродяги принадлежал ему) и посещений кафе — этого храма злобной и всепожирающей религии, которую исповедовали братья-литераторы. Да, прогулок по улицам и посещений кафе. Но я так и не спросил, предоставив ему возможность говорить обо всем, что ему заблагорассудится, даже о невероятно богатой невесте, требовавшей венчания тут же, чуть ли не завтра, и о каких-то родственниках, грозивших оставить ему большое наследство. Скажем прямо, ни то, ни другое ему бы не повредило: он ведь не служил, не знал, что такое достаток или сверхдостаток. Он мог писать весь день напролет, если, конечно, испытывал потребность, мог заниматься чем угодно, располагать собой вне зависимости от времени. «Когда я свободен, весь город мой». Вот каков был он, Фария Гомес. А мы все остальные (в том числе и я, конечно) клюнули на первую же приманку, что нам бросили, и, подставив шею под ярмо, несем чиновничье бремя, высасывающее все наши творческие способности. В конечном счете мы не что иное, как пособники той машины, которую сами же по-детски неумело, но громко отвергаем. Он — нет, он оставался цельным. Не продавался ни литературным импресарио-дрессировщикам, ни пустой бумажной славе — ничему.

— А как по-вашему, почему так зла критика наших собратьев по перу? Должно быть, совесть в них взыграла из-за собственного двоедушия, ничего больше. Противостоять совести сложно.— Он выпустил дым, который, похоже, скопился у него в легких: всякий раз, когда он затягивался сигаретой, создавалось впечатление, что он ее высосет до конца, и, холодно взглянув на меня из-под сведенных на переносице бровей, добавил, точно я только сейчас стал ему понятен:— Оставайтесь в провинции. Там пахнет землей, этот запах не обманет.

— Но вы-то переехали в город?

— Да, переехал. Вот потому и советую вам не переезжать.— Он снова будто оценивал меня, оценивал, глядя на меня искоса, и тут же, заметив мою небрежность в одежде, похвастался: — Мой портной все время старается всучить мне новомодные костюмы. «Оплатите, когда вам будет удобно»,— не отстает он от меня. Но я тверд, и убедить меня очень трудно.

Говоря это, он испытывал зависть. Смешную детскую зависть. И не то осторожно, не то сердито отряхнул полы заношенного до блеска пиджака и подтянул неимоверно широкие брюки, хлопавшие при ходьбе, как белье на ветру.

Я пригласил его пообедать. И тут же почувствовал, что Фария Гомес ждал этого приглашения и внутренне недоумевал, почему я этого не делаю.

— Где будем обедать? — строго, точно ставя условия, спросил он.

— Ну... я... мне было бы приятно, чтобы вы решили сами.

Так, несколько досадуя, я вынужден был покорно принять оказываемую мне Фарией Гомесом милость — согласие со мной пообедать.

Пошли мы в один из ресторанчиков на Шиадо, который, по всей видимости, претендовал на оригинальность только тем, что по стенам его были развешаны афиши о предстоящих корридах. В благоговейном молчании Фария Гомес энергично двигал челюстями. Он набивал рот, вернее, я ждал, что он набьет рот сразу всей лежащей на тарелке едой, которая и в самом деле исчезла после двух ловких движений большой вилки. Потом все, что уже было во рту, разом, непонятно как, отправилось в желудок. И тихо, без единого звука. Создавалось впечатление, что с обедом он хочет покончить как можно скорее. Вино он пригубил, только съев первое. И пил совсем по-особенному: не спеша и смакуя. Когда он откинулся на спинку стула, я понял, что исполнявшийся им номер окончен. И не повторится. Это было быстрое, неаппетитное, но необходимое насыщение.

— Курите, пожалуйста,— протянул он мне сигарету.

На стол он больше не глядел. Сел, чуть отодвинувшись, точно его воротило от вида объедков, грязной скатерти, бокалов и окружения — завсегдатаев и дорогих проституток. Возможно, это был тот самый момент, когда его проще всего было вызвать на доверительную беседу и услышать от него еще более забавные вещи, чем те, что я слышал час назад. Он был чем-то вроде увлекательной книги, которую стоило открыть и полистать. Впечатление того дня не покидает меня и сегодня и, думаю, не покинет до тех пор, пока я не напишу о Фарии Гомесе или не наделю какого-нибудь героя своих романов его чертами. Он возбуждает мое любопытство, властвует надо мной, и освободиться от его чар я могу, лишь если позволю ему завладеть мной полностью и, пройдя сквозь меня, воплотиться в образ, который заговорит своим собственным языком. Он должен стать моим «принцем», если, конечно, в какой-нибудь момент не возникнет другая, более притягательная тема и к тому же менее трудная. Я хорошо понимаю, что мое профессиональное перо заржавело — мне нужна встряска. Родриго Абрантес и эта непостижимая Тереза будоражат мой мозг. Кто знает, что может из всего этого выйти? Еще есть Марта, которая пишет мне каждый день («приезжай ко мне, Андре, я люблю тебя»), ей нужно ответить, и на все письма сразу. А в последнем письме она предупреждает о «сюрпризе», но тут же не выдерживает и в своем обычном постскриптуме пробалтывается: сюрпризом оказывается не что иное, как письмо, которое прислал с оказией воюющий в Анголе жених ее сестры. Для меня это хлеб: парень разрешает делать с письмом все, что мне заблагорассудится, разумеется не называя его имени. Я растерялся. Можно ведь объединить эмиграцию и войну в Африке. Но над этим еще надо подумать. А Фария Гомес — реальность, и создание образа героя, имея прототипом его, может оказаться для меня той самой встряской, которая необходима.

Однако что знал я о нем в тот далекий вечер, которого вроде и не было, и что знаю я о нем сегодня, спустя столько лет? Талантливый человек, из года в год откладывавший (риск) свое намерение посвятить себя целиком тому труду, которого вроде бы боялся, а может, нет, не боялся, а считал, что он сам, его личность уже творение, во всяком случае для других, а для него — некая подмена творчества, он обманывал себя, обманывал читателя грубоватыми рассказами, в которых чувствовались питавшие его в детстве соки земли, писал от случая к случаю, без особой охоты; проводил первую половину дня, сидя дома среди громоздящихся на полу книг и бумаги, перешагивая через

них при надобности, подобно акробату-любителю,— Бии порядок наводить здесь запрещалось строжайшим образом; а во вторую, презирая профессиональный и литературный карьеризм своих собратьев по перу, меж тем не брезгая возможностью, если таковая представлялась, воспользоваться плодами их труда, бродил по городу; в Лиссабон он явился без профессии и без верительных грамот, принеся с собой, точно пересаженное дерево, аромат родного края; и как мы, его товарищи по кафе, ни старались войти с ним в более тесный контакт, уголок души Фарии Гомеса, где он прятал то ли страх, то ли жестокость, оставался недоступным.

Был ли он кому-нибудь другом? Этот вопрос, на который я хотел бы получить ответ. Мог ли быть солидарен с кем-нибудь — с писателем или простым человеком? Определенного ответа, судя по его поведению, дать было невозможно. А поведение Фарии Гомеса, и в частности оценка этого поведения, четко прослеживается на следующем примере: в стране, где каждый человек каталогизирован и наказуема малейшая попытка уйти от зорких глаз ПИДЕ, личность Фарии Гомеса ставила в тупик критиков, призванных определить его место в жизни и отнести к тому или иному литературному течению. С какой бы стороны к нему ни подступались, он оставался неопознаваемым и ускользающим, будучи в то же время объемным и ярким. И все же при всей своей противоречивости он принадлежал к той ветви литературного древа, сердцевина которой имеет червоточину: все мы были бродячими созерцателями, стыдящимися этой созерцательности.

Глядя на Фарию Гомеса, окутанного густым облаком табачного дыма, я вопрошаю самого себя: какие же страсти кроются за его показной непроницаемостью, может страдания? Однако его челюсти казались крепкими и способными перемолоть любую радость и любое горе.

— Вот вы говорили о драматических судьбах наших собратьев, то есть нашей драме. Мы, мол, сдаемся, принимаем условия игры. Я не согласен. Одна из примечательных особенностей нашего поколения как раз в том, что оно выстояло. В какой еще стране с таким же деспотическим режимом мы найдем в литературе столько нонконформизма?

— Вам, дорогой мой, не хватает только цветов и гитары. Это у португальца в крови. Так вот, знайте: все это чистейшей воды мелодрама. Ну, где у вас, у буржуа, активный протест против стремления государства заарканить вас?

— Прошу прощения, везде. Например, наша гражданственность. В общественном сознании. К тому же писатель существует совсем не для того, чтобы, взяв в руки дубинку, пойти на улицу. Слово — вот его оружие.

— Для каких сражений? Вздор. Скажите, кто вас читает: бакалавры, беременные домохозяйки? Да если бы даже вас читали и все прочие, толку никакого.

Он явно стоял на подмостках, я же был внизу, в зале, среди зрителей, вынужденных аплодировать его высокомерным высказываниям. Черт бы его побрал с его театральностью. Надоело.

Согнутой рукой он оперся на рядом стоящий стул. Его ногти с траурной каймой вызывали у меня позыв на рвоту. Отталкивающих черт у Фарии Гомеса было много. А может, тошноту вызывала и окружающая обстановка. Я чувствовал себя отупевшим, мне поскорее хотелось глотнуть чистого воздуха. Я вспомнил родные края, ночные сумерки, сосновый аромат и шумы готовящейся к празднику деревни. Завтра же туда уеду, завтра.

Я сказал еще что-то в подтверждение, как мне казалось, уже ранее сказанного и объявил, что оставаться здесь, в кафе, дольше не могу. Предложил пройтись, зная, что он на это клюнет.

— Только выпьем кофе.

Мы подошли к стойке. За кофе — крохотный расход — он расплатился барственным жестом. И снова у меня возникло чувство, что я его ограбил: эта прогулка, ужин, чашка кофе и потраченное на меня время были его дароприношением, его особой благосклонностью. Когда мы уходили, за оставленные мною на столе чаевые официант глубоким поклоном поблагодарил его.

Вечер мы завершили в молочном кафе на набережной Содре. Я знал, что Фария Гомес частенько бывал на ночных сборищах, устраиваемых здесь поэтом Жоаном Пруденсио. Жоан Пруденсио страдал бессонницей и старался как мог оттянуть тот момент, когда останется один на один с тусклым негаснущим светильником. В то время я еще не знал Жоана Пруденсио и был благодарен Фарии Гомесу за его идею отправиться именно в это кафе. И принял ее как еще одну оказываемую мне милость.

Маленький, с серыми глазами сфинкса, которые полупенсне делало еще загадочнее и проницательнее, Жоан Пруденсио уже тогда был Фатимской [1] богоматерью нашей португальской литературы. Но поэтом он был незначительным, хотя в таких маленьких странах, как Португалия, все поэты гениальны, несмотря на многословие, парадность и затхлость вдохновения. И все же Жоан Пруденсио сумел стяжать славу лузитанского Уитмена, Уитмена — пантеиста и правдолюбца. Мы все считали его склонным к пустословию (один раз он тайком съездил в СССР, как ездят в Мекку, и с тех пор не было оды, в которой бы не поминался «печальный шелест московских тополей» — удачный образ, пробуждавший у читателей представление об его отваге и лиризме в универсалистском вкусе), вернее, признавали его поэзию слабой, но вслух никто никогда не высказывался. Наоборот, в анкетах, проводимых литературными отделами газет, имя Жоана Пруденсио все всегда писали первым: из стратегических соображений никто не хотел вручать пальму первенства настоящему серьезному противнику. А закрепившаяся за Жоаном Пруденсио случайная слава ни одного из нас не пугала. К тому же, как я уже говорил, поездка в СССР — этот сказочный подвиг, на который он, зная о полицейских репрессиях, кои следовало ожидать по возвращении, отважился, тоже сделала свое дело. Не без того.

Мое же воображение рисовало Жоана Пруденсио человеком осторожным, благочестивым, с мягким, устремленным вдаль взглядом, которого нередко можно встретить у прилавка книжного магазина с одной или двумя книжками под мышкой, разумеется окруженного свитой, как теперь это случается с Кастел-Бранко, хотя он и посмеивался над Жоаном Пруденсио, но втайне всегда желал унаследовать его скипетр. И мое воображение меня не обмануло. Увидел я Жоана Пруденсио сидящим за квадратным столиком, он председательствовал, не спеша попивая минеральную воду, а все остальные, отваживаясь высказать свое мнение, всякий раз следили за тем, как он на то реагировал. Нет, полным совершенства Буддой его не назовешь, как не назовешь и сектантом, он всего лишь позволял поклоняться себе. И принимал поклонение с грустной сдержанностью, словно просил извинения за то, что возведен на престол. А если вдруг с кем-нибудь не соглашался, то прежде чем высказать свое несогласие, старался похвалить того, с кем не согласен, чтобы заранее сделанным авансом обезоружить потенциального противника. В бестактности или наглости никто и никогда обвинить его не мог.

Так что Жоан Пруденсио был не чем иным, как живым воплощением трудолюбивого и хитроумного управляющего имением. Почва же, питавшая его творчество, была неплодородной, но он умело старался защитить ее от всех климатических капризов — засух или дождей. И своими собственными силами. Да, почва тощая, неспособная

[1] Богоматерь Фатимская, к ней на поклонение в город Фатима стекаются во время религиозных праздников тысячи верующих.

дать обильный урожай, а он на ней все же нет-нет да взращивал добрые злаки, а иногда и получал неожиданные, отмеченные богом плоды, которым умел найти хороший рынок сбыта, выбрать наиболее удачный момент для продажи и взять хорошую цену.

Я с любопытством наблюдал за поведением Фарии Гомеса в этой обстановке, чем-то напоминавшей обстановку молельни. Освещено кафе было плохо, горевшие лампы, казалось, вот-вот погаснут, а уж в том дальнем углу, возле уборной, где сидел «священнослужитель» со своими прихожанами, царил обычный для богослужения полумрак.

Всех их было четверо вместе с Жоаном Пруденсио. Один — полный улыбчивый субъект с вызывающим бантом на шее, имя которого почему-то напомнило мне имена конспираторов, политические заговоры которых уже заранее обречены на провал (страна представляла собою концентрационный лагерь, охраняемый недремлющими штыками), но тем не менее возникают чуть ли не каждый день; другой — задумчивый, молчаливый художник и третий — худощавый, беззубый человек, который сидел рядом с учителем, повторяя каждое его движение, он вполне мог бы сойти за служку. Так и казалось, что после каждой короткой и тихо сказанной фразы председательствующего он вот-вот произнесет: «Аминь!» Насколько я понял, некий Абруньоза был как бы лакеем Жоана Пруденсио, и в его обязанности входило осуществлять связь между литератором (разумеется, объявлявшим себя противником саморекламы, но по-настоящему очень *страдавшим, если газеты забывали о нем* дольше, чем на неделю) и голосом общественного мнения. Должность весьма неопределенная и неоплачиваемая — поэт, по слухам, был скуповат,— но Абруньоза исполнял ее, как видно, из преданности.

В общем-то, здесь был народ более или менее бесцветный и не очень обидчивый — обычные статисты, нет-нет да воскурявшие фимиам своему патриарху. Подобными людьми окружил себя несколько лет спустя и Кастел-Бранко, но не так успешно. К тому же со стороны этих людей никакая опасность Жоану Пруденсио не грозила. Неужто же Фария Гомес был таким же смиренным и преданным человеком Жоана Пруденсио, как и эти люди? Нет, такого быть не могло.

По отношению ко мне Жоан Пруденсио изображал саму любезность. Отодвинув стакан с минеральной водой, словно желая расчистить разделявшее нас пространство, он, протирая очки, заговорил о вещах мне приятных и способных найти отклик в моей душе. Он говорил, что я живу так далеко и получаю духовную пищу из не очень-то откровенных писем своих собратьев (у городских жителей, как правило, не хватало времени на то, чтобы утолить голод сельских изгнанников, лишенных общения,— надо же, а я питал иллюзии по поводу этого «изгнания»!), а потому никогда не пойму того, что их волнует, или того, что они пытаются претворить в жизнь (может, Фария Гомес и прав в своем горьком скептицизме?). Жоан Пруденсио разглагольствовал о грубости деревенской жизни, о современных формах феодализма — человека ставят на одну доску с животным,— о неизбежности социального неравенства, наследуемого поколениями, не застрахованными от внутренних потрясений, результат которых и есть развитие злокачественной опухоли. Говорил он таким проникновенным голосом, точно выражал соболезнование мне, моему личному несчастью и одновременно давал понять, что, рассуждая о крестьянах и вторгаясь в мои сферы, он всего лишь выказывает свое доброе расположение. Нет, он на крестьян не посягает, они отданы мне на откуп.

У феодализма, повторял он, корни крепкие. Пусть разбушуются ветры (я тут же вспомнил «печальный шелест московских тополей», кстати, поэма отличная), пусть даже у наших стен (мы замурованы в этих стенах, не живем, а гнием) грянет буря, корни феодализма ей не вырвать, нет, они останутся на своем месте целехоньки. Да, они — опухоль, поразившая пассивную клетку, которая страшится каких-ли-

бо перемен. В конце концов корни сгниют, но надеяться их вырвать раньше, чем их тронет тление, нечего. И тем более нам, жалким, разобщенным писакам.

Позвольте, то же самое говорил Фария Гомес, только иными словами, так, может, я безнадежно отстал? Что это за люди, что за город, что за страна, черт бы побрал! А может, здесь, в атмосфере покорности, иногда все же регистрировались (говоря языком науки) мощные сейсмические толчки?

Абруньоза многозначительно кивал головой и прикрывал глаза поблекшими, дряблыми веками. Я с раздражением переваривал преподносимый мне довольно легко и в то же время как бы с болью скептицизм и наблюдал за Фарией Гомесом. Тот взял со стола бумажную салфетку и со сдержанной яростью принялся ее скручивать, одновременно подавляя позывы к рвоте, точно пищевод его не принимал случайно проглоченную кость. И в тот момент, когда краснолицый художник, подперев волосатыми руками подбородок, провозгласил: «Вот именно, именно, давайте смотреть на вещи трезво», чем привлек внимание клевавшей носом девицы, Фария Гомес звучно рыгнул:

— Черт бы побрал этот ужин.

Жоан Пруденсио поспешил ему на помощь и, ласково похлопав по спине, подбодрил:

— Пройдет, Фария, допей-ка эту воду.

Минуту спустя мы были на улице. Я не ошибся: молельня со своей болтовней Фарии Гомесу была не по вкусу. Город снова ставил меня в тупик. Теперь, оказавшись на улице и видя раздувающиеся ноздри Фарии и мрачный огонь в его глазах, я понял, что он боготворил сумерки, и лишь потому, что они были преддверием ночи — необъятной, раскрепощающей, пусть даже бессонной ночи, единственной угрозой которой станет брезжущее утро.

Это было много лет назад; теперь преображенный страхом и выставляющий напоказ свою эксцентричность, чего раньше не было, Фария Гомес умирает (о смерти говорит все), а я — такой же провинциал-изгнанник, как и он, только более слабый, и моя слабость не дает возможности зарубцеваться ранам, полученным в этом изгнании. Что мы делаем? Какой нас ждет конец?

■ ■ ■

Андре,

у меня изменился адрес, обрати на это внимание: «Брюйер», авеню Майо, 12, Эманс. И не забудь. Мой муж разрешил вопрос жилья мгновенно, у него, как у невротика или у тех, кого страх заставляет действовать, реакция быстрая и смелая — и вот мы на новом месте, сам же он уехал в Марокко, там находится филиал предприятия, на котором он работает. Теперь какое-то время я буду одна и свободна, свободна от его непереносимого, удушающего присутствия, от его постоянно шпионящего взгляда, от его обвиняющего молчания. Свободна от его рук, которые ищут мои, от его молящих глаз. И все же мне жаль его, он ведь считает, что любит меня, а я считаю, что ненавидит; мы оба пленники этой безумной обстановки, и иногда мне как сумасшедшей хочется задушить его, я надеюсь, это тебе понятно. Андре, я только что проснулась, и первая моя мысль была о тебе. Я распахнула окно спальни, а вокруг такая торжественная тишина, ну просто начало мира. Дом со всех сторон окружают деревья, он стоит как раз посередине парка — парка усадьбы «Брюйер». Дневной, солнечный свет здесь какой-то влажный, он кажется водой, подкрашенной всеми красками сразу, особенно когда попадает на зелень. Описать подобную красоту не в моих силах — вот ты бы, Андре, смог, как ты умеешь вдохнуть жизнь в окружающие тебя вещи! — и потому особенно грустно, парк действительно сказочно красив.

Проснулась с болью в сердце, ты — моя боль, моя неизъяснимая тоска. Но безмятежность, в которой я пребываю, тут же утишила боль. Здесь даже птицы поют как-то по-особенному тихо. И вдруг я подумала, что ты бы мог приехать сюда на недельку. Здесь никого нет, все уехали, так что никто и ничто нам не будет мешать. Одну неделю, Андре, только одну, как тогда, когда мы были в Париже, тот подарок судьбы я буду вспоминать всю оставшуюся жизнь. Ты печален, рассеян, придумываешь о себе всякую чушь и не догадываешься, что твои возможности неистощимы, что твоя сила со дня на день заявит о себе подобно грому небесному. Приезжай. То, в чем ты нуждаешься,— это быть любимым по-настоящему, быть любимым и любить, любовь не дает людям ни стареть, ни умирать. А умирать, будучи живым,— худшее, что бывает на свете, худшая из смертей, ты же мне сам это говорил. Парк со всех сторон окружен лесом. Я должна показать тебе одно зеленое озеро, к которому ранним утром приходят на водопой звери. Приезжай, Андре, отдохни, забудь свои заботы, сделай передышку и чуть-чуть побудь около меня. А можешь приехать просто как друг, если для тебя так лучше (ну, как в последний раз), моя нежность будет такой же. Приезжай, мы с тобой сможем и наговориться всласть, и нагуляться, держа друг друга за руки. Приезжай, я умираю от жажды видеть тебя — хотя этот довод и не в счет, я это знаю хорошо.

И будь покоен. Моя любовь к тебе перестала быть требовательной. Она иная, закалилась, стала сдержанной. Я научилась мыслить. Ярость и голод утоляются, а дружба и нежность возрастают, наполняют чашу до краев. Я ведь пыталась забыть тебя, но у меня ничего не вышло. А потому принимай меня такой, какая я есть, а я буду принимать тебя таким, каков есть ты. Но повторяю, ты нуждаешься в том, чтобы быть любимым, а совсем не в укрощении или поклонении и не в том, чтобы тобою хвастали в салонах как дорогим, оправленным в металл камнем, нуждаешься в любви ради тебя самого, со всеми твоими изъянами и странными добродетелями, нуждаешься в том, чтобы не нарушалась твоя целостность, и в ком-то, кто был бы счастлив принести себя тебе в жертву. Нуждаешься в чьей-то полной отдаче. По-моему, я способна на это. Я поняла, что не должна от тебя освобождаться ради обретения покоя. Ведь как приятно сознавать, что что-то между нами существует и нас волнует, несмотря на расстояния и время. Знаешь, Андре, похожее я испытываю, когда вхожу в поезд, который везет меня во Францию. Я чувствую в себе какую-то сверхсилу. Я должна жить на чужой земле, потому что на родной для меня не нашлось места, должна жить, позволив собственнику-мужу, который хочет, чтобы я была вещью, быть моим хозяином, и трудиться ради будущего своей сестры, а возможно, и ради того, за кого она выйдет замуж,— парень прислал с оказией из Анголы свой дневник, который тебя заинтересует и, возможно, подстегнет, ты можешь воспользоваться им (я перешлю его тебе через несколько дней) для своей работы, если надумаешь писать о войне, он разрешает. Так вот, когда эта машина (поезд) трогается в путь и везет меня туда, куда я должна ехать, но куда я ехать не хочу, я безропотно покоряюсь, вынуждена покоряться, поскольку другие в том (во мне) нуждаются. Но все это мне не мешает (и ничто мешать не будет) любить тебя, жаждать твоих рук, ласкающих мое тело, которое принадлежит тебе, даже тогда, когда, оскорбленное и вялое, позволяет себя осквернять другому.

Подумай, может, действительно примешь мое предложение и приедешь. Будет только лучше: посмотришь на все проблемы издалека (ты не пишешь мне о них, но я чувствую, что они есть, и это все из-за твоей максималистской требовательности к себе). Я по-

торопилась со своим возвращением во Францию из-за семейных неурядиц. К тому же находиться в Лиссабоне и даже не видеть тебя (это непростительно, что ты ничего не придумал) слишком тяжело. Легче уехать. До скорого. С любовью.

Марта.

P. S. Может, я подсказала тебе тему для поэмы о высохшей земле, которая жаждет воды?

■ ■ ■

Андре,

я позвонила своей сестре, и она мне сказала, что тебя, похоже, в Лиссабоне нет, заподозрила она это по тому, как твоя жена говорила о тебе на коктейле в посольстве Кубы. И я засомневалась, получил ли ты мое письмо. Я приглашала тебя провести неделю в чудесном лесу, где наложен запрет на все огорчения. Но человек предполагает, а случай располагает. Будем терпеливы. Я излила на бумагу все свои чувства к тебе. Впредь обещаю сдерживаться и быть разумнее и рассудительнее (однако с рассудительностью у меня плоховато). Постараюсь быть тебе только другом, чего, как мне кажется, ты от меня и ждешь. Я довольно много думала над твоими недомолвками и наконец поняла: ты стыдишься говорить об интимных вещах и заставляешь людей додумывать и распутывать твои сложности. А потому я хочу развеять то заблуждение, в которое ввергли тебя мои слова «доверительная беседа». Мы поймем друг друга, Андре, и тому, что у тебя сейчас тяжелая полоса — не идет роман,— я верю. А вот в чем ты меня не убедишь, так это в желании отречься от самого себя, в твоем осознании «провала» или «поражения». Прости меня, но никакого провала или поражения нет. Я ведь знаю тебя, и хорошо — хотя бы потому, что люблю,— и никак не могу разувериться в твоем почти яростном желании жить. Покорить себя ты не позволяешь никому (никому!), не желаешь, чтобы кто-то сделал тебя несчастным. Каждый из нас — единственный в своем роде (это я от тебя услышала), и ты, Андре,— единственный из всех единственных. Это ты должен зарубить себе на носу. В тяжелые минуты жизни, когда все видишь в мрачных тонах, мне тоже кажется, что вокруг меня стена. Я ее вижу даже сейчас, понимаешь? Но мне всегда удавалось бросить вызов самой себе, своему тирану, мужу, который все время играет на моей жалости к нему, да и ко всему миру. И я не позволила себя победить, во всяком случае до сегодняшнего дня, когда тебе пишу. Ты тоже выстоишь, это написано на твоей руке. И один и другой островок у тебя уже позади. Как бы я хотела оказаться в Лиссабоне, чтобы своей нежностью и дружбой поддержать тебя. Ты что-то очень загрустил, выкинь из головы все. Ведь если ты подумаешь хорошенько, то у тебя нет даже маленькой причины для этой твоей боли, не верю, чтобы страдания доставляли тебе радость или были чем-то вроде вина или хлыста. Здесь, в этом доме, когда ты только захочешь, я буду твоей. Мой дом, когда мужа нет, всегда твой. Ты хорошо знаешь, что для тебя я сделаю все, что в моих силах. Лично мне очень помогли занятия йогой, ведь когда на человека наваливается тоска, лучше отдаться ей, иначе она высосет из нас драгоценную энергию. Парадоксально, но факт: пережить тоску легче, чем уйти от нее или с ней сражаться. Я научилась плакать, как ребенок, так я никогда не плакала. Научилась справляться с голодом, эгоизмом, одиночеством, страхом, жестокостью. Научилась переносить несчастье, потому что должна была показать себя сильной. Не умевший пла-

кать ребенок, которым я была, превратился в несдержанную, слезливую женщину. И пришло успокоение.
Подумай обо мне.

Марта.

В случае, если моего предыдущего письма ты не получил, вот мой новый адрес: «Брюйер», авеню Майо, 12, Эманс.

P. S. Я уже запечатала письмо, но вскрыла, чтобы дописать. После того как я его заклеила, немного отдохнула, предалась лени. А почему бы и нет? Когда он далеко, я располагаю собой как хочу. Думала о тебе, мечтала о несбыточном чуде, как вдруг небо насупилось, послышались раскаты грома, молния ослепила меня, и хлынул ливень — ни дать ни взять всемирный потоп. Здесь такие бывают часто. Наверное, из-за обилия испарений. Когда жара становится непереносимой и дышать совершенно нечем, там, наверху, сходятся тучи, и гроза разражается со страшным грохотом, точно в Судный день. Мне вспомнились детство и юность, прошедшие на острове Армона (ты, конечно, такого не знаешь), на этом острове мой отец служил таможенным чиновником. Это затерянный в океане рай, он находится прямо напротив Ольяна[1]. Во времена моего детства до Армоны ходили шлюпки, час — и ты на месте. Остров покрыт дюнами с редкой ползучей растительностью, на многие километры, теряясь вдали, тянутся дикие пляжи, чистое, ласковое море оставляет на них морские раковины и экзотических морских тварей, умирающих на заходе солнца. Вот и я, когда буду предчувствовать смерть и захочу ускорить ее приход, поеду на остров Армона, поеду в свое детство, чтобы красота этого острова стала мне надгробьем. А если все-таки нас с тобой, Андре, соединит любовь, там нам будет великолепно. Да, так вот, я начала вспоминать те времена детства, когда, танцуя под дождем, бегала по дюнам среди колючих кустарников, а мать, надрываясь, звала меня домой. И тут я подумала, Андре, подумала, что мне-то уже тридцать три года и я уже не та глупая девочка с острова Армона, да и за окном холодно, и ничего не стоит простудиться, и так далее, и тому подобное, ну как это обычно бывает. А дождь, гром и молния безумствовали. Я разделась и нагишом легла на кровать, не отрывая глаз от широко распахнутого окна. И никакого холода не почувствовала. Потом вдруг вскочила на ноги и в сладкой истоме медленно пошла к окну, готовая отдаться своему желанию: я вообразила, что ты там, снаружи, и ждешь меня, вообразила, как ты завладеешь мной, моими губами, руками, грудью, животом, бедрами (тебе действительно они нравились?), вообразила, шепча что-то от озноба и боли, что вдруг там — ты, порывистый, влюбленный, колючий, какой есть. Ты сильнее меня. Я выпрыгнула в окно и побежала под дождем, по мокрой траве, подобно нимфе, я падала в лужи, оборачивалась, ища тебя, и звала, я так старалась соблазнить тебя и всю себя подставляла освежающим струям дождя. Как могло не быть тебя рядом? Я верила, что ты догонишь меня, бросишь в папоротники и овладеешь мною. Дождь напоит влагой лес, а ты оплодотворишь мое тело. Я — Женщина-земля, Женщина-глина, ты — Мужчина-дождь, Мужчина-солнце, любимое солнце моей жизни.

Марта.

■ ■ ■

Андре,
сегодня я хочу поделиться с тобой своими личными «впечатлениями». И ты имеешь полное право соглашаться или не соглашаться с тем, что я напишу. Для начала, пожалуй, скажу, что моя

[1] Город на юге Португалии.

«линия ума» (я о линиях на руке — можешь смеяться сколько влезет) явно свидетельствует о его отсутствии. И жизнь доказывает то же. Проследить это можно хотя бы на примере моей способности «чувствовать» людей, понимать их интуитивно при первом знакомстве. И я их действительно понимаю, но только тогда, когда вижу перед собой. Стоит расстоянию разделить нас, как эта способность исчезает: ум мой себя никак не проявляет, и я боюсь ошибиться. Иными словами, я всегда знала, что на ум свой я полагаться не могу...

Все это я говорю к тому, что «чувствую», чувствую душой и телом, что ты даже не тянешься ко мне, а, наоборот, отталкиваешься. И это потому, что видишь во мне опасность — ток высокого напряжения, от которого мы должны предусмотрительно держаться подальше, чтобы не быть «убитыми». Но не бойся, Андре. Я не опасна, ведь между нами нет ничего прочного, как, впрочем, и возможного. Честно говоря, я решила быть для тебя (если, конечно, ты позволишь) сущей малостью: заводью, в которой корабль может укрыться от шторма, необходимой передышкой, после которой он снова может продолжать свой путь. Я удовлетворюсь даже радостью отдачи. И буду, по мере возможности, осторожна, потому что мой максимализм подвергает меня большому риску, а самый большой риск связан с тобой.

Все это не просто, я знаю. Но ведь мы готовы ко всему, и к жестокой борьбе за существование, не готовы только к случайно встретившемуся на нашем пути удовольствию. Да здравствует торжество убеждения над предубеждением. И куда меня заведет мое душевное смятение? Нет, не хочу над этим задумываться. А всему виной сладкое чувство истомы от того, что я брошена.

Поживем — увидим. В последний раз, когда *он* копался в ящиках в поисках твоих писем (я их, такая дура, в панике уничтожила) и обнюхивал меня, точно я пахну тобою, он повторил свой спектакль с пистолетом — приставил его к виску и произнес: «В обойме одна пуля, может, не промахнусь!» А я сидела напротив него и с полным безразличием подбадривала: «Нажимай, нажимай на курок!» Он, бедный, в ужасе схватился за голову.

Книга по футурологии очень интересна, я купила ее несколько дней назад и дорого заплатила, так что покупку кофты, которая мне необходима, придется отложить. Теперь все, что предстает перед моим испуганным взором, я вижу в новом свете — сплошное непостоянство. Только к кому-нибудь или чему-нибудь привыкнешь, как пора отвыкать. Так что привыкать стоит только к непрочности. И давать то, что можешь дать (иначе следует забиться в угол и ждать смерти, а то и ускорять ее приход), ничто не вечно и ни от кого постоянства и верности ждать нельзя. И ощущение неизбежности и быстротечности мы, вероятно, должны расценивать как основу жизни, пусть ужасающую и ввергающую в тоску, так, Андре? Как бы то ни было, нам надо противостоять неизбежности и быстротечности, а не бежать от них. (Бог мой, я на стезе моралиста, а ведь моим единственным желанием было поделиться «впечатлениями».)

А как твоя жизнь? Все то же отчаянное самооглушение, без какой бы то ни было цели? Ты боишься остановиться. Боишься тишины. Боишься отдать себя кому-либо. Бежишь в никуда от себя самого. Именно в никуда, потому что все понимаешь и знаешь, что бежать некуда. Незачем себя обманывать. Тоска — следствие подавленного желания, это я где-то вычитала, нет, не у старика Фрейда, думаю, что не у него. Ты словно перепуганный ребенок из одного стихотворения Карлоса Друммонда де Андраде [1].

---

[1] Современный бразильский поэт.

Хочешь открыть дверь.
Но двери не существует;
Хочешь умереть в море,
Но море все высохло.

И так далее и тому подобное:

Ты без женщины,
без ее общества,
без ее ласки.

И так далее. Может, Друммонд тебя знает? Помни обо мне, если сможешь, если сумеешь, если захочешь.

Марта.

■ ■ ■

Андре,

да, я поступаю необдуманно — не повторяй, не надо. Впредь обещаю считать до десяти, прежде чем что-то сказать вслух, а уж приниматься за письмо буду не раньше чем через неделю-две. Может, благодаря этим маленьким, но все же хитростям (ловким приемам) я постепенно привыкну смирять свои порывы, которые ни к чему хорошему, как видно, не ведут. И может, перестану закусывать удила, раз ты не свободен... А вот спокойствия обещать не могу. Ведь спокойствие озера или спокойствие моря относительно. «Течения», которые во мне проходят, не могут исчезнуть без следа — это было бы чудом, но я в чудеса не верю. Поэтому, противореча только что данному обещанию, я все-таки пишу тебе. Время все поставило на свои места в моей бедной голове, и вот к чему я пришла: для меня невыносимо сознание, что между нами может существовать пустыня молчания. То, что живо,— сколько, Андре, прошло времени с нашей встречи! — я не могу посыпать пеплом. Нет, не могу. Этого не должно быть. Как смешна была та художница, я забыла ее имя, и какой была глупой я, желающая подражать ей, а ты — уморительным, выдавая себя за прожженного бабника, это ты-то, мой милый и грустный человек.

Вот с чем я согласна, так это с тем, что жестокая правда лучше, чем отвратительная ложь, но в данном случае правда — это то, что во мне. И она хочет жить и заставить слышать себя. Ни один из нас не пойдет на унизительную ложь, с которой со временем сживаешься, как не пойду и я одна на заведомое преступление — удушить правду только потому, что она не должна подавать голос. Чего же я хочу, Андре, в конце концов? Если бы я знала и могла дать решительный ответ, чтобы обрести мало-мальское спокойствие. Что должно быть для нас самым главным? Уважение и немного нежности. Любовь — слово затертое, и смысл его теперь совсем иной: оно выражает количественное соотношение чего-то, точнее, количество чего-то, что служит выражением любви, а среди этого «чего-то» — страсть. Все, в чем я нуждаюсь,— это уважение и нежность. Твоя нежность. Пусть все это будет называться дружбой, если для тебя это слово, определяющее наши отношения, предпочтительнее. Ты мне необходим, чтобы отдавать себя тебе, получая взамен совсем немного. Жизнь приучила меня довольствоваться малым и быть скромной, принимать все, что она мне выделяет. Ты другой: ты хочешь от жизни либо все, либо ничего. Для меня bonheur [1] — это несколько радостных часов, не больше, которые нам, жалким смертным, даруют боги. Полноты счастья ни в этом, ни в каком другом мире я не надеюсь увидеть. А мир подчинен незыблемому закону — за все,

[1] Счастье *(франц.)*.

даже за самую маленькую радость, надо расплачиваться горем. А иногда и не просто горем, а лавиной горя. Если будет минутка свободная, черкни мне.

Марта.

P. S. Будь я колдуньей или волшебницей или имей волшебную палочку или сверхъестественную силу, я бы послала тебе сегодня блеск звезды, аромат моей любимой розы, песню соловья, свежесть полей. Сегодня ровно четыре года, как мы с тобой познакомились.

Марта.

■ ■ ■

Андре,

обрати внимание, сколь своеобразна наша переписка: я тебе пишу по три-четыре страницы, а ты присылаешь мне в ответ крохотные записочки. За все это время я ни разу не получила от тебя того, что называется письмом. Одни записочки, и те короткие и все о мелочах, которые произвели на тебя впечатление. Ты у меня вроде доверенного лица, внимательного и любезного, не больше, изредка посылающего критические замечания, чтобы кое-что прояснить и поддержать переписку. Общаясь с тобой, я выявляю свои несообразности, смотрю на них твоими глазами и пытаюсь их разрешить. Ты — нет. Ты предпочитаешь отмалчиваться, рассчитываешь только на себя и занимаешься самоедством. Если бы мы были рядом, ты был бы менее осторожным, я не сомневаюсь, и скорее всего навязал бы мне свое представление о себе, как в первые недели нашего знакомства, я ведь тоже это делала. Из писем понять, каков ты на самом деле, невозможно. На тебя работают метафоры, и ты отравлен опиумом литературных образов. После нашего сближения я почувствовала, что это своего рода кастрация, к которой прибегает каждый писатель, чтобы — не дай бог! — не проявилась его человеческая сущность. И потом, Андре, я с полной ясностью вижу происходящую во мне перемену. Чувствую себя так, словно выздоравливаю после долгой и тяжелой болезни, восстанавливаю силы постепенно, исподволь, и отрицать это никому не позволю. И полное выздоровление не за горами, поскольку аппетит вернулся. Да, вернулся. Вернулось желание жить и желание стать прежней. Таким тяжелым потрясением для меня оказалось замужество. И вот почему. Видишь ли, мой отец, хотя и был простым таможенным чиновником на чудесном острове Армона (бежим туда скорее), опережал свое время (в определенном понимании): он был начитан, рассудителен, необычайно раскован и ни одну из своих дочерей не готовил «к замужеству». Больше того, в нашем доме не было разделения между полами. Вспоминаю, как я, девчонка, залезала на деревья, играла в ковбоев, сражалась с братьями на песчаных дюнах — и все на равных. Эдуарда время от времени любит вспоминать, с какой яростью я сражалась. А мать все еще не перестает рассказывать, в какой «трепет» я повергала семью своими подвигами, а то и вовсе исчезала из дому на целый день. (Знаешь, Андре, море не ограничивало остров, а наоборот, увеличивало его, я в это свято верила, как свято верю, что, если когда-нибудь у нас будет медовый месяц, мы его проведем там, обещай, увидишь приливы и отливы и морские окаменелости самых разных цветов и оттенков, их выносят на берег ласковые волны; не обещай, никогда в нашей жизни не будет острова Армоны!) Очень возможно, что именно поэтому мой отец, как только получил наследство от своего бразильского дяди, тут же принялся осуществлять свои тайные прожекты, а именно: дал мне возможность

учиться на медицинском факультете, который, должно быть, и сделал меня столь впечатлительной,— ты же говоришь о чувствительности, как ты ошибаешься! Если бы ты жил со мною, я бы, как *Шарезада* — в слове не хватает букв? — все ночи напролет рассказывала бы тебе истории об острове Армона. Мама моя до сих пор надеется, что я исполню свое обещание и напишу книгу о нашем детстве — моем и моих сестер и братьев. Оно было чудесным, Андре.

Остров во время приливов и отливов менял свои очертания: иногда вытягивался, соединяясь с песчаными косами, которые в свою очередь соединялись с отмелями; летом здесь появлялись туристы (любители-рыболовы снимали деревянные домики за пять—десять эскудо в месяц), это были очень вежливые, интеллигентные люди, которые скоро уставали от подобной глуши, кажущейся им пустой и безжизненной. Рядом с Армоной были и другие острова, очень походившие на то и дело всплывавших китов, они словно охраняли здешние места, это Фузета и Тавира, у каждого из них свои особенности и на каждом свой заведенный порядок жизни. Прямо напротив Фаро [1] — остров Ша [2]. Так его назвали потому, что чаще всего сюда приезжало полдничать изысканное городское общество, к услугам которого здесь были самые лучшие кондитерские, и еще остров Тинто, но ему отдавал предпочтение простой люд, здесь ели сардины, а вместо чая пили натуральное терпкое вино. Время от времени мой отец ездил в Фаро — там было его управление. Как правило, в Фаро он проводил два-три дня. Каким же волнующим и торжественным был момент, когда мать и весь наш выводок встречали его на дебаркадере! Он привозил продукты, подарки, газеты и дурманящий запах иных миров. Однажды, это было первого сентября 1939 года, отец спрыгнул на землю, и мы поразились его серьезному виду. Лицо его было хмурым и сосредоточенным, он быстро и внимательно оглядел каждого из нас, точно желал удостовериться, что все его племя цело, потом взял маленькую руку матери в свою и сказал: «Началась война».

В то время на Армоне не было даже радио, выходила всего одна-единственная газета «Газета де Вила Реал де Санто Антонио», каждый номер которой запаздывал чуть ли не на два месяца. К нам подошел дядюшка Жакин Серодио, ловец креветок, он ловил их хитрыми ловушками, попав в которые креветки уже не могли выбраться, и повторил уже сказанное отцом. Дядюшка Жакин Серодио участвовал в одной из войн с Фландрией и всю жизнь только о том и рассказывал, он даже знал три французских слова. Тогда отец подтвердил: «Да, началась война. Немцы оккупировали Польшу». Серодио, внимательно глядя на ловушку, сказал: «И это, похоже, единственные наши противогазы, других нету».

Я не очень понимала, о чем шла речь. Помню только, что огляделась вокруг и увидела обычный пейзаж, обычный и все же какой-то уже другой. По непонятной причине мне стало не по себе. Это состояние я испытывала в своей жизни впервые. С тех пор иногда оно посещает меня.

Я отвлеклась от темы, Андре, о чем я говорила? Ах да, о моем замужестве. Ну вот, взяла и вышла за француза. Свободная, беззаботная туристка в чужой стране, но сверхпленница в стране собственного мужа и даже в своей собственной (вот ирония!), когда провожу отпуск у себя на родине, в Португалии. Теперь-то я понимаю, что причина конфликта — в нашей с мужем несовместимости: я с бешеной яростью рвусь к полной не-

[1] Город на юге Португалии.

[2] «Ша» по-португальски означает чай.

зависимости, и он, готовый подавить мои желания, опирается на традиционно-ограниченное понимание положения женщины в семье. Он невозмутимо заявляет мне: «Ты рассуждаешь логично и правильно, но прав все же я, я это чувствую». Я пыталась спасти свой брак, создать семью — что мне, конечно, не удалось,— создать по образу и подобию своей семьи, потому что свято верила в то, что говорилось в нашем доме: муж и жена — две половины одного целого. Так надо ли винить себя за то, что я не такая, какой хотят меня видеть, и ненавидеть кого-то, кто ждет от меня того, что я не могу ему дать; стоит ли ломать себя, ограничивать во всем или ломать и ограничивать его (бессознательно, конечно) только потому, что мое естество протестует против порабощения? Когда я заговорила о работе — надо было видеть его поведение: странное, глупое поведение растерянного ребенка,— я хотела одного — спастись от удушья (меня все время преследовал один и тот же сон: ноги в ботинках чудовищных размеров собирались раздавить меня), даже не пытаясь доискаться причины нашего краха. Однако для него мое решение стало чудовищно значительным, оно, как покатившийся снежный ком, обрастало, увеличивалось, превращалось во что-то огромное. Тогда я принялась связывать наблюдения, высказывания, суждения. Пыталась понять, почему я вышла замуж во Франции (во Франции или любой другой стране, короче — вдали от дома, человек ищет себе убежище, пусть даже кажущееся, и иногда находит его, мне оно было так необходимо), почему все эти годы я терпела то, что не должна была терпеть, и, наконец, почему, прозрев, я продолжала быть пленницей. Сейчас наслаждаюсь своим одиночеством. Я была на обеде, организованном португальским землячеством, танцевала там до восьми вечера. Хожу в кино (я больше года не видела ни одной картины), хожу куда мне хочется, вместе с сыном, многие считают, что я мать-одиночка, поскольку не ношу обручального кольца. Несколько дней назад я повстречалась с одним молодым человеком лет двадцати восьми, он, не веря, что я замужем, очень хотел составить нам компанию и настаивал, чтобы мы втроем где-нибудь поужинали. Приятно, конечно, что тебя считают молодой. А еще приятнее, что мой сын расцветает, как цветок.

Знаешь, Андре, такая женщина, как я, и такая, какой я стремлюсь быть, не очень-то нравится людям, поскольку выбивается из правил, но я решила не изменять себе и не думать о том, чего мне это будет стоить. Одно меня серьезно беспокоит — это ты. Как было бы хорошо, если б эти письма несли тебе только мои приветы и веру в то, что кто-то в тебе нуждается. Но у меня есть что сказать тебе, кроме этого. К тому же времени, которое иногда мы проводим вместе, как правило, не хватает, чтобы расспросить тебя обо всем, о чем хочется. И вот, думая о тебе, я часто теряюсь в море неизвестности. Но в конце концов, не стоит причитать о том, чего мы иметь не можем, лучше дорожить тем, что имеем, и ценить то, что имеем. Ведь мы всегда рады видеть друг друга, так? Когда мы расставались в последний раз, я не отрывала глаз от дома, который мы покинули,— заставляла себя поверить в то, что три часа, проведенные с тобой, из всех моих одиноких часов и дней не были сказкой. Я люблю тебя, Андре, восхищаюсь тобой, уважаю тебя. И думаю, любовь позволяет людям понимать друг друга, верю, что должна (могу) сделать тебя чуточку счастливей. Ты меня беспокоишь, Андре. В моих мечтах кроме наших дружеских отношений есть и любовь, которую ты не признаешь. А потому меня берет такая тоска. Возможно, я должна безропотно — как роковой неизбежности — покориться тому, что есть и не может быть изменено. А если может? Послушай, Андре, не забывай, что даже тогда, когда я мол-

чу, я все равно с тобой, я все равно люблю тебя. Дай мне твою руку, я сожму ее в своей, и спи спокойно.

Марта.

■ ■ ■

Андре,
благодарю тебя за откровенность. Я такая, какая есть, и ты такой, какой есть. И мне, ничтожному червяку (ничтожному созданию — так звучит лучше), не дано ничего изменить. Тогда, когда миром моим была Армона — это было так давно! — мне казалось, что я каждое утро и каждый вечер ощущаю перемены в жизни, я даже считала себя участницей этих перемен. Это последнее письмо, которое я тебе пишу. Я сама себе противоречу: говорю, что не буду писать, а пишу. Но я не могу больше тебе писать. Нужно заставить себя считать, что между нами ничего не было, tabula rasa — да и что было-то? «Ничего» с твоей стороны — обрати внимание именно на это. Твоя ласка, которую ты мне выказываешь,— всего лишь твоя обычная манера вести себя. Ты не скупишься на нее, потому что чувствуешь, что она у тебя в избытке, и не только для меня и не какая-то особенная. Никогда ты не сможешь мне сказать: здравствуй, мне плохо без тебя,— ты это понимаешь? Я страдаю от твоего отсутствия. Это письмо действительно последнее, Андре. Хотя я, конечно, тебя забыть (on n'oublie rien, on s'habitue...[1] — так поется в песне Жака Бреля [2]) не смогу, но со временем воспоминания о тебе поблекнут и станут расплывчатыми. Ты не любишь меня, и никогда не любил, и никогда не станешь мне тем, из-за кого и для кого я придумываю все эти безумные слова. Однако мое решение не принуждает тебя молчать: пиши мне когда надумаешь. Тебе же все-таки иногда хочется поговорить с тем, кто способен слушать, с тем, с кем разговариваешь как с самим собой, с тем, кто никогда не переменит твоих намерений, не осудит и не вынесет приговора. А мне, похоже, лучше не писать. Писать тебе — значит бередить рану. Знаешь, ты сильнее меня: я не способна отдавать только часть себя. Когда я увлечена людьми или чем-то, то отдаю себя целиком. Предположим, что ты бы приезжал ко мне раз в год на неделю, вообрази, какое жалкое существование влачила бы я все остальное время в ожидании этой недели? Даже тогда, когда мы часами бывали вместе, я уже мучилась уверенностью, что пройдет время и все забудется, забудется и то, что было и чего не было между нами, оставив жалкие крохи воспоминаний, которые с каждым днем будут тускнеть, при всем моем желании сохранить их четкими, и, наконец, навсегда исчезнут. Но пока они не исчезли, я стараюсь удержать в памяти молчаливо-напряженное выражение твоего лица, с каким, бывало, ты смотрел на меня, когда гладил меня своими длинными и неловкими пальцами и говорил те слова, какие мог говорить только ты (хотя и не говорил о любви и всячески уклонялся от того, чтобы проявить ее), удержать в памяти нашу встречу и хочу верить, что она была тебе необходима, потому что каждый последующий день приносил тебе любви больше, чем предыдущий.
Но все равно. Я умею жить одна, вернее в одиночестве. Желанное одиночество не тяготит, а наоборот. Всего хорошего, Андре.

Марта.

P. S. Но если вдруг я со временем изменюсь (захочу от жизни все или ничего), если стану приспособленкой, если, наконец, тысяча этих если... я стану женщиной, живущей моментом, для ко-

[1] Забыть нельзя, можно привыкнуть... *(франц.)*
[2] Жак Брель (1929—1978) — бельгийский певец, композитор, актер, режиссер.

торой годен любой, кто проносится, как порыв ветра, ероша листву на деревьях, но потом оставляет ее в покое и на своем месте... может быть... Если, ЕСЛИ.

Марта.

■ ■ ■

Андре,
мне понравилось твое письмо. Я ждала, что ты вернешь мне мое, но то, что написал ты, по-настоящему утешительно. В тот день, когда я тебе писала, у меня в очередной раз сдали нервы: слишком уж затянулся душевный кризис, в котором я пребываю столько лет. Мое отчаяние, мою жажду разрыва объяснить трудно. А теперь состояние аффекта (со мной ничего подобного раньше не было) прошло. Всему виной невозможность поговорить с тобой, невозможность явная и неотвратимая. И это при моем-то стремлении к доверительности. Нет, я не могу, это невыносимо. Это не жизнь, а жалкое существование. Каждый сидит в своем углу, страдает от одиночества и одновременно задыхается от присутствия кого-то чужого. Может, то, что я сейчас тебе скажу, покажется абсурдным, но я каждый день возвращаюсь домой со страхом. Я, как и прежде, жду конца рабочего дня, но когда он наступает, становлюсь грустной и беспокойной. Сегодня моя голова — какой-то огненный шар, я испытываю слабость и отчаяние и не вижу другого выхода, как написать тебе. Мне не нравится жить так, как живу я, не нравятся и окружающие меня люди, да и я сама себе тоже не нравлюсь. Но знаю, что могла бы радоваться жизни так же, как раньше, ведь я люблю жизнь и боюсь с ней расстаться. Муж почти все время меня обвиняет, и это изнурительно. Молчит, но обвиняет. Обвиняет даже в том, что я материально от него не завишу. А ведь я ничего такого, чтобы быть обвиняемой, не делаю, разве что не перестаю тебя любить, о чем он, конечно, не знает, считая, что все кончено, и это к лучшему, а то ему уже стало казаться, что деньги, которые у меня есть, присланы тобой, а вовсе не мной заработаны. Единственный выход, конечно, расстаться, но как, Андре? Я хочу быть свободной. СВОБОДНОЙ. Ложь мне НЕВЫНОСИМА. Невыносима удушающая обстановка, этот назревающий нарыв, который, того и гляди, прорвется. И я даже молю: прорвись, прорвись,— но он не прорывается. И все остается по-прежнему. По-прежнему, но до какого-то момента, хотя известно, что этот самый момент бывает только раз в жизни. Однако пока мы дожидаемся его, уничтожаем сами себя. К тому же я не благотворительное заведение, нет, я ЧЕЛОВЕК! Что мне делать? Посоветуй. Я должна найти выход. Подумай хоть пять минут обо мне, о том, что я так хочу быть с тобой и любить тебя. Я верю в то, что любовь сильнее боли, и потому, любя, остаюсь с тобой. До сих пор я говорила только о себе и немного о том, что значишь ты в моей жизни, так что, выходит, говоря о себе, я в то же время говорю и о тебе. Я люблю нас обоих, я перестала просить тебя дать мне то, чего ты дать не можешь. Сейчас закрою глаза и почувствую на своей руке твою руку.

Марта.

P. S. Сколько же раз я перечитывала твое письмо! Я тронута очень Я полна раскаяния. Предпоследнее твое письмо было таким смелым и бесшабашным: ты позволил радости завладеть тобой и парил в облаках; в последнем — горечь, сдержанность и желание ничего не драматизировать. И ты, такой сдержанный, вдруг стал похож на меня. Я просто сражена. Ну, каковы мы есть, таковы и есть. От себя никуда не деться. Как богата твоя

душа, она даже принимает меня, я ощущаю себя ничтожной,— ты сила, на которую я надеюсь, как на оазис в пустыне; у меня зато огромная любовь и такой запас нежности к тебе, я не вижу и не хочу им видеть конца. Если иногда тебя мучают сомнения (подозреваю, что наше несколько необычное знакомство тебе запало в память), то я надеюсь их легко рассеять. Ты — мужчина моей жизни, знай это. И я счастлива, что дожила (неважно, что́ мне пришлось пережить) до нашей встречи.
Ты необходим мне. Мне пусто без тебя.

Марта.

P. S. № 2. Пытаюсь представить тебя тоскующим. Пусть даже твоя тоска равна десятой доле моей.

Такими были письма Марты. Страстные, романтические, неожиданные, жалобные, и в них она была вся, целиком. И выстраданные. Удивительная Марта. Марта-ребенок, Марта, сотворенная как бы из стекла и мечты, Марта-поэзия, Марта-огонь.

И Андре Бернардес уважал ее такой, какой она была. Он тоже считал себя романтиком. И если бы кто-нибудь его спросил — а его спрашивали — какой вы писатель? — обладай он смелостью Марты, он ответил бы: закоренелый романтик, но прилагаю все усилия, чтобы таковым не выглядеть.

Долгое время Андре не отвечал на бесконечный поток писем Марты, иногда даже по неделям не вскрывал их: неровные буквы на конверте приводили его в расстройство. Он испытывал усталость, а отчасти и не совсем отчетливое, но чувство вины, вины или незадачи (он с самого начала должен был умерить неуемное чувство Марты, неуемное и безраздельное), в которое Андре старался не вникать глубоко. Он не хотел в себе копаться.

В этот день, вспомнив об обещанном Мартой дневнике молодого солдата из Анголы, Андре Бернардес сел за свой письменный стол (стены его рабочего кабинета были обшиты деревом, ни одной картины, ни одной безделушки и всего дюжина книг, не больше, и только написанные им) и ответил на последнее письмо Марты:

Марта,

на этот раз пишу письмо, а не «записочку», хотя писать о том, о чем хотелось бы тебе, не буду. Ты поймешь, ты простишь. Кстати, именно уверенность, что ты поймешь, и придает чистоту нашим отношениям. Только поэтому я не смог с тобой расстаться и тем более забыть тебя. С тобой я всегда такой, какой есть: и неожиданный, и слабый, и отвратительный, хотя ты очень часто сомневаешься в моей искренности. Но можно ли быть искреннее, чем я? Дальше. Ты пишешь, что сейчас наиболее благоприятное время для нас обоих, для нашего общения. Если бы я был человеком праздным или менее занятым, я бы согласился. К тому же заметь, что основная моя цель — как раз не общаться, так как любое общение, которое меня увлекает, заставляет задумываться над своим поведением, выбивает меня из рабочего состояния и приводит к полному творческому бесплодию. Я сам не жажду быть адресатом, ибо дух мой сломлен, как, возможно, не жажду иметь и «того», другого адресата (близкого мне, а следовательно, имеющего право требовать), которому мне хотелось бы писать. Все это вынуждает чувствовать себя вдвойне не заслуживающим оправдания.
В данный момент я во власти намеренной (или дозволенной?) расслабленности, я разрешил себе поразмыслить над теми банальными статьями, которые печатаются в наших газетах, как, например, статья о пропавшем средь бела дня человеке и его

скрытной жене, которую я посетил и которая пробудила во мне острый профессиональный интерес, в ней (только сейчас это понял) я вижу вторую половину тебя — пленительную и ускользающую — и пытаюсь (это я тоже только сейчас понял) почувствовать себя в шкуре ее бесследно пропавшего мужа. Вполне возможно, что это желание, в сущности, грустная потребность в происшествии, предлог, чтобы посмотреть на себя *со стороны* и пофантазировать, находясь в ситуации Родриго,— или просто хитрая уловка, чтобы заставить работать оглохший и онемевший сочинительский механизм, иначе говоря, подхлестнуть свою неудовлетворенность, вызвать к жизни сознание неотложности *чего-либо.* Если бы мне было дозволено писать только ради того, чтобы писать, или дозволено общаться, не ища, почти обязательно, объект общения! То, что я чувствую в данный момент — это полная пустота, сравнимая разве что со смертью. Подобное происходит довольно часто в периоды бесплодия с теми, кто выражает себя и выявляет через литературное творчество. (Сумбур какой-то, а не письмо. Подобное я способен отправить только тебе — никогда не доверяй письмам писателей.)

Кстати, Фария Гомес очень болен, близящаяся смерть вызывает у меня ужас — это же полный духовный и телесный распад! Между тем самое неприметное величие — это Биа. Кажется, ты ее однажды видела.

Марта, я начал писать тебе, не испытывая настоящей потребности, скорее благодаря обстоятельствам: в квартире никого нет, пылесос — он действует мне на нервы — не работает, кто-то позвонил в дверь случайно — перепутал этажи,— и у меня возникло неожиданное искушение воспользоваться на редкость интимной и трудноповторимой атмосферой, которая, правда, не так уж и «вдохновляет», уверяю тебя. А еще потому, что апатия требует оправдания. Вроде бы парадокс, но нет, ничего подобного. Апатия, кто бы что бы ни думал,— мое обычное состояние.

Неудовлетворенный, выжидающий, откладывающий — ни одно из этих слов по-настоящему не выражает того, что я хочу ими выразить. Это письмо я пишу, не очень четко формулируя свои мысли, но ты все же постарайся понять их, даже если не очень того захочешь.

На какое-то время я прервал связь с тем, с кем находился в состоянии диалога (ты понимаешь, что я хочу этим сказать? — знаю, знаю, ты считаешь меня игроком в полуправду, ловким на увертки, факиром, спящим на гвоздях), и теперь вокруг меня вакуум. Я говорю «на какое-то время», потому что в понятии «никогда больше» всегда присутствует страх или, выражаясь проще, подразумевается бесполезность чего-либо. Отсутствие общения, отсутствие необходимости писать, возможности слышать собственный голос, отсутствие единомышленника, не нуждающегося в разговорах,— я говорю несуразности? Может, и так. Но если с этим согласишься ты, будет хуже для меня. Я испытываю чувство провала: все кончилось, так и не начавшись. У тебя, у меня, у всех. УЖАСАЮЩЕ. Я живу сложа руки и жду, когда пройдет поезд, но когда он будет проходить, если будет проходить, то привезет гроб. Ты как-то сказала, что я пленник «структур», сказала, что я до абсурда, до самопожертвования перед ними преклоняюсь. Начинаю думать, что ты права. Все, кто во мне сомневался, имели на то большие основания. Я ни на что не годен, я человек конченый. Я сам смотрю на себя с недоверием и, надо сказать, безжалостно. Я себя не люблю, даже презираю. Но это совсем не та напускная, утрированная антипатия, цель которой, как у Кастел-Бранко, себя возвеличить, моя — у меня в печенках, она оттуда выходит, распространяя зловоние и заставляя меня

самого зажимать нос, и возвращается обратно — с неизбежностью, которая мучительна, но никаким искуплением никогда не станет.

Я всегда знал, что выдумываю героя и завязку (характерные реальности) только для того, чтобы быть свидетелем разрушения другой реальности, разрушения преднамеренного, методичного и последовательного, разрушения того, что происходит там, *снаружи,* в жизни. Нет ничего более заманчивого, чем получить права на новые капиталовложения в существующую реальность. И когда какой-нибудь дурак с наивной или детской легкостью судит о том, что выходит из-под писательского пера, он даже не понимает, сколь кощунственно его вмешательство. Любое произведение священно. Однако каждый кому не лень пачкает его своими грязными руками, начиная с тех, кто существует в одном с ним «храме творчества». Происходит то же, что с любовью: любовники пачкают любовь. А писательство — занятие, наиболее схожее с любовью.

И тогда, когда все, о чем я думаю, ложится на бумагу, я по-настоящему начинаю страдать. И мысли мои почтительно, вкрадчиво и в то же время жадно обращаются — к кому бы ты думала, Марта, все поглощающая Марта, не отдающая себе отчета в том, что желаешь заполучить весь мир, и такая чувствительная, словно склеенная хрустальная ваза, к которой опасно притронуться даже кончиками пальцев? Так вот, Марта, мысли мои обращаются к Терезе — жене того исчезнувшего человека. Я должен снова побыть с ней рядом, а быть с ней рядом — это значит быть сразу со всеми женщинами вместе, и с тобой тоже, и идти по темному коридору, и чувствовать, что дойдешь до сущности, сущности самого себя. Эксцентрично и, возможно, очень туманно выражено, Марта. Но в конце концов, я ведь все усложняю, и усложнять — мой удел. Усложняя же, разрушаю.

Она (Тереза) дала мне прочесть несколько страниц дневника своей дочери. Все в нем тривиально, но мать, конечно, думает иначе — как всегда в подобных случаях. И все же в этом дневнике я наткнулся на один пассаж, который взволновал меня: дочь записала разговор родителей. Ее отец (его зовут Родриго) говорил, что будет верен ее матери, Терезе, до конца дней своих,— громкая фраза. Но как мне, склонному к маленьким приключениям, понятно это! Громкая фраза — это громкая фраза, но суть-то выражена. По существу, людей полностью легкомысленных или полностью верных не существует, существуют лишь те, кто оправдывает или не оправдывает свое легкомыслие или верность. Верность нельзя расценивать как достоинство или недостаток, убеждение или предубеждение и тем более как любовь или не любовь, верность — это тонкий индивидуальный способ выражения чувств, выражения по отношению к нам самим, а не только к тому, к кому это чувство обращено. Женщина иногда бывает неверна только потому, что хочет очиститься от той грязи, которую мужчина оставляет в ее теле. У мужчин все это несколько по-другому, но не менее убедительно-тонко. Думаю, что, читая эти строки, ты рычишь (и зачем об этом здесь, на страницах этого письма?), но к тебе это не относится. Как, кстати, не относились и строки моего последнего письма, в которых говорилось о «сентиментальном» шантаже — самом гнусном и жестоком из всех возможных, мне никогда даже на секунду не приходило в голову, что ты пытаешься «навязать» мне свои чувства и оплести меня изящной паутиной. Ты всегда непредсказуема, полна собой до краев, но чиста, благородна, честна. Куда я иду, Марта, куда идем мы все? Со мной кончено. Это я о творчестве. И все же иногда *я чувствую,* что готов начать все сначала, то есть отойти от пропасти, отойти в страхе,

и с отчаянием, злостью, исступлением заняться творчеством заново и снова приходить в уныние, снова набивать шишки, переносить провалы — то есть испытывать все, что обрушивает на нас жизнь. Эта цена *спасения* нам была безжалостно предопределена. Между тем я все кружу вокруг да около, делаю заметки, слушаю — бульон, в котором выращивают зародыш будущего романа, становится крепче. И читаю — это мой порок. Читаю почти всегда одни и те же книги, говорят, это плохой признак. Павезе и Карло Леви знаю наизусть и, возможно не отдавая себе отчета, даже использую какие-то их вещи: каждый писатель живет определенной словесной атмосферой той или иной эпохи и той или иной интеллектуальной среды. Почти все вечера читаю Павезе, Макса Фриша, Рэя Брэдбери: их книги для меня нечто вроде молитвенника, с ними я освежаю в памяти катехизис — совершаю богослужение. Возможно, эта моя тайная жизнь кончилась бы сама собой, если бы мое другое существование (?) себя бы оправдывало. Однако именно оно больше всего и вынуждает меня искать компенсации, а эта компенсация и есть пережевывание фактов, людских судеб, вымысла, жалкой тайны, которая непостижимо мстит, пусть тоже жалким образом. Будь терпелива ко мне.

Андре.

P.S. (в подражание тебе). Я никогда не говорил тебе, что люблю, а если бы сказал, то солгал. Однако не могу не согласиться, что в каждой написанной мною строке «что-то» сквозит, а как это «что-то» назвать, не знаю. Конечно, постичь истину необходимо, однако это требует определенного усилия, к которому мы не всегда готовы. Жду дневник о войне в Африке. Я вампир, Марта, не забывай. И презлющий, но *никто этого* не знает.

Андре.

На это письмо, уже после того, как время, ограничивающее события, о которых мы рассказывали в романе, завершилось, Марта ответила:

Андре,
мы оба раздражены. Я пребываю в раздражении все время, ты — время от времени. Но как было приятно и страшно читать твое письмо. Я всегда говорю: не дразните моего быка. Не думайте, что можете воткнуть в него все свои бандерильи. Ты противоречив, но твоя противоречивость мне почти понятна. Разреши процитировать любимого *мною* Сент-Экзюпери: «Я уважаю того, кто, несмотря на противоречивые высказывания, подобно кораблю в бурном море, твердо и неуклонно держит путь к своей звезде». И еще: «Свобода становится большей, когда мы вынуждены пройти определенный путь». И еще, еще: «Каждый индивидуум — чудо». Ты, Андре, чудо. Ты — тот корабль, который неуклонно держит путь к своей звезде.
Знаешь, Андре, тот, кого я люблю,— самый ужасающе сложный и ослепительный человек из всех, кого я встречала.
Знаешь, Андре, когда я чего-нибудь очень хочу, я, как правило, достигаю.
Знаешь, Андре, сознание, что ты есть, и время от времени ощущение твоего присутствия и понимание, что хоть чуточку, но ты мой, вознаграждают за все. Как жаль, что наши встречи так редки! Я лишь один раз почувствовала, что ты был со мной, один раз я для тебя существовала.
Знаешь, Андре, я счастлива, что почти всегда могу поступать так, как мне заблагорассудится, но не поступаю. И потому двусмысленность наших отношений я чувствую острее. Я люблю тебя, а

ты разрешаешь (правда, не всегда), чтобы я тебя любила. Одно я тебе обещаю: приспосабливаться к обстоятельствам. Может, и получится.

Знаешь, Андре, только после того, как я тебя узнала (как человека), я почувствовала необходимость взглянуть на себя со стороны, раньше мне этого не хотелось.

Знаешь, Андре, ты не думай о нас. Все как-нибудь образуется.

Знаешь, Андре, та неделя, когда мы видели друг друга ежедневно (и ты мне запрещал говорить о любви), была для меня прекрасным обманом. Мы как бы играли в повседневность, которой нам никогда не придется пережить. И знаешь, игра не была «игрой».

Кончаю. Сколько же раз я перечитала твое письмо! Грустно. До безумия завидую этой Терезе.

Марта.

P.S. (первый и последний, обещаю). Грустно, здесь, в среде португальских эмигрантов, царит взаимная неприязнь. Им бы объединиться, но нет: они обирают друг друга, обманывают, даже убивают, я думаю, ты все это знаешь из газет. А кое-кто примыкает к мафии — в полном смысле этого слова. Грабят своих же соотечественников, вымогают, шантажируют, используют как заложников. Вчера я поссорилась с одной семьей из Шавеса, жена считает, что я хочу занять ее место на службе. Неужели мы будем столь мелочны всю жизнь?

И вот настало двадцать пятое ноября, когда те события, что до сих пор проходили перед нами как бы кадрами замедленной киносъемки, неожиданно получили развязку. Однако прежде чем говорить о развязке, видимо, следует рассказать обо всем, что ей предшествовало и способствовало.

Андре Бернардес, например, как следовало из его письма к Марте, решил хотя бы еще раз встретиться с Терезой. Однако он прежде всего решил поговорить с Феррейриньей, поскольку опасался уязвить его самолюбие: чужими обидами Андре Бернардес был сыт по горло.

Встретились они в кафе, и Андре с ходу озадачил Феррейринью. У того от волнения даже заплясали колени.

— А подумали вы и ваши коллеги-журналисты, что загоняете этого Родриго в угол?

— В угол?

— Точнее слова не найдешь, Феррейра. Ну, кто этот ваш Родриго? Раньше его никто не знал. И этого неизвестного газета вдруг взяла и поставила у рампы. За несколько дней вы создали некое подобие его образа, и это образ «героя», каким бы он ни был. И теперь никому не известный до сих пор Родриго вынужден принять «этот» образ, понимая, что должен играть именно ту роль, которую ему навязали, для себя, для семьи, для друзей и всего своего маленького, но важного для него мира, который вдруг так невероятно расширился. Если теперь он вернется домой, кто знает, какой ценой ему придется расплатиться за свое возвращение? Не забудьте, у него есть жена, и их отношения не так просты.

— Простите, Андре, почему вы вдруг пришли к подобному выводу, и столь категоричному? Не разгулялась ли ваша писательская фантазия?

Язвительный и откровенно раздраженный тон был Феррейринье несвойствен, и Андре постарался его не заметить. Сейчас он понимал Феррейринью.

— Да, к этому я пришел, спокойно рассуждая о сложившихся обстоятельствах и людях. Вы во власти всех этих событий, а иначе сами бы пришли к тому же выводу и испытали те же опасения.

— Опасения?

— Разумеется.

— Что это значит? О каких опасениях вы говорите? Ведь плащ-то найден.

— Деталь бульварного романа. Плащи забывают где угодно. Не так ли?

— А драка на пароме?

— Ну какая это драка? Подумайте, Феррейра, сами: ведь если бы действительно произошла драка, преднамеренная или случайная, неужели никто из пассажиров не стал бы ее свидетелем? Да потом, кто-нибудь обязательно бы вмешался.

— Но несколько человек рассказывали...

— О том, чего не видели, но хотели бы увидеть. Ведь любое действие, слово, наконец, любой пустяк могут свидетельствовать как о многом, так и ни о чем. Все зависит от того, что хотят видеть за действием, словом и всем прочим.

— Вы меня удивляете.

— Удивляйтесь сколько угодно. Но при шуме, который поднят вокруг Абрантеса, любой пассажир парома захочет чувствовать себя причастным к происшествию. Все они теперь стараются припомнить любую мелочь, которая всем начинает казаться чем-то значительным. Людям свойственно стремиться к сопричастности. Каждый старается не упустить свой шанс, как-то выделиться.

— Но тогда, выходит, об этом случае лучше было бы молчать и считать пропавшего Родриго жертвой неизвестно чего?

— Я не говорю «молчать». Я делюсь с вами своими сомнениями, и моя интуиция заставляет меня беспокоиться.

Феррейра постучал сигаретой по тыльной стороне ладони. С начала разговора на языке его вертелся один вопрос:

— Андре, вы говорите о жене Родриго как о близком вам человеке. А сами с ней едва знакомы, можно даже сказать, не знакомы вовсе.

— Этот же вопрос и я задавал себе, очевидно, секрет в том, что эта женщина произвела на меня впечатление. Для меня она не обычная женщина. Она меня даже пугает. Кажется мне вполне уравновешенной, не способной на раздражение, но может и без жалости растоптать своим презрением того, кого минутой раньше любила. Это чувствуется и в ее словах, и в ее молчании. Муж-то хорошо ее знал. Думаю, что при всем кажущемся спокойствии их жизни (вы немного знаете о ней) он существовал под постоянной угрозой, что ее презрение прорвется в какой-то момент и раздавит его.

— Ну, а подробности их повседневной жизни?

— Я о них не забываю. Они меня интересуют, и даже очень. Но их отношения, они как бы касаются меня лично, Феррейра. Тереза и Родриго любили друг друга. Любили, но жили как враждующие стороны, ждущие неизбежного столкновения. Она — дома, замкнутая в себе, вы это видели, он — где-то еще, но в последнее время, предчувствуя, что развязка близка, следили друг за другом особенно пристально. И вы, газетчики, события подстегнули, сделали развязку неизбежной.

— Ерунда, Андре, то, что вы говорите,— канва созревшего в вашем сознании романа, а не истинные обстоятельства исчезновения Абрантеса.

— А что, если действительность вросла в вымысел и наоборот? Знаете, что я собираюсь сегодня сделать?

— Что?

— Пойти на Террейро-до-Пасо и купить билет на паром, я давно на нем не ездил. А потом навестить Терезу.

Однако намерениям Андре Бернардеса не суждено сбыться, их изменят события иного порядка, вестником которых явится пришедший в кафе Невес.

Толстошеий Невес (напоминавший мстительному Кастел-Бранко двоюродного деда-хирурга — фотографиями деда изобиловал семейный альбом,— вечно задыхающегося в туго накрахмаленном стоячем воротничке и манишке) имел обыкновение расстегивать свой стоячий воротник, когда его душили новости. Вот с расстегнутым-то воротничком, тяжело переводя дух, Невес и вошел в кафе «Мартиньо». Вошел, положил на стул связку газет и книг — он вечно носил ее в правой руке, а в левой — сумку с медицинскими инструментами, которые не могли уравновесить тяжесть газет, провел по лбу безукоризненно чистым платком (еще одна характерная деталь) и, заказав вина, сообщил:

— У Фарии Гомеса — горячка. Зашел к нему утром, там бог знает что...

Андре Бернардес и Феррейринья молчали, не решались прервать его. Они знали, что Невеса раздражало, когда нарушалась последовательность его неторопливого (но всегда ошарашивающего) повествования, в котором, как правило, соседствовали драматизм и ирония, причем нередко для этого он связывал между собой факты, не имеющие ничего общего. Этим он маскировал свою прирожденную рассеянность и несобранность. А потому Андре машинально принялся скручивать один из листков бумаги, которые всегда были наготове у него в кармане,— вдруг придется что-то записать.

Тут Невеса вдруг словно подбросило на стуле:

— Все идет именно так, как я говорил.

— О чем это вы?

— О Фарии Гомесе. Это плохой знак.

Андре и Феррейринья переглянулись, на вопрос отважился Феррейринья:

— Знак чего? Не говорите загадками.

Лицо Невеса вспыхнуло, но он сдержался.

— Когда я пришел, он почти в бредовом состоянии сидел на кровати и потрошил сигареты. И читал стихи.

— Какие стихи? Да говорите же.

— Стихи Мануэла Бандейры и отрывки из своих рассказов, все вперемежку. Конечно, он Нарцисс, как и все вы. И пока читал, потрошил сигареты одну за другой. Распотрошил целую пачку «Трес винтес». Вся постель в табаке и папиросной бумаге. А еще требовал, чтобы ему принесли холст, кричал, что он настоящий живописец, и размалевывал стены дерьмом. Не знаю, откуда только у него брались силы: он вставал с постели. Вставал и падал. Весь в синяках. Совладать с ним, конечно, Бии не по силам.— Невес помолчал, пальцы его дрожали. Он оглядел стоящие рядом столики; Невес любил аудиторию. Перевел дух.— Вообразите, какая вонь. Пришлось помочь Бии «свернуть» эту выставку фекалий. Но ужаснее всего были его безуспешные попытки закурить сломанную сигарету; как только он подносил ее ко рту, табак высыпался и в руках его оставалась одна бумажка. Это приводило его в такое отчаяние, что он, как вытащенная из воды рыба, хватал ртом воздух и стонал: «Боже, боже мой!» — и все время звал Бию: «Бия! Где ты, Бия?» Когда больной начинает кого-нибудь звать, конец близок.

Андре Бернардес спрятал в карман бумагу. Говорить ему не хотелось. Феррейринье тоже. Воцарилось молчание, которое, видимо, озадачило Невеса, он помрачнел и, чтобы разрядить обстановку, сменил тему:

— А Кастел-Бранко появляется здесь или нет?

— Появляется, но редко,— ответил Феррейринья, убедившись, что Андре Бернардес на вопрос не ответит.

— Скоро появится.

Невес на что-то намекал, его выдавала улыбка — просто так он

не улыбался. Размешивая сахар в чашке, Невес повернулся к Андре и ехидно произнес:

— А что слышно относительно выборов новых академиков?

— Мне-то какое дело?

— Ну, кому же, как не вам, должно быть до них дело! Не говорите мне, что это вас не интересует.

— Думаите что хотите.

Невес кашлянул, опять разговор принял не тот оборот, на который он рассчитывал. И опять пришлось раскрыть карты первому:

— Академия, конечно же, имеет дурную славу.— Он выгнул брови и скорчил гримасу.— Но раз кандидат не вы, то я могу говорить открыто. Речь идет о Кастел-Бранко. Этот хитрец пригласил «на чашку кофе» (сейчас модно приглашать «на чашку кофе») нескольких дружков и намекнул, что готов умерить свои нападки на академиков, если те сочтут полезным его присутствие в Академии.

— Полезным? — удивился Феррейринья.

— Да, полезным, чтобы уравновесить прелатов «церкви» и ультра. Только вот расчеты Кастел-Бранко не оправдываются. Это все между нами, вы, конечно, понимаете? Так вот «дружки» настолько всерьез принимают его критику Академии, что принуждать его что-либо замалчивать не будут. Короче, протаскивать Кастел-Бранко в Академию не собираются и они. Забавно? Да к тому же есть и еще одно соображение: Фолкнер ведь академиком никогда не был. А был то ли владельцем гаража, то ли мойщиком посуды, не помню точно. А что думает об этом Бернардес?

— Ничего.

— Понятно, вы всегда осторожничаете. Тот, кому захочется узнать именно ваше мнение, намается. Бернардес, выставляйте свою кандидатуру, вам-то Фолкнер не помешает стать академиком.

У Бернардеса пересохли губы, ноздри раздулись.

— Послушайте, Невес, вам сегодня хочется кого-нибудь уязвить и вы выбрали меня?

Невес вздохнул и неопределенно кивнул головой:

— Ладно, не сердитесь.

Потом принялся до красноты тереть глаза тыльной стороной ладони. Думал-то он, конечно, о Фарии Гомесе и Бии. А все эти выпады и наскоки служили ему своеобразной маскировкой, возможностью уйти от действительности. И Андре знал, что, прежде чем Невес вернется к разговору о Фарии Гомесе, он обязательно поговорит о чем-нибудь еще. Так и случилось.— Невес смешно наморщил лоб и, закатывая глаза, стал перескакивать с темы на тему, потом заговорил о своей тяжелой участи врача, благодаря которой он вынужден общаться то с уличной торговкой, то с депутатом.

— Сегодня в больнице один больной — он страдает печенью — рассказал мне о подвигах соседа по палате: «Вот вы, доктор, ведь вы друг Пауло? А он развратник. Тут у нас на улице появился ночной сторож, так у Пауло с ним любовь. И теперь они все субботы проводят в одном домишке в Алентежо. Там у них и камин, и коптильня, и бар — все что надо, чтобы чувствовать себя в раю. Хорошо, а?»— Невес опять рассмеялся, закашлялся, затем, успокоившись, продолжал:— И надо же, этот циррозник, в общем-то симпатичный парень, боится всяких живых тварей, а в больнице полно клопов, тараканов и даже ящериц. Он истерики закатывает, требует дезинсекции.— Тут вдруг Невес замолчал, потом визгливо спросил: — Я несу всякую чушь, так ведь?

Андре снисходительно успокоил его:

— Да нет, что вы.

— Я знаю. Больные, если говорить откровенно, такие как этот парень, обостряют во мне чувство вины. Эти одинокие люди прямо

кожей чувствуют. Судьбы их трагичнее, а сами они смелее, чем мы, деспоты нормы, а в общем-то бабы. Ладно, лучше мне помолчать.

Воцарилось тягостное молчание. Невес полистал одну из принесенных книг, потом другую, подвел стрелки своей «омеги» по эталонным часам Рестаурадорес и, успокоившись, снова обратился к Андре, но уже без былой желчи:

— Бернардес, серьезно, что вам все-таки известно об этой истории с Академией? Она меня беспокоит. Правда, что Кастел-Бранко послали официальное приглашение?

— Почему вы спрашиваете об этом именно меня?

— Да потому, что, несмотря на ваши перепалки, вы единственный, с кем он откровенен.

Андре Бернардес побледнел. Что-то рвалось внутри него, одновременно причиняя боль и принося облегчение. Он, пожалуй, не смог бы сказать, какое из этих двух ощущений сильнее, но, как бы там ни было, слова Невеса, брошенные так небрежно, глубоко задели его. Да, это было так, Невес знал. Невес, а кто еще? Возможно, Фария Гомес. Андре Бернардес и Кастел-Бранко могли пикироваться, подкалывать друг друга, что и делали на виду у всех вдохновителей их схваток, но подобные театральные представления не могли осквернить то, что продолжало жить в их памяти: юность, общие мечты, прожитые годы. Теперь, печально и отрешенно глядя на Невеса, Андре Бернардес его не видел. А видел, как много лет тому назад Кастел-Бранко примчался в реанимационное отделение больницы, куда угодил он, Андре Бернардес. Об этом Андре Бернардес вспоминал всегда, когда ему нужна была моральная поддержка, сознание, что прошлое живо. Угодил с приступом астмы, от которой чуть не задохнулся. «Мой обморок» — как назвал тот приступ сам Андре, умаляя его силу. Тогда же не кто иной, как Невес настоял на больнице — необходимой мере предосторожности (с этими писателями никогда не знаешь, чего ждать). А Кастел-Бранко прорвался в клинику первым, прорвался, нарушая режим посещений. Да это и не было простым посещением. Конечно же нет. Он вошел в палату, стараясь совладать с собой, на нем, как говорится, лица не было. Тогда Кастел-Бранко и другими, кто пришел к больному Андре Бернардесу, руководило чувство страха за их общую судьбу, родство душ, общность помыслов и надежд и желание действовать сообща. Андре вспомнил неожиданно ясную и светлую улыбку Кастел-Бранко (да он ли это?), почти по-женски нежную, словно у сестры милосердия, руку, которая потянулась к его руке сначала робко, но потом решительно легла на нее, и добрые, сочувственно произнесенные слова: «Выздоравливай, Андре, поскорее Ты нам нужен».

Кастел-Бранко действительно был взволнован. Его сострадание, о котором говорили образовавшиеся у рта складки, значило куда больше, чем все их распри и жалкое соперничество. Андре взывал к самому себе, к правде.

Невес ждал ответа, но не того, который услышал:

— Существуют людишки, которые живут чужой жизнью. Я не выношу их.

— Что вы хотите этим сказать?

— Только то, что сказал.

Ударив кулаком по столу, Невес встал, глаза его вылезли из орбит, точно у жабы. В этот момент бармен, стоящий у стойки, крикнул:

— Доктора Невеса просят к телефону!

Официант подтвердил:

— Вас, сеньор доктор, вас.

Когда он вернулся к столику, мы по его лицу поняли, что произошло нечто серьезное, и это серьезное тут же заставило забыть только что происшедшую словесную перепалку.

Положив дрожащую руку на плечо Андре, Невес сказал:

— Умер Фария Гомес. Он был вашим другом.

Невесу позвонила его жена, после того как ей сообщила об этом привратница в доме, где жил Фария Гомес. Из ее сбивчивого рассказа, прерывавшегося всхлипыванием и плачем, можно было понять, что кроме смерти Фарии Гомеса, которую ждали с минуты на минуту, произошло еще что-то не менее ужасное.

Скопление женщин у дверей дома, где жил Фария Гомес, не предвещало ничего хорошего. Первым из такси вышел молчавший всю дорогу Невес. В подъезде дежурил полицейский, он тут же преградил нам дорогу, однако один из жильцов решительно вступился за нас: «Пропустите их, сержант, это врачи». Другому полицейскому, стоящему у дверей квартиры Фарии Гомеса, тот же пароль «мы — врачи» произнес уже начальственным тоном сам Невес, и мы прошли в квартиру. Привратница громко причитала:

— Несчастье-то какое, какое несчастье!

Из полуприкрытой двери спальни тянуло вонью, которая ощущалась еще на нижней площадке. Широким, театральным жестом Невес распахнул дверь. На высокой постели бок о бок лежали два тела: Фарии Гомеса и Бии. Лица их были безмятежны, точно они спокойно спали. Но везде: на смятой простыне, на одеяле, на матраце, где всегда спала Бия,— пятна крови, и на старых досках пола, впитавших, видно, ее — алую, но теперь уже потемневшую.

Когда Феррейринья опомнился от увиденного (Андре, пораженный и онемевший, сел на стул, Невес вцепился в металлическую спинку кровати, и грудь его заходила, как кузнечные мехи, но беззвучно) и смог оценить трагедию, которую он никогда не сумеет описать, как велело бы его сердце, он нашел объяснение разыгравшимся здесь событиям: после смерти Фарии Гомеса Бия омыла его, обрядила, а потом легла рядом и, вскрыв себе вены, должно быть, кусала руки. На запястьях были видны следы зубов, рот окровавлен. Потом, видимо чувствуя, что слабеет и теряет сознание, Бия вытянулась рядом с Гомесом и спокойно умерла. Так лежащими друг подле друга и нашла их привратница.

(Окончание следует)

АНТОНИО ПОРТА

Вступление и перевод с итальянского
ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

Антонио Порта обратил на себя внимание в начале шестидесятых годов как один из пяти авторов коллективного поэтического сборника «Новейшие», само название которого свидетельствовало о некой литературной акции, и как один из основателей неоавангардистской «Группы 63». То было время, когда слова «неоавангард», «неоавангардистский» утвердились в определенном литературно-критическом контексте на правах синонимов слова «эксперимент» и производных от него.

Экспериментируя в области формы, новые поэты сосредоточили преимущественное внимание на поисках в сфере поэтического языка. Лингвистический подход к языку поэзии нес в себе ощутимую угрозу содержанию, ставя подчас творческий процесс над конечным результатом творчества и ограничивая коммуникативные возможности поэтического текста. Однако и в то время эксперимент не был для Порты самоцелью, а в семидесятые годы его поэтическое слово обретает все более глубокое жизненное содержание. Именно в семидесятые годы в поэзии Порты появляется жанр «короткого письма» (циклом, «короткие письма 78» открывался сборник «отрывки-пассажи»; подзаголовок «короткие письма 1976, 1978, 1980/1981» имел сборник «Атмосфера конца»). Стихи-письма не только предполагают конкретного адресата, который, кстати, может быть и коллективным, но и связаны с теми или иными конкретными событиями — от исторических или политических до бытовых, личных, интимных (небезынтересно вспомнить в этой связи «почтовые карточки» Эдоардо Сангвинети, другого ветерана неоавангарда,— стихотворные фрагменты, продиктованные настоятельной потребностью поэта в собеседнике, в корреспонденте).

Порта обычно избегает прямолинейных, в лоб, оценок, но гражданская позиция его очевидна. Когда он, приведя в одном из коротких писем семьдесят шестого года рассказ ребенка о зверствах полпотовцев, спрашивает: «По-вашему это риторика?» — он словно бы интервьюирует обывателя и саркастическим этим вопросом заставляет смотреть правде в глаза.

Может быть, советский читатель, уловив горькую интонацию стихотворения «окна закрываются одно за другим...», не сразу поймет его смысл, хотя читателю итальянскому с первых же строк понятно, что речь идет об одной из самых больных проблем современной Италии — проблеме безработицы среди молодежи. Молодые люди с высшим образованием вынуждены либо жить на иждивении родителей, «вращающих жернов», либо эмигрировать «гуськом за Альпы, снимаясь с места», оттуда, где сыр с патриотическим названием «Домашний» по иронии судьбы «изготовляется из снятого молока».

Несколько лет назад я был на поэтическом вечере, в котором наряду с другими поэтами участвовал Антонио Порта. Из прочитанного им тогда запомнились три стихотворения: «пульсирующая под рукой...», «от прикосновения ненароком...» и «она достала иголки и нитки...». Автор читал негромким голосом, ровно, без нажима, и такая манера чтения казалась единственно возможной для этих емких лирических строк, быть может напоминающих лаконизмом поэтические миниатюры японцев.

АНТОНИО ПОРТА — ANTONIO PORTA (род. в 1935 г.)

Итальянский поэт, критик, прозаик. Автор поэтических сборников «То, что могу вам сказать» («Quanto ho da dirvi», 1977), «Отрывки, пассажи» («Passi passaggi», 1980) и др., романа «Футбольный матч» («Partita», 1967), сборника рассказов. Составитель антологии «Итальянская поэзия семидесятых годов» («Poesia degli anni settanta», 1979). Стихотворения А. Порты переводились на многие европейские языки. На русском его поэзия представлена в сборнике современной итальянской поэзии «Вернисаж» (М., «Радуга», 1986).

Публикуемые стихи взяты из книг «Атмосфера конца» («L'aria della fine», Acireale, Edizioni Lunarionuovo, 1982) и «Проникновения» («Invasioni», Milano, Mondadori, 1984).

В итальянской поэзии восьмидесятых годов все более ощутима потребность «говорить без недомолвок то, что думаешь», о которой в связи с последними своими стихами писал недавно Порта. И не исключено, что именно благодаря этому в Италии ныне вновь растет интерес к поэзии, катастрофически было упавший.

«Если вам не хватает кислорода, читайте Бертольта Брехта», — так начинает Порта одно из стихотворений, представленных в сегодняшней публикации. Брехт для Порты — образец художника, способствующего своим искусством социальному и нравственному обновлению мира. И во имя этого обновления итальянский поэт, наш современник, призывает бить в барабан на крыше, как Катрин в брехтовской пьесе «Мамаша Кураж и ее дети», которая пожертвовала жизнью, спасая город от крадущегося к нему врага.

* * *

ребенок на экране телевизора отвечал:
«если дети кричали
эти стреляли если дети
не кричали не стреляли
толкали в канал вон в тот
куда остальных толкали кричали
толкали живьем в канал стреляли
не давали спрятаться жгли рубили
банановые деревья хижины
стреляли с берега в тех кто плакал
после ушли»
по-вашему это риторика?

апрель, без даты

* * *

окна закрываются одно за другим
(стоит вам появиться со словами:
здравствуйте, нет работы?)
двери закрываются одна за другой
(стоит вам заглянуть в купе:
здравствуйте, нет местечка?)
по родному полуострову снует вверх-вниз
муравьиная процессия, опрысканная ДДТ
(но ведь его запрещали, было такое)
к полчищу неприкаянных
принадлежите и вы двое
именно для этого я дал вам жизнь
(теперь я даю вам деньги на жизнь)
именно для этого я вращаю жернов
(при закрытых дверях, при закрытых окнах)
вам говорят: идите в сельское хозяйство
в то время как другие бегут из деревни
(мне придется и впредь давать вам деньги)
бегут от засухи, от града, от рынков

© Antonio Porta, 1982

(но ведь однажды меня не станет)
глоток родниковой воды (хороша)
очередное вымогательство
тянутся гуськом за Альпы, снимаясь с места
(сыр «Домашний», изготовляется из снятого молока)

24.8.1976

* * *

если вам не хватает кислорода, читайте Бертольта Брехта.
Стоит только вчитаться. «Пропала моя рука!»
«Чертовы бинты, где их взять?» Но мамаша Кураж
не шевелится, и Катрин хватает с земли доску,
замахивается на мать, издавая нечленораздельные звуки,
выносит из развалин и укачивает грудного ребенка.
Вот солдат собирается удрать с бутылкою водки,
не тут-то было, мамаша Кураж, рассердясь не на шутку,
срывает с него женскую шубку, трофей мародера,
грабастающего все без разбора: Ах ты скотина!
Тогда плати!— А ведь там, под обломками,
еще один. Катрин убегает
в красных туфельках по пороше...
Если вам не хватает кислорода, бейте в барабан на крыше!

4.9.1976

* * *

мне слышится пила по утрам,
распиливающая дом,
еще немного — и падает последняя стена,
и спальня оказывается на виду,
открытая настежь
над оползнем нечистот и обломков:
бросай на здоровье следом то, что осталось

я сижу на последнем стуле и жду,
зима обещает быть ранней в этом году,
и вот уже я пишу на снегу про мальчика,
написавшего: *«раньше я был рисунком,*
а теперь я дерево»,— и он не мог не мечтать
о листьях

Ла-Кейраска, 4.5.1980

* * *

наступили несчастливые времена, или
наступили счастливые времена (времена ли? секунды?), надо
разобраться (разумеется, если я рассчитываю на успех,
если хочу, чтобы мне внимали:
многим хочется слушать лишь повторенье того, что им известно,
что им говорили, в большом ходу наборы цитат,
примеры, лозунги, ссылки, витиеватые сентенции на серебряных
обертках шоколадных конфет «Перуджина» — выступая однажды

в Перудже перед работницами знаменитой кондитерской фабрики,
противницами «хранцузских» духов и уж конечно
швейцарского шоколада, Муссолини изрек:
«Перуджина» — отличный шоколад, *не бойтесь это повторять),*
за доказательством дело не станет, оно у вас перед глазами
или в заткнутых ваших ушах — эти пространные
несчастные вирши (к счастью, скорее
они заставят вас улыбнуться, чем помрачнеть...),
так вот, кто-то из греков, оказывается, сказал: для человека
лучше было бы совсем не рождаться, а родившись —
побыстрей умереть;
несчастливыми были этруски, римляне-правоведы, романтики
(до чего они заблуждались с их уверенностью в себе!),
та же американская конституция оказалась не тем, за что себя
выдавала,
поскольку провозглашает не «право на счастье», а только
«на стремление к счастью», как написано черным
по белому: «*the pursuit of happiness*», как внушают и нам:
человеку, дескать, должно быть стыдно чувствовать себя счастливым,
«ты счастлив?» — спрашивают меня, ответствую: «да, я счастлив»,
стыдно чувствовать себя несчастливым?
«ты несчастлив?» — спрашивают меня, отвечаю стыдливо:
«несчастлив»
(а на самом деле каким мне прикажете быть?),
млеть или не млеть в неге апрельского ветра
(мартовскому до нее далеко), петь или не петь
дурацкую песню («я не люблю тебя, хоть убей!» напр.),
терпеть тиранию времени или покончить с нею,
отрицать или не отрицать некротический крен истории,
завоевывать пространство или делать вид, будто не вижу,
где проклюнется лист, зацветет куст вьющейся розы?
а что, если пропороть (или прополоть?) зеленые декорации
и слиться с зеленью — производным от зелени?
вот мои сомнения, уступаю их вам на время,
а сам между тем вверяю себя невидимке-почте
(и это, по-моему, почти безошибочный признак
несчастья, надежды...)

О счастье, 6.4.1981

* * *

пульсирующая под рукой
жилка на твоей шее,
ты просишь убрать пальцы —
дескать, не надо,
в рассветной тиши перекликаются птицы,
неужели так поздно? неожиданный
снег

17.8.1981

* * *

утреннее радио: уже готовы
бомбы для 250 000 Хиросим.
При наличии роковой перспективы
кто мне скажет, как может поэт рассчитывать на любовь?

© Arnoldo Mondadori, Editore S.p.A., 1984

Помнится, Музиль пишет:
«это первая в истории эпоха,
которая не любит своих поэтов».
В эти дни у меня наперебой просят стихи,
что может считаться добрым признаком.

18.8.1981

* * *

от прикосновения ненароком
от моих нечаянных пальцев
тебе щекотно и ты смеешься
смеешься не просыпаясь
самодовольно смеешься
и во сне принимая жизнь
как в тот день когда ты сказала:
дай досмотреть сон

20.8.1981

* * *

она достала иголки и нитки
любовно штопает мои зимние вещи
меня это бесит я бы охотно
умер назло от холода.
Она рукодельничает а я пишу
откуда берутся эти слова?
из каких ядовитых глубин сознания
из каких таких ледовитых краев
эти колбы ненависти хотел бы я знать?

28.8.1981

* * *

дрозд увидел меня
томящегося за окном в ожидании
вспорхнул
черная луна окантована светом
дрозд как бы канул в зеркало
у меня за спиной
напротив осталась
пиния огромным зонтом
дом — павшая крепость

25.2.1982

Комната поэзии

На поводке луча
луна колесит по театру
медлит забытая на подмостках
вбирая все новые блики

и в комнате поэзии свой
маленький верный страж
поэтично свисающий с потолка
на своей паутинной нити

Холст закончен чуть свет
когда река распахивает окно
и голос поднявшегося из-за стола
перечитывает последние строки:

«Мы ловим на себе взгляд ребенка
(мне казалось он родился прошлой весной
а ему уже скоро три невероятно)
и наше смущение заметно
возрастает так что впору спросить себя
родилось ли стихотворение...»

Или рождается в эту секунду
(внутри и снаружи множатся зеркала)

апрель-май 1983

■

ХЯРТАН ФЛЁГСТАД

У-3

РОМАН

Перевод с норвежского Л. ЖДАНОВА

1957

Звуковой барьер

Меня заставил прислушаться голос. До сей поры дежурство протекало спокойно, да и теперь не было причин для тревоги. Только что с аэродрома в Будё поднялся рейсовый гражданский самолет. На экране индикатора передо мной я видел, как он разворачивается вправо и берет курс на север, в сторону Бардуфосса. Но не то, что видел я на экране, а то, что услышал, заставило меня выпрямиться и вспомнить Егера.

Чарльз Э. Егер, он же Чак Егер, или просто Егер,— американский ас с многолетним стажем. Война застала его совсем молодым парнишкой, но когда она кончилась, на счету двадцатидвухлетнего Егера было 13 сбитых немецких самолетов. В последующие годы он уже летчиком-испытателем бесстрашно атаковал звуковые волны. Во время испытательных полетов в рамках космической программы поднимался в верхние слои атмосферы. И сколько бы вражеских самолетов он ни записывал на свой счет, сколько бы звуковых барьеров ни пробивал, как бы близко ни подходил к безвоздушному пространству, докладывая по радио, он упорно изображал невозмутимого деревенского парня, гнусаво растягивая слова, как это заведено в глухих долинах Аппалачей, где еще сохранялись остатки шекспировской речи времен Елизаветы и Ренессанса.

Мало-помалу и другие асы американских ВВС, взяв Егера за образец, усвоили манеру докладывать на кентуккском диалекте. Все летчики-испытатели. Воздушные жокеи космической программы. А там и на гражданских частотах пилоты рейсовых самолетов принялись внушать диспетчерам, будто те имеют дело с уроженцами горных долин и шахтерских поселков Аппалачей. Кончилось тем, что егерская тянучка завладела всей шкалой, в том числе и каналами в нашем воздушном пространстве.

Датчанин, который принял САСовскую машину в Будё и теперь вел ее дальше на север, тоже прошел школу Егера. Голосом басистого горного козла он блеял мне в ухо крестьянский говорок североамериканских южных штатов. Провожая взглядом ползущий по экрану светлячок, я слышал, как пилот прокашливается, и кряхтит, и хмыкает, и, наконец, сжимая слоги и растягивая их до неузнаваемости, выдавливает из себя, что «а-а, говорит э-э кома-ан-эдир э-экипажа, и он э-э, к сожалению, мгм, датчанин, а потому э-э не в э-э состоянии а-а подробно э-э и точно э-э живописать э-э ландшафт, над ко-оторым мы э-э пролетаем. Но э-э а-а о-о во всяко-ом случае он может э-э сказать, что сле-ева внизу э-э Норвегия, а справа а-а по бо-орту э-э Швеция, а прямо над э-э го-оловой небо, а прямо э-э внизу преисп... э-э а-а земля. Аох. Он желает всем э-э приятного а-а полета».

Затем последовал в стереозаписи подлинный блюз или спиричуэл в белой фразировке Элвиса Пресли, стихотворный размер елизаветинских времен, слова Уильяма Шекспира или одного из его современников, вроде Сирила Тёрнера или Джона Уэбстера. Номер был обречен на успех, пассажиры смеялись и били в ладоши, и вместе со

Окончание. Начало см. в № 3.

всеми аплодировала Линда Хюсэен, хоть и слышала его прежде не раз. Когда стихли аплодисменты, она вновь обратила взгляд на лежащую на коленях книгу, меж тем как датский солист в кабине выключил бортовую трансляцию, включил автопилот и продолжил флирт со стюардессами на языке, отдаленно напоминающем речь другого датчанина, принца Гамлета. Что же до Линды Хюсэен, то она задремала где-то в воздухе между Стетиндом и Румбакстётта и проснулась лишь после того, как услышала под ногами звук выползающего из фюзеляжа шасси. В сонном замешательстве она обвела взглядом тесный салон, потом увидела землю, наклоненную под углом тридцать градусов, и непроизвольным движением проверила, застегнут ли привязной ремень. Он был застегнут. Кресло, в котором она сидела, наклонилось еще больше влево и вместе с самолетом стало описывать крутой снижающийся вираж. Перед ее глазами промелькнула земля, и бетонные дорожки, и аэродромные строения, затем самолет выровнялся и взял прицел на посадочную полосу, которая теперь была видна только сидящему в кабине впереди датскому горному козлу и его второму пилоту.

Скрещение дорожек, низкие деревянные бараки, жилые дома гражданского вида, ангары, пыльные шоссе, ярко-зеленый лес на белом фоне снежных гор. Толчок от удара главных колес о землю передался ее телу, к нему прибавился тормозной эффект, когда включился реверс тяги и повернулись интерцепторы по заднему краю крыльев. Самолет дошел до конца посадочной полосы, давление на тело Линды ослабло, самолет остановился, развернулся кругом, покатил в обратную сторону и окончательно замер перед зданием аэропорта.

Линда смутно надеялась, что ее встретят или хотя бы почтительно выкликнут ее фамилию через громкоговоритель. Ждала чего-то, отвечающего личной жертве, которую она, как ей казалось, принесла, отправившись в далекую арктическую глушь. Напрасно. Даже записки на имя Линды Хюсэен не нашлось у дежурного.

Стоя у окон пассажирского зала, она с напускным равнодушием смотрела, как везут от самолета ее многочисленные элегантные чемоданы.

Военная зона. Она наложила печать на все, что открывалось глазу вокруг аэродрома. Высмотрев какие-то гряды, не вписывающиеся в ландшафт, Линда распознала в них английские сборно-разборные бараки с характерными дугами железных крыш. На краю летного поля стояли современные истребители североамериканского производства. Однако большая часть увиденного ею была продуктом других обстоятельств, другой страны и кажущегося нереальным недавнего прошлого.

Когда Финляндия в 1944 году заключила мир с Советским Союзом, немецкая армия в Лапландии вдруг оказалась изолированной далеко во враждебной стране. От Рованиеми, где располагался главный штаб, немцы выступили на север, через Скуганварре и Алту в глубь Норвегии С востока отходили части из района Литсы. По всей Северной Финляндии и в Финнмарке нацисты приумножали свою воинскую славу, не оставляя камня на камне на своем пути.

Похвальные отзывы некоторых военных историков об этой операции вряд ли были бы поддержаны жертвами такой стратегии, которые, выбираясь из-под опрокинутых суденышек, из землянок и штолен, собственными глазами видели, сколь основательно поработали немцы. Опустошение продолжалось, пока главные силы не дошли до Барду в губернии Тромс, где и разместился генерал Рендулич со своим штабом. В предшествующие военные годы норвежцы и немцы совместно превратили Бардуфосский аэродром в солидную военную базу. Вместе с другими северонорвежскими аэродромами от Эрланда на юге до Банака и Хёйбюктмуэна на северо-востоке Бардуфосс в полной мере обеспечивал снабжение и поддержку с воздуха немецких горных стрелков, которые вторглись на Кольский полуостров и пытались захватить единственный незамерзающий порт на севере, принимавший союзнические конвои. Но Мурманск выстоял, фронт сковала военная вечная мерзлота, и вся огневая мощь немецких войск не смогла ее растопить. Затем последовал финский мир, Финнмарк был предан огню по всем правилам германского военного искусства, и воцарилась тишина. Вдоль всего побережья раскинулась неприкаянная череда взлетно-посадочных полос тысячелетнего рейха, чрезмерно длинных и пространных для безлюдных норвежских дебрей. Однако они указывали в определенном направлении.

Мирная интермедия, пока надлежащие инстанции не осознали всю мудрость немецких диспозиций и строительной активности, а также лежащую в их основе глубоко продуманную стратегию, продлилась недолго. При доброхотной американской помощи и в рамках расширенного контекста НАТО нетрудно было увидеть вещи в правильном

свете. Парламентские оборонные комиссии явились с инспекцией и прозрели. Под квалифицированным руководством хорошо осведомленных чиновников и офицеров Генерального штаба только слепой не увидел бы, какое благоприятное географическое расположение избрали немцы для своих северонорвежских военных сооружений, особенно с учетом возможного конфликта с Нашим Великим Восточным Соседом. Относительно простые и экономически вполне доступные усовершенствования могли привести, к примеру, Бардуфосский аэродром в рабочее состояние, в том числе для современной авиационной техники, которая, судя по всему, была на марше. За деньгами, было сказано, дело не станет. Все равно ведь надлежало вновь раскрутить колеса после немецкой оккупации.

Иными словами, когда летним днем во второй половине пятидесятых годов Линда Хюсэен из Фаны под Бергеном прибыла в Бардуфосс самолетом из Будё, на старых северонорвежских учебных полигонах уже не один год царило оптимистическое оживление. Разумеется, строительство требовало средств, но Военно-строительное управление не скупилось, и результаты не замедлили сказаться. Не в малой мере потому, что немецкое верховное командование всего десяток лет назад предусмотрительно мыслило и действовало в том же духе. Одна партия двадцатилетних парней за другой выгружалась из военных самолетов в Бардуфоссе, откуда автобусы или американские грузовики везли их в Хеггелиа, Сетермуэн, Маукстадмуэн и Шолд, чтобы они выполняли там роль восточного щита и меча Свободы. Практичные ракеты «Онест Джон», которые было несложно оснастить атомными боеголовками, стояли наготове. Рекруты с высшим в стране общим образованием рисовали красной краской мишени на огромных щитах, вычисляли баллистические кривые, по которым полетят смертоносные снаряды, определяли прицел, отдавали команду наводчикам, использовали поправки наблюдателей, чтобы взять цель в вилку, и послушно выполняли приказ накрыть цель залпом: ОГОНЬ!

Стоя перед зданием аэропорта, Линда Хюсэен слышит тяжелое эхо разрывов между горами. Остановить их! Силой духа? Но Линде сейчас не до воспоминаний о творчестве ее земляка, Нурдала Грига. Вокруг нее дрожит над арктическим краем марево знойного летнего дня. В небе катится солнечное колесо. День и ночь, ночь и день смешивают свой свет и свои длинные тени в кружащий голову световой настой трехмесячной крепости.

Линда Хюсэен пока что не поддается хмелю. Одетая в строгий и скромный костюм бежевых тонов, она с растущим нетерпением ждет автобуса, который должен прийти с юга и везти ее дальше вниз по долине. В конце концов находит в тени крашеную белую скамейку и садится, аккуратно поместив рядом ручной багаж. Как всегда, куда бы она ни поехала, у нее при себе Библия удобного карманного формата, норвежское издание в мягком темно-синем переплете из телячьей кожи. Она переворачивает тонкие листки Евангелия от Матфея и оттоняет полчища комаров, кои не замедлили окружить восхищенными стаями голову и не лишенные правильности черты лица одинокой женщины, которая пытается читать гл. 13, притчу о сокровище и о жемчуге. Царство небесное было подобно купцу, ищущему хороших жемчужин. Найдя одну особенно красивую и драгоценную жемчужину, купец пошел и продал все, что имел, и купил ее.

Куда там. Комары совсем озверели. Впрочем, комара на худой конец можно стерпеть, он долго жужжит над ухом, прежде чем сесть и навести свое оружие. Иное дело — мошка, эта будет похуже, и не слышно ее, а уже сидит, кроткая, тихая, жаля в самых безбожных местах. Линда Хюсэен обеими руками чешет за ушами, норовя в то же время прихлопнуть длинноногого комара. В Евангелии от Матфея появляется кровяное пятно. Точка. На этом чтение Библии прекращается. Молодой парень в черных матросских клешах и форменной фуражке с почтовым рожком над черным козырьком извлекает письма из висящего возле нее почтового ящика. Линда Хюсэен стряхивает с книги бренные останки убитого комара, отмечает нужное место закладкой и зажимает ее Евангелием. По аэродрому разгоняется истребитель, взлетает и скоро превращается в язык бело-голубого пламени на зубчатом фоне пика Истиндан. Выждав, когда стихнет гул, Линда Хюсэен встает и вступает в разговор с молодым почтальоном.

— У вас тут все лето было такое хорошее? — живо интересуется она. И поспешно добавляет: — В смысле погоды.

По ответу почтальона — не по словам, а по тому, как он их выговаривает,— сразу видно, что он из потомков южнонорвежских поселенцев, обосновавшихся в этой долине полтора века назад.

— Лета здесь не бывает,— отвечает он.— Только три месяца плохого санного пути.

— А как же сегодня? — осторожно молвит Линда Хюсэен.— Сегодня-то хорошая погода?

Обжегшись на молоке, она добавляет смиренный вопросительный знак. И почтальон, найдя вопрос заслуживающим ответа, говорит, стоя к ней спиной и закрывая крышку почтового ящика:

— Ага, в этом году лето пришлось на пятницу.

Линда Хюсэен надолго задумывается. Она хорошо воспитанная и вежливая молодая дама.

— Очевидно, была поздняя весна? — делает она новую попытку. Это первая встреча учительницы Хюсэен с Северной Норвегией.

— Какое там! Ничего похожего! Вот когда наст держит в июне, тут уж точно жди ранней весны.

Почтальон забросил свой мешок в фургон и уже садится за руль, когда Линда наконец решается подойти к главному вопросу. Относительно автобуса, когда он приходит и не приходит, когда отходит и не отходит, и можно ли рассчитывать еще на какой-нибудь транспорт.

Автобус ушел. Несколько часов назад. Почтальон хлопает дверцей и уезжает по своим делам. Линда Хюсэен возвращается в здание аэропорта. Диспетчерская уже закрывается, но она узнаёт, что неподалеку от аэропорта живет водитель такси.

Его зовут Вилфред, у него приятные мелкие черты лица. Линда Хюсэен стоит в дверях, чувствуя себя оскорбленной и одинокой в северных дебрях. Ей надо сегодня попасть в Олсборг. Во что бы то ни стало. Линда говорит приветливо, но все равно так, словно верховные власти на специальном заседании постановили поддержать ее просьбу.

А Вилфред как раз обедает. Пахнет копченой рыбой и молочным рисовым супом. На кухне гремят кастрюли.

Нет, сообщает Вилфред, сегодня он уже сделал свой рейс до Олсборга.

Но Линда должна попасть туда. Обязана. Это важно. Совершенно необходимо. Правда-правда, позарез нужно, занятия могут начаться в любую минуту — без нее. Ей надо выехать без промедления.

Но если это так уж важно. Вилфред скребет пальцами щетину на лице. Если это так уж исключительно важно, почему она не вылетела вчера? Тогда она без проблем добралась бы до места сегодня.

Вилфред возвращается к молочному супу, а Линда Хюсэен бредет по пыльной дороге обратно к аэропорту, говоря себе, что не надо раздражаться. Но раздражение есть и требует выхода. И в приливе гнева она шагает так быстро, что выступивший пот жжет комариные укусы.

За чесаньем, чтением и ожиданием проходит еще полчаса; наконец какой-то сержант, сменившийся с дежурства, проникается жалостью. Обдуваемые горячим воздухом из открытых окон, за которыми вибрирует сухое лето, едут они в Олсборг — всего-то десять километров с хвостиком. В небе на северо-западе пылает низкое солнце. Его лучи окрашивают алым цветом брюшко пролетающих через дорогу чаек. Два мальчугана затеяли буйную пляску с комарами и мошкой, и длинные тени на дорожном гравии пляшут вместе с ними. Чем дальше, тем все более тускло, словно догорая, светит солнце; Линда Хюсэен может смотреть прямо на него через пыль и царапины на ветровом стекле. После нескольких холостых заходов ей удается разговорить водителя; он служит на оружейном складе в Бардуфоссе и развлекает пассажирку подробным описанием штыков, и ножей, и ранений, наносимых этим оружием в ближнем бою.

Последнюю часть пути мысли Линды заняты другим, она раздумывает, как расплатиться с водителем. Может быть, чаевые? Маленький знак благодарности? Так она и поступает. Дает одну крону. Линда Хюсэен долго жила за границей. Сержант поворачивается и ошалело глядит на нее.

«У аборигенов совсем другое понятие о времени, чем у нас. Очаровательно»,— записывает в тот же вечер Линда Хюсэен в своем дневнике, подразумевая главным образом флегматичного таксиста и совершенно не подозревая, как реагировал сержант, который ее все-таки подвез. А сей воин, проехав немного в сторону Молсэльва, резко сворачивает к обочине и нажимает на тормоза. После чего выходит из машины и что есть силы бросает в сосновый лес монету достоинством в одну крону. С легкой душой он садится снова в машину, ожидающую с работающим мотором. И когда впоследствии заходил разговор о его элегантной пассажирке, он всякий раз отвечал, что эта город-

ская дама — изящная штучка, хоть спереди гляди, хоть сзади. Уж такая цыпа французская, пальчики оближешь.

А без разговоров, само собой, не обходится. Изысканная городская дама, к тому же из южных областей, к тому же изящная штучка что спереди, что сзади — такие данные не могут пройти незамеченными в новой среде, окружающей Линду Хюсэен. Но она держится с достоинством и тактом. Больше не дает чаевых и не делает подобных ошибок. Все идет хорошо. Начинается учебный год. Программа и учебный план не сулят ничего страшного. Ученики, даже самые рослые и дубоватые, пасуют перед светской дамой из большого города. Смирными овечками сидят перед ее кафедрой и слушают, как она излагает науку о размножении и семейной жизни растений. После чего вежливо прощается и проделывает пешком короткий путь до дома. У Линды Хюсэен никогда еще не было столько свободного времени, и она использует его, чтобы подготовиться к завтрашним урокам и бережно распаковывать драгоценные предметы своего багажа, размещая их в квартире согласно требованиям солидного обывательского вкуса.

В учительской Линда Хюсэен резко выделяется без малейших на то усилий. Дело не только в том, что она красива. Ее окружает особый ореол, который делает ее чужой, отличает от других. Деньги? Происхождение? Образование? Линда Хюсэен?

Фамилия коллегам известна. Людвиг С. Хюсэен — бергенский судовладелец (в прошлом?), немногим уступающий главным тузам этой отрасли. Мувинкель, Вестфал-Ларсен, а там и Хюсэен — все это люди, играющие в «Монополию» фишками на реальном земном шаре. «У нее, надо думать, денег куры не клюют, что́ занесло ее сюда?» — наверное, спрашивали себя преподаватели средней школы в Молсэльве. Сама Линда Хюсэен ничего не говорила, ни в ответ на невысказанный вопрос, ни о каких-либо иных семейных и личных делах. Не говорила ничего о том, что старик Хюсэен, собственно, происходил из бедняцкого рода, жившего неподалеку от Бергена, и что дегенерация, или окультуривание, или как еще назвать то, что постигло эту фамилию, было следствием породнения с бергенским судовладельческим сословием. За каких-нибудь два поколения свежий красный колер западнонорвежских мелких крестьян выцвел, сменившись бежевым британским аристократическим оттенком. Тела постройнели, а там и вовсе пошли в худобу на британский, западнонорвежский лад. Губы тонкие, изящно очерченные; злые языки могли бы сказать, что тут недалеко и до надменности. Но Линда Хюсэен все равно была красива, вневременной, нетленной красотой, излучающей мягкий немеркнущий свет. Социальный и географический фон обусловил ее причастность к наиболее урбанистической культуре Норвегии, культуре, которая любовно и ненавистно выпестовала разговорчивых и красноречивых купцов и адвокатов, владельцев табачных лавок и футболистов, а также доблестное поколение рационалистичных ученых и интеллигентов. А еще — эдвардианских женщин будто из другой, начала XX века, эпохи, с нежным голосом, любезным нравом и стертой индивидуальностью, живо интересующихся декоративными цветами, вышиванием и садовыми шпалерами.

На первый взгляд Линда Хюсэен вполне могла бы сойти за типичный образец упомянутой группы. Как и следует быть. У нее диплом преподавателя и магистра естественных наук по специальности «биология». Опять же как и следует быть, если не считать, что она окончила французскую гимназию, а высшее образование получила в Северной Америке. В одном из заповедных уголков атлантического побережья, среди плюща и красного кирпича провела Линда Хюсэен свои студенческие годы. И там же стала, как говорится, христианкой по убеждению. Это забавляет коллег, с которыми она общается, особенно жен преподавательского состава. Но все равно она красива, причем красота ее решительно не вписывается в обстановку средней школы в Молсэльве, губерния Тромс. Это их не забавляет.

А соберись они с духом присмотреться к ней внимательно, увидели бы серьезное овальное лицо, под светящейся кожей которого уже в подростковом возрасте проступил энергичный склад черепных костей, так что вскоре овал немного вытянулся в длину. Основной бежевый тон естественно сочетается с коричневым и светло-желтым. Вроде бы ничего такого, что принято связывать с волнующей картиной Великой Красоты. И тем не менее общий эффект налицо. Никто, будь то мужчина или женщина, не мог пройти мимо, не оглянувшись на нее. Возможно, они всего лишь хотели проверить — способна ли улыбка пробиться сквозь продолговатую серьезность этого лица. Однако это случалось чрезвычайно редко. Красота Линды Хюсэен была столь серьез-

ного и торжественного свойства, что с ее стороны было бы неприличием, чтобы не сказать — кощунством, уступить обычным человеческим порывам и слабостям, веселиться, шутить и смеяться, флиртовать и одарять ласками, курить, уставать или простужаться, страдать от гриппа или менструации, предаваться земным радостям и поддаваться земным страстям. Это была строгая, царственная красота, которой не то что не требовалась, а была прямо-таки противопоказана всякая косметика и прочее украшательство. Каштановые волосы естественными волнами огибали черты лица, свободно спадая на шею и плечи, и в таком же величавом ритме плавные линии тела стекали к ступням, мягко касающимся нашей грешной земли.

Линда Хюсэен берегла свою красоту, обращалась с ней достойно и образцово. Она не стала ее рабой, но и не злоупотребляла ею. Разве что в тех случаях, сказала бы она сама, когда вместе с другими девушками из лучших семей выступала в роли манекенщицы в большом бергенском универмаге и в воскресные дни в туристском поезде Берген — Восс демонстрировала новые зимние моды лыжникам. Будем считать прочно усвоенное лютеранское отношение к труду повинным в этих прегрешениях, в коих Линда с усмешкой признавалась своим новым друзьям в христианском кружке, куда она с присущей ей спокойной энергией сразу же постаралась вписаться. Линда никогда не жалуется,— возможно, еще одна черта, наследованная от пиетизма. «Моя работа — мое хобби»,— говорит она. И трудится даже дома, на втором этаже сколоченного на скорую руку деревянного ящика под толем, где у нее кровать, стильная мебель, краснвые картинки на стенах и фамильное серебро с монограммой.

Вместе с пожилой и глубоко несчастной учительницей музыки, разделяющей ее религиозность, осенью Линда Хюсэен делает длинные вылазки в окрестностях Барду и Молсэльва, Шёвегана и Гратангена. Они даже совершают поездку далеко на север, на катере, с ночевкой в долине реки Рейса. Обе — активные члены женского вспомогательного корпуса, так что их духовные интересы совпадают. То ли велика разница в возрасте, то ли еще что-то, но подлинной дружбы не получается. Восторженная реакция учительницы пения даже на отнюдь не самые глубокомысленные замечания Линды говорит об ее уровне, и Линда сама стыдится столь дешевого триумфа. Однако их походы доставляют Линде Хюсэен случай воочию знакомиться с арктической и субарктической флорой и собирать для своего богатого гербария новые экземпляры, как то олений мох, или Dryas octopetala; фиалка двухцветковая, или Viola biflora; камнеломка супротивнолистная, или Saxifraga oppositiofolia; вероника горная, или Veronica alpina; лапландская роза, или Rhododenron lapponicum; резуха альпийская, или Arabis alpina; диапенсия лапландская, или Diapensia lapponica; смолевка бесстебельная, или Silene acaulis. А также дрёма безлепестная и холодные белые цветки лютика Ranunculus glacialis. Все тщательно засушено, классифицировано и изучено в комплексе и во взаимосвязях в долгие свободные часы Линды Хюсэен.

Два раза в неделю молодая учительница естествознания занимается в библейском кружке, в котором наряду с другими состоит военный священник, приписанный к Бардуфосской авиабазе. Члены кружка изучают не только священное писание, они читают и обсуждают труды Сёрена Кьеркегора, Карла Ранера, Тейяра де Шардена, Мартина Бубера и других серьезных авторов. Кроме того, Линда Хюсэен по собственному почину возглавляет христианскую группу при школе. Эта группа давно захирела, но теперь сразу же обрастает новыми членами. В начале октября молодой военный священник приглашает ее на осенний бал. Для христианской среды это смелый шаг, даже великий грех. Но священник был просвещенным современным богословом, на особенности норвежского лютеранства смотрел критически. Да и сама Линда Хюсэен не считала, что вера в Иисуса Христа из Назарета как в Спасителя требует, чтобы во всем блюсти образ жизни мелких крестьян норвежского запада, как ни тесно она была связана именно с ними и родством и симпатиями. С открытой радостью она приняла приглашение и в сопровождении священника явилась в офицерский клуб авиабазы — такая же неприметная, как если бы тропический цветок из дождевых лесов Амазонии вдруг пробился сквозь тундру и как ни в чем не бывало продолжал цвести в сумерках надвигающейся полярной ночи. Она танцевала вальс-бостон с не скрывавшим своей гордости командиром эскадрильи. Изящно и благопристойно кружили они по залу, оттесняя другие пары в тень у стены, к зрителям у декоративных обоев. И танцуя с комэском, чуть касаясь левой рукой шершавой ткани мундира, Линда Хюсэен впервые увидела его. Свежеиспеченного лейтенанта. Из тени, из пышного узора крупных роз на

обоях на нее смотрели светлые глаза Алфа Хеллота. Глаза, которые она видела раньше, и они ее видели, давным-давно, в политом дождем и удобренном марганцевым суперфосфатом, цветущем райском саду.

В последующие дни осень все более острыми ногтями кромсала биологию, которая для Линды Хюсэен была и профессией и хобби. Взялась пальцами, покрепче ухватилась своей рукой и надолго зажала голую землю в морозных тисках. Мороз опалял травы злым гололедом, свирепое пламя стужи выжигало черные проплешины на земле. В открытых ранах на этом пожарище виделись Линде Хюсэен глаза, что смотрели на нее из чащи обойных роз в офицерском клубе. От холода они вздувались огромными ледяными нарывами, блестевшими в лучах низкого солнца. Линда утратила равновесие. Она постоянно вынуждена делать усилие над собой и сосредоточиваться, чтобы не поскользнуться и не упасть. А морозная стынь окружает ее все более плотной стеной, и с каждым днем все раньше темнеет.

Их представляют друг другу на вечере у священника. Адам и Ева, миллион лет спустя после изгнания из рая. Хозяин дома, которому они обязаны знакомством,— молодой человек, ценящий кулинарные тонкости и доброе застолье. С кухни доносится аромат цыпленка в заграничном вине, когда они впервые здороваются за руку и говорят:

— Линда Хюсэен.

— Алф Хеллот.

— Очень приятно.

— Мне тоже.

Можно садиться за стол.

Сверх того, что священник обладает интуицией, он попросту хороший человек, а может быть, одно другим обусловлено. Он пригласил не только Линду и Алфика. Четвертым колесом повозки была подруга по походам, учительница музыки. Угощение вкусное, вино изысканное, цыпленок сочный, беседа суховата.

Собственно, этим все и ограничилось. Ничего существенного не было сказано, ничего примечательного или таинственного не произошло, гости рано встали из-за стола, Линда и Алфик сказали «спасибо» и «до свидания».

На другой день выдался последний золотистый час, светило прокатилось вдоль горизонта, после чего вовсе скрылось за острым краем земли. Страна погрузилась во мрак, и мрак этот нарастал и густел над окочеиевшей землей Больше солнце не показывалось. Не встречая отпора, мороз теснил темнотой золотистые отсветы в небе. Волна мрака, вздымаясь, накрыла весь край. Под этой волной необозримые дебри тянулись к свету, простирались на север к мраку. У полюса.

И наступает день, когда учительница Линда Хюсэен идет в поход по этому краю вместе с лейтеиантом Алфом Хеллотом. Во время большой перемены ее позвали к телефону. Он звонил с дежурства. У него есть предложение. Насчет похода. Учительница Хюсэен считает это предложение конструктивным. Пока не выпал снег, у них находится время и для этого, и еще для нескольких походов. Алфик шагает медленно и благоговейно рядом с очаровательной женщиной. Оживленной беседы не получается, но у Линды достаточно развит навык общения, так что неловкости не возникает. Все кругом отцвело в ожидании зимы. Алфик Хеллот не видит большой разницы между вереском и оленьим мхом. Слушая вполуха ботанические разъяснения учительницы Хюсэен, он думает о том, как по-разному люди чувствуют и воспринимают природу. Его недельные вылазки с охотничьим ружьем в угодья, испещренные цветовыми залпами осени. Желтое, красное, коричневое, синий окоем перед глазами, рвущаяся вперед собака, острое восприятие всего, что двигается в пламенеющем поле зрения, срывающиеся со скалы белые куропатки, широкие прыжки зайца через снежник. Алфик всегда ходит с переломленным ружьем — какой-то шанс он оставляет дичи, но не больше. И вот долгожданный миг: почуяв птицу, собака делает стойку. Алф Хеллот закрывает ружье, подходит к цели на выстрел, зрачок, планка и мушка совмещены, палец жмет на крючок, отдача в плече, раскатистый выстрел, и подстреленная птица шлепается на землю. «Вперед!» и «Апорт!» — собаке, чтоб принесла добычу. Еще одна куропатка в рюкзаке — и можно двигаться дальше Вот что влечет его. Охота на зверя в себе, на птицу над собой. Уединение, безмолвие, кругозор, широкие горизонты, отвесные скалы, длинные дневные переходы, след рыбьего косяка на блестящем в сумерках водном зеркале, надеть болотные сапоги, поставить сеть, выдернуть спиннингом форель-другую, крутя катушку и глядя, как разрезает темную воду блесна с рыбой

на прицепе; в течение вечера каждый второй час выбирать из сети улов и наконец, смертельно устав, забраться на ночь в шалаш.

Но сейчас Алфик Хеллот увяз. Леска легла на грунт, а дно еще незнакомое, но мало-помалу он начинает ориентироваться в неведомых глубинах. Во время ограниченных рамками приличия однодневных походов с Линдой Хюсэен он совсем по-новому воспринимает природу в себе и вокруг себя. Тут вся суть в том, чтобы уметь сосредоточиться, внимательно глядеть на землю, идти неторопливо, наклоняясь над лапландской розой, жирянкой, гвоздикой пышной, куропаточьей травой, купеной душистой, ползучим тимьяном и другими растениями с одинаково новыми для него названиями. Если мерить километрами, походы совсем короткие; медленно, стараясь ничего не упустить, передвигаются они по пересеченной местности (как выразился бы лейтенант Хеллот); всю выкладку составляют фотоаппарат, сумка на ремне и «Лапландское путешествие» Карла Линнея. Увлеченно, точно сознавая, что исследуют друг друга, наклоняются над растениями. Иные думают, что надобно изучать сердце и почки, чтобы познать сокровенную суть друг друга. Однако взгляд Алфика направлен не на интеллектуальный кругозор Линды, и Линда исследует не кишечную флору Алфа. Они созерцают окружающий мир. Для Линды Хюсэен Линней — образец истинного христианина. Никаких небес, куда возносились бы души, нет, говорит она. Хотя бы и для верующих. Но все мы христиане в том смысле, что нас осеняет милосердие божье. Линней первым понял, что цветы, до него почитавшиеся образцом чистой невинности, на самом деле — обнаженные половые органы растений. Этого утверждения достало с лихвой, чтобы возмутить многих его современников. Но, говорит Линда Алфику Хеллоту, который благоговейно ступает рядом с ней, Линней тем самым и их и нас приблизил к богу. Потому что мы, люди, только через познание мира можем познать всевышнего.

Между тем Алфу Хеллоту слышится в ее словах подтекст, вызывающий у него реакцию, которую трудно укрощать и которая мешает и дальше идти с ней рядом, сохраняя невозмутимость. Но Алфик приучен владеть собой, умеет контролировать свой голос, чувства, страсти. Молчаливый поединок с Линдой — на чем им следует сосредоточить свой взгляд, кончается вничью. Они глядят не вверх, на небеса, и не вниз, на землю. Они смотрят друг на друга. Если бы взор мог оплодотворять! Он попал в яблочко, она сорвала редкостный цветок. Охотничий трофей на стену, засушенная тычинка в гербарий. Охотник подстреливает себя, ботаник срывает взлелеянный им самим цветок. Не говоря ни слова, они идут дальше.

Но за оставшиеся дни этой брызжущей красками долгой осени Алфик Хеллот все лучше узнаёт учительницу Линду Хюсэен, а заодно и подробности образа жизни, о котором прежде мог только гадать. Они говорят о старой даче семейства Хюсэен в Ловре, о помешанной двоюродной бабке и о превратностях судьбы, как выражается Линда, что свели их вместе здесь, в этом суровом краю на севере. Впрочем, Ловра недолго служит темой разговора, для Линды Хюсэен это лишь одно среди многих экзотических мест, какие она в течение лет посетила, отправляясь в путешествия из усадьбы под Бергеном, о которой всегда думает как о родном доме. Величественное кирпичное строение в георгианском стиле — дом ее детства, рассказывает она недоверчивому Алфику Хеллоту. Официальное наименование усадьбы — «Каса Росада», как у президентского дворца в Аргентине, но люди предпочитают называть ее «Дворец Хюсэ», не без намека на норвежское название пикши. Гордо возвышаясь над зеленым парковым лесом и щетками английских газонов, сей очаг (говорит Линда) долгие годы служил привычным ориентиром для моряков в этой части губернии Хордаланд. Здесь Линда и ее три сестренки с малых лет били по теннисному мячу на собственном корте, когда позволяла бергенская погода; здесь они совершенствовались каждая на своем классическом музыкальном инструменте и устраивали самодеятельные концерты на свежем воздухе, исполняя струнные квартеты в стиле барокко и рококо и пожиная щедрую хвалу родителей, прочих родичей, друзей и «всего Бергена». Здесь они позировали для фамильного альбома перед книжными полками, на которых известный декоратор и специалист по интерьерам Кнаг-Педерсен самолично расставил книги, призванные служить декоративным фоном для семейных портретов династии Хюсэен. Здесь они развивали и оттачивали заложенные в них художественные дарования и талант общения, упражняясь в игре на фортепиано (а Линда еще и на альте), в стихотворчестве и английском шве. В восьми стенах родного дома разыгрывались живые картины, но также и реалистические сценки нравов и душераздирающие мелодрамы, где в главной роли выступал

чертовски обаятельный отец-пьянчуга, антагонистом которого была религиозная, нерешительная, кроткая примирительница-мать. После многократных родов вся энергия и сила покинули некогда крепкую румяную дочь западной Норвегии, перелившись в окружающую ее молодую девичью поросль. Она часто хворает без видимых симптомов, если не считать наросты на больших пальцах ног, от которых ее постоянно врачуют в дорогих частных клиниках д. ма и за границей.

В антрактах между бурными семейными сценами вокруг Дворца Хюсэ развертывается содержательная светская жизнь, кружится нескончаемый хоровод многочисленных и весьма одаренных гостей. Часто на зов шампанского в убежище радости являются партнеры по коммерции и судоходству, но также и разного ранга и склада представители мира искусства. Госпожа Хюсэен и ее очаровательные дочери охотно и остроумно беседуют с искусствоведами из Бергенского музея и Галереи Расмуса Мейера о дефектах серебряной крышки реймерской кружки и о старинном народном искусстве, которое ныне явно растет в цене. Госпожа Хюсэен втайне мечтает о свадьбе для каждой из четырех дочерей на фоне западнонорвежского лета с пышной зеленью климатических оазисов в глубине фьордов — белые камчатные скатерти на ярко-зеленых газонах, обширные меню, изысканные вина, исключительно веселые и остроумные речи, цветущие клумбы, оплетенные зеленью стены и роскошно накрытые праздничные столы. И естественный центр праздника — рослые, широкоплечие, мило смущающиеся кандидаты экономических наук из хороших семей в прочном соединении с ее дочерями. Однако главным предметом ее мечтаний были цветы, мир в виде беседки, одетой цветами, сплошной цветочный ковер на земле, россыпь цветов на колючей стене живых изгородей, украшенный цветами высокий лиственный свод. Вдоль цветников госпожи Хюсэен прогуливались не только Кнаг-Педерсен, и Хюсэен-Андресен, и другие достойные представители высшего пьянейшего бергенского бюргерства. В ее хоромах и под сенью летних ночей над Дворцом Хюсэ предавался мечтам и поэт Вильденвей, записывая в семейный альбом свои баллады, сочетающие веселье с грустью. Великая Гарбо ночевала под ее крышей, художник Хенрик Сёренсен был желанным гостем. В помпезном вестибюле неоспоримый след оставил творец религиозных фресок Эмануил Вигеланд, а писатель Руналд Фанген в конце тридцатых годов за игрой в крокет предпринял не одну столь же благую, сколь и тщетную попытку обратить Людвига Хюсэена в оксфордскую веру. «Все равно — bless him»,— говорила Линда. Честь и хвала ему за это!

В такой вот благотворной обстановке росла маленькая Линда, и она скоро научилась обращаться со слугами твердо и приветливо — умение, которое пришлось весьма кстати, когда развод родителей из четырех стен спальни выплеснулся на открытую сцену. Богатый судовладелец Хюсэен надолго заточил себя в западном флигеле розового дворца в Мильде. В крашенной коричневой морилкой библиотеке он отчаянно глушил водку за опущенными гардинами, среди вставленных в тяжелые золоченые рамы «двуспальных» западнонорвежских пейзажей художников дюссельдорфской школы, дорогих картин от друзей-живописцев, антикварных раритетов, книг о путешествиях и топографии, ценных картографических листов Геелькерка и старых оригинальных крепостных планов. Здесь Линда Хюсэен наконец увидела любовницу отца, которая была моложе его на сорок лет.

Щадя детей, лето после завершения разводной процедуры госпожа Хюсэен провела на Лазурном берегу. Две старшие дочери были достаточно взрослыми, чтобы жить самостоятельно, и уже благополучно устроились в Швейцарии. Людвиг Хюсэен тоже уехал со временем, вместе со своей любовницей. Однако дом продавать не стал. Дворец Хюсэ стоял темной, пустой, замкнутой раковиной, таившей воспоминания о добрых временах как в личной жизни, так и в судоходстве на линиях в Северном море и через океан, к берегам США. На запущенных газонах никакие странники уже не предавались грезам в серебристые летние ночи, даровитые дочери Хюсэен не расточали свои дары перед высшей бергенской буржуазией. Так называемый трубный глас Людвига Хюсэена не раскатывался больше в стенах дворца, вызывая вмешательство супруги, которая стремилась предотвратить большой скандал: «Ну-ну, Людвиг, после разберемся...» Не потрескивали весело камины во всех комнатах, даже и в ванных (коих насчитывалось четыре), не стучались в бронзовые двери мецената рифмоплеты или мазилы, все это осталось в далеком прошлом, только дождь без устали барабанил по глазурованной голландской черепице и обрушивался шквалами на парк, где тянулся к небу один лишь бурьян.

И в совсем разных концах земного шара не только Линда, но и три ее сестры получили должное образование сообразно своим личным задаткам и наклонностям. Так, младшая, Гедда, которая изучает неорганическую химию в одном из университетов Южной Калифорнии, уже готовится защищать докторскую; что же до Линды, то она избирает другой путь к самостоятельности. После десяти лет за границей нужно принимать решение, и она решает остаться норвежкой, решает основательно. Будет преподавать в старших классах. И Линда отправляется на север, в Молсэльв, губерния Тромс, чтобы делиться приобретенными дорогой ценой знаниями с подрастающим поколением в этом медвежьем углу на границе с великим безлюдьем — во всяком случае, если смотреть глазами обитателя Нью-Йорка или Парижа, каковая возможность многократно предоставлялась Линде Хюсэен. Движимая не только чистым идеализмом, но и профессиональным интересом к арктической флоре, после многолетних университетских занятий ботаникой и обширных полевых исследований у Большого Невольничьего озера и на Баффиновой Земле в Северной Канаде, Линда решительно двинулась в путь.

Поток слов прерывается. Она рада возможности выговориться, а бесхитростная реакция идущего рядом молодого лейтенанта ВВС показывает, что он следит за смыслом, несется ли речевой поток вскачь через перекаты, ныряет ли в глубокую таинственную заводь или, замедляя бег в русле голоса, вливается в безмолвие. В море, которое они как будто различают там, вдали. Линда и Алфик остановились и смотрят, стоя бок о бок, и слышат далекие разрывы на полигоне. Прямо под ними на скальном уступе чернеет озерко в обрамлении высокого камыша. Его поверхность дробят светлые пузырьки воздуха. У самого края качается бревно.

Алфик поднимает взгляд на далекий кругозор.

— Кажется, это Сенья? — говорит он, касаясь мягкой рукой Линды.— Вон там, далеко? Ближний берег,— быстро добавляет он, чувствуя осторожный отклик ее пальцев.

Минутное сближение здесь, безбрежный кругозор там, впереди. Тут же пальцы ее разжимаются, она выдыхает «нет, нет» и поворачивается, направляясь обратно к дому.

— Ближний берег,— повторяет Алфик Хеллот, идя по ее следам.— Там тихо, спокойно. А только кто там бывал, дальний берег хвалят. Где бушует прибой.

Верующая христианка Линда Хюсэен не отвечает. Возможно, и не слышит его слов. Казалось бы, все прожитое и взгляды на жизнь должны с огромной силой разбросать их в разные стороны — ее и воинствующего безбожника Алфа Хеллота. Но силы притяжения могущественнее. По узкой тропе, пересекающей границу леса и голый подлесок, они спускаются вместе в долину, являя собой еще более своеобразную пару, чем та, какую некогда ухитрилась составить Китти и Алфик. Они приближаются к полигону и вот уже различают голоса отдельных орудий, видят сполохи у дул и в местах разрывов, слышат тяжелый дактилический грохот пушек, трескучий гекзаметр пулеметов, трактующих нескончаемое белостишье героического эпоса под хореические выхлопы минометов. Они подошли к району последней базы немецкой лапландской армии. Идут, теперь уже взявшись за руки, через ландшафт, образованный заросшими эскарпами, обрушенными брустверами, старыми воронками. На обратном пути в Олсборг слово принадлежит Алфику, и речь его звучит, как эхо военных игр. Борьба — одно из его ключевых слов. А также фронт. И класс. Унижение. Ожесточение и отпор. И — еще о борьбе, не в смысле устарелой классовой борьбы, а в более современном понимании. О борьбе за свободу. Алфик рассказывает о какой-то «Единичке» — выясняется, что речь идет об эскадрилье 331-й. Говорит о действиях перехватчиков. Описывает типы советских самолетов. Объясняет, что покачивание крыльями — международный условный знак, предложение изменить курс.

И впервые Линда Хюсэен узнает о слухах. Слухах, которые ходят не первый год. На всех базах ВВС к северу от Полярного круга только об этом и говорят. Один из пилотов эскадрильи 333-й уверяет даже, будто своими глазами видел то, что послужило поводом для слухов. Будто бы он видел, только не стал об этом докладывать, черный самолет без опознавательных знаков, с огромным размахом крыльев. Машина летела со скоростью 0,5-0,6 М на высоте 15 тысяч метров, потом вдруг пошла круто вверх, в стратосферу, словно притянутая действующей в пустоте неведомой силой.

В своем хождении по кругу через дежурки, бараки и офицерские столовые слухи о Черной даме, как прозвали загадочное нечто, обрастали фантастическими толкованиями. Соответственно проценту алкоголя в крови, Черная дама оказывалась когда

спутником, когда самолетом-шпионом. Советский или американский? Друг или недруг? Атмосферное явление? Гости с чужих планет? Летающая тарелка? Зеленые человечки с Марса? Эскадрилья ангелов из рая? Или просто-напросто чья-то невзорвавшаяся ракета?

Немногие достоверные сведения о Черной даме, чего уж там скрывать, получены Алфиком от меня. Ими он тоже делится с Линдой Хюсэен. Экраны многих радиолокационных станций пересекала крупная яркая цель. Целый ряд операторов независимо друг от друга засекали ее высотомером. Выше всех известных рекордов высоты. И тут же пропадает. Черная дама.

Линда Хюсэен встревожена. Вдруг окажется, что молодой лейтенант ВВС выдает ей военные тайны. Она перебивает его, просит не продолжать, устанавливает пределы интимности.

— Это не моя стихия,— говорит она, подавая Алфику руку, когда они прощаются перед ее домом в Олсборге.

Нет, так нет. Но Алфик не волен менять орбиту. Он садится в машину и едет к себе на базу. На другое утро похолодало еще на один градус, сухой и белый иней сыплется со звоном на мерзлую землю. Легкий флер сверкающих кристалликов устилает ее, хороня под строгим белым пологом всякие чувства и всякую жизнь. Линда Хюсэен и Алфик по-прежнему часто видятся — на людях, с учительницей музыки в роли дуэньи. Но не сближаются друг с другом, напротив. Мороз набирает силу, ударами невидимого молота гонит вниз красные столбики термометров. С каждым новым морозным днем из красочной гаммы света выпадает еще один теплый оттенок, и под конец лишь призрачный неон противостоит мраку на гранях между белой землей и черным небом. Если не считать зыбкого свечения и снега, безраздельно царит темнота, высокий безбрежный мрак, и всякий намек на рассвет тотчас тонет в этой безбрежности. Мороз вонзил могучий коготь в землю и принуждает людей замыкаться в домах, замыкаться в себе. Все белее и злее мороз, над всем краем раскрывает свою пасть, сверкая белыми зубами. И кусает. Кусает скулы, кусает кончики пальцев сквозь кожу перчаток, острыми клыками пронзает толстую юфть башмаков.

В тусклом полуденном свете мелким и быстрым шагом возвращается из столовой Алф Хеллот. Снег поскрипывает под каблуками. Выдох сгущается в пар. Клубы белой морозной дымки у рта — и летучие черные тени на снегу, тающие в свете фонарей на дорожках военного городка. Алф Хеллот топчется по кругу в четырех стенах своей комнаты и вокруг собственной оси и замечает, как от стужи и сухого воздуха растет заряд статического электричества. Напряжение вокруг него, меж ним самим и окружающим миром так велико, что, к чему ни прикоснись, проскакивают искры. И сам он искрит, стоит его задеть. Но Линда Хюсэен остается холодной, как ни полны электричеством их рукопожатия.

Приходят зимние бураны. Снег не падает с неба, как в других местах. Его несет ветер, с воем несет вдоль земли вихрь за вихрем, сбивает в кучи, вздымает с крыш искристыми белыми факелами.

Но настает день, когда вновь появляется солнце. Его чуть видно у самого горизонта. Учительница Хюсэен и лейтенант Хеллот ходят вдвоем на лыжах. Кто-то пробует расплавить паяльной лампой литье промерзшей земли. Гигантская рука регулирует подачу газа, и первые лучи высекают искры на горизонте. Тут же они пропадают. Солнце выглянуло, но не поднялось в небо. Лишь полежало — красное, тусклое,— качаясь на белом окоеме, и закатилось. Лицо Алфа Хеллота вылеплено из серого хлеба. Солнце выглядывает опять и намазывает его теплым медом. И когда Алфик и Линда теперь встречаются на открытом воздухе, их лица больше не напряжены и не перекошены стужей. Потому что солнце уже светит долго, ярко, ослепительно, бушует в небе высоко над землей. И снег тает, съеживается, растворяется в прозрачном воздухе, испаряется, течет стремительными струями. Мороз угрюмо отступает в свои эмпиреи, понемногу обнажая первые клочки земли внизу. Открывает дороги между домами, освобождает склады, отпускает бесснежные болота, зеркало озер.

А затем все останавливается, замирает. Больше ничего не происходит. Земля показалась, но не раскрылась. Лежит темная и холодная. Май приходит, и май уходит, такой же безучастный и неприступный. Каменное небо, сумрак и растопыренные ветви голых деревьев над серыми космами прошлогодней травы.

Для Линды Хюсэен эта оцепенелая, застойная весна исполнена долгой и нездоровой внутренней борьбы между христиански чистой душой зимней поры и одолевающ-

щими ее жаркими страстями. Хотя она ничуть не сомневается, что встретила своего избранника. Имя его — Алф Хеллот. Она будет любить его душой и телом. Желание сжигает ее плоть, испепеляет всякую разумную мысль, пожирает дни ее и ночи, бросает в жар и пот, холод и дрожь. Но Линда Хюсэен держится стойко. Кроме священника, которому она исповедуется, никто не ведает, что происходит в ее душе. Своей характерной семенящей походкой (которая, выясняется, есть результат первых в уезде Молсэльв каблуков-шпилек) идет она в класс толковать о пестиках и тычинках; без труда поддерживает дисциплину и так же легко (чтобы не поцарапать деревянные полы и не зацепиться за решетки на лестнице) семенит в учительскую, где невозмутимо беседует с коллегами, однако снова и снова про себя возмущается тем, что они едят фрукты — скажем, апельсины — руками, вместо того чтобы пользоваться ножом и вилкой. Это шокирует Линду Хюсэен. Но она сдерживается. Она владеет собой.

Что до Алфика Хеллота, то он сходит с ума. И наверное, впрямь помешался бы, не будь радикальных способов снимать напряжение. Ночью видит эротические сны, но днем обороняется от наваждения напряженнейшей тренировкой. Готовится к первенству страны по военному пятиборью, чтобы защитить чемпионское звание. Бросает свою «Гусыню» (более или менее ласковое прозвище «Тандерджета») в такие пике, что перегрузки плющат его на сиденье, выжимая все мысли о Линде из головы, всю силу и потенцию — из тела. В бане нагоняет такую жару, что товарищи по службе остерегают: быть ему неспособным к размножению на месяцы и годы вперед. Колосники соперничают красным цветом со столбиком термометра, который подбирается к ста градусам Цельсия, с потолка из досок капает смола. А Хеллот берет шланг и поливает печь водой, долго поливает, снова и снова, пока пар не начинает душить его за горло, а остальных гонит под холодный душ. Один Алфик продолжает сидеть в парилке, опаляя себе волосы, сжигая лицо, туманя глаза. Потом Алфик Хеллот слезает с верхней полки. На душ и не смотрит. Не замечает и тридцатиградусного мороза, ныряя нагишом в снег на дворе. Но глаза Линды Хюсэен волнуют его, когда назавтра они встречаются, и чистый взгляд ее сталкивается с его взглядом, и она говорит, почти неслышно, выталкивает языком через губы изо рта все то же «нет, нет».

Первое воскресенье июня. Цвет надежды светло-зеленый, и почки вот-вот распустятся. Солнце в зените, лес в розовом сиянии. Линда Хюсэен и Алфик Хеллот сидят на шезлонгах в саду перед домом учительницы Хюсэен в Олсборге. Алфик впервые побывал в ее обители. В жизни он не видел ничего подобного. Оригинальная графика и стильная мебель вызывают в нем только отпор. Но он держит себя в руках. Больше всего поражают его изречения. Они везде — вышиты на диванных подушках, написаны на бумажках, налепленных на выключатели и солонки, выведены тушью на голенищах резиновых сапог. И хотя он уже слышал подробные рассказы о Дворце Хюсэ, его все же шокирует фотоальбом с иллюстрациями уровня жизни семейства Хюсэ, которые к тому же сопровождаются пояснениями вроде: «Мы тогда жили в Ницце». В Ницце! Почему непременно в Ницце?

Алфу Хеллоту многое невдомек, даже после того, как фотоальбом, закрываясь, примирительно гасит прошлое. Алф Хеллот задает вопросы только себе, больше никому, и Линда не исключение. Он не торопится выложить, что у него на уме. Он научился молчать. Сидит на солнце рядом с Линдой Хюсэен, чувствуя тепло. На нем безупречно чистая форма без кителя, рукава аккуратно подвернуты, конец галстука засунут внутрь между второй и третьей пуговицами рубашки. Сидя возле Линды Хюсэен, он чувствует, как в воздухе вокруг них, между ними разливается тепло. Это весна, это лето вдруг, одним могучим прыжком настигло их. Ошеломленные, сидят они перед белым деревянным домом, глядя, как распускается листва кругом, как мышиные ушки почек разом превращаются в зеленые слоновьи уши, как раскрываются цветы, откровенно являя всему свету свои органы размножения. Алфик Хеллот расстегнул воротник. Отпустил галстук. Посидев так, снимает рубашку и майку. Встает с шезлонга, растягивается во весь рост на земле. Молодая трава упирается, встречая его тело, приподнимает в своем росте и покачивает Алфика на зеленом ложе.

В соседнем доме выставляют зимние рамы. В прошлогодней траве потрескивает огонь, пахнет горящим хворостом. Линда по-прежнему сидит на шезлонге. Расстегивает верхнюю пуговицу блузки. Закрыв глаза, обращает к солнцу слепую маску лица.

— Теперь можно,— считает Алф Хеллот.— Вполне можно лежать на траве.

— Не боясь простуды?

Линда, в юбке, соскальзывает с шезлонга и садится на землю, поджав ноги. Меняя положение, натягивает край юбки на колени.

У нее припасен шерстяной плед, и она расстилает его на траве перед собой. Алфик Хеллот — кожа белая, как сметана,— переворачивается на живот и подпирает голову ладонями, уткнув локти в землю. Линда нерешительно принимает ту же позу.

Алфик чувствует, как солнечные лучи выводят свои горячие письмена на его спине; Линде они щекочут икры. Двое лежат рядышком на животе, ветер шумит, сердца колотятся о землю, время остановилось. Алфик боком придвигается к ней, прижимается вплотную. Высвободив одну руку, кладет на нее.

— Они нас видят! Соседи.

Линда говорит это, не шевелясь, говорит тихо, в землю. Она лежит на животе, положив голову на скрещенные руки.

А хоть бы и весь мир видел! Но Алфик поворачивается, смотрит на соседний дом. Тряхнув головой, смотрит опять. И еще раз. Точно: видят.

— Зато мы их не видим,— шепчет он, наклонясь над ее ухом.

Линда вздрагивает, потом тоже поворачивается, чтобы проверить. Подперев голову ладонью, смотрит, моргает и не видит. Соседний дом пропал. Белый соседний дом канул в зеленую чащу листвы. Пока они с Алфиком лежали на животе, раскрылись почки берез. Березы окружают их плотным кольцом, замыкая Линду и Алфа в трепещущей зеленой беседке.

Никто их не видит. Око всевышнего над макушками деревьев — серо-голубое, без зрачка. Линда вздыхает, зная, что́ сейчас должно произойти. И она открывается ему. Линда Хюсэен отдается, отдает все, что есть. Алфик в объятиях бури, Линда с ним, Линда над ним, Линда всюду. Напряжение, которым зарядила их земля, не просто искрит — искры родили пламя, оно сжигает их, пламя, летящее по той же извечной орбите, что солнце над ними, пламя, в котором сгорают строгие ритмы суток. Ночью и днем, вечером и утром Алфик и Линда сливаются в сплошной блистающей волне. Они сталкиваются, взмывают вверх и падают вниз, снова и снова, день за днем, на бесконечной небесной орбите солнца и тела.

В Иванов день учительница Линда Хюсэен и лейтенант Алф Хеллот, оба прож. в Молсэльве, празднуют помолвку. О последовавшей сравнительно скоро скромной свадьбе следует сказать, что я, увы, не был приглашен в шаферы; тем не менее могу засвидетельствовать, что были соблюдены подобающие религиозные формы и что Алф Хеллот при обручении подарил своей избраннице тонкое гладкое золотое кольцо с надписью, а Линда преподнесла суженому антикварное издание «Лапландского путешествия» Линнея.

В толще гранита

По ту сторону фьорда, на юге, за морозной дымкой, за вмятинами береговой линии, за скованными стужей белыми волнами ландшафта, за укрепленным районом, за низким горизонтом остановилось солнце, прочно схваченное вечной мерзлотой. Застыв внизу за горизонтом, далеко в безбрежных финских и русских дебрях, бронзовый лик его озарял заснеженный вереск, побеленный инеем лес, пропитанные стынью болота, застланные льдом озера. Кривые тени карликовых берез становились все бледнее, растворяясь в розовом отливе снега. Вдоль береговой кромки все тени были стерты, запорошены белой золой от кремации лета. Сквозь изморозь над фьордом холодное дыхание Восточного моря раздувало угольки, и один быстротечный утренний час над землей на юге тлело в небе тусклое зарево. На голых скалах, открытых ветру, он распахивал сухой снег и вздымал искристые белые факелы к золотистому отсвету дня. Но земля не впитывала тепло, костер не разгорался, угли гасли один за другим, и лишь рожденный толщей мерзлоты синий сумрак пробивался сквозь снег. И восточный ветер еще плотнее сжимал изморозь над Варангер-фьордом.

Привычная картина. Тысячи морозных бликов неизгладимо врезали ее в мои глаза. Стоило открыть дверь — и вот она снова, с мельчайшими деталями. Вой ветра смешался со звучавшим в столовке за моей спиной громогласным хором из полутора десятков хриплых густых басов. Пели ветераны фронта у Литсы, давая выход ликова-

нию по поводу того, что НАТО завербовало их, чтобы они поделились с нами знанием местных условий, добытым кровавой ценой в ту пору, когда они командовали подразделениями на Кольском полуострове. Теперь немецкие горные стрелки горланили песню.

Я вышел на мороз. Из душной столовой словно нырнул в другую стихию. Стужа стиснула в кулаке голый клочок моего лица, где кожа не была защищена мехом и звериной шкурой. Закрыв за собой дверь и солдатскую песню, я надвинул шапку пониже на лоб, затянул потуже наушники, поднял повыше воротник на скулы, застегнул верхнюю пуговицу мехового пальто и спустился с крыльца скрипучими шагами.

Температура «холодной войны» упала еще на несколько градусов.

Моя машина стояла внизу на набережной с включенным подогревателем. Мороз гнал меня сквозь строй по сумеречной улице. Одетый, словно троглодит, в шкуры и меха, направляясь в подземную пещеру, я не мог отделаться от чувства, что быстрыми шагами иду назад во времени. Как бы то ни было, я пересек макушку пригорка и зашагал вниз по склону к центру города. В ясную погоду можно было невооруженным глазом различить полуостров Рыбачий, он же — крайний форпост северного участка Ленинградского военного округа. Волоковая губа. Печенга. Кольская база. Мурманск. Сейчас я не видел ни зги ни впереди, ни позади меня, но в тылу открытого ветром города радиомачты и вращающиеся антенны РЛС видели и слышали сигналы, которыми обменивались важнейшие мировые военные узлы.

Вот и центр. Ни души. Одинокая машина выскочила из-за угла, подвывая норд-осту, и покатила дальше между сугробами и заносами на улице. Пропустив ее мимо себя, я продолжал шагать через метель. Параллельно фьорду город пересекала еще одна большая улица; несколько коротких переулков шли от гавани вверх к пустынному нагорью.

Собственно, «город» — не то слово. Это был гибрид из двух одноименных городов, зародившихся на прибрежных островах. Точно так же радиолокационная станция, куда я направлялся, сочетала две совершенно различные контрольные системы: в виде исключения Верховное командование пренебрегло соперничеством родов войск и поместило в одном подземелье локаторы и радиоразведку. Некогда город был финским и саамским, подчинялся норвежскому господину, купцу и священнослужителю, который повелевал своим подданным черпать рыбу из моря. Теперь город обрел новых хозяев и новых горожан, которые вычерпывали из небесных глубин таинственные знаки.

У открытой воды холодный ост еще злее кусал мои скулы. Сквозь наушники меховой шапки я слышал вещие крики чаек. Стаи птиц парили над рыбацкими шхунами, укрытыми от ветра за молом. На гребнях волн в гавани покачивались красные и синие огни. Вдали пульсировал маяк. Он то гаснул, как гаснет желание, то снова вспыхивал, как вспыхивает боль. Над южным берегом фьорда тлел последний отсвет дня. Город располагался на той же восточной долготе, что Стамбул и Каир, но часы ставил по Осло. Сутки были смещены; и еще одна черта отличала свет полярной ночи. Если другие города Арктики обращены к северу — к Норвежскому морю, к Ледовитому океану, к Баренцову морю, то этот смотрит на юг — там для него открытое море. И там же память о тепле и далеком солнце за горизонтом. Солнце, которое всегда угадывается, оно и есть, и нет его. Здесь в воздухе плывут миражи, в зеркале вод переливаются мороки. Здесь прижились видения.

Я отпер дверцу машины и принялся чистить переднее стекло. Ветер добирался до меня сквозь шапку, теплое пальто, кожаные сапоги. Он не скупился на заряды, продувал меня насквозь, дырявил спину крохотными ледяными пулями. Я выключил подогреватель и сел за руль. Мотор завелся с первой попытки. Нет ничего теплее теплой машины и ничего холоднее холодной. Оставив позади центр, я покатил на запад вдоль фьорда.

Путь был не дальний. Свернув с шоссе, я по укатанному снегу проехал сотню-другую метров от берега до белого штакетника, верхушка которого торчала над снежными валами вдоль обочины. Между сугробами внутри ограды высился лес антенн. Наземные постройки здесь низкие и неприметные. Я остановил машину перед бетонным параллелепипедом с вентиляционными люками, без каких-либо архитектурных завитушек и украшений. Поблескивающий белый купол радара сливался с сугробами. Включив подогреватель, я прошел к входу.

Дверь была совершенно белая от облепившего ее снега. Ветер побелил снегом и стены по бокам, явственно обозначив следы от опалубки.

За дверью находился тамбур. Метель последовала за мной, расписывая бетонный пол белыми полосами. Я отворил следующую дверь, бронированную, и надежно загородился ею от снега и воющего ветра. Шагая дальше, снял шапку и шарф, потопал ногами, стряхивая снег с сапог.

Спустился по короткой лестнице, открыл еще одну дверь. За ней начинался ярко освещенный люминесцентными лампами длинный белый коридор, который уходил зигзагами в толщу горы. Крутые выступы призваны были облегчить оборону объекта; в обеих стенах — глубокие ниши, сужающиеся внутрь, к бойницам. Огибая углы и минуя бойницы, я быстро подошел к первому контрольному посту.

Это было до эры телевизионного контроля, так что проверку осуществлял вооруженный страж у перегораживающей коридор железной решетки. Я показал пропуск, глядя в глаза караульному. Он посмотрел на пропуск с фотокарточкой и подписью. Потом поднял взгляд на меня, удостоверяясь, что топография лица совпадает с чертежом на пропуске. Все точно, перед ним был планшетист Персон. Караульный прокашлялся и нажал кнопку, открывающую ворота:

— Что сделал пешеход, когда подошел к переходу?

— Передохнул — и ходу,— ответил я и шагнул в просвет.

Я обливался потом в зимнем облачении. Коридор оканчивался зажатым между двумя дверьми отсеком с красными и синими кабелями вдоль стен. Сержант в рубашке с короткими рукавами проверил мой пропуск перед второй дверью, после чего взрывоупорная стальная пятитонная махина подалась в сторону, открывая проход в святая святых, к главному престолу электронного собора под куполом на поверхности земли, под пятью этажами атомостойкого гранита над моей головой.

После залитых резким светом коридоров оперативный зал выглядел сумрачным, таинственным, колдовским, как будто вместе со свежим воздухом сверху в ледяные недра горы просочился сквозь фильтры холодный свет полярной ночи.

Я снял верхнюю одежду; глаза медленно привыкали к полумраку. Меня окружали ряды светящихся экранов — зеленых, красных, синих, с прямолинейной разверткой, спиральной разверткой, панорамной разверткой. Приборные панели, сигнальные реле и консоли тускло лучились в полутьме всеми цветами северного сияния. Электроника жужжала и шумела, словно звучащие раковины, но место низкого голоса моря здесь заняли высокие шорохи эфира. Воздух был наполнен характерным сухим и горьковатым запахом электронной аппаратуры. Рядом с экранами индикаторов светились шкалы, с которых я мог считывать цифровые данные. На круглых экранах тонкий лучик прощупывал стороны света с той же скоростью, что антенна РЛС на макушке несокрушимой скалы. Однако экраны были пусты. Шторм сдул все самолеты с небосвода и все сигналы с индикаторов. Дежурство обещало быть спокойным.

Тихо гудел вентилятор, нагнетая свежий воздух, и звук этот смешивался с пещерным «кап-кап-кап» компьютеров, словно откуда-то из поднебесья сочились к нам электронные капли. Дежурный оператор уже встал — этакий палеолитический художник перед мерцающей выставкой электронно-пещерной живописи.

— Тихо и спокойно,— заключил я.

— Нада,— процитировал он таблицу условных обозначений.— Нада Зеро. Оставляю вас наедине с красоткой Нада Зеро. Приятного времяпровождения!

Я помахал ему, уходящему через шлюзы в зиму, и надел наушники. Пробежал взглядом таблицы радарных профилей и действующих опознавательных сигналов. В пещере Альтамира на севере Испании наши палеолитические предки расписали каменный небосвод дивным созвездием звериных фигур. Исполненные в естественном цвете реалистичные изображения перенесли древних быков и вепрей, оленей, диких лошадей и волков в охотничьи угодья нетленного искусства.

Несколько тысяч лет спустя, в электронном неолите, я сидел в куда более глубокой пещере, охотясь на другой звериный круг в небесах. О Черной даме говорить не буду. Нам все еще недоставало важнейших черт ее радарного профиля. Залитый неярким светом, двенадцатидюймовый округлый стеклянный экран передо мной попрежнему был пуст. Электроника жужжала. Вращающийся лучик индикатора кругового обзора свидетельствовал, что антенны РЛС наверху не дремлют, подчиненные воле электромотора. Одна из них позволяла определить курс и расстояние от станции. Радиовысотомер посылал свои импульсы на тридцать тысяч метров вверх, в стратосферу в зоне северного сияния, а концентрические радиоволны поискового локатора прощупывали весь горизонт.

Трехмерный результат можно было видеть на моих экранах. Скудный результат. Если не считать уходящие на запад, к Тромсу, рваные очертания норвежского побережья, экраны были пусты. Вечерний рейс на Осло отменен, самолет спокойно ждал своей поры в Будё. На частотах гражданской авиации царила непривычная тишина. Мужественные и остроумные командиры экипажей не исполняли на шекспировском английском языке черный блюз для своих пассажиров и для диспетчеров в Бардуфоссе. Добавлю: на радость моим длинным антенным ушам.

Молчали и военные частоты. Обычно союзные корабли и самолеты не заходили дальше 24 градуса восточной долготы. Чтобы напомнить о себе, норвежские военные самолеты раза два в году подлетали к границе, оставляя медленно тающий в небесах инверсионный след, и садились для заправки в Хёйбюктмуэне. Но сегодня погода не располагала к таким патриотическим демонстрациям.

За моей спиной послышался шум. Я выпрямился на стуле и посмотрел на дверь. В зал оперативного центра вошел мой коллега по радарному наведению, шифровальщик Лёэ Брурсон — Адольф Лёэ Брурсон, высоко ценимый, скажу без преувеличения, в широких кругах за умение расшифровывать мудреные коды. Ответив кивком на мой кивок, он сел у телефона и связался по прямому проводу с САКЕВРом. Об Адольфе Лёэ Брурсоне, который сейчас, разговаривая с Роканкуром, протянул вперед руки, как бы для того, чтобы согреть ладони у одного из светящихся экранов, многое можно было порассказать. Если знать ключ к его коду. Как знал его я.

Мы вместе одолевали науку на курсах операторов РЛС в Грокаллене и в учебном центре забытого богом форта на востоке страны. Тренировались и совершенствовались в работе обычным ключом, сигнальными огнями, на радиотелексе шифрованным и открытым текстом, в работе микрофоном, шифровке и дешифровке. Именно в двух последних областях Лёэ Брурсон обнаружил замечательную творческую фантазию.

Затем нас вместе направили в один из оперативных центров. После обычной проверки меня допустили в святая святых — подземелье с индикаторами. Или, как в торжественных случаях любили выражаться наши начальники, к направленным на восток глазам и ушам свободы.

Итак, я сидел на РЛС и смотрел вдаль, куда доставал глаз свободы. Меж тем как великое светило дешифровки и шифровки Лёэ Брурсон слонялся, ничего не понимая, по улочкам военного городка над моей головой. Он все понял лишь много позже.

Понял, когда обнаружилась горькая истина. Адольф Лёэ Брурсон был родом из города Свельген в губернии Согн-ог-Фьюрдане, где отец его слыл одним из наиболее видных членов местной ячейки Христианской народной партии. Вроде бы полный порядок. Так думает и Брурсон-младший. Да не так-то все просто на самом деле. Некогда Свельгенское отделение профсоюза химической промышленности, которое никто не назвал бы самым красным, избрало родителя будущего шифровальщика своим кассиром. И в одном профсоюзном издании вроде бы есть подлинная фотография, где старший Лёэ Брурсон, участвуя в рабочей демонстрации, держится за уголок красного знамени — на беду (как одно время казалось), во всяком случае для одного из его потомков.

В силу серьезности вопроса, как говорится, проверка инстанциями возможной угрозы этого эпизода в предшествующем поколении для государственной безопасности неизбежно должна была стать и обширной и продолжительной. Две, три, четыре недели Адольф Лёэ Брурсон, все больше недоумевая, разносил по разным канцеляриям несекретную почту. Наконец то ли из бункера Лэнгли, штат Вирджиния, то ли из Форт-Мида, штат Мэриленд, то ли из САКЕВРа под Парижем, а может быть, из самой крепости Акерсхюс в Осло пришло заключение: Адольфа Лёэ Брурсона можно пускать под землю. Где он и пребывает на радость делу свободы.

Адольф уже закончил телефонные переговоры, когда я вынырнул из пучины воспоминаний и вновь сфокусировал на нем свой взгляд. Мои глаза успели свыкнуться с подземным северным сиянием, и я свободно отличал синий цвет мундира от пастельно-бирюзовой стены за его спиной.

Однако Адольфу Лёэ Брурсону сейчас было не до пастельных оттенков. Он наклонился над экраном индикатора. Радар что-то засек. И я повернулся на стуле от экрана.

Наконец-то признак жизни! Видимо, шторм обломал себе рога, не дойдя до Коль-

ского полуострова. На экране было видно, что с Оленегорского аэродрома под Мурманском поднялся МИГ. Светящейся электронной стрелой он шел по дуге мимо полуостровов Варангер и Нордкин на почтительном расстоянии от норвежского воздушного пространства. Курс МИГа отвечал уже известному вектору, радарный профиль был тотчас опознан, проведена классификация по натовским таблицам, номер вылета запечатлен в мозгу ЭВМ.

Антенные уши фиксировали радиообмен «самолет — земля». Было также слышно, как о чем-то болтают два танкиста. Наблюдатель-артиллерист передавал команды на батарею. Надводные и подводные суда слали на базу очередные доклады. Все было в норме, и вместе с целой армией других смиренных пещерных живописцев мы с Адольфом Лёэ Брурсоном соединяли нормальные элементы частой сетки кадров, частот, метафор и символов в огромный электронный портрет Неведомого По Ту Сторону Границы.

Картина получалась грозная, на холсте громоздились тактические ракеты, бомбардировщики дальнего действия, амфибии, самоходные орудия, полевые гаубицы, полки морской пехоты, вездеходы, минометы, полки ПВО, бронетранспортеры. Все это составляло норму, и на фоне электронного изображения этой нормы сразу бросилась бы в глаза любая сторонняя деталь.

Красная лампочка.

Красная лампочка замигала — сперва в моем подсознании, затем и на пульте рядом с индикатором. Она мигала возбужденно и ярко, и к ней присоединились другие. Что-то происходило. Я посмотрел на экран, но в электронном месиве под стеклом по-прежнему отражались только мое лицо и моя тревога.

И тут я увидел. Схватил, как говорится, на лету. Радар засек самолет. На экране передо мной возник крупный светящийся эхо-сигнал.

Он двигался с противоположной стороны, вдали от берега, но уже в пределах морской границы. Ясный, резко очерченный сигнал. Скорость не такая уж большая. 0,7 М — то есть около 540 английских миль в час. Но профиль на экране не отвечал ни одному из образцов на моей таблице. И высота была невероятно велика, в верхней четверти радиуса действия РЛС. Объект не ответил положенным кодом на запросы локатора и Адольфа Лёэ Брурсона. Он вообще не ответил. На экране индикатора ярко рисовался незнакомый профиль с огромным размахом крыльев. И цель уверенно выдерживала курс. Нет, это не мираж и не морок. Не метеозонд, не дирижабль и не спутник.

Самолет. Визит дамы. Но не барышни Нада Зеро.

Черная дама.

Лёэ Брурсон стоял за моей спиной. Я повернулся, посмотрел на него. Он кивнул. Я вызвал оперативный центр сектора ПВО. Перевел код в электрические импульсы. Через несколько секунд дежурные девушки и операторы нанесут курс неизвестного объекта на большую горизонтальную карту. Объект явно чужой, а не союзнический. Идет необычным курсом, радарный профиль незнакомый, опознавательный сигнал неизвестен, следить особенно внимательно.

На всякий случай, сомневаясь, что будет прок, я еще раз сверил сигнал с известными профилями в таблице.

Ильюшин был простым авиамехаником, прежде чем проявился его конструкторский дар. Микоян — брат известного старого большевика Анастаса Микояна. Кем был Гуревич, по-прежнему не знаю. Если не считать того, что вместе с Микояном он дал имя МИГам. Однако сигнал на экране не принадлежал ни ИЛу, ни МИГу, ни Туполеву, вообще не отвечал ни одному из оранжевых рисунков таблицы. Он не укладывался в рамки. Что-то было не так.

Вот и Лёэ Брурсон покачал головой и пожал плечами. Мы оба знали, что теперь произойдет. Мы разбирались в схемах соединений. За приборной доской на консоли перед нами начинались линии связи. Слова обрастут мясом, фигурально выражаясь. Изолированные провода толстыми гроздьями, точно перемолотая мясорубкой речь, выходили из консоли, утопая в бирюзовой стене. И это лишь начало. Данные будут проверены и перепроверены службой опознания и оповещания, прежде чем дойдут до начальника оперативного отдела ВВС, совсем еще молодого полковника Эга.

Затем будет объявлена тревога. Материализованное в теле полковника Эга слово обернется действием:

«Взлет по тревоге, курс 180°, на максимальную высоту. Связь с Кошачьим глазом по каналу 5».

Кошачий глаз, сами понимаете,— мое кодовое обозначение. Сквозь зимнюю темень мой светящийся радарный глаз видел, как два перехватчика взлетают под оглушительный рев двигателей. Взлетают в мертвой тишине, беззвучно, не нарушая радиомолчания, будь то открытым текстом или кодом.

По сигналу тревоги два пилота, дежурящих в полной боевой готовности, впечатают кружки в стол, расплескивая кофе, бросят рубашкой вниз игральные карты, потушат сигареты... Я отчетливо видел, как два стриженных ежиком летчика топают тяжелой трусцой по тускло освещенному коридору курсом на ангар, где с прогретыми двигателями ждут дежурные машины. Видел, как пилоты затягивают свою сбрую, надевают шлем, пробегают взглядом формуляр, закрывают фонарь кабины, берутся за ручки управления. И вот уже стоят с включенными тормозами на стартовой полосе, и пятнадцать тысяч дрессированных лошадей дрожат от нетерпения под броней, ожидая, когда диспетчер на вышке у северной границы аэродрома расчистит воздух от гражданских самолетов. Наконец — команда на взлет, и взрывная сила, затаенная в двух металлических корпусах, бросит вперед машины, извергающие двигателями искрометные струи голубого света.

Я снова уставился на экран и засек курс неизвестной цели. Она двигалась прямо к рваному радарному контуру норвежского побережья. Я сопоставил курс с закодированными позициями стратегических пунктов и уязвимых военных объектов. Сравнивая координаты новой и предыдущей позиций, снова и снова определял вектор направления.

Он упорно указывал в одну сторону.

Будё.

Будё?

Непонятно.

Радио зашуршало в ушах. Голос секторального центра:

— Станция наведения. Кошачий глаз. Принять на себя управление.

Я подтвердил прием и опять проверил экран. Перехватчики еще не вошли в зону действия нашей РЛС. Она вела только неизвестный объект. Что-то шевелилось за моей спиной. Там по-прежнему стоял Адольф Лёэ Брурсон. Он тоже пристально смотрел на экран.

— Есть! — выдохнул он.— Наши клиенты вошли в лавку.

На экране появились два новых белых эхо-сигнала. Две цели курсом на третью. Впереди «Единичка»; «Двойка» страхует в двух морских милях сзади. Электронный бильярд. Карамболь, причем сразу два игровых шара посланы нами в третий.

Мы наблюдали их уже несколько минут, когда «Единичка» нарушила радиомолчание. Он вызвал меня: «Станция наведения, Кошачий глаз». Привычное потрескивание на канале 5. Он говорил открытым текстом, с модуляционным искажением. Старый знакомый голос. Я тоже включил искажение, чтобы никто не мог впрямую подслушивать разговор РЛС с перехватчиками.

— Старый орел! — сказал я, нажав кнопку.— Старый орел!

Ответ последовал незамедлительно:

— Старый медведь! Ты все еще торчишь в берлоге?

— Белая «Единичка»,— отозвался я.— У меня тут такое припасено! Я засек для тебя Черную даму.

И Алф Хеллот ответил с высоты двух ангелов — шести тысяч метров:

— Старый медведь! Я не сомневался. Что значит — свой человек среди подземных духов. Давай сюда даму. Все еще видишь ее? Она целуется с богом?

— Белая «Единичка» ревнует.

Это включилась «Двойка». Его я тоже узнал. Уно, он же Паттон, Уно Паттон, все тот же обыкновенный одержимый воздушный лихач, каким он был всегда.

Я ответил:

— Радар берет все до высоты тридцать тысяч метров. Курс, по моим данным, три ноль градусов. Скорость — 0,7 М. Высота двадцать тысяч метров. Полная загадка. Будё? Край света? Получишь новые координаты, когда сам увидишь цель. Отойдите с курса на тридцать градусов влево, чтобы я мог вас опознавать.

— Ты его знаешь? — Адольф Лёэ Брурсон продолжал дышать мне в затылок.

Я ответил не сразу. Я смотрел на экран. Сидя глубоко в гранитном подземелье, на закате истории, в холодном полярном сиянии над электронным неолитом, я видел, как два новых эхо-сигнала меняют курс и начинают преследование третьего сигнала.

Я открыл рот, собираясь что-то сказать в микрофон, но вместо этого отпустил клавишу передатчика и повернул голову направо:

— Самый старый из моих знакомых. «Единичка» там наверху считает, что я уже не способен отличить себя от ее тени.

Меня перебил включившийся снова радиоголос Алфика Хеллота.

Лейтенант Хеллот, достигнув высоты между тремя и четырьмя ангелами, по-прежнему сопровождаемый Паттоном, доложил, что есть визуальный контакт. Видит контуры самолета в высоком мраке над собой.

Я выполнил свою задачу. Продолжая преследование, они быстро набирали высоту, все время прибавляя скорость. С ревом мчались по дозвуковому туннелю к звуковому барьеру, гонясь за эхо-сигналом и собственной звуковой волной.

Их ждала неудача. И не только их. Экран передо мной пестрел все новыми сигналами. Командир эскадрильи явно поднял в воздух целое крыло. Словно кто-то посыпал корицей электронную кашу на экране. Какой там карамболь — пирамидка наоборот. Но я видел на радиовысотомере, как сигнал Черной дамы отрывается от Алфика Хеллота и Паттона, катапультирует вверх, за пределы микроволн, излучаемых антеннами РЛС. За грань атмосферы над океаном, в пустоту космоса?

Голос Алфика воззвал по-английски на частоте для сигналов бедствий:

— Идите на снижение, идите на снижение. Следуйте за белой «Двойкой». Следуйте за белой «Двойкой».

Молчание. Никакого ответа. Цель исчезла с экрана. Локатор больше не брал ее.

Исчезла и не возвращалась. Экран был усеян хорошо знакомыми радарными профилями. Взлетевшие последними перегруппировались и строем вернулись на базу. Все, кроме Алфика Хеллота и Уно Паттона. Черная дама увела их за пределы действия радиовысотомера и поискового локатора.

— Ракета,— заключил Адольф Лёэ Брурсон за моей спиной.— Управляемая. Учебный запуск,— добавил он. Обычный учебный запуск.— Промахнулся по цели,— сказал он.— Макет. Шлепнется где-нибудь в Северном Ледовитом. Никто не станет ее искать. С цементной начинкой. Никому не причинит вреда. Спроси «Единичку» — снимок сделал?

— Сделал.— Я не сомневался в этом.

— Больше никто ее не засек? Другие РЛС?

— Никто. Ничего. Ноль.

Адольф Лёэ Брурсон возвестил, что рапорт в общих чертах будет гласить следующее: макет, ракета без заряда, запущенная по учебной программе, вошла в наше воздушное пространство и упала в море.

Я не стал спорить. Во всяком случае, сперва мне хотелось бы посмотреть снимок Алфика. Я сказал:

— Перехватчики возвращаются в Будё. К югу от Вест-фьорда погода получше. Будё открыт. Попроси Анденес проводить белые «Единичку» и «Двойку» до Будё. Или пусть Банак их посадит, если горючее на исходе.

Голос белой «Двойки». Паттон из Осло вышел в эфир в метровом диапазоне. Запрашивал инструкции у диспетчера. Аварийная частота. Сигнал бедствия. У него возникла неисправность. Он нуждался в помощи. Уно вызывал диспетчера в Анденесе, но мы с лейтенантом Алфом Хеллотом тоже слышали его.

Диспетчер не мог ничем помочь. Посадочная РЛС не брала «Двойку». Анденес запросил позицию Уно.

В ответе Уно звучала мольба, не обозначенная никакими знаками в международном коде. Словно Уно Паттон хотел сказать: «Госпожа Вышка, будь моим Богом и Отцом!»

Скосив глаза на ретроспектоскоп, лейтенант Хеллот увидел его лицо. Верхнюю часть лица, за смотровым стеклом, в обрамлении гермошлема. Увидел также Уно Паттона и самого себя в барокамере Института авиационной медицины, где имитировался подъем на высоту три тысячи метров и наблюдающий их реакции молоденький врач нервно проверял радиосвязь с внешним миром.

Радиосвязь — все, что теперь оставалось у Уно Паттона. И бодрый голос столичного парня звучал в трескучем эфире все так же бодро. Оттенок мольбы пропал. Паттон вполне овладел собой, говорил спокойно. Ему предстояло действовать по схеме, которую он отрабатывал миллион раз в теории. И тысячу раз на практике.

Он говорил так, будто речь шла о штатной операции:

— Белая «Двойка» вызывает станцию наведения Анденес. У меня неисправен двигатель. Дым в основании плоскости. Дым проникает в кабину. Готовлюсь прыгать.

Диспетчер упорно продолжал запрашивать позицию. Но Уно Паттон уже сообщил свою последнюю позицию. Он знал, где находится. Он перебил:

— Здесь белая «Двойка». Готов прыгать. Прыгаю! Конец связи.

Алфик потерял зрительную связь с ним уже несколько минут назад. Невольно он крепче стиснул руками штурвал, представив себе, как пристегнутый к сиденью пилот падает вниз через ураган. Подумал о парашюте — откроется. Представил себе, каково это висеть в воздухе под шелковым зонтом, когда внизу изрытый зимним штормом Северный Ледовитый.

— Черт! — выдохнул кто-то из диспетчеров.

— Боже милостивый,— произнес другой.

О, Паттон! О, нумеро Уно! Самые великие события пребывают в безвестности. Самые дорогие воспоминания не находят выражения. Три слова, вырвавшиеся у диспетчеров, были последними словами, обращенными к Уно Паттону перед его падением в океан. Читатель! Склони благоговейно голову перед памятью этого сорвиголовы!

На аварийной частоте воцарилась тишина. Прошло полминуты, прежде чем мы сосредоточились на Алфике.

Сидя в своей кабине, Алф Хеллот чувствовал себя так, словно управляет бумажным самолетом. Порывы ураганного ветра снова и снова ударяли снизу по машине, норовя ее опрокинуть. Сигнальная лампочка дала знать, что самолет становится на дыбы, но не успел Хеллот выровнять его, как новый порыв положил машину набок, и она сорвалась в штопор. Падая сквозь сверкающий частокол молний, Хеллот силился вывести самолет из штопора.

Кривая падения стала выполаживаться. Машина снова слушалась его, и он просительно посмотрел на приборы. Хеллот взлетел с четырьмя полными 870-литровыми баками. Если он верно рассчитал, у него оставалось топлива на пятнадцать минут полета. И машина вела себя нормально. Стрелка радиокомпаса не дергалась. Хеллот отжал назад рычаг дросселя, сведя к минимуму число оборотов. Он глянул вниз на штормовые тучи. Вышка проведет его через месиво, проведет бережно, осмотрительно.

Но Анденес был закрыт. Посадка невозможна. Слишком сильный боковой ветер на посадочной полосе. Хуже того: шатались дома, иные даже сносило с фундамента. Люди укрывались в подвалах. На другой день они обнаруживали, что их автомобили лежат вверх колесами. Экипажи базирующихся в Анденесе патрульных самолетов «Орион» береговой авиации до сих пор рассказывают чудеса про эту штормовую ночь. Уже в начале вечера метеонаблюдатели сообщали, что ураган распахивает асфальт на шоссе и бетон на летных полосах. Многочисленные заслуживающие доверия очевидцы видели то же самое. Во многих местах ветер срывал асфальт с подстилающего щебня и поднимал высоко в воздух, изгибая по восходящей дуге над морем. Сходство этих полос асфальта с красными ковровыми дорожками следует приписать особым атмосферным явлениям. Во всяком случае, на дорожках были люди. Видимо, они возвращались домой с работы. И они спокойно продолжали идти. Вот что самое удивительное. Знай себе, продолжали шагать по парящей в воздухе красной асфальтовой дорожке. Хотя шагать было не так-то просто. Автомобили продолжали ехать, водители изо всех сил сжимали баранку, сражаясь с бешеным боковым ветром, а пешеходы сгибались в три погибели, придерживая рукой шляпу и пряча лицо за поднятым воротником пальто. Велосипедисты с самого начала спешились, но и они продолжали идти, наклонясь над самым рулем, и катили свои машины вперед и вверх над морем. Потом вниз, к бурлящим волнам. Потому что асфальтовая полоса вдруг начала опускаться, полого спадая к морю. Совсем другое дело! С каждым шагом становилось все легче идти, конец асфальтовой дорожки опускался все быстрее и нырнул в воду где-то за Тромсё, где люди один за другим исчезали в волнах. Туда же канула и луна, и многие жители острова Андёйя так и не видели ее с той поры. Все же самое сильное впечатление на очевидцев странного и пугающего зрелища произвела невозмутимость, с какой люди продолжали шагать, сперва вверху, высоко в воздухе, затем внизу, между гребнями волн. Одним из очевидцев был Алфик Хеллот. Он наблюдал эту картину сверху в просветах между тучами, и последним мелькнул перед его взором парень из Осло — Уно, по прозвищу Паттон, который тоже отправился прямиком в пучину по красной дорожке.

Как говорится, все там будем. Но Алф Хеллот не спешил туда. У него еще оста-

валось топлива на десять минут. Анденес был закрыт. Бардуфосс тоже. Тяжелые штормовые тучи мчались на юг над долиной Барду на высоте полусотни метров. Бардуфосская вышка отказала Хеллоту и попросила его связаться с Банаком. Нажав радиокнопку, Хеллот настроился на частоту Банака. Здесь сила бокового ветра тоже превышала допустимые пределы. Но и стрелка топливомера давно перевалила через критическую черту. Время было на исходе. Алфик должен был садиться.

Они вели его посадочным локатором. Корректировали курс. Сообщали, сколько километров остается. Он шел с полной бомбовой нагрузкой. Диспетчер предложил ему сбросить все бомбы. И отстрелить все ракеты.

Хеллот был согласен и подтвердил прием; бомбы упали, не взрываясь. Он действовал хладнокровно. Сейчас не храбрость решала дело. И не отвага. Тем более безрассудная. Не какие-то там смелые решения. Храбрость — признак некомпетентности. Когда ты совершаешь невозможное. Задача, стоявшая перед лейтенантом Алфом Хеллотом, была ему по плечу. Древние греки недаром отводили храбрости последнее место в ряду естественных добродетелей. Человеку вспыльчивому, тщеславному и наделенному физической силой ничего не стоит быть храбрым.

Алфику храбрость не понадобилась.

Диспетчер привел его куда следовало. Через десять секунд он пробьет тучи, увидит землю, увидит сквозь вьюгу триста метров поверхности мелкого Порсангер-фьорда. А также, если верны координаты,— голые скалы на западном берегу фьорда.

Идя строго южным курсом, Хеллот вынырнул из облаков прямо над фьордом. В снежной каше внизу было так же темно, как в облачном месиве. Но уже через несколько секунд Алфик увидел крест оранжевых буев, указывающий путь на двойную посадочную полосу. Буи справа мигали, направляя его на нужную полосу.

Однако он не спешил. Прошел на малой высоте над Лаксельвом и песчаными грядами к югу от фьорда, потом заложил крутой вираж, заходя против ветра. Огни зоны приземления были включены. Вдоль краев полосы мигали посадочные огни. Хеллот был готов к заходу на посадку.

У самого конца полосы он остановил самолет, выключил двигатель и стал ждать. Едва он открыл фонарь кабины, как на него обрушился ураганный ветер. Хеллот сполз на землю и забрался в джип. Водитель глянул на него молча и дал газ, направляясь к зданию базы. Хеллот едва различал во мраке смутные очертания ангаров и горизонтальные струи снега над фьордом. Трактор подошел к самолету в конце полосы и потащил его к ремонтному ангару. Сдвоенные лампы над рулежной дорожкой озаряли белым светом распахнутые стальные двери. Ворота пожарного депо тоже были открыты. Желтый прожектор на высокой мачте освещал шлагбаум и караульную будку.

Два часа спустя, после проверки и доклада, Алф Хеллот сидел в столовой, держа в руке стакан. Он уже позвонил Линде: «*Touch and go*! На волоске был! Благодарение богу!» Родителям звонить не стал. Все равно они не в курсе. Кубики льда в стакане позвякивали, даже когда Хеллоту казалось, что он твердо прижимает его к стойке. В зеркале за стойкой его лицо было белым, как сало.

— Я похож на менька,— сообщил Хеллот бармену и самому себе и попросил дать ему спички.— Похож на пикшу. На члена семейства пикшевых.

— Пикшевых? — спросил бармен, протягивая ему коробок.— Я думал, пикша из семейства тресковых.

Хеллот ответил, что не видит большой разницы.

Чиркнув спичкой, он смотрел, как колышется пламя над дрожащими пальцами. Задул его и подал бармену табак и папиросную бумагу. Свидетелей не было. Они были одни в столовой. Получив самокрутку, Хеллот сжал ее губами. Бармен зажег для него спичку и смотрел, как он делает глубокую затяжку.

— Первый раз слышу,— сказал он.— Менёк? В нашем меню такого нет.

Алф Хеллот закашлялся.

— Глубоководная рыба? — продолжал выяснять бармен.

—«Двойка»,— выкашлял наконец вместе с дымом Алф Хеллот.— Белая «Двойка». Ты его знал?

Бармен обвел взглядом пустой зал, выдержанный в интимных желтых и синих тонах. У него не было лица, только черно-белая форма и черные волосы на средней фаланге пальцев.

— Паттона? — отозвался он.

— Это прозвище. Его звали Уно.

— Как же,— сказал бармен.— Он здесь часто бывал, когда проводились учебные стрельбы. Весельчак был. А теперь покойник.

У конца стойки ядовитой зеленью и железной желтизной переливался музыкальный автомат. За окнами ветер завывал какой-то прошлогодний шлягер.

Алфик Хеллот, с каменным лицом, сжимая в одной руке стакан, в другой самокрутку, подтянул ветру:

— Да, пришлось ему дать дуба, чтобы память заслужить.

— Дубовый крест.

И все. От бармена явно больше ничего не приходилось ждать. Он протирал стаканы. Лейтенант Хеллот опорожнил свой стакан.

— Джин,— сказал он.— Бутылку. Бутылку джина.

— Джин и тоник?

— Без тоника. Джин. Бутылку джина.

Хеллот получил целую бутылку и чистый стакан. Расписался на счете и отодвинул стакан. Повернул бутылку горлышком вниз и вылил граммов сто прямо на стойку. Встретил глазами безучастный взгляд бармена. Вылил на стойку еще столько же. И еще, опорожнив бутылку наполовину. После чего отставил ее в сторону.

— Остальное тебе,— сказал он, вставая.— Для полировки. Стойка давно не полирована! И столы. Надо надраить. И стены. Больно тусклые они у тебя, парень! И пол. Натри его.

Крупные капли джина со стойки падали на пол.

Лейтенант Хеллот круто повернулся и зашагал к двери. На пороге еще раз повернулся кругом:

— Мне нельзя умирать. На земле еще полно людей. Никто не видел себя на том свете.

Он вышел, не встретив себя в дверях. Задыхаясь от встречного ветра, согнулся в три погибели и добрел до барака. Засек время. Прошел час, прежде чем он смог свернуть себе самокрутку.

Высший уровень

Запишем: вторник. 17 декабря 1957 года.

Запишем: Париж. И можно смело добавить, что время перевалило за два часа дня, поскольку Линда Х. Хюсэен принесла с собой «Монд», помеченную восемнадцатым числом. Газета упала на круглый столик перед Алфом Хеллотом. Он успел заметить, что главное место отведено речи норвежского премьера Эйнара Герхардсена, прежде чем поверх «Монд» легло парижское издание «Нью-Йорк геральд трибюн». Алф Хеллот прочел заголовок: «Осло просит отложить решение». Ощутив лбом прохладный поцелуй, он поднял глаза. Линда Хюсэен Хеллот опустилась на стул напротив.

Казалось, то некая часть прекрасного зимнего дня легкой поступью вошла в кафе «Малакофф» и подсела к столику лейтенанта ВВС. Звонко-прохладная, прихваченная изморозью. Снимая пальто, Линда Хюсэен будто иней стряхнула. Она кивнула на газеты, лежащие на столе между нею и Алфиком.

Но глаза Алфа Хеллота были обращены на другое. Он смотрел на улицу. Через причудливый зеркальный ансамбль, который делает французское кафе таким же таинственным и неоглядным, как восточная ярмарка или левантинский базар. Смотрел над головой Линды, мимо зеркальных отражений. За окнами, по ту сторону площади Трокадеро, за статуей маршала Фоша выходы из метро исторгали косяки людей, спешащих воспользоваться обеденным перерывом. Еще дальше бывшая штаб-квартира ООН — дворец Шайо, этакая роскошная оранжерея, закрывал стеклом и камнем вид на Сену. С весны 1952 года за высокими оранжерейными стенами процветали международный секретариат НАТО и постоянные представительства членов этого пакта. И в том же здании, за широкими спинами охранников, в кольце фоторепортеров с щелкающими камерами, за кордоном щеголеватых советников и портфеленосцев, за тяжелыми колоннами и стеклянными стенами, Эйнар Герхардсен из Норвегии, как сообщали газеты, прекословил президентам и бундесканцлерам, а также главам правительств и премьер-министрам малых натовских стран. И не только им — самому САКЕВРу в лице верховного главнокомандующего в Европе, норвежца по крови, генерала Лаурица Норстэда.

Не говоря уже о Поле Анри Спааке, именуемом генеральным секретарем потому, что он служил секретарем у генералов.

При первом же случае, на первом закрытом заседании глав правительств худощавый норвежец стал барабанить пальцами по огромному столу с инкрустированной натовской звездой. Когда ему предоставили слово, он заговорил по-норвежски, и голос его неприятно резал иностранные уши. И такое же впечатление произвел на западную политическую элиту смысл его речи, переведенной на основные мировые языки.

Когда Герхардсен высказал то, что было у него на сердце, когда улеглось смятение, вызванное его словами, когда впечатление раскола между союзниками по пакту было смягчено и заседание закрыто, полторы тысячи аккредитованных журналистов бросились к телефонам и телепринтерам, чтобы сообщить, что Норвегия просит отложить размещение в Европе американских баллистических ракет средней дальности. И что выступление норвежского премьера вынудило глав других правительств умерить свою поддержку этой акции.

Шею Линды Хеллот украшал золотой брелок — простой крестик, который она то и дело брала в рот, натягивая цепочку движением головы, словно речь шла о тщетной попытке вырваться из оков. Сейчас это движение помогло ей перехватить взгляд Алфика, отливающий серой голубизной зимнего дня за окнами. И, перехватив, она его уже не отпускала.

Алф Хеллот бесшумно поставил пустую чашку на блюдечко.

— Ты собиралась в магазин? — сказал он, резко вставая.

— Ходить по магазинам — чистое мучение, но в этом костюме мне просто нельзя больше показываться на людях. Пошли!

Он подал ей пальто, все еще леденящее пальцы, и придержал дверь, пропуская ее вперед из зеркальных покоев кафе.

— Ты очень любезен.

Любезен? Вернее было бы сказать, что класс, в недрах которого родился и вырос Алфик Хеллот, привил ему неистребимое чувство общности, взаимосвязи, солидарности, товарищества. Тогда как Линда Хюсэен была законным ребенком культуры особняков, жила по аристократическому адресу, стояла в очереди намного впереди его. По ее понятиям, Алфик любезен. Убогое определение. Любезность. Качество, о котором, в отличие от солидарности, Линда имела понятие. По опыту общения не с родными и друзьями, а с нянь ками, домашними работницами, кухарками, портнихами, горничными: прислугой. Из года в год солидарность этих людей покупалась и использовалась господами. Пока и они, и Линда не разучились отличать солидарность от любезности.

Они вышли на холод. Дверь за ними закрылась. Линда повернулась к Алфику:

— Тебе ведь туда сегодня идти? Слушать доклад?

С площади перед кафе левее оранжерейного дворца открывался вид на южную часть города. Над Сеной курилась морозная дымка. Белело Марсово поле без пятен крови. Между растопыренными ногами Эйфелевой башни просматривался низкий длинный фасад старинного, в стиле XVIII века, здания Военной школы. Лейтенант Хеллот был уже знаком и с тем, что крылось за фасадом: военная академия НАТО, где гражданские бюрократы и офицеры в звании подполковника и выше проходили шестимесячный курс под начальством турецкого генерала Текина Арибуруна.

— Мне надо быть там через час,— подтвердил Алфик.— У нас уйма времени.

Он ощущал Линду рядом, ощущал ее бок, руку под его рукой, перчатку на рукаве мундира. По авеню президента Вильсона они шли под руку в сторону моста Пон-дель-Альма. В морозной дымке на реке разминулись баржа и туристский катер.

Глядя на облаченного в мундир супруга, Линда спрашивала себя, как он это воспримет. Как сказать ему про это и как он будет реагировать. Глядя на своего аса, своего воздушного жокея, который стоял перед ней на тротуаре, под мишурой на крикливой рождественской улице, на фоне нескончаемой череды автомашин, она думала, как все удачно обернулось. Думала — смогла бы она вообще выдержать, если бы он остался в эскадрилье перехватчиков, а тут еще и беременность. Если бы ей и впредь маяться в тесной служебной квартире там в Арктике, в неладу с собственным незнакомым телом, и ждать, когда явится смерть и постучит в дверь хладной рукой военного священника. Ходить с ребенком в чреве и с нарастающим страхом в груди, наслышавшись про штопоры, аварии, срыв пламени и прочие беды, которые каждую минуту грозили взорвать тонкую алюминиевую трубу, именуемую корпусом самолета.

Но Алфик всегда приземлялся на три точки. И он не только выжил, шагая при-

том через две ступеньки по служебной лестнице. Однажды вечером к ним постучалась судьба отнюдь не в облике смерти и ее рукоположенного вестника. Напротив: то было приглашение к жизни, к цивилизованной жизни во всей ее полноте. Приглашение в Город Любви. И явилось это приглашение в сияющий праздничный вечер, как и подобает вестям такого рода.

Может быть, это и есть то, что называют судьбой? Читатель! Послушай и суди сам.

Эскадрилья, которая в ту пору была расквартирована в Бардуфоссе, отмечала свое 15-летие, считая от скромного начала в Шотландии в годы войны. По случаю юбилея спартанская столовая была любовно украшена. Девушки из вспомогательного корпуса потрудились на славу. Меню — холодный лосось, бульон, лапландский бифштекс и морошка с кремом — было изысканным, напитки лились рекой. Мужчины были мужественны и элегантны в парадных мундирах с поблескивающими наградами; нежный пол щеголял длинными платьями и свежей укладкой. Генеральный штаб в Осло и командование Северного округа ВВС в Будё представляли небесно-голубые мундиры с белым кантом и мерцающими звездочками на красном и золотом поле. От Северного округа — все такой же беззастенчиво-моложавый полковник Эг, которого Алфик Хеллот помнил как по родному авиационному училищу, так и по «Эвиэйшн кадетс», куда тот приезжал с инспекцией. И который теперь был уже не «под», а вполне полковником.

Весь долгий обед, включавший длинную череду иногда остроумных тостов, приветствий и поздравлений, лейтенант Алф Хеллот неусыпно и находчиво руководил застольем.

Как только полковник Эг поблагодарил за угощение, застолье кончилось и ратники проследовали полонезом с дамами в танцевальный зал, старательно украшенный все теми же девушками из вспомогательного корпуса, которые теперь заняли оборонительные позиции между гостями и богатым баром.

После обязательного вальса с соседом по столу Линда задержалась с Алфиком у бара. Алфик позволил себе стаканчик не слишком крепкой смеси, вполне заслуженный, если учесть, сколь осторожен он был во время обеда. Линда чокнулась с ним минеральной водой, и вышло так, что она присутствовала, когда полковник Эг, покинув группу высших офицеров, подошел с поздравлениями к отличившемуся руководителю застолья.

Линда была достаточно осведомлена, чтобы знать, что сей полковник был одним из знаменитых норвежских асов военного времени, участвовал в рейде на Дьепп и в многочисленных других налетах на континенте, сбил не один «хейнкель» и «мессершмитт», что и было отмечено соответствующим числом высоких наград, украшавших левый борт мундира. Знала она также, что он теперь занимает важный пост в Будё и что Эг — самый молодой полковник в Норвегии в нашем столетии. А не знала она того, что его совсем недавно назначили на новую должность при штабе НАТО в Париже, где он будет носить звание генерал-майора.

После того как полковник Эг был представлен Линде, он снова обратился к Алфику:

— Вот мы и встретились снова, лейтенант. Великолепно! В самом деле. Великолепно справились и на этот раз! Ваше здоровье!

Они сделали по глотку и пристально посмотрели друг другу в глаза, как это заведено в комедиях. Полковник явно намеревался сказать что-то еще, но, не найдя нужных слов, помешал в стакане трубочкой, наколол зеленую оливку, всосал ее в себя и сделал повторный глоток. Наконец обратил на Алфика скорбный взор:

— Lieutenant, s'il vous plaît, permettez-moi une question. Parlez-vous français?[1]

Линда быстро обменялась взглядами с супругом.

— Oui, bien sur, mon colonel, — ответил Алфик. — Avec ma femme je ne parle eh pas autre langue, eh language[2].

Алфик Хеллот знал не так уж много французских фраз, и та, за которую он ухватился сейчас, вряд ли могла служить надежным спасательным кругом. Все же по лицу Линды он понял, что кое-как выплыл. Она как опытный спасатель не замедлила протянуть ему руку:

— Oui, mon colonel. C'est vrai ça[3].

---

[1] Лейтенант, позвольте задать вам вопрос. Вы говорите по-французски?
[2] Да, конечно полковник. Мы с женой только по-французски и говорим.
[3] Да-да, полковник, это так.

Правда ли, нет ли, но испытание на этом кончилось. Точка поставлена. Весь остальной вечер Линда кружилась на волнах музыки, как во хмелю, к которому алкоголь не имел никакого отношения. Однако Алфик призадумался, и у него даже слегка сосало под ложечкой.

Суть заключалась в том, что полковник Эг, как уже говорилось, командировался в штаб-квартиру НАТО. В Роканкур к юго-западу от Парижа, если быть совершенно точным.

Именно сюда был направлен молодой норвежский генерал вместе со своим еще более молодым адъютантом. Новое место службы Алфика располагалось по соседству с Версалем, в тени, так сказать, дворца короля-солнца. Вероятно, решение полковника Эга было продиктовано импульсом. Уверенность, с какой молодой офицер руководил юбилейным ритуалом, произвела на него сильное впечатление. И он, конечно же, помнил главного кадета, который командовал четырьмястами курсантами на базе Уильямс в Аризоне. За столом он справился у непосредственных начальников лейтенанта Хеллота. Они не представляли себе лучшего выбора. И вот, не отходя от бара, ошеломленный Алфик получил заманчивое предложение. Адъютант! В Париже! Невероятно. Ему и Линде не требовалось больше обмениваться взглядами. Словами и подавно. Алфик тут же согласился.

Это было словно в сказке. Последнее время Линда не раз заводила речь о том, что не мешало бы Алфику, отслужив положенный срок, присмотреть себе место на гражданке. Теперь с этими мыслями было покончено. На сборы и оформление дел там на севере у них была неполная неделя. Начальство лейтенанта Хеллота не ставило палки в колеса — пусть переводится. В школе Линда подобрала себе замену.

Все было за них. Они управились в срок с подготовкой к переезду и вместе выехали на юг. Линда благополучно перенесла резкий переход к жизни в большом городе. Помогла в этом и Алфику. Она знала город как свои пять пальцев. Жить в офицерском гетто отказалась. Были пущены в ход связи семейства Хюсэен в судовладельческой среде. После двух недель в гостинице Линда и Алф Хеллот въехали в уютную квартиру около парка Монсо.

Алфик быстро освоился. Служба кабинетного офицера давала бездну случаев совершать рекогносцировку в разные концы города на Сене, как Линда называла Париж. Очень скоро он уже запросто пользовался автобусами и метро и, небрежно прислонясь к стойке бара, заказывал напитки, какие не значились даже в самом пространном меню.

Сейчас Алфик взглянул на свой наручный хронометр и сказал Линде, что у них еще четверть часа в запасе. Они уже спустились к Сене; зайдя в ближайшее угловое кафе, заказали у стойки черный кофе.

— Серьезная работа,— произнес Алфик нарочито весело.— Хожу по музеям и любуюсь атональным искусством, послушно следую за тобой в джаз-клубы слушать абстрактную музыку. А французские фильмы, на которые ты меня заманиваешь, всегда кончаются там, где должны начинаться. Хотел бы я знать, чем все это кончится. Во всяком случае, не генштабом!

Время обеденного перерыва подошло к концу. Кафе было заполнено любителями кофе и отсыревшими пальто. Та часть ее лица, которую Линда видела в зеркале за стойкой, свидетельствовала, что она не намерена поддерживать разговор на предложенной Алфиком веселой ноте.

— Нельзя тебе говорить,— сказала она,— так и не говори. Я не настаиваю. Но что-то происходит. Что-то с участием лейтенанта Хеллота. И дело это поважнее, чем держаться за штурвал самолета.

— Бывает информация, способная вызвать замешательство.

Алф Хеллот тоже посерьезнел и заметно насторожился, готовый обороняться.

Линда:

— Я-то думала, что правильная информация устраняет замешательство.

— Даже правильиая и исчерпывающая информация может вызвать полное замешательство.

— Это выше моего разумения.

— Если предать огласке сведения, которые не подлежат оглашению.

Линда Хюсэен Хеллот вздохнула. Зеркало отразило ее далеко не возвышенные чувства.

Алф Хеллот понизил голос:

— Может статься, что нам представится случай сыграть определенную роль. Я го-

ворю о Норвегии. Роль мостостроителей между Востоком и Западом. Обе стороны желают контакта. Речь Герхардсена...

— Герхардсен! Всего лишь норвежский премьер-министр. Не ахти какая фигура.

Линда говорила слишком громко. Алф Хеллот не стал указывать на это. Но сам еще больше понизил голос.

— Нет,— произнес он чуть не шепотом.— Ты ошибаешься, он не только премьер. Герхардсен — это Норвегия. Верно сказано: кто завоюет его сердце, тот завоюет сердце Норвегии. А он не желает больше ракет, ясно заявил об этом. Его речь здесь, в Париже, произвела сенсацию в мире. Люди боятся, люди желают просвета. Некоторые государственные деятели желают того же. Советы создали межконтинентальные ракетные силы. Спутник показывает, что в некоторых областях у них есть превосходство. Впервые на США может обрушиться прямой удар. Советы располагают оружием возмездия. На американскую атомную атаку они могут ответить еще и тем, что займут Западную Европу обычными вооруженными силами. Официальный американский ответ на новую ситуацию — предложение партнерам по НАТО принять ракеты средней дальности. Однако есть и другие сигналы.

Алф Хеллот допил свой кофе. Бармен сбросил гущу из кофеварки в ящик под стойку. Ни он, ни кто-либо из посетителей не походил на ушастого агента разведки со знанием норвежского языка.

Алфик продолжал:

— После заседания, на котором Герхардсен говорил по-норвежски и ошарашил натовских политиков, после этой речи, на обеде у президента Коти, Эйзенхауэр попросил одного норвежского дипломата связаться с ним на другой день. С норвежской стороны секретность обеспечивал генерал Эг. Не будем называть имя дипломата, но на другой день между ним и американским президентом и впрямь состоялась короткая доверительная беседа. Эйзенхауэр встревожен ухудшением международной обстановки, но больше всего — ростом влияния военнопромышленного комплекса.

— Военнопромышленный комплекс! — перебила Линда.— Это у тебя комплекс. Уж ты-то мог бы воздержаться от подобного социалистического бреда. Армия и военная промышленность всегда возглавляли развитие научных исследований и техники, также и для гражданских целей. Так было всегда, и тебе это хорошо известно. Возьми хотя бы электронные вычислительные машины. Фирма ИБМ создана исследователями, которые порвали с Манхэттенским проектом после того, как были сброшены бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

— В таком случае Линда Х. Хеллот и президент Эйзенхауэр по-разному судят о военной промышленности. И пожалуй, ответственность Эйзенхауэра весит побольше твоей. Он готов к любым политическим инициативам, чтобы найти выход из угрожающего международного положения. Он считает, что Норвегия могла бы наводить мосты между Востоком и Западом.

Алф Хеллот перевел дух. Мысль об ответственности, возложенной на его народ, сделала суровым лицо норвежского солдата. Он продолжал:

— Норвежский дипломат — он знает Эйзенхауэра по САКЕВРу, когда тот возглавлял союзные войска в Европе,— предложил, чтобы американский президент встретился с премьер-министром Хрущевым на борту норвежского судна посреди Атлантики. Там они могли бы спокойно, без помех, с участием всего лишь нескольких советников, обсудить меры для разрядки. Норвегия выступит в роли посредника между Востоком и Западом. Эйзенхауэр назвал тому дипломату один адрес в Вашингтоне. Только этот адрес гарантирует, что до президента дойдет полученный нами сигнал.

— И здесь на сцену выступает адъютант норвежского военно-воздушного атташе? Курьер?

— У меня такое впечатление, что генерал Эг вполне доверяет мне.

Алф Хеллот вдруг заторопился, чувствуя, что сказал больше, чем следовало. Положил на стойку деньги за кофе.

— Пошли.

Он шагал вверх по лестнице через три ступеньки. Бегом одолел длинный коридор. Лейтенант Хеллот запаздывал. Генерал просил его явиться в аудиторию. Хеллот остановился перед дверью и потратил несколько секунд на то, чтобы привести дыхание в норму.

В аудитории царил полумрак. Хеллот быстро затворил за собой дверь и прокрался к задней стене. Остановился там, пытаясь сориентироваться.

Сперва он ничего не увидел. Потом в просвете между гардинами рассмотрел за окном черную кобылу, которая скакала внизу по манежу, неся в седле элегантного всадника. Копыта вихрили снег и мерзлый песок.

Кобыла исчезла из поля зрения. В другом конце аудитории проектор высвечивал пустой прямоугольник на белом экране за трибуной. Алфик услышал голос докладчика. Из полумрака стали проступать фигуры слушателей.

Когда за окном снова показался всадник, Алф Хеллот различил в передних рядах аудитории знакомый силуэт генерала Эга. Одновременно он начал выстраивать в толковой последовательности слова докладчика.

Произносимые по-английски с сильным французским акцентом, они объясняли причины предстоящей вскоре победы французов над мятежниками в Алжире и иллюстрировались возникавшими на экране за кафедрой диапозитивными картинками.

Не только Бен Белла, который служил во французской пехоте в Индокитае, но и мы тоже кое-чему научились у Вьетмина, вещал докладчик. И продолжал: Вьетмин не вел войны, эти люди занимались научными исследованиями в области военной этнографии. Когда наши ВВС засыпáли их бомбами, они в ответ сажали рис еще более прямыми рядами, чтобы мы видели, что у них не дрожат руки.

Господа, какой язык в конечном счете сильнее — дождь бомб или ряды риса?

Или: Могут ли бомбы вообще поставить точку на рукописных строках рисовых саженцев?

Или: Докладчик предложил слушателям представить себе новоиспеченного младшего лейтенанта из военного училища, который вступает со своим подразделением в деревню под Ханоем, в одной руке — «Краткий вьетнамский разговорник для начинающих», палец другой — на спусковом крючке автомата. Нервно размахивая оружием, он смотрит в книжонку с фонетической транскрипцией и произносит, запинаясь: «Есть здесь сторонники Вьетмина? Выходи вперед!» И дальше, поскольку никто не отвечает: «Я не потерплю никаких штучек!» — после чего указательный палец нажимает на спуск.

Докладчик пока не брался сказать, в какой мере поражение во Вьетнаме было вызвано тем, что вьетнамский язык — тональный, у одного и того же слова может быть до шести совершенно различных значений, в зависимости от знака ударения.

Докладчик не знал. Но он знал, что специалисты занимались этим вопросом и результаты исследования уже с успехом применялись в Северной Африке.

Главной темой доклада как раз и были успехи французов в алжирской войне. Кампания в Сахаре — мотив большинства диапозитивов. Вот на экране улыбаются выпускники военной академии Сен-Сир. Следующий диапозитив — те же офицеры в Атласских горах, в бурнусах, наподобие феллахов. Они же — парашютисты в маскировочных костюмах. Отпускники в городе Алжир, с кепочкой на голове. Без головного убора в баре в Баб-эль-Уэде, за стаканчиком анисовки и кемиа. Командиры рот в парадной форме принимают награды из рук генерала Целлера. Позируют под знаменем 2-го парашютного полка Иностранного легиона; на знамени надписи: «Камерун 1863, Индокитай 1949—1954». Офицеры со шрамами и орденами, тех и других поровну.

Все сильнее спотыкаясь на английских словах, докладчик описывает последние французские операции. Алф Хеллот представлял себе сражение в пустыне, как оно рисовалось батальонным штабникам: в расплывчатых от зноя очертаниях или в ледяном черном мраке, под фейерверком звезд и артиллерии. Глубоко в Сахаре, далеко за Атласскими горами, при нулевой влажности, с солончаковыми грядами, которые выглядели снежным ландшафтом в биноклях ночного видения. Нигде больше ночь не кажется такой высокой, звезды — такими яркими и близкими. И тишина — такой оглушительной в последние минуты перед тем, как заговорит тяжелая артиллерия, и фиговые деревья растопырят черные стволы и белые листья при вспышках разрывов, и «пайперы» поднимутся в воздух, и винт вертолета начнет вращаться, солнце вынырнет из-за острого края земного круга, и парашюты посыплются на барханы, точно шапочки одуванчиков. Генерал Салан предоставил свободу действий полковнику Бигo, известному среди коллег как «герой Дьенбьенфу». Высоко в горах Джебел-Мезариф, между Тимимуном и Бешаром, к юго-востоку от марокканской границы он лично возглавляет штурм стратегически важной высоты 895. Минометная батарея получила дан-

ные о цели и приказ произвести пристрелку. 81-миллиметровый миномет методично берет цель в вилку. Пехота начинает продвигаться вперед. Ей противостоят джунуды из Вилайи III, под командованием Амироша. С винтовками в руках партизаны кланяются в сторону Мекки. После чего занимают оборонительные позиции. Высоко над ними парашютисты мысленно молятся богу, прежде чем нырнуть в пустоту, в туманы войны.

После доклада генерал пригласил своего адъютанта отобедать. Они стояли в коридоре перед аудиторией. У лейтенанта Хеллота есть время?

Есть ли, нет ли.

Обед. Только они двое. Эг платит.

На площадке перед Военной школой стоял его «ситроен» классического типа. Длинный, черный, с пузатым капотом. Они проехали сквозь морозную дымку над мостами. Затем вдоль набережных. На площади Согласия Эг свернул в сторону Монмартра и Клиши. Он ехал быстро, агрессивно. Целеустремленно.

У Барбес линия метро выходила на поверхность, продолжаясь этажом выше самой улицы. Генерал пересек площадь Клиши и взял курс на восток, вдоль эстакады метро.

Декабрьский мрак спускался на набитые жильцами дома, которые выстроились бок о бок по направлению к озаренным прожекторами куполам собора Сакре-Кёр — каменного торта, выпеченного кровавыми кондитерами в память о падении Парижской коммуны.

После Сталинградской площади «ситроен» проехал над каналами и шлюзами, держа курс на юг. У здания ЦК компартии Франции метро снова ушло под землю. Миновав еще два входа в подземку, генерал остановил машину на Бельвиле.

Носящий это имя бульвар был безлюден и скудно освещен. От рыночных павильонов на его оси остались только трубчатые скелеты. Фасады магазинов по обе стороны бульвара были забраны железными шторами. Местами на тротуар падал свет из кафе. Они прошли пешком квартал-другой, после чего генерал свернул в переулок налево.

Кафе, куда они вошли, освещалось геометрическим узором тонких люминесцентных ламп на потолке, что придавало ему сходство с витриной; стены были покрашены в яркие зеленые и синие цвета. Свободных мест хватало. Большинство посетителей смахивали на североафриканцев. Им явно не было дела до других клиентов. В окнах, вместе с входной дверью занимавших весь фасад, были выставлены тунисские пирожные из кокосового ореха, марципана, желе и миндаля, цвет которых хорошо согласовался с интерьером. Рядом с этими изделиями сидел официант в нейлоновой куртке и колпаке.

Здесь-то во время еды — арабские колбаски с манной кашей, желтой фасолью и зеленым соусом — Алфик Хеллот и услышал предложение быть курьером, но сперва он и генерал чокнулись и направили авангард из двух стаканчиков во внутренние регионы.

И вся конспирация. Алф Хеллот покинул Бельвиль вместе с генералом Эгом, сытый и довольный, держа в руке кожаный портфель, в уме — звучащие все тише генеральские сентенции.

— Si vis pacem, para bellum. Другими словами, лейтенант: хочешь мира — готовься к войне. Хочешь, чтобы вещь была белой, крась черной краской. Стоишь за добро, прибегай к злу. Стремясь к чему-то, делай противоположное. В нашей профессии не уйти от этого парадокса. Понял, лейтенант?

Сидя опять в машине, Алфик мог не спеша подумать над ответом на этот вопрос.

Улица перевалила полуденный пик жизни и была отмечена ярко выраженной печатью светского сплина, когда генерал Эг остановил машину и высадил Алфика. По обе стороны высились этажи светлого кирпича с белыми ставнями и черным орнаментом из кованого железа; на фонарных столбах матово светились номера домов.

Шел легкий снежок. Одинокая снежинка юркнула в открытую дверцу машины и легла белой звездочкой на сиденье, еще не остывшее после Алфика. Миг — и растаяла вместе с прощальными словами. Дверца захлопнулась, мотор привел в движение колеса, разогнал их, и шорох падающего снега поглотил отзвук расставания.

Улица побелела, но вентиляционная решетка метро образовала черный прямоугольник. Алфик Хеллот постоял на решетке, чувствуя, как его обдает тепло городского мотора, соединенное тепло пяти миллионов человеческих тел, человеческих сил. Хочешь белого, стой на черном? Алфик направился к парадному, печатая черные следы на тротуаре.

И первая и вторая двери отпирались электрическими кнопками и ключом. Алфик не стал пользоваться лифтом; шагая через три ступеньки, четырежды обогнул лифтовую шахту.

Перед последним этажом остановился и подождал, когда дыхание придет в норму. Свет на лестничной клетке погас. Стоя в темноте, он слушал звук собственного дыхания и колотящегося сердца. Потом одолел последние ступеньки, включил свет и сунул ключ в замочную скважину.

— Я получил курьерское задание, о котором мы говорили. Распоряжение об отъезде может последовать в любую минуту. А что слышно из редакции? — спросил Алфик, меняя тему.— Что-нибудь взяли?

Линда вскинула голову:

— Не думай, что предел моих желаний — сотрудничать в «Моргенпостен». Это значило бы размениваться на мелочи. Я хочу... меня влечет в глубину архетипа, абсурда, в лабиринты души.

Конечно, конечно. Алфик кивнул. Энергично кивнул, да не один, а несколько раз, ничего не говоря, так что возникла пауза. Почувствовав, что она грозит затянуться, он подошел к телевизору и включил его. Но передачи уже кончились. Или что-то случилось с аппаратом. Или с передатчиком. Или на пути между передатчиком и приемником. На картинке — дождь, в динамике — шорох. Лейтенант Хеллот долго смотрел на пустой экран, уподобляясь человеку, который думает, что его руки будут тем мокрее, чем дольше он будет держать их под краном.

Алфик выключил телевизор. И включил стоящий рядом приемник. Он был не очень точно настроен на волну Би-би-си. Какой-то американец из восточных штатов читал свой манускрипт. Алф Хеллот вслушался. Голос был знакомый. Один американский дипломат, очередное выступление из серии, длившейся всю осень. На сей раз выступавший считал уместным подчеркнуть полное отсутствие реализма в рассуждениях тех, кто, подобно Аденауэру и Фостеру Даллесу, полагали, что атомное вооружение ФРГ приведет к объединению Германии на основе свободных выборов. Напротив: ракетные базы в ФРГ окончательно похоронят всякую надежду на соединение двух германских государств.

Кеннан, вот фамилия этого дипломата.

Алфик прибавил громкость. Линда убавила и ушла в спальню. Алфик сел около приемника и поправил настройку.

Сразу после Нового года лейтенант Алф Хеллот, одетый в штатское, вылетел в Нью-Йорк через Кефлавик и Ньюфаундленд. Линду подташнивало, и она чувствовала себя слишком плохо, чтобы провожать его на аэродром. Она догадывалась, какое у него задание. О ней пусть не беспокоится. Ничего, у нее только эти часы в школе. Ничего, кроме собственного здоровья, других забот нет. Ничего, все будет в порядке. Она покараулит дом, пока Алфик будет курить трубку мира с индейцами.

Алфик все еще не догадывался, в чем дело. Она дошла с ним до такси и через открытое окошко рассказала, что ждет ребенка.

После чего сделала рукой знак шоферу. Повалил мокрый снег, который тотчас поглотил машину.

Меньше чем через сутки Алфик сидел уже в другом такси, которое катило по заснеженному Манхэттену. Он не был в Штатах больше трех лет. Но он помнил отель на Бродвее, принадлежащий одному норвежцу. Полтора часа понадобилось таксисту, чтобы пробиться сквозь белый ад уличного движения.

Устроившись в гостинице, Алф Хеллот не стал выходить на улицу. Заказал обслуживание в номер и провел беспокойную ночь за семью замками, уложив портфель рядом с собой на двойной кровати. Связываться по телефону ему было строго запрещено. Лежа в постели, он поминутно щупал ручку портфеля, слушал городской шум и думал о Линде. О такси, которое увезло его от нее, о стене мокрого снега, о повернувшемся спиной к нему теле с ростком новой жизни внутри.

На другое утро он вылетел дальше, в Вашингтон.

Здесь столбик градусника опустился еще ниже, чем в Нью-Йорке, однако улицы были свободнее. Взяв такси в аэропорту, Алфик в центре пересел на другую машину и попросил водителя сделать круг по городу.

Алфик сменил машину еще раз. Наконец вполголоса сказал водителю адрес. По словам шофера, упомянувшего Джорджтаун, ехать было далеко. Машина перевалила через лесистые холмы около собора. В памяти Алфа Хеллота была одна промежуточная посадка на военном аэродроме Боллинг, у штаб-квартиры ВВС США. И только. Города он не знал. Пошли предместья. Тихие улочки становились все тише — заснеженные газоны, велосипедные дорожки, голые деревья между мостовой и кирпичными оградами, мерзлый плющ на низких стенах особняков.

Хеллот попросил таксиста подождать. В воздухе парил легкий снежок, когда он захлопнул за собой дверцу. Холодное облачко пара у рта. Улица казалась вымершей: ни звука. Дом был кирпичный, но кто-то покрасил кирпич в белый цвет, а швы — в коричневый. Звонок на черном косяке был золотистого цвета. Хеллот нажал кнопку и проверил свой пульс: нормальный.

Тронул кнопку второй раз. Снег за его спиной шуршал среди обледенелых ветвей громче чуть слышного звонка за дверью.

Лицо в приоткрывшейся щели могло быть его собственным. Застывшее воплощение мужественности и силы. Двойник распахнул дверь настежь, так что Алфик мог видеть свое отражение в полный рост. За первым мужчиной стояли еще двое — охрана. У Алфика было такое чувство, будто он видит себя в портновском трельяже. В новой форме на размер больше его собственной.

Пилоты, подумал он. Которые делали то же, что я делал. Делают то же, что делаю я. Умеют то же, что я. Алф Хеллот произнес пароль. Сигнал опознания: «Браво Чарли». Какую-то нелепицу в этом роде. Встретивший его человек знал свой урок: «Дельта Экко». Эхо-эхо, радарное эхо. Если не считать минуты, когда он сидел за штурвалом, Алфику Хеллоту редко доводилось ощущать, что происходит нечто значительное. И что сам он в гуще событий.

Портфель перешел из руки в руки. Вот оно: событие. Двери в историю приоткрылись. Алфик Хеллот передал доверенное ему послание. Дверь закрылась.

Пустота на заднем сиденье такси угнетала его. У Алфика не было в запасе иных адресов. Взгляд его встретил глаза водителя в зеркальце.

В глубинах собственного «я» он не обнаружил никого другого.

Все тот же самый.

— Поехали! — сказал Алф Хеллот.— Прочь!

1960

Сверхзвуковая труба

Красочное полотно, созданное всевышним и людьми. Знаток искусства Линда Хюсэен Хеллот, описывая его, несомненно, прибегла бы к слову «барокко», как много лет спустя сделала знаток оружия Мэри Кэлдор, толкуя технологический смысл этого термина как «бесконечное совершенствование неизменных схем при все более высоких затратах и все менее зримых результатах».

Что до капитана Алфа Хеллота, то он в жизни не видел ничего подобного и не испытывал ничего равного этой встрече. Хотя нижний край иллюминатора и задняя кромка плоскости ограничивали поле зрения, увиденного достало, чтобы ему почудилось, будто перед ним картина, на которой Диего Веласкес или какой-нибудь другой мастер испанского золотого века воспроизвел изысканную церемонию пышного государственного ритуала, но с применением всех новейших реквизитов технологической палитры. Все между небом и землей лучилось воинствующим великолепием. Сверху Алфику было видно, как за бирюзовой мантией фьорда простерлось зеленое облачение земли со всеми его оттенками — от чистого бархата лугов до леса с пурпурными почками. Неторопливо текли голубые реки, словно аристократические сосуды, впадающие в смертельную рану, врезанную фьордом глубоко в сердце страны. Впереди, слева от самолетного носа, узкой рукой на бледной груди земли лежала посадочная полоса авиа-

базы. Пилот выровнял машину и пошел на посадку; сидя у локатора в толще горы под Ессхеймом, я увидел, как уходит с экрана эхо-сигнал.

Сердце Алфа Хеллота остановилось и пропустило один удар, когда главные колеса коснулись земли, но тут же снова забилось в земном ритме, когда корпус самолета наклонился и носовое колесо стабилизировало движение. Как только самолет, послушный сигналам, стал на положенное место и замер у подножия штурмующей небо вышки и низких аэродромных построек в стиле позднего барачного барокко, на смену многодецибельному реву и реактивному вою пришел военный оркестр — колокольчиковые цимбалы, голосистые корнеты, вихревые барабаны и пронзительные трубы. Генерал Зонненкальб первым вышел на трап и спустился на летное поле, где застыл в ожидании весь офицерский состав в парадных мундирах. Верховное командование, командование ВВС Восточного округа, командование базы. Инспектор ВВС генерал-майор Эг. Командующий, генерал Бюлль; генералы Мур и Кристи, шеф интендантского управления; полковники Кальдагер и Нагель, полковник Рюг из управления кадров — звонкие, овеянные воинской славой центральноевропейские фамилии. Генеральские фуражки с бордовым околышем, полковничьи мундиры с белой оторочкой, яркий салат орденских лент, чеканные профили, вороненая сталь оружия в руках почетного караула. И где-то на самом краю живописного полотна, у пурпурной опушки леса на заднем плане Линда Х. Хеллот высмотрела бы расположившихся на траве наемных солдат, шулеров и разбойников Караваджо, тогда как Китти распознала бы на шоссе запряженную в фургон брехтову мамашу Кураж. И надо всем этим (эхо-сигналами на моем экране), словно резвящиеся херувимы, суперсамолеты демонстрационного звена «Флайинг джокерз» с игральными картами на руле направления исполняли фигуру за фигурой — петли, бочки, плоский штопор и глубокий вираж во всех возможных и невозможных вариантах.

Такая вот чванная воинская идиллия окружала спустившийся с неба рыкающим ангелом самолет командующего ВВС США в Европе, с радарным профилем «Локхид констелейшн». Заглушив двигатели, он занял свое место перед пышными виньетками и арабесками на грандиозном полотне.

Адъютанты последними вышли из самолета, и капитан Хеллот был замыкающим. Флаги, знамена и ветроуказатели перед зданием аэропорта по-военному строго вытянулись, повинуясь встретившему Алфика свежему дыханию весеннего ветра. Старшие офицеры уже всецело предались приветственному ритуалу. Статные и подтянутые, в меру своих возможностей, в ритме маршевой музыки, они печатали шаг перед фронтом почетного караула из новобранцев ВВС, чей строй был подобен печатным строкам эпической прозы на бетонных страницах. Отдаваемые сверху приказы передавались вниз по инстанции лающим эхом — излюбленным средством воздействия архитекторов барокко. И на своем пути от вершин власти до рядовых ратников на самом дне эхо это звучало все грубее и грубее. Послушные строгой механической хореографии, громкие команды сплетались с голосами духовых инструментов, с шуршащими по бетону рулежных дорожек каблуками, с цокающими подковками, с отрываемыми от земли прикладами, с ложащимися на плечо и принимающими положение «на караул» карабинами, с руками в перчатках, напряженно замирающими у козырька.

Алфик Хеллот был, как всегда, пленен внешним великолепием, захвачен ритмом и четкостью движений, всем духом воинственного ритуала. Вытянувшись в струнку на весеннем ветру, он слушал исполнение гимнов. Пока музыканты меняли ноты, начальник почетного караула козырнул, повернулся кругом, скомандовал: «На плечо!», потом: «На караул!» — и снова повернулся, провожая орлиным взглядом высокое начальство, которое направилось к зданию аэропорта. Опять заиграл оркестр, генералы и штатские представители отдела сбыта авиационного завода скрылись, почетный караул прошагал за пределы рамы, окаймляющей батальный шедевр, и на моем экране строй «Флайинг джокерз» взорвался, разлетясь осколками во все стороны, меж тем как ветер и неумолимое время стирали остатки эпической картины.

Лучи офицерских звездочек оканчиваются кружочками, чтобы их можно было пришивать к мундиру. Энергично взмахивая руками, капитан Алф Хеллот — по три звездочки на каждом лацкане — шагал к зданию аэропорта. Он наслаждался дыханием весеннего ветра. Достаточно долго прожил в Арктике, чтобы вполне оценить его прелесть. Весна Линды, их весна, весна Моцарта. Прекрасная и теплая, что вновь леса в убор зеленый одевает. И лепестки фиалок блеклых на берегах ручьев журчащих раскрывает. Зеленым бархатом и пурпуром лесов в бою победном серый холод изгоняет. Все это

Алфик видел из иллюминатора. Видел и перекрестие взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, посылающих свои загадочные знаки в небо, где картежные ангелы из «Флайинг джокерз» крылом к крылу упорно продолжали кувыркаться в синеве. Видел, как веер рек прорезает конечную морену курсом на извилистый контур летного поля. Видел... Скажем, что видел, как нос самолета твердо нацелился на аэродром у озера Ваншё. И успел приметить парковый ландшафт острова Ельэйя на западе, прежде чем самолет приземлился и капитан Алф Хеллот окончательно почувствовал, что он снова дома.

Церемония на аэродроме завершилась. Музыканты сыграли последний куплет, новобранцы удалились, и капитан Хеллот эскортировал генералов Эга и Зонненкальба от здания аэропорта в гостиницу для почетных гостей. Они прошли по улочкам того же военного городка, в котором он в свое время, поступая в авиационное училище, пересек смутные контуры ничьей земли, отделяющей гражданскую жизнь от военной. Алф Хеллот проводил высоких гостей в столовую.

За ленчем состоялся обмен многочисленными речами и взаимными поздравлениями с программой «Сэйбр». Все выступавшие сходились в том, что настала пора заменить «Тандерджет», достопочтенную «Гусыню». Все наличные факты говорили за то, что переход на новый всепогодный истребитель безусловно необходим. Даже политики осознали эту необходимость.

После речей генерал Эг и штатский представитель авиационного завода вместе позировали для фотографов; затем генерал подписал контракт. В угоду приглашенным фоторепортерам состоялся обмен сердечными рукопожатиями и широкими улыбками. На снимках в ряду многих других смазанных лиц на заднем плане можно распознать капитана Хеллота. Когда фоторепортеры были удовлетворены, журналистам вручили стопки красочной печатной продукции, и капитан Глёр посвятил их в кое-какие секреты, например: участники демонстрационного полета, пилоты 332-й экскадрильи, показали сегодня машину «Ф 86Ф Сэйбр (Норс Америкен)», одноместный истребитель, максимальная скорость равна удвоенной скорости звука. Они могут совместно действовать в воздухе при минимальном расстоянии два метра между кончиками крыльев. Были сказаны одобрительные слова о НАТО, королевской династии и Свободе. Представителям печати несколько раз напомнили девиз 336-й эскадрильи: «Солидарность и сила», подчеркнув заложенную в этих простых словах глубокую истину.

Капитан Хеллот освободился сразу после конца официальной части программы. Но прежде чем отпустить его, американский генерал Зонненкальб попросил своих норвежских коллег, чтобы они и впредь назначали офицерами связи таких же молодцов, как капитан Хеллот.

Затем исполнявший обязанности офицера связи получил в подарок толстую книгу в черном переплете с оттиснутым большими белыми буквами названием «О термоядерной войне». Алфик уже видел эту книгу раньше — на всех письменных столах в Пентагоне. Он учтиво поблагодарил, и после еще нескольких реплик касательно здоровья супруги и сына капитан Хеллот наконец был свободен.

Он задержался в баре в обществе стакана минеральной воды и двух кубиков льда, которые медленно таяли, пока бармен заказал для него такси. По норвежскому времени день был в разгаре. Хеллот выпил воду маленькими глотками, чувствуя, как разница во времени между базой американских ВВС Боллинг под Вашингтоном, округ Колумбия, и аэродромом Рюгге остро отозвалась во всем теле.

Разжевав остатки льдинок, он попросил таксиста проехать через Халмстад. Водитель ждал, прислонясь к капоту, пока Алфик в сберегательной кассе Волер-Рюгге менял свои доллары на норвежскую валюту и пока покупал охапку роз. Ну конечно, розы. Продавщица в цветочном магазине горячо рекомендовала розы. По одной на каждый день, что он отсутствовал. Вместе с ручным багажом и розами Хеллот занял все заднее сиденье такси, когда оно взяло курс на Мосс.

Линда встречала его на крыльце; на ней был серый шерстяной костюм и красная блузка с экстравагантным воротником — как будто на груди из грубой серой материи била фонтаном кровь. Цветочница угадала: розы оказались в тон. Они крепко обняли друг друга, затем вошли в дом.

Маленький Терье Алф (только сам Алфик называл сына двойным именем), похоже, узнал отца, и радость его при виде извлекаемых из чемодана самоходных игрушек была очевидной.

Потом снова настал черед Линды. Она повела его смотреть, что сделано по дому. Куплена стильная мебель, оклеены обоями и украшены столовая и коридор. На очереди комната для гостей. У окна на втором этаже Алфик остановился, задумчиво глядя на зеленые почки берез и черную землю с прошлогодней жухлой травой.

Он почувствовал, как рука Линды скользнула под его руку.

— Я горжусь тобой,— сказала она.— Парижская встреча в верхах. Когда знаешь чуть больше того, что пишут газеты, знаешь кое-что о том, как все готовилось, невольно будешь гордиться своим мужем.

— Не будем все же преувеличивать свою собственную роль в наведении мостов.

— Но контакт? Контакт ведь был установлен?

Терье Алф дергал их за руки, за штанину, за юбку. Подчиняясь ему, они прошли в коридор, спустились по лестнице вниз.

Через открытые двери они вышли на террасу. Запах горящего хвороста смешался с запахом сельди. Линда сказала:

— Я пригласила гостей на вечер. Нам хотелось отметить твое возвращение. Придут хорошие друзья — майор Глёр с женой.

— Как ты сказала: майор?

— Ну да, ему уже обещано место адъютанта во дворце. Здесь он служит временно. Да ты его должен помнить. Глёр из Кристиансунда. Он был в твоей группе.

Как же, Алфик Хеллот помнил Глёра из Кристиансунда. Майор! Внезапно он опять ощутил разницу во времени. Она резко ударила по нервам. Или не только она? И не только расстояние между Вашингтоном, округ Колумбия, и Моссом? Он выругался, тихо и истово.

Линда посмотрела на него с удивлением и скорбью, как бог морей смотрит на строптивую волну. Хеллот клокотал, она повелевала успокоиться.

Друзья. Приятели. Приятно, неприятно, надо привыкать.

— Скажи что-нибудь, Алф Хеллот. Найди для меня другие слова, кроме бранных.

— У меня нет друзей. Я не видел... майора... Глёра сто лет. Я хочу, чтобы этот вечер мы провели с тобой вдвоем.

— Теперь уже поздно что-либо переделывать. Я ведь как рассуждала...

— У тебя нет сердца. Его вытеснил твой рассудок.

Должно быть, он не рассчитал всю силу своих слов. Но Линда не расплакалась. И не вспылила. Алфик восхищался ее самообладанием и собранностью. Но она вообще ничего ему не ответила. Молча смотрела в пространство перед собой, и взгляд ее можно было одинаково посчитать задумчивым или же безучастным.

— Я хочу сказать,— попытался Алфик исправить положение,— что подразумевал скорее интеллектуалов вообще. У которых в жилах чернила вместо крови. И сердца у них нет. Его вытеснил рассудок.

Он сам понимал, что эта версия не намного лучше предыдущей. И Линда ответила кратко:

— Нас разделяет океан.

Повернулась кругом и ушла в комнаты.

— И осталось от меня мокрое пятно,— пробурчал Алфик абстрактным художествам на стенах прихожей. И Терье Алфу, который просительно смотрел на него, держа в руке авиамодель.

Мотор не хотел больше работать. Алф Хеллот взял сына за руку, и они вместе проковыляли по ступенькам в подвал за инструментом. Мотор сразу же завелся, и восхищенный мальчуган поспешил в сад.

Алфик пошел обратно в дом просить о помиловании. Застал оскорбленную в гостиной. Она взглянула на него и тут же вновь опустила глаза. Не пожелала показывать, какую книгу читает, Алфик остановился перед ней. Она закрыла книгу и обратила к нему прекрасное в своей серьезности лицо.

— Я виноват,— сказал он.— Неважно чувствую себя. Должно быть, из-за разницы во времени. Хочу пробежаться немного. Единственный способ привести в норму организм.

— Беги. Давай, давай. Все равно за жизнью не угонишься.

Линда скрестила ноги и снова открыла книгу.

Он отсутствовал добрый час. На последних километрах раза два выкладывался весь. Никто не встретил его, когда он вбежал через калитку в сад. Запаренный, он плюхнулся на газон и почувствовал, как земля стучится в спину. В глазах почернело.

На улице взревел мотор чьей-то автомашины. В соседнем доме помещалась бакалея. В голове роились бессвязные восприятия. Капитан Хеллот в мокром от пота тренировочном костюме лежал на спине и разминал бедренные мышцы, подняв колени. В дачном поселке норвежского городка Мосс пахло весной. В доме ждали Алфика. Он слышал чириканье птиц и слабый шелест в редких древесных кронах с листвой, подобной беспокойной поверхности моря, дном которого были его глаза.

Ветер, усиливаясь, трепал макушки высоких стволов. Хеллот продолжал лежать, глядя вверх на переливающуюся рябь листвы. В глаза ударил яркий блик. Он взял себя в руки и сел. Конечности заняли свои места. В соседнем доме за живой изгородью стукнуло закрываемое окно. Алфик расшнуровал кроссовки. Держа их в руках, прошел босиком по траве к веранде.

Линда сидела за роялем, листая ноты. Она переоделась к обеду и была так красива, что Алфика пронизал трепет. Он подошел к винтовому табурету. Остановился рядом с Линдой, не прикасаясь к ней. Прочел на нотах: «Эстреллита» композитора Понса. Пока он бегал, Линда заполнила ожидание звуками сентиментальной партитуры. Настраивалась на его лад? Они коснулись друг друга дыханием. Линда сказала:

— Ты весь потный. Далеко бегал?

Поворачиваясь к нему, она вскинула голову, освобождая глаза от прядей искусной прически.

— Больше часа. Как вам тут жилось без меня?

— Прохладно.— Она смотрела на него.— Все по-прежнему. Пустовато. Совсем ничего. Дом. Ребенок. Телефон. Даже книги на полке поворачиваются ко мне спиной.

Алфик слушал молча.

— И не в том дело,— говорила Линда,— что целое меньше суммы слагаемых. А в том, что слагаемые взаимно уничтожают друг друга при соединении. Такова примета нашего времени.

— И об этом ты пишешь? — Алфик наконец обрел дар речи.

Линда кивнула.

— Да. «Афтенпостен» берет мою статью об Ионеско. Но ведь это не то, чего мне хочется.

— Раньше тебе этого хотелось.

Сложив руки на коленях, Линда Х. Хеллот наклонилась над клавишами. Медленно и тихо, с ударением на каждом слове произнесла:

— Тебе надо принять душ и переодеться. Потом пойди к Терье и спой ему его колыбельную. И пожалуйста, не забудь вечернюю молитву.

Алфик поднялся в ванную. Большое махровое полотенце еще сохраняло влагу от ее тела. Теплый от пара воздух был насыщен терпким запахом духов. Он снял суспензорий и встал под душ.

Быстро управившись с купанием, Алфик надел халат. Сквозь пол снизу доносились беспорядочные аккорды. В детской комнате на кроватке сидел Терье Алф в окружении новых целлулоидных игрушек.

Бомбу бросил баран,
Терье бьет в барабан.

Запевать полагалось Алфику, но мальчуган сам себя убаюкал. Под звуки рояля снизу он тянул без лада и без смысла: «Бомба... баран... барабан... барабан». Пение и дыхание незаметно слились в едином ритме; постепенно дыхание взяло верх над обрывками мелодии: вдох-выдох, вдох-выдох, сначала прерывисто и тихо, словно пути отступления от сна еще были открыты и неизвестно, куда идти. Потом все глубже и решительнее, все увереннее в выборе направления, спокойно, ровно — вдох-выдох, выдох-вдох, дыхание барабанило по тонкой оболочке сновидений, по барабану в голове колонны, отбивающему такт марша в страну грез, где музыка окончательно смолкала, заглушенная дыханием, и усталые тела погружались в крепкий сон.

Она остановилась у изножья, глядя вниз на спящего. Он лежал на спине, погруженный в покойный сон, руки вытянуты вдоль тела поверх перины. Будить? Или подождать? Обогнув угол кровати, она села подле него, наклонилась над лицом, окутанным пеленой сна. Поднесла руку к его лбу — и отняла, не прикоснувшись. Решительно встала, подошла к окну, рывком подняла штору и раздвинула занавески.

Яркий утренний свет ударил в лицо Алфу Хеллоту, как лопатка археолога ударяется о древнее изделие, пролежавшее под землей тысячу лет. Лучезарная археология весеннего утра, хлынув в окно, откопала его целиком.

Алф Хеллот снова услышал голос. Надо вставать. Надо что-то сказать. Он сказал — или ему показалось, что он сказал:

— Похоже, я выспался. Больше не чувствую разницу во времени.

Она опять сидела, наклонясь над ним. Свет и тени вылепили диагональ набухшего сосуда от переносицы до корней волос.

Голос продолжал звучать. День был в разгаре. Свет не давал покоя. Он снова открыл глаза. Линда.

— Твой отец. Случилось что-то серьезное.

Божье слово, материнский голос, отчий дом. Библия, родная речь, отчизна. Норвежцы не жалуют чужеземцев. Не любят иностранных слов, иностранных имен. В норвежских городах нет улиц, носящих имя иностранцев. Единственное известное Алфу Хеллоту исключение составлял один шведский историк и журналист, который во время последней мировой войны критиковал немецкую оккупацию Норвегии. Часть кольцевой дороги вокруг Осло названа его именем. Проехав по улице Торгни Сегерстедта, Алфик продолжал следовать на восток по кольцу, другие части которого названы в честь профсоюзных деятелей Ролфа Викстрёма и Вигго Ханстеена — норвежских борцов против нацизма, расстрелянных оккупантами.

Нужная ему улица не была еще обозначена на карте города. И названия не получила. Но микрорайон найти оказалось нетрудно. Над бурой глиной торчали каркасы блочных и одноквартирных домов, и строительные краны продолжали ставить на место очередные элементы. От Синсенского перекрестка Алфик повернул в сторону Калдбаккена, откуда путь лежал вверх по долине Грурюд. В конце концов и улицу нашел, и номер увидел. Он был прикреплен на темной от свежей морилки стене четырехсекционного дома. Две секции еще не были заселены. Перед четвертой секцией стоял забор с знакомыми, показалось ему, воротами. Алфик поднялся на крыльцо и нажал кнопку звонка.

Позвонил еще раз и толкнул дверь. Прихожая выглядела так, словно кто-то думал поселиться в этом доме, да раздумал. Меж голыми окнами гостиной стоял сумрак закатившейся жизни. И никого не видно, только люстру под потолком и окутанную траурными тенями мебель из темного южного дерева.

Сперва Алфик Хеллот услышал голос, потом уже рассмотрел Констанцу. Пересохший от выплаканных слез голос проскрипел его имя откуда-то из недр гостиной и ее души. Алфик обернулся и увидел, что горе начертало еще несколько веских строк на пергаменте лица. Но то же горе смягчило суровые черты, а сумрак еще пригладил их. Она сказала:

— Конрад приезжал сюда. Парелиус. И Хокон. Ивар Матисен из союза молодежи. И Герхардсен. Пришли телеграммы. Столько народу собралось, словно уже время на кладбище идти.

Слушая Констанцу, Алф Хеллот видел перед собой отца. Видел в далеком окне, за морозными узорами и горшечными цветами мужчину, одного, в теплой клетчатой рубашке. Дома Авг. Хеллот всегда ходил без пиджака и без обуви, в носках. Алфик отчетливо представил себе его фигуру. Словно длинная кость, не всякому по зубам. Один из столпов профсоюзного секретариата. Заменят новым...

— Он стал бы начальником управления,— голос Констанцы Хеллот отпечатал подпись к портрету в памяти Алфа,— будь он...

Последнее слово не далось ей. Горе было еще так близко, что подсказывало только слова о смерти и утрате.

— Жив.— Услышал Алфик Хеллот собственный голос.

Он не признавал незакоченных предложений. Алф Хеллот, в мундире капитана, стройная фигура, пружинистые мышцы, рыжий ежик волос. Сквозь сумрак в комнате он различил на стене фотографию Авг. Хеллота, снятую на лыжных соревнованиях Рабочего спортклуба. Светлая ветровка и такие же брюки гольф, номер на груди, вязаные наушники с крестом через макушку. Он не блистал на лыжне, участвовал в соревнованиях исключительно затем, чтоб и рабочие были представлены в спорте.

— Он был хороший человек. Всю жизнь отдал рабочему делу. И в профсоюзе, и в партии.

Алфик слышал, как трудятся за окном строительные краны. Как это мать сумела прочесть его мысли? Где-то поблизости шумно разгружался самосвал. Дождавшись, когда он опростал свой кузов, она продолжала:

— Большой человек был. Ядровая сосна. Пусто нам будет без него. И не только нам. Другие то же говорят. Про невосполнимую потерю. Большое дерево, когда упадет, большую прогалину оставляет.

Авг. Хеллот. В памяти Алфика — весь кости да мослы. Самый большой мосол — голова. Большие торчащие уши, большие грустные глаза, гладко обритый череп. Морщины на лбу не сходились симметрично в глубокой борозде над переносицей. Они пересекали его дугой, напоминающей профиль лыжного трамплина, с горой приземления, теряющейся в кожных складках над левым глазом и в зарослях косматой брови.

Но главное — само туловище, костяк. Неестественно крупный и деформированный, как у животных, пораженных флюорозом. Этакое побочное следствие алюминиевого производства. Таким остался Авг. Хеллот в памяти Алфика. Кости, распирающие оболочку из плоти, и кожи, и жил. Мослы, торчащие из одежды — из штанин, рукавов, воротников. «Таких людей в музеях выставлять»,— сказал одиажды Марвель Осс. В самом деле: как классический тип человека алюмино-фабричного века.

Казалось Алфику, что внутри у него все онемело. Задеревенело. Но сколько слез уже успело расплавиться в его теле и вытечь, обжигая глаза, прежде чем застыть в изложницах воспоминаний. Видно, это и называется горем. Не достигнув еще тридцати лет, Алф Хеллот слишком хорошо знал, что такое опасность и безвременная смерть. Паттон — и все те, кого он проводил в могилу с военными почестями. На мгновение ему представилось пристегнутое к сиденью тело в горящей алюминиевой трубе. Но он отогнал эту мысль, возвращаясь к Авг. Хеллоту. К телу, в котором таились могучие силы. И великое сумасбродство. Хорошо, если силы шли впереди. Тогда Авг. Хеллот, завидев цель, боролся до конца. Но иногда вперед выходило сумасбродство и проявлялось с той же неукротимой силой. Алфик был в числе тех, кто ощущал последствия на себе. И сейчас он невольно напрягся и вскинул голову, щурясь на тускнеющий портрет отца, который медленно пропадал в сумраке скудно обставленной квартиры.

Все это время она говорила. Констанце Хеллот нужно было выговориться. Ее топорные черты включали узкий рот, который сейчас не знал покоя, острый нос и острый взгляд, а под вечно озабоченными морщинами лба и под строгими волнами укрощенных перманентом седых волос прятался острый ум. Алфик наконец разобрал, о чем она говорит.

— Ты, должно быть, слишком мал, чтобы помнить.

Голос ее поднялся над шумом рабочего дня за окном. Но звучал он не вопросительно, а утвердительно.

— Хотя нет,— поправилась она.— Ты ведь в школу уже ходил. Это мне память изменяет. В тот день, когда наступил мир. Мы с тобой тогда сидели на утесе. Ты помнишь?

— Помню, мама.

— Ходили с тобой на гору Брекке, до самой сторожки на плато дошли. А на обратном пути сели отдохнуть на утесе. Сидели и сверху смотрели на город. Помнишь?

— Помню, как сейчас.

— Весна... В самый разгар весны это было. Долгая чудесная ловринская весна. От марта, когда отступает зима, до июля с его летними дождями. Самая благодатная пора. И нет в эту пору на свете места прекраснее Ловры.

На радиоприемнике стояла фотография юного выпускника средней школы. Глядя на самого себя в выходном костюме и фуражке с кисточкой, Алфик думал, как бы мать сейчас совсем не заблудилась в пышной природе Западной Норвегии. Но ей все тропы были знакомы, и она знала, куда держит путь.

— И мы с тобой сидели на утесе. Сидели и смотрели на город, на праздничные флаги в чистом весеннем воздухе, на толпы людей на улицах, на потухшие заводские печи. Смотрели, как вдруг разразился мир. И думали о твоем отце где-то там в Германии. Что с ним? Нам ведь тогда мало что было известно о концлагерях, как там с людьми обходятся. Но он все же вернулся домой. Сумел и это перенести. До поры. Сильный человек был, отец твой.

Авг. Хеллот, кожа да кости, где-то там на материке, где вокруг него рушился третий рейх. И они двое, он и мать, на горе над Ловрой, над багрянцем весны. Баланс между красотой и страхом, сентиментальностью и смертью.

— Но еще пятнадцать лет было ему дано. Пятнадцать хороших лет.

— Ты ведь не знаешь, какой он был. Посмотрел бы ты на него,— сказала Констанца. Мысли ее мешались.— Я ложилась в постель рядом с ним. Чтобы он почувствовал меня, захватил с собой туда последний отпечаток моего тела. Он до последнего часа о тебе говорил. Говорил, что ты должен гордиться. И мы тоже должны гордиться. Твоей формой и всем прочим. Что теперь мы правящий класс. Власть теперь наша. Должно ведь это дать себя знать?

Алф Хеллот не был уверен, где кончилась цитата, и поспешил дать разговору другое направление.

— Конечно,— сказал он.— Конечно. Расскажи, какой он был.

— Ты не поверишь. В ту пору, когда я встретила его. Только он мог так поступить. А по-другому он и не мог. В один прекрасный день спускается он в нашу долину. И прямым ходом — к нам, в Виньяквельвен. С гор на востоке пришел. До той поры всего-то один раз видели мы друг друга — в Одде. Это сколько же он прошагал, чтобы свидеться со мной опять. От самого Сетесдалена через горы шел. И пришел — стоит в дверях, весь просвет закрыл и меня спрашивает. Вот бы ты его видел в тот раз! Принарядился, все лучшее, что у него было, надел. И про меня спрашивает, дома ли я! Ну, что мне тут оставалось — бросай все...

— И иди за ним?

— Вот такой он был человек. Я-то совсем девчонка была, только шестнадцать сровнялось. Ребенок еще. Братья, как подрастали, так один за другим уходили из дома. В нашей дыре-то разве житье было. Все стремились куда-нибудь. Родители не хуже нас, детей, это понимали. Вот и забрал он меня, отец твой. Через какой-нибудь месяц я уже по-городскому говорила, хоть и на шведский лад. Главное было — выбраться из нашей дыры. И стереть все следы.

— И повести самостоятельную жизнь?

— Сделать хотя бы первый шаг. Теперь я уже и не помню, как все сложилось. Но отец твой твердо знал, чего хотел. Сильный был человек. Во всех смыслах. Помнишь старика Сюндквиста в Ловре? Которого прозвали Виноплясом? Так вот — он рассказывал, как однажды в канаве с валуном маялся. Такой каменюга огромный попался, никак с ним не сладить. Пришлось Виноплясу сдаться. Стоит в канаве и ждет — не подойдет ли кто-нибудь с вагой или домкратом. В это время отец твой мимо проходил. Это было вскоре после того, как мы в Ловру перебрались. Ну вот, остановился он, плечи расправил и смотрит вниз на Виноплляса, дескать, что это ты в канаве застрял — камень вытащить надо или еще какое дело? Пришлось тут Виноплясу признаться, что так оно и есть, камень его держит. Мол, коль можно еще кого позвать, он от помощи не откажется. Посмотрел тут отец на Виноплляса и молча спустился в канаву. Сделал ему знак, чтобы посторонился, взял камень в охапку, да и поднял его наверх. Сам выскочил следом и зашагал дальше. Вот такой он был. И еще про случай один рассказывал Виноплляс. Это было в старом сарае на пристани. В том сарае странник один остановился с дрессированным медведем. И предлагал желающим померяться силами с мишкой, за деньги, понятно. А отец твой, когда молодой был, он ведь никакого страха не знал. Сунул тому человеку деньги и вошел к медведю. Схватился с ним да и положил на лопатки. Сам как вкопанный на ногах стоял, люди говорили, которые это видели. А косолапый на землю так и грохнулся. Мужчина — мужчина и есть, говаривал Виноплляс. Но такого поискать надо.

Алфик кивнул. Молча и незримо в густеющем сумраке.

— Вот таким я помню его. И после Германии тоже.

Воспоминание о богатырской силе мужа явно взбодрило Констанцу Хеллот. Голос звучал уже звонче и не срывался. Словно она не только с собой говорила, а людям рассказывала.

— Не знаю даже, к чему я все это говорю. Что мне из прошлого является. Я ведь одна тут сижу. С тех пор... с тех пор, как одна осталась. Вот и вспоминается, одно, другое в памяти всплывает. Мелочи, которых и в уме ие держала последние двадцать лет. А теперь вот приходят на ум. Он ведь был заодно с коммунистами, отец твой. Оба мы были одно время, ты знал об этом? Ты в ту пору совсем ребятенок был, только родился. Мы тогда домом обзавелись, комната и кухня, в верховьях долины Обэ. И сарай был, овец в нем держали. За плату луговиной пользовались в горах, так что сено было. Невелико хозяйство, сам понимаешь. Но без мяса не сидели. А шерсть в магазин сдавали, в обмен на пряжу. Весной отец твой только в сарае и спал, на сене устраи-

вался, чтобы следить, ягнят уберечь, как народятся. А так-то мы вместе спали на чердаке. Бывало, лежишь и ждешь, когда ты проснешься и голос подашь, есть запросишь. А еще слушаешь, как крысы царапаются, лезут вверх за внутренней обшивкой. Отец всегда у стены лежал — как грохнет кулачищем своим по тонким досочкам, только стук слышно, когда они обратно кувырком летят. А мы лежим тихонько и слушаем, как они снова вверх карабкаются.

— Этого я не помню. Должно быть, крепко спал.

Алфик поймал себя на том, что очень уж твердо и отчетливо произнес эти слова. Но он не жаловал сентиментальность. Хотел остановить поток воспоминаний.

— Он был большой человек. Ты можешь гордиться своим отцом, Алфик.

С таким чувством, словно он, стоя «смирно», докладывает командиру, Алфик ответил:

— Для меня он был отец, и только. Другого контакта быть не могло. Ни дружбы, ни товарищества. Мне оставалось принимать его таким или вовсе не приимать. Мой отец. К другому он и не стремился. Может, именно поэтому мы так хорошо ладили.

— Это верно,— сказала Констанца Хеллот.— Он внушал людям уважение. Любил порядок, дисциплину. А все же, что ии говори, когда он смотрел вокруг, когда он, и Нурдал, и Герхардсен смотрят, как все сложилось, они могут сказать: нынче не то, что было. А это немногим дано. Многое в нашей стране к лучшему изменилось.

Алфик вдруг ясно представил себе их обоих — Констанцу и Авг. Хеллота. Только что отстроились и въехали в собственный дом. И Алфик с ними, уже подросток. Черный толь, белые сосновые доски с яркими в темноте сучками, коричневые древесностружечные плиты, цветной цемент. Таково обрамление их новой жизни. В этом обрамлении ждет человека тысяча дел, но не они вспоминаются Алфику. Он видит перед собой Констанцу, до того поглощенную душевными муками и судьбой очередного сомнительного романного персонажа, что ей не до тысячи дел. Она занята тысяча первым. Каждый вечер она раскрывала книгу и погружалась в вымышленный мир, читала и читала, всю ночь напролет, до самого утра, и затем целый день. Читала, когда Алфик вечером ложился спать; утром он встанет — она над книгой за кухонным столом. И читает весь день. Она запустила дом, переездом занималась кое-как, запустила мужа и ребенка, забывала снабдить Алфика завтраком в школу, Авг. Хеллота — термосом с кофе, запустила сама себя, махнула рукой на собственную внешность, бросила вязанье и шитье, посуда стояла грязная, остатки еды черствели, пыль и грязь не убирались, ничем не занималась, ни о чем не думала, будь что будет, меж тем как ярость и ревность Авг. Хеллота нависали черной и грозной тучей над ней и ее бумажным любовником, чтобы в конце концов воплотиться в могучем кулачище, который в справедливом гневе ударял по столу: «Ну, хватит, кончай это дело!» Да разве можно кончать, когда до конца еще сотня страниц. Конца какой книги, какой судьбы, какого сказа?

Алфик даже не пытается вспомнить. И знает в душе, что никогда не спросит, потому что ответ, если он есть вообще, будет внятен только самой Констанце.

— Не знаю,— перебивает она его мысли,— не знаю, смогу ли выдюжить.

Старинное слово. Алфику было невдомек, почему она именно его употребила. Но он понял, что она подразумевает.

— Выдержишь,— сказал он.— Справишься и с этим.

Глаза ее оставались сухими. Она держалась. Алфик перевел разговор на другое.

— Что потом,— спросил он,— после похорон?

Констанца уже решила. Наметила съездить к родне.

— Тетка моя, Хеллауг, зовет к себе. Так что, скорее всего, поеду в Ловру. Зовет пожить несколько недель — дескать, я ей не в тягость. А здесь...— Констанца посмотрела кругом.— Не знаю даже, то ли продать квартиру, то ли что.

Алф Хеллот встал, готовясь уходить.

— Мне пора,— сказал он.— А может, повременишь? Я это насчет продажи.

— Что ж, пора так пора. Ведь не маленький уже.

В прихожей горел свет. За спиной Констанцы висела фотография, снятая по случаю какого-то важного события в рабочем движении. Секретариат Центрального объединения профсоюзов? Президиум съезда Рабочей партии? Авг. Хеллот и остальные, плечом к плечу. Нурдал, П. Ментсен, Карстен Туркильдсен, Эйнар Странд.

— Верно,— ответил Алфик.— Они поставили меня на ноги.

У ворот он остановился. Работа кого-то из старых заводских товарищей отца в

Ловре, подарок к серебряной свадьбе от профсоюзной ячейки. С инициалами Констанцы и Августа. КХ на одной створке, АХ — на другой.

Алфик отворил их и вышел. Железные буквы были искусно соединены между собой и с каркасом завитушками, заимствованными из народной декоративной живописи. Мастер хотел напомнить, откуда родом он сам и серебряная чета Хеллот.

Алфик соединил створки и закрыл за собой ворота.

Очередной рабочий день на стройке кончился. Неподвижно свисали с неба лоснящиеся тросы подъемных кранов. Яркий сумрак весеннего вечера начали пронизывать городские огни. На фоне последних отблесков дня, растворяясь внизу в темной стихии фьорда, рисовались очертания холмов вокруг долины Осло. Город жег свою свечу с обоих концов, от центра к богатым кварталам западной окраины. Огни, огни... Неон. Витрины. Уличные фонари. Ближний свет и далекие огоньки. Освещенный город звездным небом простерся у ног Алфика. Эта картина была бы ему по душе, подумал он, Авг. Хеллоту. При помощи дождей и силы тяготения люди опрокинули небо, пропустили его через просеки электропередач и рассыпали звезды по земле.

Беря курс на опрокинутое небо, Алфик сначала развернул машину. Где-то в глубинах сознания возник обрывок мелодии, постепенно на него стали нанизываться слова, сперва по одному, потом сразу несколько, в смысловой связи. «Хлеба растут»,— бормотал Алфик Хеллот. «Растут хлеба, хлеба растут?» Что-то в этом роде. «И время молодым». Что́ — время молодым? «К уборке приступать». Точно, вспомнил, именно так звучат эти строки. И вроде бы автора звать Коре Холт. Приборная доска освещала снизу лицо Алфа Хеллота. Вообще-то ему не полагалось размышлять о картинах природы и вечном круговороте вещей. Нарушить круговорот, подчинить его себе, вырваться из круга. Вот на что он запрограммирован. Но очень уж прочно укоренились в его душе эти слова.

Ведя машину, Алф Хеллот заново видел перед собой горящие сучья, языки пламени над костром, искры, дым, что таял в светлой летней ночи, сливаясь с сумерками над Тюрифьордом. Холмы вгрызались зубцами елей в густеющий мрак над землей. Алф Хеллот снова был в лагере рабочей молодежи. Выстроившись кольцом вокруг костра, они пели про хлеба, что растут. Совсем не в его духе слова. А вот запомнились же, и мелодия красивая. Это была первая встреча Алфика с хлебами, с елями, с присущим жителям восточных областей обостренным восприятием природы. И он пел вместе со всеми. Про молодых, которым предстояло пожинать то, что было посеяно Авг. Хеллотом и другими.

Он выехал на шоссе. Большая, тяжелой довоенной модели машина вплела свет своих фар в поток, направляющийся к центру, и сама покатила туда же. Тормозные огни — последнее, что увидела Констанца Хеллот из голого окна. Два уголька вспыхнули в облачке выхлопа и погасли, сгинули совсем.

Дорога была свободна. Путь открыт, жми на всю катушку. Два часа спустя Алф Хеллот задвинул фонарь кабины, пристегнулся ремнями и, сменив баранку на штурвал, оторвался от земли.

Мэйдэй

Ничто не сравнится с одиночеством — глухим одиночеством в пять часов, когда рабочий день окончен, а ночь с обещанием сна лежит за пределами китайской стены циферблата, опоясывающей наши собственные Срединные Царства.

Алф поднял руку.

Посмотрел на хронометр на запястье. Опустил руку и взял трубку.

Ему ответила столовая. Повар мог предложить морского окуня с пюре из кольраби, вареным картофелем и маргарином. На десерт кукурузная каша. Хеллот сказал «спасибо» и положил трубку. На мысу за окном, рябым от дождя, тянулись вдаль летные полосы, теряясь в морском тумане. Полным ходом шли работы по расширению ВПП и строительству новых помещений. Целые эскадрильи должны были расположиться в рассредоточенных подземных ангарах. И время не ждало. Работали сверхурочно. Хеллот видел рабочих с красно-белыми рейками и геодезистов, которые, зажмуря один глаз, горбились над растопыренными треногами теодолитов. Синий тягач вез по рулежной дорожке длинную вереницу тележек, направляясь к рейсовому самолету на стоянке.

— Наверное, вы будете отмечать завтрашний день, капитан?

Хеллот медленно развернулся вместе со стулом. Теперь он сидел спиной к письменному столу и окну, а перед ним переливался красками роскошный букет из звезд и нашивок. Сам инспектор ВВС, генерал-майор Эг, и его молодой коллега в генеральском чине, Тюфте-Юнсен. Далее: командир базы — полковник Хейне-Эриксен, начальник его штаба — майор Колбьёрн Люнне, и административная группа в лице подполковника Спирдала. И наконец, полковник Рёрхолт из службы связи вооруженных сил.

Будет ли он праздновать 1 Мая? От Дня международной солидарности трудящихся мысли Алфика перебросили мостик к дню похорон. Весна и похороны хорошо совмещаются. Когда земля раскрывается после долгой зимы, самое время для похорон. Авг. Хеллот не хотел, чтобы его прах доставили в Ловру и там предали земле. Но и кремацию не признавал. А чтобы все было честь по чести: добротный гроб и погребение в земле. Восточное кладбище в Осло. Струи песка на крышку гроба. Пустые заверения священника. Венки — от профсоюзного секретариата, от партии, от химического концерна, от родных. Авг. Хеллот пал одним из первых. Но и когда остальные падут, дело их поколения будет жить. Соратники Герхардсена, Хокон, Мейсдалсхаген, Магнхильд Хагелия, Конрад, Ментсен, Азак. Созданная ими Норвегия будет жить дальше.

— Ты улыбаешься? — заметил начальник штаба.

В самом деле? Хеллот сказал:

— Да, в нашей семье такая традиция — в день Первого мая отмечать единство и международную солидарность рабочего класса.

Начальник штаба не унимался. Он явно хотел завести Алфика:

— Социал-демократы, особенно молодежная организация, сильно заражены пацифизмом. В том, что касается политики безопасности, на них положиться нельзя.

Алф Хеллот ответил:

— В мирное время мы, военные, очень уж подвержены консервативному мышлению. Послушать вас, так мир чересчур затянулся.

Командир эскадрильи был настроен философически.

— Человек — жалкое творение,— примирительно произнес он.

— Мы голодаем, терпим нужду,— подхватил интендант.

Офицер разведслужбы, который до сих пор молчал, решил все же высказаться:

— Рабочие, нерабочие. Будто не все работают. Все утром встают с кровати и отправляются на работу, всяк на свою. Я так считаю: жизнь общества зависит от циркуляции денег.

— С рабочим классом все ясно,— вступил в разговор один капитан, немногим старше Хеллота.— А что такое буржуазия? Буржуа — от слова «бургус»: укрепление, замок. Стало быть, буржуи — те, что в замках живут? А где они, замки эти? Дома да хижины, никаких замков. Разве не так в нашем гимне поется?

Два последних оратора посмотрели на инспектора ВВС, надеясь прочесть на его лице одобрение своих слов. Однако лицо генерала Эга ничего не выражало. Представитель службы связи тоже воздержался от санкции. Радионавигационная станция слушала и пеленговала, предоставляя другим делать выводы.

Подполковник Спирдал нарушил затянувшееся молчание:

— Идеологии свое отжили. Измы ушли в прошлое.

— Особенно туризм,— пробормотал Хеллот.— И автомобилизм.

— Не говоря уже о реализме,— возвысил наконец голос генеральный инспектор.

— А ты что думаешь на этот счет, капитан? — добавил командир эскадрильи, не дождавшись реакции Хеллота.

Хеллот ничего не думал на этот счет. Он думал об еще одном вечере с подобного рода жизненной премудростью, черпаемой из бутылки. Немалую часть суток верховным командующим вооруженных сил был Король Алкоголь, а скипетром его — пивная бутылка.

— Избавьте меня! — сказал Алф Хеллот, глядя в глаза генералу Эгу, самому молодому генералу в стране, сорока лет не было, когда получил это звание.— Увольте от этой адъютантской муры. Хочу вернуться в боевое подразделение. Хочу летать. Хочу на перехватчик Я не создан быть придворным. Офицер связи — к чертям собачьим. Не хочу. Aide-de-champ! [1] Дворянское отродье было ликвидировано в Норвегии полтораста лет назад. Пора и вооруженным силам избавиться от феодализма.

[1] Искаженное «aide-de-camp» (франц.— адъютант) с ироническим намеком на пристрастие к шампанскому.

Командир эскадрильи присвистнул. Начальник штаба сказал:

— Ну дает. Этот парень слишком жмет на газ.

— Да вы посмотрите сами,— продолжал Хеллот.— Томас Глёр, Терье Барр, Арне Пран и прочие. Ну, ладно, Пран — свой парень, футболом увлекается и все такое. А вообще-то. Военное училище, два месяца армейской службы. Помощник комбата королевской гвардии. Канцелярист в штабе Верховного командования. Три недели посредником у черта на куличках. И вот они уже капитаны — и прямехонько в штат адъютантов при дворце. Действительная служба — обучать парадному шагу курсантов военного училища. В следующий раз ты видишь их на газетной фотографии, стоят в парламенте с аксельбантом под эполетом и слушают, как король читает тронную речь. Дальше они могут уйти на более скромную должность — военного атташе на Гавайских островах или коменданта крепости Акерсхюс. Вот тебе жизненный опыт заурядного пряничного солдатика. От такой жизни недолго и зачерстветь, они и ломаются легко.

— Таков путь к звездам и нашивкам,— сказал командир эскадрильи и поднял глаза на потолок, точно увидел там звезды.

— Ну, капитан Хеллот,— улыбнулся разведчик.— Все карты разложил? А то я тоже хотел бы взять одну взятку.

Хеллот перебил его:

— Это один вариант, хрестоматийный. Другой — ребята из богатых кварталов, которые оканчивают военно-морское училище и проходят действительную службу, чтобы приобрести немного офицерского лоска и выйти в запас со званием, получив личное оружие и навык в кадровой рутине.

Стало совсем тихо. Видимо, все самолеты взлетели. И никто не шел на посадку. Разве что пикировал. В таком случае — беззвучно. Все смотрели на генерала Эга. Он не спешил взять слово.

— Лейтенант,— сказал он наконец.— Нет, простите, капитан Хеллот. Нам в военно-воздушных силах положено твердо-натвердо помнить одну истину.

В руке у генерала была трубка; он почистил ее, выдерживая паузу, затем продолжил:

— И заключается эта истина в том, что воздушный бой — это одно. А сотрясение воздуха — совсем другое.

С того места, где сидел Алф Хеллот, ему был виден профиль командира базы. Уголки его губ изогнулись в улыбке, как завивается стружка под рубанком.

Хеллот тоже рассмеялся. Когда все отсмеялись, генерал Эг добавил:

— Согласен, капитан?

— Так точно, генерал!

— Завтра летишь в Бардуфосс?

Хеллот кивнул.

— Я приду на командный пункт,— сказал он.— Только сперва позвоню по телефону, есть одно личное дело.

Он круто встал. Поприветствовал как положено: руки по швам и жест головой. Повернулся кругом и вышел.

Светлый предвечерний час. Затянувшаяся зима — или ранняя весна. Колючий воздух. Резкий порыв ветра вспорол дождевые тучи, открыв лоскут синего неба. Ветер дул в лицо Алфу Хеллоту, когда он побежал трусцой через летное поле к баракам.

Ничто не сравнится с полным одиночеством на исходе дня. До сна по-прежнему было далеко.

Алфик отпустил пальцем диск и сжал в руке телефонную трубку.

— Алло? — Женский голос с звонкими гласными юго-западных губерний.— Хеллоу?

Голос целовал ухо через провода, через трубку.

— Привет. Это Алф Хеллот. Алфик.

Странные звуки, словно кто-то ворочался в трубке. И снова голос, знакомый, совсем близкий Ловра.

— Алфик, ты! — воскликнула Китти.— Вот неожиданность. Ты из Осло звонишь, с аэродрома Рюгге? Хотя нет, ты ведь теперь больше в Техасах пребываешь. Или в райском саду под Бергеном.

— Ты как-то приглашала меня на стаканчик, но мне пришлось сказать «нет». Можешь ты теперь сказать «да»? В ресторане «Монти»? Здесь, в Будё. Или «Нуррёна» лучше подходит?

— Стаканчик? Прямо сейчас? — Голос Китти отдалился.— Понимаешь, я только что встала. Отдыхала после дежурства. Не знаю. Что-то не тянет меня на спиртное. Как твое семейство поживает?

Его искренний интерес звучал фальшиво на фоне ее сарказма. «Не поддаваться»,— подумал Алфик и ответил невинным тоном:

— Спасибо. В порядке. Полный порядок.

— Я прочитала в газетах про твоего отца. Что он умер. Печальная новость. Прими соболезнование.

Алфик поблагодарил. И замолчал. За неправдой, которую он сказал, стояла правда, для которой у него не было слов. Он закрыл глаза.

— Ты слышишь меня? Алфик?

Голос словно приблизился. Ласкательное имя внушало надежду.

— Конечно, слышу, старушка! — Ласка за ласку.— Кажется, я в самом деле сглупил. Не знал, что ты дежуришь. Только по ночам? Гостиница «Рёнвик» или еще где?

— Еще где. Губернская больница.

— А сегодня вечером свободна?

— Есть способ отказаться так, чтобы тебя поняли. А именно — сказать «нет».

— Но это не твоя манера?

— Пожалуй, нет.

— Тогда порядок. Скажем, в шесть часов? Или семь?

— В восемь. Мы организуем танцы в Народном Доме. Будет концерт, играет группа «Коллиз».

— Мы?

— Союз рабочей молодежи. Городская ячейка.

— Значит, договорились.

— Восемь часов. Есть у меня такая геометрическая тенденция — быть третьим углом во всех треугольниках.

— Потолкуем,— сказал Алф Хеллот.

Но Китти уже положила трубку.

Когда он вышел, дождь кончился. Тучи были исполосованы голубыми просветами. Кончилось темное время года. Пришла весна, и вечернее солнце выстроило среди облаков на западном горизонте нескончаемое факельное шествие в честь их двоих.

Пока проверялись пропуска, капитан Хеллот сказал:

— Тебя сводили в ангар. Тебя и другое начальство. Я спрашиваю себя. Люди спрашивают себя. Они видят самолет, который садится только ночью. Черная машина без опознавательных знаков. Которую тотчас буксируют в особый ангар. Люди спрашивают себя. Почему там только американская охрана? Как тут не спрашивать себя? Спрашивают других. Получают уклончивые ответы. Встречаются в городе с американцами. Американцы разговаривают. За обедом сидят рядом с нами в столовой. Там тоже в молчанку не играют. Люди спрашивают нас. Люди спрашивают себя. Придет день, когда русские тоже будут знать ответ.

Часовой вернул удостоверения, и они прошли через КПП. Генерал Эг шагал впереди. Он ответил, не оборачиваясь:

— У «Тандерджета» выявились кое-какие технические проблемы. В частности, на одной из радиоволн не ладится связь между самолетами.

Капитан Хеллот уныло кивнул:

— Гм, да. Трудности со связью.

Они шли по туннелю с люминесцентными лампами под потолком и амбразурами в беленых стенах. Хеллот не сдавался.

— Все равно нечисто это,— сказал он.— Вся эта затея с У-2.

— Цель оправдывает средство.

— И в чем заключается цель?

— В том, чтобы оправдывать средство.

— Силы небесные! А средство — какое? Оружие? Вооруженные силы? Мы?

Продолжая шагать, генерал повернулся к Алфу Хеллоту и сказал мягко, приветливо:

— Средство — то, что обеспечивает развитие лучших, более совершенных систем вооружения. Это стимулирует индустриализацию, требующую вложения капиталов, энергии, знаний, поощряющую импорт. Такая индустриализация может быть обеспечена только при авторитарных формах правления и угнетении. Но она созидательна в том смысле, что обеспечивает неуклонный рост экономики и связывает вооруженные силы всего мира в единой оружейной культуре. Такой ответ годится, капитан?

В разгар монолога генерал остановился. Уставившись в невидимую точку на белой стене за спиной Алфа Хеллота, он выдавал, словно через мегафон, заученные мудрые фразы, и на лице его было такое выражение, будто он только что открыл уравнение для квантового скачка от индустриального государства к атомному.

Хеллот на миг онемел, стоя под препарирующим светом потолочных ламп. Потом заговорил:

— Но ведь это... это же полное извращение идеи технического прогресса. Это...— Он хотел сказать «отвратительно», но нужное слово ускользнуло от него, и он ухватился за другую нить: — В прошлом ученые пытались создать вечный двигатель. Теперь на первое место в производственных планах поставили ядерную адскую машину.

Генерал Эг был уже далеко впереди, у очередного контрольного поста, и Хеллоту послышалось что-то вроде ответа от голубой генеральской спины. Что сделал пешеход, когда подошел к переходу? Хеллот догнал Эга как раз вовремя, чтобы вместе с ним пройти КПП. С грохотом отворилась стальная дверь. Шагая дальше бок о бок, они услышали, как она тяжело захлопнулась за спиной у них.

— Наша задача,— сказал капитан Хеллот, возвышая голос над пещерным звуком шагов,— наша задача — защищать наше воздушное пространство. Если мне сообщат, что на высоте около двадцати тысяч метров появилась Черная дама, похожая на нечто среднее между реактивным самолетом и планером, с размахом крыльев до тридцати метров и с колесами на концах плоскостей, я поднимусь и трахну ее.

Хеллоту показалось, что по лицу генерала скользнула тень улыбки. Но разговор на этом кончился. Больше нечего было добавить. Они разошлись в разные стороны.

Немцы бомбили центр Будё 27 мая 1940 года. Когда «люфтваффе», сбросив свой груз, очистила небо, половина города лежала в развалинах. Теперь Алфа Хеллота везли через новый, восстановленный город. Вид большинства домов говорил о том, что строители были вынуждены спешить. Два этажа и почти никаких украшений на фасадах, к тому же исхлестанных ветром и дождем.

Китти сидела в кассе Народного Дома, ей предстояло еще полчаса продавать билеты. Под приглушенный аккомпанемент заезженного танго и шаркающих ног в танцевальном зале они условились встретиться в баре на Большой улице.

Наконец пришла Китти.

Она не стала ничего пить, и они направились в отель.

За целый квартал было слышно, что там в разгаре веселье. Воздух в маленьком зале, куда они вошли, загустел от дыма и мешанины голосов.

— Осло! — пробился сквозь гомон чей-то явно американский голос.— Как же, осмотрели мы город. Со всеми достопримечательностями. Корабли, корабли, корабли, викингов, вигеландов, «Кон-Тики», «Фрам» и там и сям, памятники у парламента и прочие фигурные группы.

Китти и Алфик посмотрели друг на друга. Хеллот первым отвел глаза, повернувшись к окну. Ветер бодал углы домов. Море в гавани белело барашками. На северо-западе преграждала вид серая от дождя гранитная стена острова Ландегуде. Город Будё и аэропорт разместились на узком мысу, который выступает в Норвежское море к северу от Салтфьорда. Сидя у окна в набитом посетителями гостиничном зале, Алф Хеллот поглядел на часы. До 1 Мая оставалось каких-нибудь два-три часа. На шестьдесят седьмом градусе северной широты зима еще прочно удерживала свои позиции. По улице внизу тяжело катил грузовой фургон с присыпанным снегом прицепом. Фары грузовика погладили стены домов тусклыми мазками и пропали. Везет земное имущество коллеги, отслужившего срок в этих краях? Алф Хеллот резко повернулся спиной к окну.

В зале был по меньшей мере еще один американец кроме того, который расписывал свое знакомство с Осло. Над красивым крупным лицом серебрились вьющиеся за ушами седые волосы. Наклонясь над батарейным проигрывателем, он отыскивал на

виниле нужную борозду, чтобы прослушать снова мелодии, которые пришлись ему по вкусу. Когда быстрая музыка сменилась балладой, американец бросил на Китти взгляд, распахивающий двери в спальню.

— О'кей,— произнес норвежский майор.— О'кей? Ну, в городе три десятка деятелей с синими бляхами ЦРУ, и что? И четыре пилота из-за океана. И свой ангар им предоставлен. И квартируются отдельно. И самолет в черный цвет покрашен. И нет у него опознавательных знаков. И всегда ночью садится. И сразу же буксируют его в ангар с американской охраной. И ангар этот стоит особняком. И никого из нас, норвежцев, туда не допускают. И Черная дама — вовсе не летающая тарелка. И не возит она зелененьких марсиан. О'кей! Что-то ведь должно оставаться тайным. Нельзя ведь, чтобы «оранжевые» раньше нас узнали, что́ нам известно, только потому, что мы открытое общество, а они спрятались за «железный занавес».

— Вот именно! — подхватил рыбопромышленник из Финнмарка.— Я за такую политику. И за то, чтобы выпить. Разрешите предложить дамам пятнадцать-шестнадцать бокальчиков портвейна?

Фамилия рыбака была Хагеруп, имя — тоже. Плюс еще Хансен где-то посередине. Хагеруп Хансен Хагеруп. Кроме бренди и портвейна он велел всем подать палтусовый балык, который магазин Отто Коха поставлял в рестораны по бешеной цене.

— Я ем только рыбу с привкусом динамита,— добавил он с полным ртом.

Тут во второй раз подал голос Марвель Осс. Перед тем он тихо предупредил Алфа Хеллота: «Так надо. Мы друг друга не знаем». После этого они только внимательно обозрели друг друга. Алфик убедился, что Марвеля Осса еще больше разнесло. Минувшие годы словно прибавили годовых колец его туше.

Уписывая балык, Марвель Осс произнес:

— Некоторые, определенные, подразделения ВВС всегда непосредственно подчинены союзному командованию — например, перехватчики, которые несут боевое дежурство здесь в Будё.

Алф Хеллот перевел взгляд с Марвеля Осса на Китти, обратно на Марвеля Осса и сказал:

— Существует понятие норвежской базовой политики. Существует также понятие норвежского суверенитета. Норвежского премьер-министра зовут Эйнар Герхардсен. Он, в частности, произнес речь на натовском совещании в Париже в 1957 году. На норвежском языке, так что ты эту речь, наверное, ие понял.

— О'кей,— отозвался Марвель Осс.— Конечно, ты вправе стоять за то, чтобы у твоих детей были генетические дефекты. Мы живем в свободной стране. Можешь сунуть голову в песок, чтобы не слышать об экспериментальных взрывах в атмосфере. Лично я предпочитаю зондировать почву, чтобы знать, на каком я свете. И тогда выясняется, что отсюда недалеко до Новой Земли. Кто-то должен подняться в воздух и проверить, что происходит, делать замеры, чтобы парни в лабораториях могли разобраться. Прежде чем пикша и сайда в Салтфьорде повернулись кверху брюхом и превратились в ориентиры для лоцманов Лично я предпочитаю сам вытаскивать рыбу крючком. У тебя есть что-нибудь против?

— Это даже не предлог,— сказал Алф Хеллот,— а чистый подлог.

— Или взять оборону Северной Атлантики. Без Северной Норвегии не защитить порог между Гренландией и Европой.

— Как раз за это все мечтают умереть,— отметил Алф Хеллот.— Защита каких-то там несчастных морских миль международных вод. Почему это рыбные косяки в океане должны защищаться самолетами без опознавательных знаков? Американскими часовыми на норвежских базах? Пилотами, которым никто не давал разрешения совершать здесь посадку? Марвелем Оссом?

— Никаких проблем.— Марвель Осс улыбнулся.— Могу показать мой норвежский паспорт.

— Загляни в нужник, всего насмотришься, как сказал швед.

Марвель Осс непрерывно улыбался, улыбался все время, точно совсем перестал управлять мышцами лица. Если глаза — зеркало души, то его улыбка, всплыв на поверхность этого зеркала, разгоняла по лицу рябь бесчисленных морщин и ложилась кверху брюхом, будто дохлая рыба. Холодной пародией на белозубую улыбку пересекал одну щеку белый шрам — память о Диего Вонге и Сьюдад-Трамполино. Хеллот видел, что Марвель Осс переменился, хотя улыбка оставалась прежней. Он говорил иначе. Словно нарочно подбирал не те слова. Или ему не хватало слов, хотя он гово-

рил по-норвежски чисто, без акцента. Или же он теперь был неуверен в значении слов вообще.

Серебристый лис, который слушал пластинку, не улыбался. В нем угадывался профессионал. Постоянно настороже, но нервы в узде. Хеллот видел, что вышитое не мешает ему внимательно следить за происходящим. Когда пластинка кончилась, он не стал ее менять. Пристально глядя в глаза Китти, он в то же время прислушивался к разговору Марвеля Осса и Алфика, который вдруг почувствовал, что явно наговорил лишнего.

Третий американец, знаток Осло, поднялся со стула и подошел к проигрывателю. Он мог бы составить партнерство Марвелю Оссу в каком-нибудь дуэте комиков времен немого кино. Тощую фигуру венчал круглый шар непомерно большой головы с короткой стрижкой и такими огромными ушами, что ему, наверное, возбранялось появляться на улице без прав на вождение самолета. Мощные очки без оправы грозили высосать глаза из глазниц, и лишь постоянным напряжением лицевых мышц он удерживал их на месте. Возможно, именно этим была вызвана натянутая улыбка на его лице, а может быть, он просто улыбался от души остротам и потешным выходкам своим и своего партнера. В общем, прототип американского студента из тех, что переполняют все летние отели, студенческие городки и джаз-клубы Европы. Вот только одет он был, точно дипломат.

Назовем его «Войс оф Америка». Сейчас Войс оф Америка изогнул свою элегантную спину над проигрывателем. Однако в зале зазвучал не вибрафон Милта Джексона, а голос Бобби Риделла или еще какого-то юного петушка из Южной Филадельфии.

— У-2,— произнес норвежский майор медоточивым голосом.— У-2? Первый раз слышу. Что означает это У?

Войс оф Америка выпрямился:

— Утилити. Утилити Ту, кодовое наименование «Утилити». Специальная конструкция фирмы «Локхид» по нашему заказу.

Серебристый встрепенулся. Войс оф Америка заметил это, смолк и сел на свое место. Серебристый что-то изобразил на лице и уставился в потолок. Рядом с ним сидела Китти, дальше еще одна дама, еще дальше — рыбопромышленник из Финнмарка. Хагеруп Х. Хагеруп добыл своими сетями изрядное количество лосося и вполне разумно вложил выручку в цирк, мюзик-холл и гульбу. Марвель Осс уже объяснил двум остальным американцам, что в таких причудах нет ничего удивительного, надо только знать психологию бесшабашных норвежцев с крайнего севера.

У рыбака было денег без счета. И сколько угодно подруг. И предостаточно времени, чтобы показать нашим союзникам лучшие места для лова сайды и морского окуня в Салтфьорде. Неограниченный запас союзнического доверия. И непочатый край хороших историй, полных, как он говорил, юмора и уморы.

— Помню,— рассказывал он,— самого первого немецкого офицера, который приехал в Будё после войны. Это всего-то несколько лет назад было, после того как Западная Германия вступила в НАТО. И помню первое, что он сделал, когда ступил на норвежскую землю. Надел полевую форму, захватил лопату и кирку и махнул прямиком в лес. Зачем махнул — никому не объяснял, знали только, что он в сторону Рейтана подался. Когда же он вернулся, то принес с собой брезентовый мешок. Угадайте, что было в том мешке? А была там парадная форма «люфтваффе» приятеля Геринга, плюс две бутылки мозельского вина. Выдержанное вино, урожая 1940-го и 1941-го — самых лучших годов, по его словам. Но малый был не заносчивый, угостил своих новых союзников. Круг замкнулся, сказал он. Выпьем за расширенное натовское сотрудничество!

Три минуты Бобби Риделла на диске истекли. Его сменил Фил Филлип, который исполнил отличающееся большей глубиной «Море любви», после чего зазвучала «Трагедия», солист Том Уэйн.

Рыбак пошел танцевать с одной из своих подруг, их примеру последовали Марвель Осс и другая дама. Алфик посмотрел на Китти; она отрицательно покачала головой.

Проигрыватель снова принялся перемалывать музыку. Серебристый ставил пластинку за пластинкой Марвель Осс подсел к Алфику.

Глядя на Китти, он спросил:

— Медицинская сестра, говоришь? Лично я сказал бы, что вы собрались на ее крестины.

— Она не глухая,— отозвался Хеллот.— И говорить умеет. Спроси ее сам.

Рослый американец с серебристой гривой впервые обратился к Алфику:

— Медицинская сестра? — Похоже было, что он и впрямь искренне удивлен.— Сестра, то есть? Что, в этой стране только церковь медициинской помощью занимается? Этот ваш институт сестер — это что-нибудь вроде лютеранского монастыря? Я-то думал, что нахожусь в развитой, прогрессивной стране.

— Чарли — баптист,— объяснил Марвель Осс.— Ты извини его. Он не ведает, что говорит.

Хеллот кивнул:

— Понял. К тому же в его словах что-то есть.

Марвель Осс по-прежиему глядел на Китти, обращаясь к Алфику.

— А ты любишь общество красивых женщин,— заметил он.

Алф Хеллот закатил глаза.

— Слабовато. Напрягись, может, лучше получится.

— Пошли, что ли? — сказала Китти; в ее речи вдруг зазвучали местные гласные.

Серебристый встал. Его явно что-то беспокоило.

— Куда запропастился этот какеготам?

— Хансен. Хансен Х. Хансен,— подсказал Марвель Осс.— Его так зовут. А судя по тому, как он сорит деньгами, он козырный туз в северонорвежском мире бизнеса и увеселений.

— Куда он делся?

— Пошел курева купить,— сообщил Войс оф Америка.

— Там, откуда родом мы с Хеллотом,— сказал Марвель Осс,— дым покупать не надо. Мы получаем его бесплатно. Даже из дома выходить не обязательно. Открыл окно — и полная комната дыма.

— Пошли,— повторила Китти.

— Что она говорит? — Марвель Осс посмотрел на Алфика.

— Хочет уйти.

— Скажи ей, пусть научится ползать. Прежде чем ходить.

— Скажи ему, что он отвратителен.— Китти смотрела на Алфика.

Марвель Осс примирительно обнял Алфа Хеллота одной рукой.

— Слышал про тот случай, когда Альберт Эйнштейн летел из Берлина в Нью-Йорк?

— Не слышал. Никогда. И не верю в этот случай. После войны Эйнштейн ни разу не был в Германии. Так что Берлин исключается.

— Ты слушай. Понимаешь, Эйнштейн как раз написал в своем блокноте $E=mc^2$, в это время пассажир, который рядом сидел, оторвался от газеты и спросил Эйнштейна, останавливается ли Лондон у этого самолета.

— Останавливается ли Лондон? И это все?

— Ага, весь анекдот.

— Пошли,— снова сказала Китти.

— Не вижу смысла.

— Вот именно, в этом нет никакого смысла. Стало быть, нет и необходимости и незачем это делать. Веселье — вот единственное, в чем есть смысл и необходимость.

— Ха-ха,— сказал Алф Хеллот.— Если бог существует, сейчас он смеется над нами.

— Что ты хочешь этим сказать? — Марвель Осс явно перебрал.

— Пошли же,— настаивала Китти.

— Ничего особенного.

Китти уже направилась к выходу. Алфик поспешил за ней в коридор. Следом за ним топал Марвель Осс.

Они не стали вызывать лифт, спустились по лестнице. В вестибюле внизу догнали Китти. Увидев их, она было остановилась, но тут же вышла на улицу. Марвель Осс схватил Алфика за край мундира. Прогулка по лестнице отняла у него много сил.

— Гонка вооружений,— пыхтел он.— Вооружение. Тут есть только один выход.

— Какой же?

— В постель. Нажми на ее атомную кнопку.

Алф Хеллот вырвался и шагнул к двери. Марвель Осс продолжал:

— Она взорвется и тебя взорвет. Обоюдное устрашение. По принципу равновесия страха.

Это ли не уклончивый ответ? Алфик ощутил дыхание ветра и глотнул свежий воздух. По ту сторону гавани поблескивали мокрые скалы. На фоне гранита вызывающе белели голые березы. Дождя не было, но ветер ухитрялся выжимать из мрака редкие капли холодной влаги.

— Мэйдэй,— услышал он за спиной голос Марвеля Осса.

Алфик посмотрел на свои часы. Первый час ночи. Марвель Осс стоял в дверях вроде бы уже и не пьяный.

Алф Хеллот зашагал по улице, не отзываясь.

— Что он сказал? — спросила Китти.

Алф Хеллот поразмыслил.

— Первое мая. На его языке это означает «опасность».

Он посмотрел на нее, как скрипач смотрит на ноты.

Она дала знак, он взял аккорд.

Прозвучал чистый тон.

Он изменил постановку пальцев, перехватил гриф, провел смычком по натянутым на деке тела нервным струнам, и они отозвались свежим звуком.

Он взял верный тон. Сила звука росла. Он чувствовал это. Мортира изготовилась для выстрела.

Шепот одежды, тела язык. Горение кожи, крови крик. Иго плоти, всесилие чувств. Ее мелодия, его лад.

Он принял ее, когда она спустилась к нему, точно свежий снег на потемневший глетчер. Так они трогали друг друга, ощущали друг друга, соприкасаясь кончиками пальцев, ладонями, кожей, телами, воспоминаниями, и были эти прикосновения робкими, как первый взгляд. Тело уже не шептало, оно кричало языком крови. Смычок все смелее гладил струны. И они отзывались громким чистым звуком.

Они распутали узел, связанный их телами, отделились друг от друга, разобрали конечности. И начали все сначала. Раздевались одновременно, следя друг за другом глазами. Долгая полярная зима зарядила их самих и все кругом трескучим электричеством, зарядила обоих — плюс и минус, положительный полюс и отрицательный. Всякий раз, когда они касались друг друга, проскакивали искры.

Алф Хеллот вымолвил через ком в горле:

— Мы можем телеграфировать. Друг другу. Беспроволочный телеграф. Без ключа, без провода.

— Да, Хеллот, мы с тобой можем парить. Можем летать. Сейчас взлетим и произведем заправку горючим в воздухе.

— Ты бортрадист на одной машине. Я на другой.

— Мы будем обмениваться импульсами жизни.

— Открытым текстом. Сквозь помехи извне. Без кодов и шифраторов.

Оба зажглись. Он весь напрягся. Она вся горела. Назад пути не было. Они ласкали друг друга плотью нежно, сильно, мягко, долго. Обменивались сигналами, и искра жизни переросла в пламя, сжигающее все на своем пути, как в первый день огня, высеченного осколками кремня. Они увидели языки пламени, которые разделились — по языку на каждого. Вместе они погрузились в блаженство. Объятые огнем, похищенным у богов, долго пылали ярким пламенем. Словно скалы плавились на солнце. Алфик никогда не испытывал ничего подобного. И никогда еще не слышал такого крика. Казалось, то вулкан выкрикивает лаву из самых недр планеты.

Высшее блаженство. В глубочайшей тайне.

Пилоты постоянно ощущают свой пульс. Сейчас его частота у Алфа достигала не менее 150 ударов. У нее тоже. Они развили одинаковое число оборотов. Отделившись от Китти, капитан Хеллот думал о фюзеляжах, баллистических ракетах и небесных телах.

Он обнаружил, что лежит на боку, опираясь на локоть, точно древний римлянин за трапезой. Рядом — она. Промискуитет, сказала бы Линда. Типичный пример неразборчивых связей.

— Небесное тело, небесное тело, — прошептал Алф Хеллот и провел указательным пальцем от крестца вверх по спине Китти, рисуя — без сопротивления воздуха — баллистическую кривую надежды.

Ему ответило лишь ее дыхание, и Алфик тоже почувствовал, как приближается

сон. Перебирая короткими ножками, малыш Оле Лукойе привел Алфа Хеллота прямиком в сновидение, в котором Алфик голяком прыгал с льдины на льдину сквозь морозную дымку над Ловрафьордом. Расстояние между льдинами неуклонно росло, и вот он, набрав скорость, уже отталкивается одной ногой от крайней льдины, а впереди только изморозь да черная вода. И льдина под ним уходит под воду, опора не держит. Алфик чувствовал, как по голой ноге вверх ползет холод.

Он проснулся в той же классической позе и натянул на себя перину.

— Что ты там бормочешь, Хеллот? Небесное тело?

— Это про тебя. Ты небесное тело.

— К черту!

— Железный корпус?

Китти рывком опустила ноги на пол и решительно прошагала в ванную.

Звук текущей воды. В свете яркой лампы лицо, которое встретило ее в зеркале, на миг обратилось лицом пятнадцатилетней Китти. Чистое, гладкое, очищенное кислотной ванной чувств от возраста, умудренности и греха.

Хеллот ничего этого не видел, только слышал звук, слышал, как перестала течь вода. Окинул взглядом беспорядок в комнате. Ее одежда валялась как попало. Зияла пасть открытой сумочки. Его бумажник лежал на стуле, форма висела на спинке. Серебряные «крылья», капитанские звездочки, пилотка, отутюженные брюки.

По полу зашлепали босые ноги. Алфик закрыл глаза. И увидел Китти, как она входила в тускло освещенный бар всего несколько часов назад. Увидел, как швейцар и бармен подняли брови и поджали губы. Она же, не удостоив их взглядом, прошла невозмутимо внутрь, проплыла сквозь мишурную роскошь интерьера в оливково-зеленой штормовке нараспашку и красно-черном свитере, под которым явно не было бюстгальтера. Сколько времени прошло с предыдущей встречи? Во всяком случае, свитер был тот же, и джинсы, и коричневые резиновые сапоги с шнуровкой на грязных голенищах. Ковровое покрытие украсили комья черной земли, красной глины и мокрой травы. И не остановить ее. Слишком уверенна, самоуверенна и независима. Гибкой поступью канатоходца шла она по мягкому ковру так, будто враждебные взгляды подбрасывали ей со всех сторон льдины, по которым нужно было преодолеть бездонную пропасть ненависти.

Она благополучно добралась до берега. Алф Хеллот, коротко стриженный, в безупречной капитанской форме, брюки тщательно отглажены, ботинки сверкают в пестром радарном полумраке, поднялся с табуретки и протянул ей руку. Но она распорядилась по-своему. Взяв Алфика левой рукой за предплечье, завела его руку себе за спину, другой ладонью легко коснулась его щеки и поцеловала капитана в губы. Коммивояжер, которому только что объяснили рецепт полярного коктейля, вытаращил глаза.

Алфик открыл свои.

Он снова был в бараке летного состава, в окружении мебели, унаследованной от немцев. Китти вышла из ванной. Ее движения были словно белый дым на сквозняке из открытого окна. Ее волосы пощекотали его лицо. Алфик напряг шейные мышцы и ответил на поцелуй. Китти тряхнула головой, отбрасывая волосы с лица, и выпрямилась.

— Думаешь, мы все-таки подходим друг другу? Если как следует разобраться?

— Само собой. С другими парнями не гуляй.

Китти почему-то рассмеялась. В кои-то веки и у Алфика появился повод для смеха. Потом наступила тишина. Им было на редкость покойно. Они знали друг друга так давно, что могли разговаривать, перемежая беседу долгими паузами, произнося вслух отдельные фразы из потоков сокровенной мысленной речи. Так реки или каналы, забранные в трубы под большим городом, на пути к морю, к безмолвию, лишь кое-где выходят на поверхность медленными и мутными из-за сбросов и загрязнений струями, текущими вроде бы без цели и без смысла, без начала и конца. Или представим себе ребенка, который играет с радиоприемником, крутит ручки громкости и настройки. Долго играет, тихо, крутит без шума, и вдруг на полной громкости — случайный, лишенный смысла обрывок речи, тотчас опять сводимый на нет. А чуть далее по шкале — новый речевой всплеск, ничем не связанный с предыдущим и на совсем другом языке.

Кто-то настроил аппарат на Китти.

— Я вот чего никак в толк не возьму, — произнесла она уже другим, серьезным тоном. — Я тебя не понимаю, Хеллот. Как ты мог оказаться в этом мундире, как мог очутиться не в том лагере? У тебя же были все предпосылки. Происхождение. У голова у тебя есть. О теле и не говорю, оно в полном порядке. Может быть, ты чересчур большим героем стал? И в борьбе за то, чтобы всегда быть первым, получил неизлечимые увечья? Тогда как случайная встреча аптекарши и мягкотелого начальника страховой конторы для меня обернулась, во всяком случае, толикой политического сознания.

Ее слова задели за живое. Душу Алфика Хеллота обожгло возмущение. Змеи и ящерицы подняли голову. Но Хеллот владел собой. Поиграв желваками, он сказал:

— Когда ты входишь в штопор. Когда происходит срыв пламени. Когда шасси не убирается. Расскажи тогда самолету о своей сознательности. И увидишь, что из того получится.

— Хеллот, старина Хеллот! О чем ты бормочешь?

— О том, что́ ты позабыла. Что́ вся твоя братия самозваных радикалов запамятовала. О знании. Силе. Самопожертвовании. Морали.

Китти нащупала на тумбочке спички и закурила.

— Мораль, ну да.— Она выдохнула дым.— Знаешь, о чем тут говорят люди?

— Об убийстве таксиста, вероятно. О Чессмене в камере смертников.

— Они говорят о тебе, Хеллот. О тебе и твоей прекрасной морали. Они недоумевают. Они говорят о Черной даме. Так люди здесь, в Будё, называют американский шпионский самолет. Все о нем знают. Знают, что мораль и свобода Алфа Хеллота сделали нас подневольной командой американского авианосца, который бросил якорь у крайнего предела и готовится к светопреставлению.

— Ты моя красная дама! — Китти всегда особенно нравилась Алфику, когда горячилась. Кончики его пальцев гладили сухую кожу. — Значит, в городе тоже слышали про Черную даму? Только я при этом не сижу сложа руки. И не болтаю в ожидании. Я кое-что делаю, в отличие от некоторых мягкотелых радикалов.

— Лично я предпочитаю быть мягкотелым радикалом, чем прытким мальчиком на побегушках у Хокона Ли и Джозефа Маккарти.

Алф Хеллот сел прямо на кровати и сказал, посерьезнев:

— Если мы теперь кончим играть словами, фактом остается следующее: коммунизм, как освободительная идея, потерпел крах и сам стал величайшей угрозой свободе. Пойми, Китти, на карту поставлена наша свобода — твоя и моя. Я приобрел определенную квалификацию, чтобы защищать свободу. Умею выполнять сложные маневры. Управлять совершенной матчастью. Заодно я медленно, но верно постиг смысл таких слов, как достоинство, дисциплина, храбрость и честь. Самопожертвование. Тебя, наверное, мутит от этих слов. А мне-то каково было? Господи! Да я как человек был сломлен до такой степени, что величайшей роскошью в жизни было для меня сидеть весь день на койке, держа в руках банку с пивом, и тупо таращиться в пустоту. Но я выстоял. Овладел сам собой и материальной частью, за которую отвечаю. Понял, что дело не только в цели, но и в средствах для ее достижения. В материале. Да будь ты трижды сознателен, не это главное. Я знаю кучу членов правой партии и других, таких же консервативных людей, которые, наверное, считают себя не менее сознательными, умными и душевными, чем мы. Но это не мешает им придерживаться прямо противоположных взглядов. Ты и твои единомышленники правы по всем вопросам, которые так значительны и лежат в таком отдаленном будущем, что никому не дано проверить их правильность, зато вы ошибаетесь во всех практических делах, которые поддаются проверке сегодня, сейчас.

Китти сделала последнюю затяжку, вытянулась поперек кровати и потушила сигарету. Поискала руками на тумбочке, нашла часы Алфика и повертела их, вглядываясь в стрелки.

— Хеллот, — сказала она, ложась обратно. — Честное слово, я тебя не понимаю. Ты ведь считаешь, что мир разумно устроен. Сидишь на вершине благополучия и воображаешь, что ты и все другие на седьмом небе. Когда ты говоришь о защите свободы, ты заботишься о защите своих привилегий. Наши социал-демократические старики мыслили шире. Отец твой и его товарищи. Вспомни Авг. Хеллота и все эти переговоры и требования об арбитраже, о росте покупательной способности. Пусть речь шла всего лишь о каких-то кронах, о грошах, за этим стояла воля к переменам. Если я против социал-демократов, это не потому, что они добивались полезных клас-

совых компромиссов такого рода. Я против по другим мотивам, которых они так и не поняли. Не поняли, что политика — не только распределение совокупного национального продукта. Что политика — это стремление осознать себя как членов общества, творцов истории. И что их политика лишает нас истории. Ведь это всего лишь история бедствия и нищеты. Долой ее. Социал-демократическое летосчисление начинается с вхождения Норвегии в НАТО. Одиннадцать лет назад родился наш спаситель! Он отнял у нас историю и продал ее за американскую бомбу. А когда они сперва лишают нас истории, а затем грозят взорвать атомным оружием наше будущее, они тем самым лишают нас речи.

Алф Хеллот, совершенно голый, если не считать перстень с печатью семейства Хюсэен, сидя на белых простынях в окружении немецкой мебели и правил распорядка в рамке под стеклом, ответил:

— Что верно, то верно. Своими ушами слышу. Что мы лишили тебя речи.

В его голосе не было сарказма. Он ничего не добавил. Заметил вдруг собственную наготу.

Китти:

— Ты все спрашивал, что такое экзистенциализм. Что я могла тебе ответить, восемнадцатилетняя девчонка в свитере и спортивной куртке. Может быть, такой наряд олицетворял экзистенциализм в Лувре пятидесятых годов. Плюс то, что у меня не было других ответов.

— А сегодня? Что бы ты ответила?

— Что в основе жизнеощущения было чувство бессилия. Только любовь могла противостоять парализующему страху. Любовь немедленно, которая брала верх над самыми ужасными внешними обстоятельствами в тени атомного гриба и тотального истребления, в тени угнетающей религии и общества без истории, на переменах в лувриской школе, призванной сделать нас полноценными людьми. И перед угрозой тотального истребления мы переплелись в общем страхе, который положил основу новой любви, новой веры в жизнь.

— Псевдософия! — сказал Алфик Хеллот.— Ты большой псевдософ, Китти. Тебе бы обратиться к психиатру с твоими сантиментами. Ты умеешь говорить непонятные фразы так, что всякому понятно — это вздор.

Китти снова закурила.

— Так я могла бы ответить на твой вопрос десять лет назад. Не сегодня. Я больше не верю, что любовью можно смирить атомную бомбу. Политика — это сегодняшняя форма проявления истории, со всеми плюсами и минусами. Именно политика решит вопрос жизни и смерти на земле. Я убрала подальше все мои пластинки с Мэллигеном, Уорделлом Греем, Жюльет Греко и прочими. Сейчас на повестке дня другие дела. Просветительская деятельность. Организаторская работа. Вовлечение молодежи в рабочий союз. Что-то из этого ты видел сегодня вечером. Чем ты и сам занимался дома в Лувре, только с противоположным политическим знаком. Так же тривиально. Продажа входных билетов. Кофе и минеральная вода. Устная газета. Ну, и танцы под конец. Если левое крыло отколется и образует собственную партию, я буду там. Нам нужно действенное оружие в борьбе против атомных испытаний. Крутить ротатор и распространять листовки, писать лозунги, выходить на демонстрации, выковывать надежную альтернативу капитализму и тоталитаризму.

— Поздравляю, — сказал Алфик Хеллот. — Ты открыла, что такое власть. Через десять лет ты откроешь, что для ее завоевания нужна военная организация. И снова перед тобой станет выбор: капитализм или тоталитаризм?

— Прежде всего нужно просвещать людей. Люди не глупы. Мы должны разъяснять политику. Говорить с людьми. Даже с такими, как капитан Алф Хеллот.

Капитан Алф Хеллот начал одеваться. Белье тоже было военного образца. Трусы короткие, майка длинная. Повязав галстук, он сказал:

— Даже со старинной Хеллотом. Большая честь для человека, парящего в неведении на крыльях НАТО.

Они стояли вплотную друг к другу, соприкасаясь только легким, едва осязаемым дыханием. Ее глаза — беспокойные, точно руки, скрещенные в жесте над головой: что они сигнализировали? До свидания или прощай навсегда?

С высоты своего роста Алфик смотрел на нее, на разделяющий волосы пробор, на лицо, на вздымающее грудь дыхание, на голые пальцы ног и ногти, которые почему-то навели его на мысли о возрасте, о бренности тела и его красоты. Китти не от-

ветила на его взгляд. Она глядела прямо перед собой. Стало быть, видела голубую рубашку, синий галстук с тугим узлом ниже кадыка, капитанские звездочки на воротнике. Он бережно коснулся рукой ее волос, прижал их к уху. Пульс — его или ее. Алф Хеллот сказал:

— Хорошо, что ты пришла. Я рад, что встретил тебя. От нас самих зависит показать, что мы живем в свободной стране.

— Чистой, — добавила Китти. — Химически чистой стране с химически чистыми жителями.

Над ее головой, за пыльным окном, из иссиня-черного фьорда вздымались снеговые горы. Белые пики Бёрвасса. Одна из вершин гребня Клетков на юго-востоке? Рейтан под Фауске? Потухшие вулканы, застывшие в вечно бесплодной эрекции. На высоте осадки выпали снегом, там подморозило, и первые лучи нового дня уже высекали искры из белизны на южных склонах.

Ангельская белизна. Девственный снег.

Алф Хеллот был острием лыжи, режущим свежий снег. Белизна его не слепила. Он видел след, оставленный позади. Необходимо идти дальше. Он сказал:

— У меня еще одно свидание. С Черной дамой.

— Шпионский самолет?

— Я трахну ее. Ты можешь говорить о ней. Я могу подняться и трахнуть ее. В этом вся разница.

Серебристый лис сидел за рулем.

В новенькой «вольво» он ехал по Рёнвиквегену, направляясь к центру; сзади сидели Марвель Осс и тот, кого прозвали Войс оф Америка. Серебристый развил хорошую скорость, и он уже свернул на Большую улицу, когда заметил нечто необычное.

Организованное рабочее движение никогда не располагало сильными позициями в Будё. Город всегда был оплотом властей. Правда, губернаторы и церковники не одну сотню лет, хоть и без особого успеха, силились формовать северян по своему подобию, зато больше преуспели скупщики, наживавшие на рыбаках Севера немалые барыши. Ни эти тузы, ни их многочисленные помощники в городе не считали 1 Мая подходящим днем для демонстрации политической силы.

Тем не менее в это неожиданно прекрасное весеннее утро изрядное количество горожан сплотило свои ряды под знаменами и лозунгами Объединенного профсоюза Будё. Спозаранку гулкие звуки духовой музыки вселяли бодрость в горожан, зовя их на поле брани, и теперь множество лозунгов требовали дальнейшего прогресса, требовали разоружения и мира, настаивали на бойкоте режима апартеида в Южной Африке. На всем пути от школы выстроились зрители, и было их так много, что, когда шествие во главе со знаменосцами и музыкантами вступило на главную улицу Будё, демонстранты могли убедиться, что сама улица и тротуары по бокам битком набиты людьми.

Апрель в Салтенской долине выдался теплее обычного, и в день Первомая весеннее солнце сияло в кругу декоративно разбросанных по небу облаков, кои поощряли ораторов начинать свои речи живописными метафорами насчет отступающих пред восходящим солнцем туч, подчеркивая глубокий смысл, заложенный в этом именно сегодня, в день боевого смотра международного рабочего класса.

Серебристый лис не видел ни солнца, ни облаков. Он резко выжал тормоза. Шведские автостроители потрудились на славу. Машина остановилась как вкопанная. Водителя и двух пассажиров на заднем сиденье бросило вперед. Откинувшись обратно, они увидели, как Большую улицу заполняют ряды демонстрантов. Серебристый тотчас уразумел, что ему не протиснуться мимо оргкомитета, музыкантов и знаменосцев. И еще кое-что бросилось ему в глаза. А именно — развевающиеся красные флаги, профсоюзные знамена и развернутые транспаранты с надписями на непонятном, но грозном языке. Которые он истолковал по-своему.

Не долго думая, Серебристый врубил заднюю скорость и оглянулся через плечо. Боковая улица была пуста, еще не поздно ретироваться. Но одновременно он встретил взгляд Марвеля Осса, и этот взгляд озадачил его.

— Они все проведали, — выпалил Серебристый лис. — И теперь охотятся на нас. Нам надо убираться отсюда!

Войс оф Америка подхватил:

— Это же коммунизм! Чистейшей воды коммунизм! Коммунистический переворот! Они захватывают власть в этой стране!

Лицо Марвеля Осса по-прежнему смущало Серебристого. Не снимая ноги с педали, он сказал:

— Едем прямо на аэродром?

— Идиот!

Возглас Марвеля Осса адресовался в равной степени обоим его спутникам. Их поведение было до того возмутительно-нелепым, что он даже не пожелал браниться во множественном числе.

Войс оф Америка сунул правую руку под пиджак, к левой подмышке.

— Пробьемся, — сказал он с надеждой.

— Пробейся в стратосферу! И оставайся там!

Серебристый понял, что сейчас самое разумное — снять ногу с педали.

— Это вот, — Марвель Осс кивком указал на шествие, — это демонстрация, контролируемая правящей партией, той самой, что пригласила нас сюда. Будем спокойно сидеть на месте, пока народ приветствует нас. Сегодня день труда, господа. Другими словами — Первое мая, и они демонстрируют в нашу поддержку. Когда они исправно продефилируют мимо, мы тоже присоединимся к шествию, проедем немного следом, после чего подкатим к гостинице. Спокойно, не торопясь.

Шествие было длинным и затянулось надолго. Группа рабочей молодежи шла где-то в самом конце. Нетрудно было узнать Китти, которая несла толстую пачку газет и сверх того дирижировала хором, выкрикивающим лозунги. Даже опустив стекло и высунув голову, Марвель Осс не смог разобрать, что именно с таким жаром возглашает хор в этой норвежской трагедии. Замыкал шествие еще один оркестр, изо всех сил старавшийся заглушить хоровую декламацию лихим попурри. И наконец за оркестром следовала ватага шпингалетов на трехколесных велосипедах и без оных. На том все и кончилось. Улица опустела. Серебристый отпустил тормоза и медленно покатил по Большой улице за арьергардом демонстрации.

На углу, где участники шествия растворялись в толпе на площади, Марвель Осс попросил Серебристого остановиться. Путем сложных физических маневров ему с трудом удалось извлечь свое непомерно громоздкое тело из машины. Сказав Серебристому, чтобы тот ехал в гостиницу и ждал там, Марвель Осс повернулся спиной к своим новым соотечественникам и взял курс на площадь.

Он ступил на нее как раз в ту минуту, когда представляли главного оратора. Нильс Хёнсвалд был трезвый политический деятель, самая наипрекрасная погода не поощрила бы его прибегнуть к цветистым метафорам. Прожженный политик, он представлял партию с коминтерновским прошлым и натовским настоящим, которая на базе такого исторического наследия развила специфическую форму тоталитаризма по-американски.

Как и следовало ожидать, председатель оргкомитета делал упор на другие стороны вопроса, подчеркивая несомненные заслуги Нильса Хёнсвалда перед партией, страной и народом. К шестидесяти годам он стал одним из самых опытных и облеченных доверием служак Рабочей партии. Он находился на вершине власти — своей и своей партии. С двадцати лет Хёнсвалд трудился в партийной прессе и представлял НРП в политических органах, преимущественно в небольших городах по берегам Осло-фьорда. В середине тридцатых годов стал редактором «Сарпсборг арбейдерблад», одновременно заседая в муниципалитете. В годы оккупации отличился на подпольной работе. Трижды был арестован немцами; сидел в концлагере Грини до мая 1945 года. Когда ворота лагеря открылись, для Нильса Хёнсвалда открылись также пути для более ответственной политической деятельности. На первых же послевоенных выборах он был избран в парламент и очень скоро заявил о себе. Спустя несколько лет после дебюта в общенациональном масштабе он восседал за королевским столом в качестве министра снабжения в первом правительстве Эйнара Герхардсена. С середины пятидесятых годов Нильс Хёнсвалд — легендарный руководитель парламентской фракции Рабочей партии. Он заседал в расширенной комиссии по делам конституции и внешней политики, стал членом президиума стортинга. Так что в этот майский день на центральной площади Будё поднялся на трибуну один из наиболее влиятельных (после самой верхушки) политических деятелей страны, в шляпе с высокой тульей и сером габардиновом пальто для защиты от порывов резкого весеннего ветра. Кто, как не Нильс Хёнсвалд, был причастен к политическим мероприятиям последнего десяти-

летия (призванным обезопасить жизнь и будущее норвежского народа) — от вступления в североатлантический оборонительный союз, до установки локаторов и пеленгаторов вдоль всего побережья и наконец размещения первых союзнических складов тяжелого вооружения, одобренного парламентом 10 декабря предыдущего года.

А Марвель Осс? Свободный, во всяком случае от парламентской ответственности за что бы то ни было, он рыскал по всей площади, по парламенту улицы, тщетно пытаясь обнаружить Алфика Хеллота. Зато Китти, как говорится, бросалась в глаза. Она энергично распространяла свои газеты, то и дело вступая при этом в жаркие дискуссии, и фразы, произносимые с трибуны в микрофон, явно не могли умерить ее пыл.

Марвель Осс терпеливо дождался, когда она завершила очередную дискуссию в острой конкуренции с громкоговорителями. И потерпела поражение, если говорить о силе звука. Стоя за спиной Китти, он прокричал ей в ухо:

— Твой возлюбленный — он что же, бросил тебя? Скажи мне, где сейчас лейтенант Хеллот, и я отомщу за твою поруганную честь.

Она удостоила его взглядом. И экземпляром своей газеты. Которая опустилась на Марвеля Осса, словно подаяние на ладонь нищего. После чего Китти круто отвернулась, вскинула руку с пачкой газет и принялась голосить:

— Антиатомный выпуск! Антиатомная брошюра! Тридцать тысяч участников пасхального марша от Олдермастона до Лондона! Протестуйте против атомных испытаний и атомного безумия!

Люди оборачивались и недовольно шикали. Хёнсвалд уже начал свою речь. Вступительные фразы были произнесены, оратор сделал паузу, разгладил листки с текстом и продолжал:

— Сейчас трудящихся города и деревни больше всего заботит международное положение — голод, нужда, социальный и политический гнет в ряде экономически слаборазвитых стран, а также гонка ядерных вооружений, сеющая страх войны во всех великих державах. Эти обстоятельства определяют характер первомайской демонстрации сегодня. Солидарность с цветными народами, требование международных акций помощи для улучшения условий жизни в отстающих странах и протест против дальнейших ядерных вооружений. Война нужде и борьба за мир!

Китти прекратила его перебивать. Больше того, ей показалось, что он излагает ее мысли, то есть мысли левого крыла. Она слушала не без уважения. Хёнсвалд оказался более проницательным и трезвым, чем она ожидала от столь официозного натовского политика. Порой Китти даже готова была допустить, что Рабочая партия кое в чем отлична от буржуазного аппарата власти и партийной верхушке все еще приходится считаться с тем, что волнует народ.

— Всем известно, — продолжал Хёнсвалд,— всем известно, что атомная война сегодня означала бы гибель нашей цивилизации. Русские тоже понимают это и, конечно же, не меньше нас боятся такой войны. Доверие — вот чего нам недостает. Каждая из сторон опасается, что стоит ей в чем-то уступить, как у противной стороны возникнет соблазн добиваться новых преимуществ. Они боятся, как бы не был нарушен так называемый баланс устрашения. Мы можем сделать доброе дело, оказывая нажим, чтобы стороны сдвинулись с мертвой точки и находили реалистические решения проблем.

...Доверие — вот чего недостает.

Марвель Осс не сдавался. Продолжал прочесывать площадь, следя одним глазом за Китти. Она не уходила, слушала речь о доверии и добрых делах. Но Алф Хеллот отсутствовал. Марвель Осс петлял в толпе, постепенно приближаясь к задним рядам. Громкоговорители вещали:

— Наша сегодняшняя демонстрация — звено в этом нажиме. Вместе с демонстрантами в других странах мы требуем, чтобы руководители великих держав сели за стол переговоров с твердым намерением добиться позитивных результатов, чтобы призрак войны раз и навсегда был изгнан с нашей планеты. Это требование всецело отвечает нашим насущным интересам, которые согласуются с нашим общим глубоким желанием жить в мире и безопасности, это требование отражает самую суть того, что волнует простых людей всех стран. Требование прочного мира стоит превыше всего, и покуда существует опасность войны, организованным рабочим есть ради чего выходить на демонстрации.

Капитана Алфа Хеллота не было на площади. Марвель Осс окончательно убедился в этом. Во всей толпе не было ни одного военного. Он покинул площадь под звуки бурных аплодисментов, которыми Китти и остальные участники торжества наградили мобилизующую речь. Митинг закончился исполнением гимнов. Марвель Осс и на Морской улице, у входа в гостиницу, все еще слышал патриотические песнопения.

Гостиница «Нуррёна» в Будё хорошо известна североамериканцам самого разного ранга, чина и звания. В столовых таких разных учреждений, как Пентагон в Вашингтоне, Лэнгли в Вирджинии и Форт-Мид в Мэриленде, по сей день можно услышать громкую похвалу ее шведскому столу.

Тем не менее, когда Марвель Осс вошел в гостиницу, ни Серебристый лис, ни Войс оф Америка не сидели в ресторане, уписывая бутерброды. А сидели они в вестибюле с пришибленным видом, держа в руках по бутылке колы. Марвель Осс посмотрел на одного, потом на другого. Оба молчали, тогда он медленно погрузил свою тушу в глубокое кресло. Газету, полученную от Китти, положил на столик. Шелест бумаги словно ножом полоснул тишину. Войс оф Америка скривился так, что уголки рта опустились чуть не до пупа. А лицо Серебристого явно нуждалось в неотложном косметическом ремонте.

— Я вижу два новых солнца на небосклоне? — Марвель Осс расположил свою точку равновесия в центре кресла и откинулся назад.

Однако ни одно из новых солнц не просияло.

Войс оф Америка допил свою колу.

— Пришло подтверждение,— произнес Серебристый.— Он вылетел из Пешавара по плану. С того времени о нем ничего не слышно. Пауэрс...— он пожал плечами,— исчез.

— Сбит?

— Исключено! — вышалил Войс оф Америка фистулой.— Диверсия перед взлетом — единственное объяснение. Их зенитки так высоко не достают. Провалиться мне на этом месте!

— Осторожно! — сказал Марвель Осс.— Как бы ты и впрямь не провалился.

Серебристый подавился колой и закашлялся.

Марвель Осс постучал его по спине.

— Выше голову! — призвал он.— Представь себе Красную площадь в эту минуту!

— Красную площадь! — повторил Войс оф Америка.— Ты подразумеваешь Красную площадь Москвы в России?

Марвель Осс продолжал обращаться к Серебристому:

— Представь себе Красную площадь сегодня во время первомайского парада. Представь себе, как на трибуне мавзолея внезапно появляется командующий противовоздушной обороны. Представь себе всех, кто видит, как он торопливо проходит мимо византийского синклита к партийному секретарю. Представь себе физиономию Никиты Хрущева, когда он слышит, что́ ему шепчут на ухо. И представь себе, что будет дальше.

— Ничего!

Серебристый поднялся с кресла рывком, который, возможно, был призван отразить прилив бодрости.

— Ничего такого, от чего мы не сможем отказаться. В худшем случае у них будет мертвый летчик и разбитый самолет без опознавательных знаков. Куски алюминия и кремированное тело. Ничего. Обыкновенный самолет метеослужбы, который сбился с курса. В любом случае фотоаппаратура заблаговременно уничтожена. Достаточно нажать кнопку. И аппараты взрываются. Без вреда для самолета.

— Представь себе еще одну вещь,— сказал Марвель Осс.— Представь себе, что кому-нибудь из них придет на ум поднять Полярную шапку, чтобы посмотреть, что под ней кроется. Представь себе, что они обнаружат огромный электронный мозг с направленными на восток антенными ушами. Представь себе политический результат.

Серебристый посмотрел на обоих. Ответил:

— Что ж, пошли.

Марвель Осс продолжал сидеть. Войс оф Америка встал. И снова сел. Было слышно, как в столовой накрывают на стол. В вестибюле царила тишина.

Серебристый лис тупо глядел на Марвеля Осса.

— Это конец? — произнес он негромко. И тоже сел.

— Да,— сказал Марвель Осс.— Это конец. The rest is violence[1].

День освобождения

Стоя нагишом перед зеркалом в комнате в военном городке, Алф Хеллот начал одеваться, медленно и обстоятельно. Зеркало отражало унылый барачный интерьер за его спиной, где единственным признаком обитания была железная кровать с шерстяным одеялом и смятыми простынями.

Сперва шерстяное белье — кальсоны и фуфайка. Толстой вязки синий свитер поверх теплого белья должен был защитить капитана Хеллота от самого лютого арктического мороза. Далее летный комбинезон защитного цвета со множеством замков-молний. Застегнув до подбородка замок на груди, Алфик натянул сапоги. Комбинезон пестрел эмблемами и личными знаками. Теперь капитан Хеллот был в полной форме.

Именная нашивка на груди, чтобы всякий знал его фамилию. Три звездочки говорили о ранге. «Крылья» — престижный символ пилотского звания. Буквы на синем кольце, окаймляющем голубой круг с двумя скрещенными кинжалами (эмблема его эскадрильи), сообщали, что он служит в 331-й эскадрилье Королевских норвежских ВВС. Выше концентрических окружностей — корона. Ниже — девиз эскадрильи: «За Норвегию». Наконец, еще один жетон свидетельствовал, какой самолет пилотирует капитан Хеллот. Сверхзвуковой «104 Локхид», развивающий скорость 2М. В полном облачении, держа в руке чемоданчик, капитан Хеллот вышел из барака.

Войдя в столовую, он сначала позвонил по двум номерам. Дежурный офицер на КП обещал распорядиться о заправке. Через двадцать минут к столовой будет подан джип. Прежде чем приступать к завтраку, Хеллот поговорил также с метеослужбой. Синоптик посулил слепой полет и умеренный ветер. Хеллот прошел в зал, налил себе кофе и сел за столик. У повара все было готово. Верхний свет в пустом зале озарял столы, точно лампы в бильярдной, где Хеллот был последним запоздалым игроком. Или последним шаром на зеленом сукне. Не считая звона посуды на кухне, стояла тишина. Хеллот съел яичницу из двух яиц, бутерброд с сыром и немного клубничного варенья. Первая страница вчерашней газеты сообщала, что сексуальный маньяк встретил смерть холодной усмешкой. После одиннадцати лет ожидания в камере смертников Кэрил Чессмен был казнен на электрическом стуле. Генералы Эг и Тюфте-Юнсен наперебой заверяли, что никто не запрашивал и не давал разрешения на посадку в Будё каких-либо самолетов У-2. Командир авиабазы, полковник Хейне-Эриксен ничего не слышал ни о машинах такого типа, ни о летчике по фамилии Пауэрс. Согласно НАСА, речь шла о так называемой летающей лаборатории, цельнометаллическом исследовательском самолете с турбореактивным двигателем «Прэтт энд Уитни 57». Советский министр иностранных дел Громыко называл Норвегию соучастницей преступной акции. Уж не послало ли ЦРУ этот самолет по собственному почину, чтобы сорвать встречу в верхах в Париже? — размышлял один журналист. И выбор дня 1 Мая для этого полета был сознательной провокацией?

Алфик сложил газету и встал. День освобождения, если верить календарю. Меню явно спорило с календарем. Стоя возле стола, Алф Хеллот скривился и допил остатки кофе вместе с гущей.

Свет, озаряющий ВПП, был таким же резким и мертвенным, как освещение в столовой. Рулежные дорожки мерцали голубизной реактивного выхлопа и полярного сияния. На юге горы пилили синее небо острыми белыми зубьями. Тяжелые небеса плющили землю.

Ординарец ждал за рулем джипа с работающим мотором. Хеллот вскочил на сиденье, и они покатили к ангарам рассредоточения. По пути он приметил всепогодный истребитель Ф-86 «Сэйбр» с характерным черным радарным носом и заключил, что какая-то из двух эскадрилий — то ли 337-я, то ли 339-я — перебазировалась на север. Из одного ангара трактор выводил «Каталину», напоминающую в профиль ладьи викингов. Хеллот сидел, свесив наружу одну ногу; как только джип остановился, выбросил и вторую. Велел ординарцу возвращаться к административному бараку и протопал в дежурку.

---

[1] «Дальше — насилие» — намек на слова из монолога Гамлета: «The rest is silence» — «Дальше — тишина».

Алф Хеллот не сразу узнал Кваксена. И Кваксен не сразу узнал его. Да и не в натуре Кваксена было выскакивать вперед. Он сидел в капитанской форме, погруженный в чтение какого-то комикса. Второй летчик, помоложе, в звании лейтенанта, листал апрельский номер «Воздушного резервиста». Он поднял взгляд на капитанские звездочки Хеллота. В свою очередь Алфик, глянув на лейтенанта, снова посмотрел на Кваксена, который с тягучей медлительностью опустил журнальчик, открывая лицо, спрятавшееся за физиономией Альфреда Ноймана на обложке.

Но Алфик Хеллот уже успел разобрать, кто там скрывается. Круглая голова. Густые светлые кудри. Тут же и мастер скоттхюлля опознал специалиста по преодолению препятствий.

— Ты,— произнес Алфик.— Ты опять.

— Нас в стране так немного.

— Три с половиной мегабоди, верно?

— Да, жертв атомной войны можем сосчитать по пальцам одной руки. Если верить Герману Кану.

— Но мы-то воздержимся? — сказал Хеллот.

Кваксен присмотрелся к нему:

— У тебя усталый вид. Жар-птица обзавелась серебряными перьями?

— Цена ветеранства.

— Ветеранства на каком поприще? Карьеризм? «Холодная война»? Адъютантская суетня при штабе генерала Эга?

— Служба ПП. Полеты и пьянка.

— И следующее место службы — Пешавар в Пакистане? Могу пожелать удачи?

Алф Хеллот не нашел нужных слов. Очевидно, о маршруте Пауэрса и У-2 было известно не один день. Кваксен ни за что не сумел бы за сутки придумать такую реплику. Сейчас он продолжал:

— Хотел бы я участвовать в таком деле. Облет целой страны. Сила! Летать над ними. Быть у них, но над ними. Порнография своего рода. Смотреть вниз на их ядерное оружие, пусковые установки и сексбомбы. И фотографировать голую правду.

Второй летчик усмехнулся и отложил журнал. Алф Хеллот сказал:

— Хуже всего, что главной задачей полета У-2 было обнаружить советские атомные базы. Их не так много, как мы думали. Менее полусотни межконтинентальных ракет, примерно в три раза больше стратегических бомбардировщиков и три-четыре сотни ракет средней дальности. Слабовато. Ракетное отставание Запада — вольное сочинение управления развлекательных предприятий Пентагона, Голливуда и ЦРУ. Точнее будет сказать так: разрыв есть, но в нашу пользу. Теперь мы знаем, насколько слаб Иван. И Иван знает, что мы это знаем. И мы знаем, что Иван знает, что мы знаем. Сильные стабильные Советы не опасны. А как почувствуют себя в окружении, могут рассвирепеть. Полеты в Будё и из Будё вынуждают их вооружаться, дорогой товарищ.

Кваксен оторвал ноги от пола и скрестил их на железном стуле перед собой.

— Помнишь Пауэрса? — спросил он,— Фрэнсиса Гэри Пауэрса?

— Нет. Деревенщина из средневосточных штатов?

— Он был на базе Уильямса, когда нас туда привезли. Закончил курс в начале пятьдесят третьего, если не ошибаюсь. После чего перебрался на базу Льюк под тем же Финиксом, чтобы осваивать Ф-84Г.

— Видно, потом еще кое-что освоил.

— Потом была база Сандиа. Совершенно секретно. Обучение погрузке и сбрасыванию атомных бомб с боевых машин.

— Плюс испытательные полеты на базе Мэрдок?

Кваксен не стал возражать, и капитан Хеллот начал облачаться в противоперегрузочный костюм. Тесный корсет от пояса до голени накачивался в самолете сжатым воздухом. С ним Алф Хеллот мог невредимым проходить сверхзвуковой тунель, выдерживать силу тяжести при входе в пике и центростремительные силы, когда закладывал крутой вираж. Наполняя корсет, сжатый воздух не дает крови отлить от головы, лишая пилота зрения и слуха, речи и мышления.

— Пауэрс как личность ничего не значит,— сказал Алфик Хеллот, затягивая корсет.

Кваксен изобразил свою самую ослепительную улыбку.

— Что верно, то верно,— отозвался он.— Могу подтвердить, поскольку я снова встретил его здесь, в нашей стране. В Будё встретил, то ли в прошлом, то ли в по-

запрошлом году. И я не помню, чтобы когда-либо видал более непрочных штафирок, чем Фрэнсис Гэри Пауэрс и его коллеги. Но ты, возможно, слышал про такую организацию, как ЦРУ?

— Личность ничего не значит,— повторил Хеллот.— Другое дело — организация. Они добились своего. Они, и Хертер, и призрак Фостера Даллеса. Парижская встреча в верхах торпедирована еще до старта. Противники разоружения завезли Эйзенхауэра так далеко, что ему уже не выплыть, не оправдать затею с У-2. Советы оставят политику мирного сосуществования. Они попробуют овладеть всем Берлином. Вот увидишь. Снова начнутся атомные испытания. Они будут вооружаться полным ходом. Иван получит больше пушек и никакого масла. Но и мы тоже будем помнить май 1960-го и ощущать на себе последствия. Даже если «холодная война» не станет горячей.

Капитан Хеллот втискивался в еще одно одеяние. Аварийный костюм призван был спасти его, если придется катапультироваться над открытым морем. Во всяком случае, на несколько часов. Во всяком случае, теоретически. Костюм был резиновый, водонепроницаемый; воротник и манжеты плотно прилегали к телу.

Кваксен взял со стола пачку сигарет и встал, провожая взглядом Хеллота, который уже направился к выходу.

— Не делай ничего такого, чего я не стал бы делать. Помни о служебной характеристике!

— Это мои сигареты,— сказал второй пилот, и Кваксен положил пачку на место.

Алфик Хеллот ничего не ответил. Он ковылял по коридору к ангару IV.

От компрессора воняло дизельным топливом. Самолет был проверен, двигатель прогрет. Хеллот кивнул капралу, который вывел машину на предангарную площадку. Водитель топливозаправщика собрал шланг и покатил обратно к складу. Задняя стена ангара была черной от раскаленного выхлопа реактивных двигателей, всосанного вентиляцией.

Рядом с самолетом висел светящийся спасательный жилет и ранец с парашютом. Хеллот затянул сбрую так, что чуть не оторвал себя от земли. Со всем этим снаряжением он мог совершить свободное падение, парить в воздухе, плавать на волнах Ледовитого океана. Алф Хеллот засунул голову в шлем. Зеленое противосолнечное стекло придало новый оттенок камуфлированному ангару и горным склонам вокруг базы. С юга крепнущий ветер нес плотную облачность. Хеллот подошел к самолету с красно-бело-синей эмблемой эскадрильи.

Пройдя последние метры, Алфик поднялся по трапу в кабину и протиснулся на сиденье, за штурвалом. Пристегнулся к креслу «Мартин Бейкер», застегнул ремешок шлема, подсоединился к кислороду. Включил радио и настроился на предписанную частоту.

Он был готов. Теперь капитан Хеллот был одет полностью. Самолет прогрет и подготовлен для полета. Алфик включился в машину. Твердый сплав «человек-машина» был готов к запуску. Курс — траектория стрелы надежды. Алфик Хеллот — вписан в наконечник стрелы. Он нажал кнопку, и фонарь кабины закрылся над его головой.

Алфик получил разрешение на взлет и поднялся в воздух.

Красная лампочка.

Одна из лампочек в кабине светилась злее любых световых табло, извещающих, что все билеты на последний сеанс проданы. Самолет круто набирал высоту. Один ангел — три тысячи метров. Лампочка продолжала настаивать, что все билеты проданы. Неисправность двигателя, пожар, отказ приборов и органов управления, утечка в гидравлике? В затверженной последовательности мозг Алфика перебирал возможные неисправности. Он проверил давление в гидросистеме, температуру выхлопных газов и давление топлива, пожарную сигнализацию, авиагоризонт, указатель курса.

С л и ш к о м р е з к и й н а б о р в ы с о т ы!

Есть. Хеллот нашел причину. Он отдал штурвал от себя и держал его так, пока все стрелки приборов контроля работы двигателей не легли на зеленое поле. Бросил взгляд на пилотажно-навигационные приборы, проверяя курс, скорость и высоту. Два ангела — шесть тысяч метров.

Снаружи климат приближался к сибирскому. Но солнце грело через плексиглас и резало глаза. Хеллот опустил дымчатый фильтр, и мир стал черно-белым. Затем он достал аэронавигационную карту из футляра на боку кресла.

Будё.

На северо-востоке из облаков торчали зубчатые вершины гор в районе Люнгена. Хеллот опознал пик Еккеварре на севере, и карта подтвердила его правоту. Глянув еще раз на карту, Хеллот отрегулировал газ, уперся ногами в педали рулей направления и заложил левый вираж с крутым набором высоты. Красные крылья на авиагоризонте вышли из голубого полукруга, и кончик одного крыла окунулся в черное поле внизу. Завершив вираж, самолет выровнялся и вошел в южный коридор. Взяв курс на радиомаяк под Эвенесом, Хеллот продолжал набор высоты до девяти тысяч метров. Общество трех ангелов его устраивало. Далеко впереди темнел вход в сверхзвуковой туннель.

Южный курс, которым следовал капитан Хеллот, пролегал вдоль гряды, отделяющей фьорды на западе от безлюдных скандинавских дебрей на востоке. Облака под ним сменились волнистой пеленой густого тумана. В пелене появились разрывы, они доходили до самой земли, становясь все шире и открывая все более обширные участки ландшафта. Под конец лишь длинные тонкие пряди тумана стелились между самолетом и землей. Фотоаппаратура была включена, и Хеллот мог регистрировать все происходящее внизу.

Стрелка радиокомпаса развернулась на 180°, свидетельствуя, что Хеллот и его супермашина миновали Эвенес и входят в воздушное пространство над губернией Нурдланд. Алфик отыскал в таблице частоту радиомаяка в Стейгене, лежащем к северу от Будё, настроился на нее и добился, маневрируя, того, что обе стрелки радиокомпаса стали в центр. Прибор подтверждал, что он выдерживает нужный ему южный курс.

Туман под ним совсем рассеялся. Далеко на западе Алфик различал светлые песчаные берега Лофотенских островов. Узкие белые полосы разделяли синюю поверхность моря и черную весеннюю землю, которую всего в нескольких стах метрах от воды встречал белый сверкающий снег. На востоке фьорды упирались в крутые горные гряды района Бьёрнфьелль и пограничного массива между Норвегией и Швецией; этот массив постепенно выполаживался в сторону Норрботтена, а на юге скатывался гладкими скалами от вершины Стетинд к Тюсфьорду.

Алфик снова проверил скорость, высоту, курс. Все было в норме. Когда внизу справа промелькнул Будё, он опять сменил радиомаяк. Нос самолета смотрел строго на юг. На километровом столбе Хеллот прочел расстояние. Два пеленга на радионавигационные станции «Лоран» дали ему точную позицию. Он сунул карту обратно в футляр на боку кресла.

Полуостров с городом Будё и длинной летной полосой на конце мыса пропал в морской мгле. Дымы металлургического завода застилали Му-и-Рана. Кучки домов по трассе, мерцающие вереницы островов вдали на западе... Тень самолета бесследно скользила по краю. Оставив позади область Хельгеланд, Хеллот пошел над губерниями Трёнделага и пролетел между Эрландом и Вярнесом, держа на прицеле голову отдыхающего скандинавского льва — Южную Норвегию. Курс, высота и скорость оставались неизменными.

Хеллот осторожно накренил машину и посмотрел вниз. Далеко под ним бугрилось горное царство. Он выровнял самолет и снова сверился с приборами. Стрела достигла вершины своей траектории. Медленно, плавно он отдал штурвал от себя, идя на снижение. Заложил чуть приметный правый вираж. Теперь точно под ним простерся центральный массив — Довре, Рондане, Ютунхеймен; у самой границы на востоке торчала вершина Сюльфьеллет, впереди угадывались горные пустоши Хардангервидда и Рюфюльке. Вторая неделя мая, а край все еще был одет белым снегом. Только бледные горные тени да розовые оттенки снежного покрова выявляли рельеф ландшафта.

Хеллот продолжал плавно снижаться, разворачиваясь вправо. Навстречу ему вырастали острые пики каменных громад. Устья долин открывались идущей с юга весне. На западе иссиня-черные фьорды оттеняли зеленые склоны и снежные вершины. Легкие тучки отрывались от плотной гряды облаков над морем и плыли над цепляющимися за сушу пальцами фьордов.

Хеллот различал все больше подробностей. Он приближался к низинам. Снова в кабине вспыхнула какая-то красная лампочка. Хеллот окинул взглядом пилотажно-

навигационные приборы. Норма. Пульт управления рацией — порядок. Красный свет прибавил в силе. Алфик повел глазами дальше влево.

Ретроспектоскоп!

Лампочка ритмично мигала. Хеллот послал стрелку по шкале, и красный свет сменился зеленым. Покрутил ручку еще и увидел, как в настоящем на экране возникает прошедшее. Промелькнули его воспоминания о базах в Будё и на Эрланде, «История Норвегии» XII века, на миг наложились друг на друга лица Линды и Китти, прозвучали фанфары поэмы «Труба Нурдланда» — сочинение барочного священника Петтера Дасса, предстали взгляду Авг. Хеллота и побочные действия алюминиевого производства, неимоверно расплывшаяся туша Марвеля Осса. Затем — картины лапландского путешествия Карла фон Линнея, который, одолев пешком нескончаемые дебри Северной Швеции, круто свернул на юг и неожиданно обнаружил спуск в райский сад в верховьях Уфутфьорда.

Быстро проверив курс и позицию, Алфик снова переключился на шкалу ретроспектоскопа, настраивая его на земной рай. Классический шведский слог Линнея рисовал Алфику Хеллоту все великолепие земли:

«Когда же мы к полудню преодолели горы и вышли на их край, то далеко внизу увидели казавшиеся травами весьма высокие деревья и ласкающий взгляды зеленый луг; те же горные травы, какие наблюдали мы на другой стороне, были и здесь. Мы пошли вниз, и кажется мне, я до сих пор продолжаю спуск, столь протяжен был крутой этот склон. Но внизу горных трав уже не было видно.

Когда мы наконец спустились, какое удовлетворение было даровано моему утомленному телу. После холодных, ледяных гор я очутился в теплой, кипящей жизнью долине (я сел и поел морошки); вместо снега и льда смотрел на пышно цветущие зеленые растения (такой высокой травы мне еще нигде не доводилось видеть); после сильного ветра — чудный запах Trifolio florente (цветущий клевер) и других трав. О, несказанно прекрасное лето!»

Алфик приближался к цели. Бросив взгляд на альтиметр, посмотрел наружу. Внизу матово переливались глинисто-серые ледниковые озера, зеленые речушки, фиолетовые блики весеннего леса. Ближе к фьорду ландшафт приобрел более яркий, металлический оттенок. Зеленее был лес с маленькими, сочными, готовыми вот-вот совсем раскрыться лоснящимися листьями березы. Длинные полосы мокрых от дождя гранитных скал прорезали редкий сосняк и березовые рощи на склонах. Бурливые реки протянули к фьорду свои мерцающие серебряные нити.

Сквозь низкую облачность впереди Алфик различал спадающие к синему фьорду ярко-зеленые склоны. Юго-восточный ветер кудрявил поверхность воды белыми барашками. По мере того, как Алф снижался над фьордом, облачность редела, и под конец совсем прояснилось, лишь отдельные облачка лепились к самым высоким вершинам.

Зато появился дым. Легкий ветер расстелил его над фьордом бурой косой пеленой. Хеллот резко повернул на восток и решительно отдал штурвал от себя, еще круче снижаясь. Вершины по обе стороны фьорда по-прежнему были укутаны облаками, в которые всевышний упаковал земной шар, прежде чем спускать его с небес, чтобы у детей человеческих была своя игрушка. Хрупкое изделие, подумал Алфик, стремительно приближаясь к земле и чувствуя, как его вдавливает в спинку кресла.

И еще один человек видел, что Алф Хеллот приближается к земле. В недрах бомбостойкой горы на севере Ярена я обратил внимание на странности курсового вектора самолета с позывным капитана Хеллота. Я не мог сидеть сложа руки и смотреть, как растет отклонение от нормальных курсов. Нажав клавишу, я стал передавать позывной Хеллота. Никакого ответа. Я повторил. Позывной сигнал Алфика Хеллота. Радио продолжало молчать. Что-то стряслось. Алф Хеллот сбился с курса. Впервые. Он летел назад во времени, ориентируясь только по ретроспектоскопу.

Ниже, еще ниже. Алфик ясно различал плавильный цех. Другие корпуса завода. Улицы заводского поселка. Улицу Индзастрой. Ветхий летний дом семейства Хюсэен. Одичалый сад, где он когда-то стоял, сжимая потной рукой бечевку и направляя к земле большущего воздушного змея. Но змей превратился в сказочное чудовище из алюминия. В огнедышащего дракона со сверлящими глазами, растопыренными ногами и чудовищными мослами. И верхом на драконе, направляясь в сверхзвуковой тунель, сидел Алфик Хеллот.

Приборная панель перед ним ожила. Алфик поднял взгляд от ретроспектоскопа.

Стрелка махометра поползла к единице. Внутри самолета, в кабине, он никаких перемен не ощущал. Стрелка остановилась, бодая одно и то же деление. Не иначе — мышь в прибор забралась, сказал бы великий Егер.

Внезапно Алфик услышал. И заметил по поведению машины.

Стрелка выскочила за край шкалы.

Барьер.

Алф Хеллот проломил его.

Пробился на волю.

Звук дошел до Ловры только потом.

Первым самолет увидел Ялмар Хюльден. Он работал сверхурочно на стройке у Халвамол. Бригада уже собрала каркас и взялась за крепление стропил, когда он увидел самолет. Увидел, крепко ухватился двумя руками за стропило, зажмурился, снова открыл глаза — точно, самолет.

Но этот самолет шел над землей не выше, чем автобус из Хаугесюнда. Шел с юга, через Хюствейт и Хонганвик. Ялмар Хюльден — со стропилом в руках и с разинутым ртом — не сводил глаз с самолета, который теперь мчался над фьордом, покачивая корпусом, точно гусь, и махая крыльями. Ялмар Хюльден не стал махать в ответ. С того места, на самом верху воздушного каркаса, где он стоял, казалось, что самолет целится в просвет между двумя портальными кранами завода ферросплавов. Это же казалось обоим крановщикам — Долговязому Томасу и Ёргену-Цветоводу, которые наперегонки выгружали уголь, доставленный из Дарема переоборудованным пароходом «Ева». Хуже того: было похоже, что самолет нацелился прямо на них. Долговязый Томас замер, сжимая рукоятки рычагов, да так и остался стоять, ровно мишень на полигоне. Ёрген же выпустил оба рычага и распластался на полу кабины; при этом грейфер на отпущенном канате полетел с полным грузом обратно в трюм, так что сигнальщик у люка, уверенный, что настал его последний час, перемахнул через фальшборт, спасаясь от двойной угрозы — черного града угля и огнедышащего самолета, который явно взял на прицел его бренное тело.

Промчался ли самолет над, или под, или между кранами, точно сказать не берусь; во всяком случае, он благополучно миновал их и понесся мимо заводских труб прямиком на Ялмара Хюльдена, который наконец-то выпустил стропило и сам ухнул следом на штабель досок этажом ниже. Когда он пришел в себя настолько, что смог повернуться и поглядеть вверх, самолет уже скрылся, бесследно исчез за горой Лёйнингсхейя. Одновременно крановщики на пристани услышали страшный грохот. Осколки лопнувших окон кабины посыпались со звоном на Долговязого Томаса и простертого на полу Ёргена-Цветовода. Лауриц Холмшё находился внутри плавильного цеха, там грохот был слышен не так явственно. Зато у него на глазах вся стеклянная стена, обращенная к пристройке, раскололась, засыпав осколками сливные желоба. После чего воцарилась неестественная тишина, если не считать звяканья одиночных осколков, которые скатывались по разбитому звуковому барьеру, отрываясь от замазки.

Фру Констанца Хеллот — она приехала на несколько дней в гости к своей сестре в Хёлландстре — лишь услышала гром. Окна в доме устояли, и она продолжала заниматься своими делами. Как и фру Хетлебрекк, которая только что поставила вариться обед и испуганно выглянула в окно на кухне, спрашивая себя, что это на заводе сегодня взрывать затеяли и хоть бы никого не ранило. Но тут убежал суп, и у нее появились другие заботы. Что до Мабель Брюхёль, то она, прикатив на велосипеде в Эльвика, рассовывала по почтовым ящикам предвыборное приложение к местной рабочей газете, когда увидела самолет, совершающий сумасшедшие маневры, и сразу вслед за этим почувствовала жуткую боль в ушах. Конрад Хетлебрекк, работавший на загрузке смесительного бункера, за грохотом и пылью доломита, который сыпался с транспортера, грома не слышал и самолета не видел, только голову вдруг пронизала тупая боль. Закрепив тележку и расчистив горловину, он сел читать дальше книжку про ковбоев, причем даже не заметил, что пыльные стекла вокруг него лопнули и свежий воздух смешался с острыми иглами каменной пыли.

Стюркор Брюхёль в это утро разгружал вагонетки в конце транспортной галереи,

заполняя бункеры даремским углем. Внезапно сверху донесся звонок и движение остановилось. Стюркор Брюхёль взял веник и прошел вдоль рельсов вверх, потом вниз, подметая осыпавшуюся с вагонеток мелочь. Затем отставил веник в сторону и сунул рабочие рукавицы в задний карман. Прислушался. Наверху было тихо, и канат пребывал в покое. Ни звука. Шагая через открытые люки бункеров, Стюркор Брюхёль подошел к окну. Оперся локтями о подоконник и выглянул наружу. Перед ним были река, многоквартирный дом, поселок, лесистые склоны с юной зеленью на макушках берез, долина и снежные вершины на севере.

Он тоже зажмурился, не веря своим глазам. И, открыв их, отчетливо увидел самолет. Даже разобрал, что самолет военный. Истребитель, который спикировал над горой Бюэр в долину Обё и помчался на него. С каждой секундой все ближе и курсом прямо на Стюркора Брюхёля. Истребитель летел в жуткой тишине, совсем бесшумно, покачивая корпусом и махая крыльями.

Две мысли пронизали мозг Стюркора Брюхёля, прежде чем на него обрушился сверхзвуковой ураган. Первая мысль: «Война!» Вторая касалась сына покойного Авг. Хеллота. Вроде бы Алфом его звали. Во всяком случае, он был в числе первых норвежцев, которых учили водить истребители в Штатах. Пока его родители еще жили в Ловре, он не раз пролетал над городом и махал им крыльями. Но ведь не так же! Стюркор Брюхёль не двинулся с места, лишь невольно присел, когда брюхо самолета погладило корни его волос и вновь пробило звуковой барьер. Грохот был оглушительный, и не только там, где стоял Стюркор Брюхёль. Дома у фру Хетлебрекк упали со стены все семейные портреты, а в цеху, где Сельмер Хёйсанд сбивал с металла окалину и шлак, обрушилась сама стена. Он как раз поднял над головой семикилограммовую кувалду, когда стеклянная стена рассыпалась у него на глазах. Четыре тысячи маленьких прямоугольных стекол! Как если бы кто-то стукнул лыжной палкой по ледяной корке на голой скале. Вот так же легко искрошилась стена. Одни дребезги от нее остались, сказал Сельмер Хёйсанд, долбанув кувалдой металлический лист. Напоследок он увидел сквозь открывшийся просвет самолет, который тут же пропал где-то за Рамснесом.

Когда истребитель приблизился к Ловре в третий раз, он шел гораздо выше, шел с юго-востока, высоко над Малдалским горным массивом. Теплая весенняя погода многих выманила из домов на свежий воздух. Похоже, на этот раз первыми его увидели мальчишки. Кент Хетлебрекк с братом Гленном, Бертиль Гронг, Арнольд и Расмюс Хёйсанды, Сюльфест Брюхёль, Стейнар Холмшё и другие ребята полосовали ржавыми финками влажную черную землю на пустыре за пожарной частью, когда Расмюс Хёйсанд вдруг указал пальцем вверх и крикнул:

— Глядите!

— Самолет!

— Гляжу да не вижу!

— Сейчас разнесет нас!

— И все вокруг!

Нож вонзился в землю по самую рукоятку.

Старик Ханс Хертинг Аттро работал в дневной смене в электродном цеху. Только он вышел на двор поглядеть на погоду и проветриться, как тоже увидел. Увидел в небе самолет с протянувшимся от хвоста четким инверсионным следом. Хертинг знал все на свете, разбирался он и в международных условных сигналах, принятых в авиации.

— Предлагает изменить курс,— объяснил он своему товарищу по смене, Квитбуксену, который оказался рядом с ним.— Не иначе опять этот Хеллот-младший. Стало быть, велит курс изменить. Крыльями вот машет. Это знак такой.

Изменить курс! Знак другим, чтобы покинули наше воздушное пространство! Но кто эти другие! Мы? Это нам следует изменить курс? Мы должны покинуть пространство?

Хертинг выплюнул эти слова вместе с коричневым сгустком жевательного табака. Этот сынок Констанцы и Авг. Хеллота затеял летать взад-вперед над Ловрой и махать крыльями. Подает знак наземной команде, Хертингу и остальным, чтобы изменили курс. Тем самым, что дали ему крылья, подняли в воздух и не дают упасть. Сверху, с высоты одного ангела, они, наверное, кажутся серой мелюзгой, чуть различимыми выпуклостями темной земли, черного асфальта и дымчатого цемента, на котором они стоят. Что ж, и впрямь серая мелюзга. Но крепкая. Шпалы, служащие опорой для

рельсов, ведущих вперед. Слиперсы — по-английски, что означает также «спящие». Но сон их полон сновидений.

Изменение курса! — опять сплюнул Хертинг. Понятно, когда молодой Хеллот летал на перехватчике из 331-й эскадрильи, знаменитой «Единички» в Будё, предлагая русским МИГам и ИЛам изменить курс, уходить в международное воздушное пространство. Но здесь-то? Алфик Хеллот с образованием, которое обошлось в миллионы крон, сидит там, вверху, в машине, за которую уплачено еще больше миллионов, и что же он способен сделать? Какой-то жалкий знак. Он машет крыльями! Пристегнутый к креслу внутри самолетного корпуса, Алфик может только говорить языком кодов. Но жизнь — не путешествие, человеческое общество — не команда большого корабля, политика — не курс, который можно проложить на карте и выдерживать с помощью штурвала и рулей. История — не синее море и не чистое небо.

Хертинг все еще видел самолет. Он пересекал небо на севере по ту сторону звукового барьера, унося с собой шлейф из звука и мерцающего голубого света. Хертинг повернулся спиной и пошел обратно в электродный цех, в здание, которое работяги по старинке называют на английский лад — Drum Shop, хотя на памяти людей там никто барабанов не делал и не продавал. Квитбуксен последовал за ним. Ёрген-Цветовод и Долговязый Томас подмели осколки в кабинах своих кранов и приготовились наконец возобновить разгрузку. Сигнальщик, доплыв до берега, переоделся в сухую спецовку и теперь, стоя у люка, помахал рукой: «Поехали!» Ярмар Хюльден и его подручные потащили обратно наверх стропила. Фру Констанца Хеллот пребывала в счастливом неведении. Фру Хетлебрекк повесила на место семейные портреты в гостиной. Мабель Брюхёль развезла все свои брошюры. Конрад Хетлебрекк подкатил тележку к следующей горловине, и транспортер начал сыпать доломит в смесительный бункер. Стюркор Брюхёль заполнил доверху угольный и коксовый бункеры, веником отправил следом мелочь и задраил люки. Сельмер Хёйсанд занес кувалду над головой, венчающей туловище, сплетенное из стального троса и сращенное с конечностями из того же материала. На пустыре за пожарной частью Сюльфест Брюхёль и Расмюс Хёйсанд начертили острием ржавой финки широкую окружность на влажной черной земле. Разделив круг пополам, они встали каждый на свою половину. Расмюс Хёйсанд первым метнул нож. Он вонзился в землю у самых ног Сюльфеста Брюхёля. Расмюс Хёйсанд провел прямую черту от лезвия и стер часть срединной линии, присоединяя к своим владениям треть территории Сюльфеста Брюхёля. Так сверхдержавы Сюльфест Брюхёль и Расмюс Хёйсанд захватывают землю, деля планету между собой и своими потомками.

Время от времени мальчишки — особенно Расмюс — поглядывали на небо над Грёдалом, где в последний раз скрылся истребитель. Но в небе было пусто. Самолет пропал и больше не возвращался. И след, который оставил Алфик Хеллот, был куда как непрочен. Ведь он чертил свои знаки в голубых небесах. Остались только белые инверсионные полосы на звуковом барьере, коих никто не умел прочесть, да и те, постепенно стираясь и расплываясь, под конец вовсе растаяли в прозрачной синеве. Или прочно переплелись с густым бурым дымом из заводских печей.

— Давай! — сказал Расмюс Хёйсанд.— Давай, Алф Хеллот! Давай!

Планета была поделена на две половины. Расмюс Хёйсанд по самую рукоятку вонзил нож в чужое полушарие.

— Дракон девять-ноль. Дракон девять-ноль.

Я все еще видел его на экране. Время от времени вызывал по радио. Алф Хеллот снова поднялся на три тысячи метров и по-прежнему не отвечал. Скорость — пятьсот узлов. Внизу под ним белела снежная вершина Хаукелифьелль. На западе до самого моря простирались горные пустоши; на востоке четко рисовался силуэт вершины Гауста.

— Дракон девять-ноль. Дракон девять-ноль. У тебя неисправность? У тебя неисправность?

Шорох в эфире дал мне понять, что Алф нажал кнопку на штурвале, включая рацию. Но он ничего не ответил и тут же отпустил кнопку.

Блок радионавигационных приборов включает радиокомпас. Все еще настроенный на Вярнес, он принимал оттуда совсем слабые сигналы. Стрелки указателя несущей частоты слегка подрагивали. Хеллот больше не заботился о точности курса. Повернув

на юг, он увидел край высокогорья. Увидел скалы и лес. Поблескивающие озера. Хеллот взялся крепче за штурвал.

Двумя руками он решительно и твердо отдал его от себя. Самолет наклонился. Хеллот еще сильнее нажал на штурвал. Стрелка альтиметра побежала по кругу, точно рулетка. Хеллот различал внизу зелень хвойного бора, розоватое сияние лиственных перелесков, отблеск озер, белки уцелевшего льда. Пике перешло в падение. Сигнальные лампочки превратились в цветные фонарики увеселительного парка. Сигналы тревоги звенели, словно колокольцы игорных столов.

Альтиметр сказал Хеллоту, что до земли еще далеко. Высота — две тысячи сто. С натугой он взял штурвал на себя, выводя машину из вертикали. Давление на тело уменьшилось. Благодаря противоперегрузочному костюму кровь не отлила от головы вместе с сознанием. Он видел быстро надвигающуюся землю. Мачты и провода электропередач еще не различал, но ЛЭП все равно просматривались длинными прямыми полосами просек в черном весеннем лесу.

Алфик не потерял управление. Он управлял своим голосом. Мог назвать происходящее. Крен, пике, штопор. Сознание его не оставляло. Но падение продолжалось. Сигнальные лампочки в кабине напоминали ему ярко освещенную рожденственскую улицу. Порой он словно видел со стороны, как его машина падает по спирали вниз. Изо всех приборов глаза регистрировали только альтиметр, увеличенный в миллион раз. Его стрелка продолжала бить рекорды скорости. Рулетка не желала останавливаться. В остальном же все происходило медленно, грациозно, плавно — как плывет под водой искусный спортсмен.

Он вполне мог еще дотянуться до переключателя на радиопульте. MAYDAY? Вместо этого Хеллот включил форсаж и ощутил рывок, когда впрыскиваемое в камеру топливо добавило тяги двигателям. Альтиметр показывал, что он спустился намного ниже нижнего ангела.

Алфик прижал штурвал к груди, словно любимое дитя. В голове проносился заученный порядок действий. Несмотря на парализующую гравитацию, ему удалось поднять руку над головой. Рукоятка катапультируемого кресла. Земля приближалась все быстрее. Авиагоризонт и настоящий горизонт слились для него воедино. Альтиметр вел себя так, словно давным-давно проскочил ноль и нырнул в минусовый сектор шкалы, глубоко под землю. Алфик продолжал прижимать к груди штурвал. Одна рука тянулась к рукоятке отстрела. Лихорадочный взгляд на приборы — убедиться, что скорость самолета еще превышает минимальную.

Он что-то задел. Может быть, макушку дерева фюзеляжем. Может быть, ничего. Может быть, царапнул землю. Редкая крона сосны, густая мрачная ель, содранный со скалы клочок мха? Или сугроб, ледник, обвал, лавина, безлюдный белый простор? Машину и тело Алфика Хеллота била сильная дрожь.

Он — и мы.

Хочу жить. Хочу быть свободным. Не хочу умирать, гробить самого себя. Лишь одно отчаянное желание: изменить — изменить неподвластную мне невозможную ситуацию.

Хеллот уже не видел авиагоризонт. И он был ниже радарного горизонта. Настоящий горизонт исчез в подгорелой каше из солнца и туч. Исчез и знакомый голос, который пытался вернуть его вниз.

Свет и мрак, верх и низ, небо и земля переплелись в мозгу Алфика Хеллота.

Мрак пространства, времени свет. Боль обратилась высокой радиомачтой, которая мигала красным светом, белым светом, громкой речью, желтым светом.

Капитан Хеллот силился дотянуться до рукоятки отстрела. Он не смог поднять руку достаточно высоко. Перегрузка была слишком велика. Он повел рукой вдоль края кресла, нащупывая запасную рукоятку. Кажется, поймал. Теперь или никогда. Другая рука протянулась к радиопульту, чтобы настроить его на нужную частоту. Большой палец нажал радиокнопку, и я услышал голос Алфика, далекий, неясный, на неправильной частоте, и он говорил без позывных — своих и моих, нащупывая рукоятки отстрела и истребления, переключатели и выключатели: дай мне совет и еще один и начерти карту по которой никогда не пройду сделаю твой последний шаг не отступай ни на дюйм когда все сорвалось и ты прорвался заметь себе это с хлеба на воду в любую погоду к ней от него из-под ног ушло ставь все на карту карты открой жизнь коротка кошке под хвост лови на слове держи меня в мыслях но не в мозгу сорви свое зло и банк сорви ставь жизнь на карту и пусть перебор так и должно

чересчур тяжело чересчур далеко чересчур далеко нести и след в небесах и фьорд в моем каменном сердце и весла без лодки и без уключин приведи меня в дом привяжи меня к женщине свяжи нас в узел когда придет час и надеждам придет конец

Алфик слышит шаги и видит отца в темном зеве подвала.

— Веселей шагай,— говорит отец,— если не хочешь отстать.

Через сад.

Отец — впереди с лестницей, которую он ставит нижним концом в землю, а верхним упирает в ствол под кроной самой высокой яблони. Алфик догоняет его, неся пустой ящик.

Яблоня сбросила незрелые плоды, а спелые они сорвали — все, какие можно было достать с земли. Остались яблоки только на самой макушке. Они берутся вдвоем за ствол и трясут. Два-три яблока проносятся мимо них и шлепаются на землю. И всё, остальные держатся крепко, сколько они ни раскачивают ствол с шелестящей листвой. Делать нечего. Придется отцу лезть наверх. Алфик подает ящик, Август берет его одной рукой, держась второй за перекладину. И карабкается вверх, вдыхая пропитанный осенним холодком прозрачный воздух. Рослый, костистый, узловатый мужчина одолевает ступеньку за ступенькой. Воздух еще светел, но уже за окоемом притаились сумерки, сулящие темную ночь и острый холод.

Держа лестницу, Алфик смотрит, как отец шаг за шагом поднимается вверх, пробирается между ветвями до самого конца лестницы; видит, как он протягивает руку и срывает яблоки. Слышит, как плоды стучат по тоненьким доскам ящичного дна.

Яблоня совсем старая, щетинится сломанными и отрезанными сучьями, кора покрыта паршой и плесенью, большое дупло залито гипсом, чтобы ствол выдерживал увешанную плодами крону. Август забрался в самую гущу, его почти и не видно за листьями. А он все продолжает подниматься. Все поднимается и поднимается, растет и растет, выше кроны, выше яблони, над ветвями и над листьями, выше дома и всего сада, до самого неба в памяти Алфика вздымается костистая фигура.

И вот уже, раскинув обе руки, отец парит в воздухе, ровно бумажный змей. Узловатое дерево медленно выпрямляется и вытягивается, становясь туго натянутой бечевкой, к которой привязан змей. А внизу на земле стоит мальчуган, стоит Алфик, сжимая бечевку потной рукой. Высоко в небесах на темных крыльях парит бумажным змеем Август, а у подножия дерева маленький мальчик стоит, не выпуская бечевку, не выпуская комель, который норовит оторваться от земли.

— Спустись! — слышит он собственный крик.— Спустись! Спустись.

И дергает тугую бечевку, дергает лестницу, комель, тянет двумя руками. И он справляется с задачей! Не зря старался. Август спускается через крону с ящиком в руках.

— Н-да,— говорит он,— не густо. Но все равно надо было сделать это. Лучше самим собрать яблоки, пока мороз их не сбросил.

Держа ящик на вытянутых руках, Август показывает его Алфику. И правда, не густо. Считай, только дно закрыто. А собрали все. Крона над ними пуста. Август ставит ящик на землю и берется за лестницу. Пятится назад от яблони, выжимая лестницу над головой, так что она ложится горизонтально в воздухе. Просовывает правое плечо в просвет между перекладинами, упирается ладонью в бедро. И несет лестницу к дому, пружиня ногами.

Алфик стоит и смотрит на полупустой ящик. Попробовать, что ли? Надо! Он берется за края и напрягается. Поднял! Получилось! И совсем даже не тяжело, ни капельки. Но ящик большой, а руки у Алфика короткие. Он ковыляет к подвалу, ступая ногами наугад.

— Оставь ты его!

Голос отца из подвального зева.

— Поставь ящик! — повторяет он уже не так громко и строго, когда Алфик сравнивается с ним.— Брось дерьмо это! Спину побереги!

Алфик ничего не видит и не слышит. Он весь напряжение, из глаз брызжут слезы, в ушах стучит кровь. Ноги подкашиваются, руки отваливаются, спина изогнулась дугой. Миновав отца, он спускается по трем ступенькам в подвал, проходит к котлу и грохает ящик на пол. Ноша больше не закрывает ему поле зрения. И он видит глаза матери.

Голос отца в разделяющей их тишине:

— Ну, ты молодцом!

Констанца опускает взгляд, наклоняется с ножом в руке над ящиком, берет яблоко и втыкает в него нож. Крупное тело ее словно вытесано тупым топором некоего деревенского мастера. Пальцы привычными движениями вырезают сердцевину яблока, снимают кожуру.

Август тоже спускается в подвал. Садится; глядя на него, садится и Алфик. Они смотрят на пальцы Констанцы. Лестница висит горизонтально на крючьях на стене дома. Август достает из ящика яблоко и подает сыну, берет одно и себе, вытирает о штанину, кусает и жует, наблюдая, как Констанца бросает очищенные яблоки в котел, а сердцевины — в мусор.

Большущий медный котел блестит надраенными боками. Констанца засыпает сахар, мешает длинным деревянным черпаком. Варево быстро вскипает, яблоки превращаются в сплошное горячее сладкое месиво. Дна котла уже не видно. Алфик открывает рот навстречу черпаку, который протянула ему Констанца, дует и пробует.

Обжигающая сладость во рту. Звук шагов на ступеньках за спиной. Август поднимается наверх, в дом. Воздух в подвале упоительно-сладкий.

На ходу отец говорит, не оборачиваясь:

— Ты там поосторожней! Не обожгись. Хватишь горячего, будет худо.

Констанца кончает размешивать. Ей и Алфику слышны тяжелые шаги в комнате у них над головой.

Над урезом воды тут и там четким контуром вдоль окоема возвышаются крутлые холмы. Море бороздят могучие волны. Чайки разгребают воздух тяжелыми взмахами. Белые космы морского тумана ползут внутрь страны над моренной равниной. Рейсовый самолет пронизывает облака над горами на востоке и разворачивается над отмелями, беря прицел на летную полосу.

Скотина на выгоне привычна к небесным телам и к гулу моторов. Коровки знай себе мычат и жуют жвачку, а овцы снуют в мелкóлесье на зеленом склоне, объедая свежие побеги на березах.

Взобравшись на макушку холма, они пасутся на лужайке под антеннами, коим явно нет дела ни до блеющих овец, ни до опьяненных весной попрыгунчиков-ягнят.

Но под коровьими тропами, глубоко-глубоко под травой и дерном, на дне сияющей голубизной пещеры в бомбостойкой горе я смотрел, как светящаяся белая отметка на индикаторе приближается к границе радиуса действия моей РЛС. Исчезающе малая величина... Белая электронная точка на экране передо мной — все, что оставалось от надежды. Рассказывали мне (Линда Хюсэен Хеллот рассказывала, не сам придумал), будто на холстах великих старых фламандцев всегда оставалась незакрашенная белая точка. В замкнутых пределах рамы, где царил диктат центральной перспективы, эта точка олицетворяла бесконечность. Скользя по баллистической траектории, белая точка на экране передо мной описала полную параболу и погасла, скрылась навсегда. Нам самим остается определить исторические и поэтические координаты этой кривой и на их основе вычислить точки перехода в бесконечность.

Бросив последний взгляд на экран, я убедился, что он пуст. Должно быть, именно в эту минуту до моего сознания дошло, что вместе мы располагаем системами наблюдения, которые хватают несравненно выше самолета У-2 и превосходят радиусом действия любые радары, системами, которые оснащены как ретроспектоскопом, так и интроспектоскопом и видят все — в прошедшем, и в настоящем, и в каждом отдельном человеке.

У-3.

Я выключил радар слежения и зашагал к выходу. Прежде чем выйти на солнце, передвинул стрелки часов на один час, переходя с военного на гражданское норвежское время.

За моей спиной компьютеры исправно капали свое «блиблип, блипблип, блипблип».

Спустившись в Ётто, я сел на мотоцикл и покатил сквозь весну на север, в Ставангер.

На таксисте, который привез телеграмму, была фуражка с черным околышем, под пиджаком — теплый свитер. От улочки, где ему пришлось оставить машину, к дому вел довольно крутой подъем. Он изрядно упарился, когда наконец нажал кнопку звонка.

По случаю хорошей погоды наружная дверь с клеточками толстых стекол была распахнута, и, отдышавшись, водитель расслышал доносившиеся из комнат обрывки радионовостей. Выступая в Верховном Совете, премьер-министр Хрущев сообщил, что первого мая, около девяти утра по московскому времени, над советской территорией в районе Свердловска был сбит американский самолет-шпион. Самолет направлялся из пакистанского города Пешавар в Будё на севере Норвегии.

Он позвонил еще раз, кто-то убавил громкость радио, и послышались шаги. Бывая в родных местах, Констанца Хеллот обычно останавливалась у сестры. Эта сестра и подошла теперь к дверям. Стоя на пороге, таксист видел прихожую с набором черных дождевиков, коричневых резиновых сапог и дамских зонтов. И обращенное к нему вопрошающее лицо женщины средних лет.

Его дыхание еще не совсем наладилось после рывка вверх по склону и не сразу колыхнуло голосовые связки. Он глубоко вдохнул, прокашлялся, глотнул, сделал новую попытку и смог наконец изъясниться достаточно внятно, чтобы узнать, что... фру Хеллот? Да-да, Констанца дома, здесь она. Сейчас, одну минуту.

Фру Хеллот всегда принадлежала к разряду женщин, внушающих почтение. И она нисколько не изменилась с тех пор, как он видел ее последний раз.

— В чем дело? — осведомилась она.

На мгновение ее взгляд встретился с его глазами и тут же опустился на конверт с телеграммой в его руке.

Он не ответил прямо. Начал с глубокого соболезнования. Как и было у него задумано. Дескать, люди стольким обязаны Авг. Хеллоту. И вот такое печальное событие. В расцвете лет. Когда он мог еще столько успеть.

Затем он подал ей конверт с телеграммой. Сколько времени прошло, как похоронили Авг. Хеллота,— две недели, три? Известно, беда редко приходит одна, но столько невзгод на голову человека — это уже чересчур. Лучше бы он таскал на себе живых пассажиров, чем приносить в этот дом новую скорбную весть.

Констанца Хеллот приняла телеграмму с каменным лицом. Ничем не обнаружила своих чувств. Даже сказала «спасибо». Почему-то он ответил тем же. Для прощания оба избрали учтивые «до свидания». До свидания. До свидания. После подъема в гору обратный путь к машине показался вестнику свободным падением. Такое облегчение он ощутил. Плюхнулся на сиденье и покатил обратно на стоянку, к покеру и философическим рассуждениям под облаками табачного дыма в дежурке.

Констанца Хеллот слыла сильным человеком. Она прочла телеграмму стоя, один раз, потом второй. Медленно разобрала по буквам короткое сообщение в третий раз. Подпись — генерал Эг, инспектор ВВС. Никаких сомнений быть не могло. Хотя каждое слово на телеграфном бланке было что удар остро наточенным топором, они не смогли ее повалить. Она устояла. Констанца была тверда, как скала. Развернутый бланк упал на чайный столик, а она устояла. Руки ее упирались в спинку кресла, словно штаги. И штаги не дрогнули, лицо не дрогнуло, и голос тоже не дрогнул, когда она рассказала сестре, что написано в телеграмме.

Рассказала и села.

С минуту они сидели молча, глядя друг на друга через столик; сестра — на кушетке, фру Хеллот — в кресле. Их разделяли полированная столешница, вязаная салфетка, верба в хрустальной вазе, объединяло столько пережитого вместе, что все было ясно без дальних слов.

Началась целеустремленная деятельность.

Ни в коем случае не предаваться ожиданию. Не сидеть сложа руки. Следовало встать. Найти человека с машиной. Собрать теплую одежду. Приготовить кофе и бутерброды. Уложить рюкзак. Главное — не сдаваться.

Констанца Хеллот ни секунды не сомневалась. Две мысли владели ею, две мысли,

а по сути — одна. Что Алфик жив и что она найдет его. Это — главное. Все остальное — в свой черед.

Вряд ли я самой природой предназначен на роль ангела-спасителя. Думаю, я вообще ни в какие ангелы не гожусь. И все же не приходится сомневаться в том, что именно я спас положение. Deus ex machina[1] — так эта роль называется в драматургии. После того как два главных женских персонажа перебрали и отбросили все варианты: начальника местной полиции, аварийную службу и прочие земные силы (заметьте — небесных в расчет не брали), внезапно раздался звонок в дверь.

Звук больно ударил в уши. По лицам скользнула тень. Но звонок повторился. Констанца собралась с духом и пошла к двери.

Она не узнала меня. Иначе и быть не могло, если вспомнить, как старательно я держался в тени на всем протяжении этого повествования. А теперь вот явился, и, судя по холодному выражению ее лица, она видела перед собой всего лишь незнакомого молодого человека. Молодого человека без телеграммы в руке, непохожего на доставщика черных вестей.

Мы молча смотрели друг на друга, пока я не протянул руку и не представился. И как же она смутилась!

— Персон! Да ведь это Персон! Не сойти мне с этого места! Надо же, как люди меняются!

Так или примерно так реагировала Констанца Хеллот; я же с присущей мне серьезностью кивнул головой и вошел, подчиняясь ее приглашению.

Да, я слышал утренний выпуск последних известий. Я знал, что произошло. Сообщение об Алфике прочли во второй части выпуска. Главная новость касалась североамериканских властей, которые, как теперь выяснилось, обеими ногами угодили в русский капкан. Хрущеву оставалось только предъявить добычу: американский шпионаж, тайные операции, ложь. Пилот с У-2 жив. Сидит у русских в тюрьме. И самолет у них в руках. Государственному департаменту в Вашингтоне пришлось отказаться от своего первоначального утверждения, будто речь шла о сбившемся с курса самолете метеослужбы. Президент Эйзенхауэр тоже признал, что самолет выполнял разведывательное задание. Он взял всю ответственность на себя и заявил, что, поскольку Советский Союз — закрытая страна по сравнению с открытыми обществами Запада, демократические государства вынуждены добывать информацию нетрадиционными способами.

И уже после рассказа о свадьбе английской принцессы и о фотографе Армстронге-Джонсе диктор сообщил, что во время полета над Южной Норвегией пропал одноместный истребитель типа «104 Локхид». Поиски истребителя и его пилота, капитана Алфа Хеллота из Ловры, на первом этапе будут концентрироваться в районе между долинами Сетесдал и Сирдал и Форсандом в губернии Ругаланд. Слух об атомных боеприпасах на борту пропавшего самолета опровергался Главным штабом как злостный и ни на чем не основанный бредовый вымысел. Это же относилось и к измышлениям о некой связи между исчезновением истребителя и делом У-2.

Горный район на стыке губерний Ауст-Агдер, Вест-Агдер и Ругаланд. И это они называют концентрацией! Подумал я, но вслух ничего не сказал.

Одетый с прицелом на дальнюю дорогу, словно полярник, я ограничился тем, что снял теплый пояс, после чего опустился на широкую кушетку с вышитыми подушками, над которой висел на стене красивый коврик.

Констанца Хеллот остановилась передо мной, опираясь руками на спинку кресла. Сестра стояла за ее спиной. «Для страховки,— подумалось мне,— если Констанца вдруг упадет».

Но Констанца крепко держалась на ногах.

— У тебя отпуск? — спросила она.

— Нет, запуск.

Телефонный звонок заглушил дурацкую остроту. Я продолжал сидеть, фру Хеллот стоя прислушалась, когда ее сестра взяла трубку.

— Констанца! Тебя!

Фру Хеллот уже шла к телефону. Сестра передала ей трубку. Осторожно передала, как будто слабый контакт мог прерваться от резкого движения.

---

[1] Бог из машины *(лат.)*.

— Это Линда. Жена Алфика. Невестка, стало быть. Она живет в Рюгге, в губернии Эстфолд.

Объяснила младшая сестра фру Хеллот. Больше ей нечего было добавить. Да и мне тоже. Мы сидели, глядя по сторонам и рассеянно постукивая по полу ступнями. Телефонный разговор доносился до нас лишь обрывками. Но я вдруг вспомнил фамилию. Сестры. Тьёднарё. Мы с фру Тьёднарё ждали. Я сказал:

— Будем надеяться. У них теперь отличные катапультируемые кресла. Стопроцентная гарантия.

Констанца Хеллот вернулась к нам.

— Она приедет, как только освободится. Ей надо договориться в школе, чтобы отпустили. И еще у нее сын на руках, так не бросишь. И Линда есть Линда: утешает себя тем, что кто хочет выиграть свою жизнь, должен ее потерять.

Мы собрались за полчаса. Я еще раньше позвонил по двум номерам. Командование ВВС, сектор Южной Норвегии. Спасательная служба. Получил обещание, что еще до конца дня нас забросят в район поисков. Только время и путь отделяли нас от цели.

Черная шиферная крыша. Шершавые доски черных стен. Серая кладка крыльца с одинокой полосой ржавых перил. Три голых окна, испускающих резкое прямоугольное сияние. Фары мазнули светом стены школьного здания, преподавание в котором, должно быть, кончилось с введением эволюционного учения Дарвина. Но которое теперь вновь нашло применение, для других целей. Фары выключились, выключился и мотор.

Констанца первой выбралась из джипа, я соскочил следом. Стоя по бокам капота, мы попытались сориентироваться. За школьным зданием сплошной стеной стоял туман. Раннее утро, но мы уже давно находились в пути. Рассвет только занимался, когда из Хаукелигренда вертолет перенес нас на юг через горы в Ховден. Солнце уже отметило желтыми кляксами самые высокие вершины, когда мы нырнули вниз, в густой туман между горными склонами. На земле, на скверной грунтовой дороге под туманом, нас ожидал джип без дверец, с поднятым верхом.

Поездка длилась недолго. Я засек время. Мы добрались до места за пятнадцать минут. Штаб поисковых работ обозначил себя фарами военных грузовиков, доджей и полицейских джипов, яркими окнами школьного здания. Следуя за доставившим нас шофером, мы пошли вдоль высокого фундамента бывшей школы.

На переднем сиденье одного из полицейских джипов сидел пожилой мужчина в расстегнутой зеленой штормовке, бриджах и охотничьих сапогах. На коленях у него лежала пачка топографических карт, которые он машинально перелистывал свободной рукой, говоря при этом что-то в микрофон переносной рации с качающейся трехметровой антенной. Рация висела на груди военного связиста, стоявшего возле джипа. Закончив переговоры, мужчина в штормовке вернул связисту микрофон и представился нам, новоприбывшим.

Хокон Фридтьофсен. Урядник, проводник, охотник, отчеканил он, улыбаясь. Он сразу смекнул, кто такая Констанца, но одинаково сердечно поздоровался с нами обоими. Однако сверх обычных вежливых фраз он мало что мог сказать, хоть и проявил полную готовность честно поделиться тем немногим, что ему было известно. По всей долине Сетесдал были мобилизованы члены групп гражданской обороны. К ним присоединилось много добровольцев. Весь вчерашний день прочесывали местность в западном направлении, но ничего не нашли. Пока что никаких следов. Такое вот положение. По-своему, это даже хороший признак. Есть на что надеяться. Поиски продолжались до позднего вечера. Но после того, как всерьез сгустился туман, искать с вертолета стало невозможно. Из Эвье в помощь поисковикам выехала рота новобранцев. На просьбу Констанцы Хеллот показать границы области, где ведется поиск, он начертил указательным пальцем на карте большой и малоутешительный круг.

Так в основном обстояли дела. Хокон Фридтьофсен выбрался из джипа. В районе Слуарус поиски уже развернулись полным ходом. Там погода вроде бы получше. Что до дальнейших планов, то он обещал вернуться к этому вопросу. После чего указал рукой на крыльцо и пропустил нас с Констанцей вперед.

В помещении царил собачий холод. На низких желтых партах с прямой спинкой и наклонной крышкой сидели полтора десятка гражданских и военных должностных лиц. Дружно повернувшись к двери, офицеры и члены групп гражданской обороны увидели, как спортивно одетые пожилая женщина и молодой мужчина заняли места в заднем ряду, тогда как начальник местной полиции проследовал мимо парт на кафедру.

Хокон Фридтьофсен не стал тратить время на вводные фразы и формальности. Он начал инструктаж с того, что, повернувшись к аудитории спиной, стал с лихорадочной скоростью чертить что-то на доске. Чертил он молча, когда же снова повернулся к нам, все увидели на доске подобие карты, изображающей горную область к западу от долины Сетесдал к югу от Дюрахейо и к северо-востоку от долины Сирдал. Дикий, необжитый край. Приступая к объяснению, Фридтьофсен вооружился сломанной линейкой и показывал ею пункты и направления. Длиннющая шея и большой рот на маленьком круглом лице придавали его голове сходство с верхушкой перископа.

И то, что виделось ему через этот перископ, явно внушало какую-то надежду. Совсем маленькую, но все же реальную. Фридтьофсен повел линейкой через перевалы на запад, к самым глубоким и узким фьордам Рюфюльке.

— Ньярдархеймен,— говорил он, стоя вполоборота к аудитории.— Как известно, в Ньярдархеймене на каждом шагу есть хижины. Это может сыграть решающую роль.

— Речь идет о туристских хижинах?

Фридтьофсен повернулся к задавшему вопрос:

— Нет, генерал Эг. В основном не о них. Конечно, и туристские есть, но преобладают хейбергские хижины.

— Хейбергские хижины? — Генерал умел придавать своему голосу звучание, предполагающее немедленный ясный ответ.

И за ответом дело не стало:

— Да, генерал. Это хижины, которые названы в честь основателя так называемого «Заказника Ньярдархеймен», Турвалда Хейберга из Осло. В начале века в нашей стране все еще были такие порядки, когда частное лицо могло приобрести обширный дикий район в собственное владение. Именно это и сделал доктор Хейберг. Он приобрел тысячу квадратных километров горных пустошей с высотами от восьмисот метров и больше, вершины до полутора тысяч.

Фридтьофсен излагал, точно местный краевед, оседлавший любимого конька:

— А целью этой его сделки было сохранить в неприкосновенности пастбища для популяции диких оленей к югу от Хаукели. При этом Хейберг предоставлял желающим за плату права на охоту и рыбную ловлю. Поставил дело на широкую ногу, напечатал каталоги на английском языке с точным указанием правил и сроков охоты, пунктов питания, с адресами местных носильщиков и проводников. Здесь, в Хейбергхейа, на зверя в себе охотились такие люди, как маршал Маннергейм и француз Андре Жид. Предполагалось, что таким образом заказник будет сам себя окупать, но этот план не удался, и во время войны Хейберг был вынужден уступить свое горное владение государственной организации, которая контролировалась норвежскими нацистскими властями. Они-то и придумали название «Заказник Ньярдархеймен». Как известно, Ньярд в древненорвежской мифологии — бог моря, ветра и урожая. И в последние годы войны охотничьи угодья Хейберга были пристанищем оккупантов, скоробогачей и нацистских заправил. Но до той поры Хейберг успел построить здесь, в горах, три десятка больших и малых хижин. На них-то нам теперь и следует ориентироваться. Если капитан Хеллот отстрелился и сумел добраться до какой-нибудь из хижин, он может продержаться сколько угодно, даже если получил травму, когда приземлился. Будем надеяться.

Фридтьофсен коротко объявил, как будут дальше вестись поиски. Один отряд выйдет на прочесывание из Бюкле и проследует в заказник кратчайшим путем вдоль южного берега озера Бутсватн. Новобранцы из Эвье вместе с группой добровольцев стартуют в Нумеланде, что в тридцати километрах южнее по этой долине, и пойдут на запад по Хейбергской дороге в долине Фардал, курсом на Рускреппфьорд, после чего повернут прямо на север. Таким образом, оба отряда могут сойтись у озера Гювасс, где у самой границы губерний Ауст-Агдер и Ругаланд стоит одна из хейбергских хижин, похожая больше на крепость, чем на туристский приют. В заключение Хокон Фридтьофсен напомнил, что в горах Вестхеа еще лежит глубокий снег. Поднявшись из долины, придется стать на лыжи. Добавив несколько слов насчет порядка поисков из Хаукели,

он закончил инструктаж, отложил указку и отпустил слушателей, не стирая чертеж с доски.

Я посмотрел на Констанцу. Констанца Хеллот спала — или делала вид, что спит. Возраст давал себя знать. Мы больше суток находились в пути. Колонна продолжала движение вниз по долине в сторону Валле. Водитель старался не отстать от идущей впереди машины. Я видел только растворяющиеся в тумане габаритные огни. Уйду в сновидение, где к скалам лепится красный снег, вернусь — все та же картина. Водитель полулежит на баранке. Констанца Хеллот спит, навалясь на плечо Фридтьофсена. Так мы проехали через Валле. Туман не хотел редеть. Хокон Фридтьофсен оставил попытки разговорить нас и углубился в изучение своих карт.

У селения Нумеланд мы свернули с шоссе направо. На обочине стояли мальчуганы в широких бриджах и шерстяных шлемах с завязками. Они деловито махали руками тупоносым грузовикам нашей колонны.

Большинство боковых долин, впадающих в Сетесдал, в устье узкие, а выше расширяются. Все же машины вскоре забастовали. Не помогли ни цепи, ни широкие протекторы. В крутой теснине колонна встала. Дальше дорога не была расчищена. Оставалось только разгружать машины и топать своим ходом. Видно, неожиданная остановка после ровного движения вперед разбудила Констанцу. Она сонно поглядела на водителя, который ответил своей инфантильной улыбкой. Следом за Хоконом Фридтьофсеном она сошла по ступенькам на землю. Я спустился последним. Мы стояли на мокром снегу в глубокой колее с высокими сугробами по бокам. Я прошелся вокруг машины, разминая ноги. Под брезентом в кузове лежали рации, пустые ящики из-под боеприпасов, камуфляжные сети, старые канистры.

Плюс наши рюкзаки и счетчик Гейгера. Констанца забрала его и влезла на сугроб. Ее силуэт четко рисовался на фоне тумана, и я увидел, как она надевает наушники. Стронций-90 не подал голос. Я слышал только, как пятятся грузовики, развертываясь на обочинах.

Дальше путь в горы указывали глубокие следы военных сапог. Новобранцы из Эвье уже час как вышли на поиск. Теперь двинулась в путь армия добровольцев. Впереди шагал Фридтьофсен, за ним по пятам следовала Констанца. Нам выдали две пары военных лыж. Взвалив их на плечи, я шел третьим.

Километра два топали мы сквозь туман, ничего не видя. Березки по бокам тропы все больше съеживались. Под конец из снега торчали только верхушки вереска да кусты можжевельника. Мы миновали границу леса и вступили в зону кустарника. Чем дальше — тем глубже снег, тяжелее идти. На южных склонах тропа пересекала клочки голой земли. Выше, где ветер без помех обгладывал кручи, над снегом темнели утесы с пятнами лишайника.

Хокон Фридтьофсен уже распорядился, чтобы люди рассыпались цепочкой вправо и влево. Теперь, подчиняясь его команде, цепочка двинулась вперед. Я сохранял зрительный контакт с Фридтьофсеном справа и отчетливо видел Констанцу Хеллот слева. Еще дальше шли за мной другие люди. Да, Персон вышел из бункера, вышел на поверхность земли из толщи бомбостойкого гранита. Я расправил крылья, и размах моих крыльев был неимоверен. Руками, чья длина измерялась количеством людей на свете, я обнимал всех, кто приходил ко мне, прижимая их к своему усталому и уязвимому телу.

Мы медленно пробирались по неровной местности. По колено в мокром снегу. Сквозь просвет в тумане мимо проплыл бледный серп дневной луны. Я видел, что Констанца то и дело включает счетчик Гейгера, однако наушники явно не тикали. Ни ее радиоактивный слух, ни мой радарный глаз не помогали. Мы не видели ни Алфика, ни его стронциево-красных следов. Но туман был наполнен звуками, шагами, людьми. И текущей водой рек, водопадов, перекатов. Сверху, прерывисто махая крыльями, на нас спикировал бекас, производя блеющий звук хвостовыми перьями. Вышел из пике и снова взмыл вверх.

Я чувствовал печенкой. Мы подошли совсем близко. Где-то в тумане лежали останки сверхзвукового истребителя. И пилота. Великая надежда, разбитая вдребезги. Или: где-то в густой пелене торчат над землей обломки самолета, из них встает Алфик и спокойно шагает навстречу нашей цепочке, освободясь от фюзеляжа, освободясь от кресла, что его катапультировало, от парашюта, затормозившего свободное падение, от

спасательного жилета и аварийного костюма. Последняя, великая надежда, не оправданная, но выпущенная на свободу. Алф Хеллот — уверенной поступью навстречу объятиям тысячерукой цепочки.

Но нет, ко мне не приближались знакомые шаги. Справа пропал в тумане Хокон Фридтьофсен. Слева я все еще видел, как движется размытый силуэт Констанцы Хеллот.

Я поймал себя на том, что напрягся до предела.

Констанца Хеллот позвала меня, и я откликнулся.

— Ты что-нибудь нашел?

Кажется, я наступил на ящик самописца прежде, чем разглядел его. Затем я увидел и другие вещи. Алфика явно разбросало на большой площади. Проник ли он глубоко в землю и слился с ней воедино, не знаю. Сам-то я выбрался на поверхность.

— Ты нашел что-нибудь? — Голос тонкий и матовый.

Саму Констанцу не было видно.

Я подобрал самописец и пошел на звук.

Кода

22 года — долгий срок. Дети вымахивали выше твоей головы. Клетки твоего тела, по данным науки, сменились три раза. Всего три года осталось до истечения срока давности для тяжких преступлений, вроде убийства. Такой же срок секретности предусмотрен в цивилизованных странах для некоторых документов.

Словом, 22 года — очень долгий срок. Майор Брурсон, мой добрый коллега по регулярным инспекциям, в частности в районах Викшё и Томасэльв, изменил, как ни странно, свои взгляды на политику безопасности и перешел из Верховного командования на другую службу, в системе гражданской обороны. Вот какой это долгий срок— 22 года. Но недостаточно долгий, чтобы предавать гласности мое доброе имя и мои добрые дела. Я по-прежнему могу наблюдать политические боеголовки на все более совершенных радарных экранах. Нас не видно, но мы видим.

За 22 года можно также построить невероятное множество огромных отелей. Так, в Будё авиационная компания САС воздвигла гостиницу, в которой я насчитал не менее 16 этажей. Туда я и направился.

Но по пути я сперва заглянул в магазин Отто Коха. Меня ожидал жестокий удар. На месте рыбного прилавка стоял холодильник с мороженым филе и рыбными котлетами. За балыком надлежало отправляться в Рейне на Лофотенских островах или к черту на кулички. Так что я вышел без покупки, свернул на Морскую улицу и с почтением в душе проследовал мимо гостиницы «Нуррёна», воздержавшись, однако, от дегустации шведского стола.

Взяв в цокольном этаже САСовской гостиницы свежие газеты, я поднялся на лифте в бар под крышей. Я оказался первым в этот день клиентом. Плакат за стойкой извещал, что The Noise of the Planes is the Noise of Freedom. Понятно: от самолетов такой же шум, как от свободы. Я сел у стойки в радарном свете и заказал полярный коктейль. Что дало повод бармену снисходительно посмотреть на меня и завязать следующий обмен репликами:

— Но ведь еще нет трех часов.

— Но уже без пяти двенадцать.

— Верно, без пяти двенадцать.

— Вот и спрашивается,— сказал я.— Как нам быть? Я знаю человека, который мог изменять время, мог парить высоко в воздухе и передвигать стрелки всех городских часов.

— Он двигал их вперед или назад?

Я сказал «вперед», но вряд ли бармен услышал мой ответ, потому что в эту самую минуту зашел на посадку перехватчик — кажется, теперь они называются Ф-16 — и гул свободы положил конец нашей беседе.

Заполучив с помощью жестов пиво, я раскрыл газету и просмотрел выводы в докладе Комиссии по расследованию. 22 года — долгий срок. Но наконец-то стало возможным сообщить, что действительно 13 мая, во второй половине дня, в снегу около хижины Гювасс был найден самописец (с ретроспектоскопом и интроспектоскопом).

Моя фамилия предусмотрительно не упоминалась в этой связи. Никаких других следов самолета и летчика не было обнаружено. Иначе говоря, в распоряжении Комиссии находились весьма скудные технические данные. Тем не менее она пришла к не слишком вразумительному выводу, что самолет вошел в нижний слой логосферы и сгорел от «плотности частиц в языковых фонемах», как было сказано на таинственном профессиональном жаргоне.

Я достал блокнот малого формата с тридцатью нелинованными листками. В нем запечатлено все, что я подслушал собственными ушами и видел на различных радарных экранах, плюс самые необходимые связующие комментарии с моей стороны. Найдя последний чистый листок, я стал записывать кое-что из литературы, которой пользовался, составляя упомянутые комментарии,— от Вулфа Т. до Мадсена А., Хамре Л. и Христенсена Д.

За окном угасал короткий день. Пещерный полярный свет в помещении и на улице напоминал мне РЛС, и блокнот уподобился планшету для радиолокационных данных.

Я писал. Где-то в другом конце гостиницы дискомашина ритмично отбивала свои 125 ударов в минуту.

Откуда она?

Эта страсть обозначить буквами на бумаге шум? Пустоту, цветовой спектр, ритмомашину? Темноту? И молчание? Промежуток, расстояние и застой? Других людей?

Перехватчик сел, развернулся в конце полосы и стал носом к ангарам рассредоточения. Его заземлили, снимая заряд статического электричества.

Гул свободы затих. Тишина — не она ли звук, что связывает нас воедино?

Скрип пера по бумаге, чуть слышный.

Тишина.

Рука, что ее нарушает.

Октябрь 1982

■

Публицистика

БОГУСЛАВ ШНАЙДЕР

ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Главы из книги

Перевод с чешского ВИКТОРИИ КАМЕНСКОЙ

«Золотой треугольник» включает в себя гигантскую гористую территорию северной Бирмы, северного Таиланда и западного Лаоса, захватывает он и южную границу Китая. Это беспокойный край, откуда порой просачиваются в мир сообщения о боях, о наркотиках и о «личных» армиях. Населена эта территория невероятной смесью народностей, племен и рас, которые отличаются друг от друга языком, обычаями и оттенком кожи.

Горы северного Таиланда населяют восемь основных этнических групп, а в Лаосе их даже тридцать. В Бирме племенные разногласия — главная причина необъявленной гражданской войны, без которой с наркотиками было бы справиться куда легче. Север страны, край крутых горных хребтов, холмов и скал, кое-где прорезаемых широкими долинами, уже три десятилетия находится вне контроля центрального правительства. На картах тут порой заштриховывают крошечные государства, о которых ничего не сообщают ни школьные атласы, ни учебники географии. Федерация Карен, государства Ва, Кэндун, Кая, Качин... Самые завзятые бунтовщики — племя шанов, говорящее на одном из тайских диалектов. Они обитают на северо-востоке страны на границе Таиланда, Лаоса и Китая. В отличие от остальных горских народностей они селятся на плоских равнинах с плодородной почвой и обилием влаги.

В прошлом каждая обширная долина представляла собой миниатюрное государство, отделенное от соседей горными хребтами. Во главе его стоял с а в б в а с — феодальный владыка, окруженный родовой знатью.

Крестьяне выращивали достаточно риса и овощей благодаря чему развивались и росли сравнительно крупные города с ремеслами и торговлей. Будучи в состоянии удовлетворить большинство своих нужд собственными силами, эти карликовые государства жили тихо и мирно, в стороне от магистральных дорог. Они не испытывали потребности ни в воссоединении, ни в сильной централизованной власти. Вековая разобщенность препятствовала созданию единого государства.

Когда в конце восьмидесятых годов прошлого века англичане дошли до шанских гор, они быстро поняли, что попытка уничтожить мелкие государства привела бы к постоянным конфликтам. В отличие от северо-западной границы, где сталкивались интересы Британской империи и царской России, северо-восточная оконечность тогдашней Британской Индии, нынешняя Бирма, не представляла стратегического интереса. Для проникновения в китайскую провинцию Юньнань достаточно было бы провести железную дорогу и шоссе.

А потому вместо большой экспедиции в государство шанов было направлено всего лишь два британских отряда, в каждом — двести пятьдесят человек. Командиры получили скорее дипломатическое, чем военное задание — убедить колеблющихся савбвасов, что с их стороны неразумно мечтать о присоединении к тайскому королевству и тем более — к Юньнаню.

Тридцать четыре правителя мудро рассудили, что два небольших отряда, которые прошли через все владения шанов, могут быть предвестником многочисленных армий. Поэтому, не проявляя строптивости, они дали согласие на строительство железной дороги.

Их не слишком волновал тот факт, что их интересы за границей будет представлять Лондон. «Заграницей» для большинства была соседняя долина, где они имели достаточно знакомых и без англичан. Им нужно было одно: чтобы чужеземцы оставили их в покое.

Под британским флагом в миниатюрных государствах продолжали спокойно править местные деспоты.

Продолжение. Начало см. в № 3.

Когда в 1947 году Бирма вступила на путь независимости, в Рангун, чтобы выказать поддержку центральному правительству, явились и представители горских народностей с севера страны. За это правительственные органы будущего Бирманского Союза пообещали им широкую автономию. Однако уже через несколько месяцев выяснилось, что обе стороны понимали автономию по-разному.

Большая империя, каковой была прежняя Британская Индия, могла довольствоваться лишь номинальной властью над далеким уголком своей территории. Независимую же Бирму это не устраивало, и она вступила в конфликт с девятью миллионами собственных граждан.

Восстание каренов, которым вскоре после провозглашения независимости едва не удалось захватить Рангун, показало военную слабость центрального правительства. Вскоре вспыхнули еще четыре восстания. Десять народностей провозгласили независимость и создали собственные «правительства». Восемь «армий» расположились лагерем на территории Таиланда, еще пять — у самой бирманской границы. Кроме них на севере действовали «личные» армии отдельных военачальников.

Джунгли, непроходимые, буйные,— идеальный театр военных действий для партизан. В этих условиях использование самолетов, танков, бронетранспортеров, понтонов теряет смысл. Джунгли, кишащие змеями, грозящие всякими неожиданностями,— естественный враг солдат регулярной армии, привыкших к казарменным удобствам. Дикая сила джунглей кажется неодолимой. Все здесь борется за солнечный луч и душит друг друга, новые корни впиваются в стволы упавших деревьев, не дожидаясь, пока те сгниют и превратятся в труху. Лианы, молодые побеги за какую-нибудь неделю поглощают поляны, пускают корни в покинутых человеческих жилищах.

Бесконечная гражданская война напоминает ничейную ситуацию, хорошо известную по шахматам: обе стороны повторяют ходы. До тех пор пока бирманская экономика не окрепнет настолько, чтобы правительство могло предложить горцам лучшую жизнь, его армия не сможет окончательно победить.

Но пока продолжаются бои, не может развиваться экономика. Все соперничают друг с другом, а временами и воюют, вчерашние союзы распадаются, повстанцы поступают на государственную военную службу и вновь дезертируют, когда послушание становится невыгодным. Если оставить в стороне политические лозунги, во всех этих событиях можно обнаружить логическую связь. Каждый, кто хочет иметь армию, должен запастись оружием. Кто стремится заполучить оружие, должен раздобыть денег. Кто хочет заработать денег, должен продать опий. В горах загустевший сок маковых головок — единственное идущее на экспорт сырье.

Цепь причин и следствий действует, разумеется, и в обратном порядке.

Каждый, у кого есть опий, должен достать оружие, потому что иначе он быстро потеряет все. Если у кого-то есть оружие и деньги, он спокойно может «объявить» о создании нового государства и переименовать свою шайку контрабандистов в освободительную армию.

Торговля настолько тесно сливается с политикой, что порой и посвященный не способен отличить одно от другого.

Бирма, словно огромный валун, лежит между Стамбулом и Сингапуром. По ее территории не проходит ни железнодорожная линия, ни транзитная шоссейная дорога. Владелец таиландского автомобиля, надумай он посетить Индию, должен был бы выехать в противоположном направлении. Только в Пинанге, в глубине полуострова Малакка, он мог бы погрузиться на паром и по воде объехать соседнюю страну.

Дело в том, что иностранцам въезд в Бирму запрещен. К радости всех авиакомпаний, они могут прибыть в страну лишь через рангунский аэропорт.

Давняя японская мечта о железной дороге между Сингапуром и Индией так и не осуществилась. Мост через реку Куай, с такими затратами построенный во время второй мировой войны, соединяет несколько километров ржавых рельсов, которые никуда не ведут. Бирма, добровольно отрезанная от окружающего мира, не заинтересована в транзитной железной дороге. Десятки лет отказывая в гостеприимстве всем чужестранцам, эта страна выдает ныне всего два вида туристских виз: на день и на неделю. Учитывая трудности с транспортом, семи дней хватает только на посещение Рангуна, путешествие пароходом по Иравади к бывшей королевской резиденции Мандалай да, пожалуй, еще на поездку к развалинам Пагана. Поездки в северные горы запрещены.

Особенность бирманской границы состоит не только в том, что за ней не углядишь,— невозможно понять, кого она разделяет: друзей или врагов. Интересы государств по обе ее стороны запутанны и неясны.

Бирманцы и тайцы, объединенные буддийским учением, соперничали столетиями — как англичане и французы: упадок одних сулил возвышение другим. Страх перед сильной Бирмой укоренился в подсознании всех таиландских политиков. Из тайских учебников истории так и выпирает обвинение в опустошении Аютии. Бирманские учебники, по всей вероятности, приводят печальные примеры противоположного свойства — ни один народ не стремится предстать перед потомками варварами или вандалами. Эта многовековая вражда влияет и на нынешнюю политику.

Обе враждующие стороны смотрят сквозь пальцы на мелкие правонаруше-

ния в пограничной полосе — если они во вред противнику. На таиландской территории находятся базы почти всех бирманских повстанческих армий. Предприимчивые тайские купцы без ограничений продают им оружие и боеприпасы. Зато под надежным прикрытием бирманской границы процветают лаборатории, превращающие опий-сырец в героин — утеху тайских наркоманов.

Пограничная полиция обоих государств не признает взаимного сотрудничества, а политики не бросаются друг другу в объятия даже во время официальных визитов. И тем не менее обе страны заботятся, чтобы взаимная неприязнь не выходила за рамки мелких козней.

И потому обе стороны следят за тем, чтобы не превысить меру терпения. Бирма не поддерживает недовольство горских племен в Таиланде, которое время от времени дает себя знать то миной на шоссе, то короткой перестрелкой. Таиланд в свою очередь воздерживается от искушения еще сильнее раздуть пожар войны в государстве шанов, хотя те и говорят на родственном тайцам наречии.

Торговля больше идет по тайным тропам через джунгли. С севера Бирмы в Таиланд движутся караваны мулов, торговцы оптом скупают потребительские товары. Никакая статистика не регистрирует эту своеобразную внешнюю торговлю, однако терпят ее не только тайцы, которым она выгодна, но и бирманцы.

Строго централизованная и управляемая государством бирманская экономика долгие годы сражается с собственной тенью. Процент ее роста — один из самых низких в Азии, несмотря на богатые источники минерального сырья и плодородие почвы. Бирма, которая некогда была крупнейшим экспортером риса во всем мире, теперь по урожайности на гектар не достигает даже довоенного уровня. Без контрабанды, составляющей, как утверждают злые языки, единственную процветающую область бирманской экономики, остановился бы ряд государственных предприятий.

Через территорию народности карен проходит за месяц более тысячи мулов с контрабандой. Из Таиланда в Бирму движутся длинные караваны с грузом велосипедов, стиральных порошков, транзисторов, часов, обуви, белья, сигарет, зубных щеток. В обратном направлении текут предметы старины, нефрит и знаменитые могокские рубины. За провоз этих товаров карены требуют 17% цены, которую купец получит за них на черном рынке в Таиланде. Возможности проскользнуть мимо «контрольных» караулов почти не существует.

Интересно, что ни один торговец не пытается перехитрить самозваных таможенников, работающих куда добросовестней, чем иные их официальные коллеги. В джунглях действует не закон джунглей, а коммерческий расчет. Если бы повстанцы начали слишком усердно обирать караваны, контрабандистам пришлось бы пробиваться через их территории с помощью «личных» армий, а ведь патроны стоят дорого.

Система пошлин, позволяющая каренам вести войну и покрывающая 85% их бюджета, к сожалению, имеет последствия, выходящие далеко за пределы внутренних рамок Бирманского союза.

Чем дальше таиландские товары проникают в Бирме на запад, тем они становятся дороже. Близ Мандалая и обыкновенный фонарик представляет собой богатство, потому что его цена включает не только деньги, которые контрабандисты за него отдали, но и расходы за транспортировку, и пошлины, и прибыль посредников.

Но даже все драгоценные камни и предметы старины, поступающие из Бирмы, не способны уравновесить непрерывный поток ввозимых предметов первой необходимости. Дефицит в торговле могут возместить только наркотики. Горцам, даже если бы они этого пожелали, не остается иного выбора: купцы не хотят брать у них ничего иного.

Контрабандисты, которые без опия лишились бы хлеба, не размышляют о неблаговидном характере своей деятельности. Они заботятся о тягловом скоте и усердно смазывают винтовки, платят пошлину повстанцам и изобретают способы перехитрить полицию. Одна из буддийских заповедей запрещает повреждать статуи Просветленного. И вот носильщики нередко идут через джунгли с грузом уродливых гипсовых Будд, старательно упакованных в пенопласт. Каждая из маленьких статуй начинена героином. Полицейский патруль, встретивший необычный караван, разумеется, подозревает подвох. Но примерные буддисты-патрульные, молча расступившись, позволяют странной процессии пройти мимо.

Бывает и такое: контрабандисты купят у голодной многодетной семьи за малую толику риса девочку. Ребенка убьют, выпотрошат живот и легкие и набьют их наркотиками. В течение двенадцати часов — прежде чем в трупе обнаружатся первые видимые изменения — они успевают перенести тело через границу. Кому придет в голову подозревать озабоченных родственников, поспешающих с потерявшим сознание ребенком к врачу?

Я продолжал размышлять над сложностями «золотого треугольника» еще и в ночном автобусе на Чианграй, так и не придя к заключению, что предпринять. До похорон генерала Туана оставалось менее двух дней. Не опоздаю ли? И потом, бывшие гоминьдановцы в своих лагерях не слишком любят незваных гостей.

В главном городе самой северной провинции Таиланда я пересел на автобус, направлявшийся к пограничному городку Мэсай. Я надеялся, что непосредственно на границе больше узнаю о загадочном поселении в горах...

Все вокруг тонуло в грязи. Ливень шел всю ночь и утро. Юго-западный муссон превратил единственную ведущую в горы дорогу в сплошное скользкое месиво. Владелец грузовичка марки «пежо» пытался ее одолеть. Пословица «Тише едешь — дальше будешь» сюда не подходит. При медленной езде машина замирает и колеса бешено буксуют. Выручает лишь большая скорость. Но достаточно незначительной ошибки — и автомобиль соскользнет с узкой дороги, врывшейся в бок горы, и превратится в груду покореженного металла.

Я думал, что после Суматры меня уже ничем не удивишь,— привык к смуглым шоферам, которые вели себя за рулем как пилоты-камикадзе.

И все же, сидя в наемном грузовичке, я обмирал от страха. Я понял, что одинокий шофер, отважившийся пуститься в путь по опасной горной дороге в привычном к асфальту автомобиле, не дорожит своей жизнью. Он сражался с баранкой, словно боксировал с невидимым соперником, без всякого выражения на застывшем лице, но на поворотах машина флегматично съезжала все ближе и ближе к краю пропасти. В те моменты, когда вспотевшие от страха пассажиры готовы были перемахнуть через задний борт, шофер до предела жал на акселератор и каким-то чудом удерживал грузовичок на дороге.

На узком длинном гребне нам показалось, что уходящей в облака дороге карабкаться больше некуда, но, едва мы облегченно вздохнули, как ее поглотил откос новой горы, поросшей бамбуковыми джунглями. На крутом вираже мы увязли.

Мы вылезли из грузовичка и, стоя по колено в грязи, упираясь плечами в кузов, пытались хотя бы на несколько сантиметров сдвинуть его с мертвой точки. Снова начало накрапывать. Я удрученно посмотрел на часы. Полвторого. Наверное, я уже упустил возможность попасть на проводы генерала Туана Ши Вэня.

Для китайцев похороны — вершина земного странствия — порой важнее самой жизни: во многих странах Юго-Восточной Азии бедняк кули всю жизнь экономит на цинковый гроб, в котором его тело перевезут в Китай, в страну предков. Похоронный обряд может быть совершен через неделю, месяц и даже через год после того, как покойный навеки закрыл глаза. Это зависит от его богатства и положения в обществе: чем оно выше, тем дольше длится траур.

Считают ли земляки покойного генерала, что он весьма значительное лицо? Генерал Туан Ши Вэнь принадлежал к числу крупнейших торговцев наркотиками в Юго-Восточной Азии. Он прогорал, проигрывал целые состояния, но в конце концов даже поражения придали ему силы, выдвинули в число миллионеров. Он командовал своей «личной» армией в духе тех китайских генералов, что еще перед второй мировой войной безраздельно властвовали над провинциями, территории которых превышали многие европейские государства.

Таинственность похорон могла быть вызвана несколькими причинами — туда явятся лица, запечатленные на снимках, хранящихся в картотеке Интерпола. Разве не приедет проводить своего коллегу, а позднее соперника генерал Ли, человек еще более загадочный, чем сам генерал Туан? Хотя соперничество между двумя генералами и переросло в разлад, в случае необходимости они всегда объединялись в борьбе против других конкурентов. А бирманцы, особенно Чанг Ши Фу?..

Я толкал машину изо всех сил, мышцы чуть не лопались от напряжения, но колеса вращались вхолостую.

Тридцать пять второго. Знать бы, в котором часу начинаются китайские похороны. Утром или в полдень? Так и так я опоздал к началу церемонии.

Владелец машины горестно качал головой — дальше не поедем. Ситуация казалась безнадежной, но почти в ту же минуту внизу послышался шум мотора. Из-за поворота вынырнула крытая «тоёта» и, буксуя, стала медленно продвигаться вперед. Из боковых окошек выглядывало пять неподвижных китайских лиц.

Прежде чем она окончательно скрылась из виду, старший из китайцев, с серебряными волосами, высунулся и кивнул. Они хотят меня взять?

Я сунул шоферу какие-то деньги, схватил рюкзак и побежал к «тоёте».

Селение Мэсалонг, расположенное на небольшой возвышенности, с первого взгляда отличалось от окрестных деревушек племен акха и лису со взъерошенными лачугами из глины, дерева и листьев. Каменные домики свидетельствовали о достатке их обитателей. В магазинчиках без витрин предлагали посуду и кувшины, ткани, керосин и рис, часы фирмы «Сэйко» и даже прохладительные напитки. Сами торговцы отправились на площадь, чтобы не прозевать церемонию, оставив за прилавком женщин: возможно, приехавшие на похороны захотят купить что-нибудь на память или попросят бутылочку кока-колы...

«Тоёта» ехала по главной улице, пока дорогу ей не преградила густая толпа. Все смотрели в одну сторону. Под треск рвущихся петард и грохот барабанов генерал Туан Ши Вэнь отправился в свой последний путь.

Мне повезло. На появление иностранца никто не обратил внимания, хотя переодеться я не успел. Короткие шорты и грязная футболка не вызвали подозрений — сотни глаз следили за более интересным зрелищем.

Процессия двигалась по склону холма, расположенному напротив деревни. Она вилась между чайными плантациями по тропе, где умещалось не более трех мужчин, и издали походила на длинную ленту. Светло-голубые формы бесчисленных ополченцев перемежались старыми, серыми. Потом зазвучали ба-

рабанчики — ритмично, как при средневековых казнях. Я дважды протер глаза, дабы убедиться, что это не мираж: среди полуголых горцев, в немом восхищении таращивших глаза, маршировали «герлс», словно бы спрыгнувшие с плаката, рекламирующего красоты Шотландии. Белоснежные штаны с красными лампасами и ярко-красные облегающие курточки с золотыми эполетами и золотой шнуровкой ладно сидели на их стройных фигурках.

Таиланд никогда не принадлежал Британской империи. Кто же, скажите на милость, научил этих деревенских девушек с диких, всеми забытых гор в самом центре «золотого треугольника» точным движениям, которые не перейдешь ни с одной фотографии? Что за гений предприимчивости раздобыл им одежду, привезенную скорее всего прямо из Лондона? Пожалуй, и эти девушки — одна из роскошных идей генерала Туана. Правда, я подозревал, что сам генерал не представлял себе своих похорон с участием «герлс».

Орудийного лафета здесь не было. Лишь небольшая группка солдатиков с автоматами и гранатометами на правом плече. Сколько их? Два десятка? Остатки 5-й армии представлены замшелыми стариками в темных костюмах, съехавшимися сюда со всей округи.

Покрытый флером гроб как бы плывет в воздухе. За ним, опираясь на палку, хромая, идет старый господин в соломенной шляпе — староста Мэсалонга, шестидесятивосьмилетний Сэк Тьен Лви, некогда сподвижник генерала Туана. Двое парнишек в джинсах несут украшенный цветами портрет генерала. На портрете — лицо с глубоко посаженными глазами, широким носом и резко очерченным ртом; Туан походит скорее на доброго дядюшку, чем на героинового короля. Еще один подросток держит над портретом раскрытый зонт.

За ними следуют близкие родственники покойного — все в белых плащах с капюшонами. Дочери приехали на похороны из Калифорнии.

Последние годы генерал провел не в Мэсалонге. На старости лет он поселился в шикарной вилле в Чиангмае. Двое его сыновей уехали учиться на Тайвань. Дочери живут в Соединенных Штатах.

Могила вырыта на пологом холме с видом на окрестности. Генерал имел возможность выбрать место своего упокоения, на это у него хватало и денег, и влияния. Бангкок или Чиангмай? Самолет доставил бы его гроб и на Тайвань, на китайскую землю. Но он предпочел Мэсалонг, деревню, которая, можно сказать, ему принадлежала.

Траур пополам с карнавалом... В ту минуту, когда о крышку гроба ударились первые комья земли и старые соратники в слезах салютовали покойному, празднично одетые «герлс» заигрывали с семнадцатилетними парнями. Два молодых солдата с нескрываемым восторгом поджигали петарды и после каждого взрыва радостно следили за клубами синего дыма...

Поминки

— Откуда вы? — прервал мои размышления вежливый голос.

— Из Бангкока,— ответил я не раздумывая и вгляделся в молодое, чуть одутловатое лицо. Китаец с фотоаппаратом и кинокамерой не был похож на простачка, который спит и видит, как бы поупражняться в английском.

— Я не о том. Вы приехали в Бангкок издалека?

— Из Малайзии,— объяснил я столь же вежливо.

Я не строил никаких иллюзий: ясно, что мои уклончивые ответы его не удовлетворят. Но мне хотелось выяснить, с кем я имею дело. Интуиция подсказывала, что ко мне прикоснулись щупальца бывшей разведывательной службы генерала Туана. Безопасность 5-й армии, воюющей и ведущей торговлю наркотиками на территории четырех государств, всегда зависела от точной информации.

— Откуда вы родом? — терпеливо выспрашивал у непонятливого иностранца китаец.

— Из Европы,— протянул я.

А сам лихорадочно раздумывал, как приостановить этот поток вопросов, но в голову ничего не приходило.

Китаец полез в нагрудный карман пиджака, достал из бумажника визитную карточку. «Сават Чандон. Бюро путешествий, агент по продаже нефрита» — значилось там по-английски и по-тайски.

— Спасибо,— рассеянно бросил я, сунул визитную карточку в карман и присоединился к последним покидающим могилу участникам процессии. Однако отделаться от него мне не удалось. Мой новый знакомый пошел рядом, на ходу вынув из другого нагрудного кармана блокнот и шариковую ручку.

— Вы не оставите свой адрес? — нагло обратился он ко мне.— Я могу оказаться вам полезен.

Эта просьба больше походила на приказ. Перегнув блокнот, на чистой странице я печатными буквами написал свою фамилию и даже указал город, где живу. И лишь перед тем, как назвать страну, заколебался.

В конце концов я вывел: Югославия.

Югославия — это компромисс. В Азии и Африке часто путают Югославию и Чехословакию.

— Непременно напишите мне.— Я вернул блокнот.

Он поблагодарил и тут же убрал его. В это время к нам присоединился еще один участник процессии. Господин Лоуренс К. М. Чен, репортер «Сентрал дейли ньюс» на Тайване,— явствовало из его визитной карточки. Не нужно было чересчур напрягать воображение, чтобы представить себе, кто передо мной. Тайбэй прервал дипломатические отношения с Бангкоком, и оба правительства не питают друг к другу горячей симпатии. При таких обстоятельствах вряд ли гоминьдановцы пошлют с визитом в свои прежние части обыкновенного репортера. Ему я тоже дал «югославский»

адрес. Мы возвращались назад, в деревню, ведя дружескую беседу, которая скорее напоминала допрос.

Я размышлял, кто, собственно, живет в этих добротных домиках, построенных в стиле, характерном для гоминьдановских военных поселений,— обыкновенные штатские, контрабандисты или солдаты, из тактических соображений лишь временно скинувшие военную форму?

После поражений в Китае, Бирме и Лаосе в конце пятидесятых годов части генерала Туана отступили в малонаселенные горы северного Таиланда и неподалеку от границы, на стратегически выгодной возвышенности, построили Мэсалонг — новую базу для нападения на территории соседних государств, а также — для торговли опием. В ее окрестностях работало несколько лабораторий по очистке героина.

— Вы приглашены на поминки,— торжественно объявил мне господин Чандон, наверняка бывший подручный генерала Туана. Разумеется, прежде он носил иное имя. Тайское же он, как и многие его земляки, взял лишь по необходимости.

— Это приглашение — большая честь для меня,— поклонился я в ответ, хотя оба мы понимали: поминки просто предлог, чтобы задержать меня здесь до наступления темноты. Мое присутствие явно обеспокоило организаторов похорон. Что мне надо в Мэсалонге? Кто меня послал?

— Когда вы прибыли в Мэсалонг? — нарушил молчание репортер тайваньской газеты.

— После полудня. К сожалению, я пропустил начало церемонии,— ответил я, стараясь придерживаться правды.

— Хотите взглянуть, откуда выходила процессия? — спросил он и показал на большой деревянный дом, стоящий на естественном возвышении посреди деревни.

— Охотно. Однако должен признаться: меня несколько беспокоит судьба моего рюкзака, я оставил его на площади, в самой давке.

— Это займет минуту, не больше,— настаивал господин Чен.

В просторном помещении на полу валялись обрывки цветных гирлянд и листовки с китайскими иероглифами, повествующие о жизни и заслугах покойного. Помещение несколько напоминало танцплощадку по окончании карнавала.

Когда мы выходили оттуда, со спортивной площадки в воздух поднялись два тяжелых военных вертолета. Они взмыли вверх, на секунду застыли и повернули на юг. Это улетали высокие военные чины, а возможно, и какой-нибудь министр или бывший премьер-министр, вместе с которым господин Туан делал свой бизнес. От полковника и выше, потому что простой майор не может претендовать на такую роскошь, как вертолет.

— Кто прилетал на вертолете?— как бы между прочим спросил я.

— Гости из Чиангмая,— в тон мне ответил господин Чен.

Больше я предпочел не спрашивать. Туристу не к лицу чрезмерное любопытство. Если бы мы приехали несколькими минутами раньше, я, вероятно, вообще не попал бы на церемонию. Личная охрана покойного генерала схватила бы меня прежде, чем я успел бы нажать на спуск фотоаппарата. Фотография какого-нибудь из генералов таиландской армии, прибывшего на похороны оптового торговца опием, могла создать взрывоопасную обстановку не только внутри страны.

Мы вернулись на площадь, где всего час назад я столкнулся с похоронной процессией. Рюкзак лежал на том же месте, где я его оставил. В качестве добровольного стража возле него стоял деревенский житель в черном костюме.

— Все в порядке? — спросил господин Чен.

— Конечно.

— Не хотите ли убедиться? — предложил он мне.

— Нет. Китайцы не крадут,— ответил я. Оба мы улыбнулись.

Ведь гоминьдановские контрабандисты действительно не крадут. Зачем? Если надо, они сдерут с партнера кожу в открытую.

В нижней части деревни на небольшой площадке было несколько ангаров, а перед ними — футбольное поле. Мы зашли в деревенскую школу, которую на время похорон Туана превратили в огромную столовую.

— Как вы узнали о похоронах генерала?— вернулся репортер к прежней теме, едва мы сели за накрытый стол.

— Случайно. Проезжал мимо,— неопределенно ответил я. Как ни странно, этот ответ его удовлетворил. Чтобы не дать ему времени на расспросы, я сам решил кое о чем его спросить. Оказалось, и у него были затруднения. Таиландские власти выдали ему визу после долгих колебаний. Он имел право присутствовать лишь на похоронах генерала Туана.

Отношения между властями в Бангкоке и остатками китайских гоминьдановских частей на севере страны были отнюдь не идеальными. Таиландское гражданство по протекции получило всего несколько высших чинов из бывшего штаба Туана. Остальным приходится ждать. Новый министр забыл, что при контрабандной переброске наркотиков из Бирмы именно солдаты Туана собирали для правительства пошлину с каждой пачки опия, провезенной через территорию Таиланда,— это было услугой, которую по понятным причинам таиландские таможенники оказать не могли. В конце шестидесятых годов сотни бывших гоминьдановцев пали при подавлении восстания племени мео. В отличие от тогдашней тайской армии они умели воевать в горах. Более того, с присущей им хитростью они рассорили горские племена и начали из них же вербовать наемников, умудрившись, таким образом, ликвидировать опасный мятеж с минимальными потерями.

После установления дипломатических отношений между Китаем и Таиландом ситуация сразу изменилась. Вчерашний враг стал союзником. Вчерашний союзник превратился в балласт.

Я сидел в кругу ближайших сотрудников Туана, ел палочками рис и пил терпкий черный чай и крепкую водку. Возможно, меня пытались подпоить в надежде, что алкоголь развяжет мне язык.

— Я прошел с ним десять кампаний,— произнес на ломаном английском старый полковник, сидевший во главе стола, и утер слезу.

Я не стал спрашивать, была ли в их числе и битва у Бан-Квана в Лаосе, где гоминьдановские войска атаковали «личную» армию шанского полководца Чанг Ши Фу, чтобы отнять годовой урожай переправляемого из Бирмы опия-сырца. Наверняка полковник там был, потому что на «опиумные» войны генералы Туан и Ли посылали лучшие свои части. Но к чему возбуждать лишние подозрения? Случайный турист не должен много знать.

«Нам приходится воевать со злом коммунизма. Но чтобы воевать, нужна армия. А армии нужны винтовки. Чтобы их купить, нужны деньги. В этих горах существует только один способ их добыть — опий»,— откровенно признавался господин Туан в марте 1967 года.

Люди, которые теперь тесно сидели вокруг стола в импровизированной столовой, были ветераны войн и торговли наркотиками.

Бывшие отборные воины гоминьдана превратились в сморщенных, источенных болезнями стариков. И они проделали свой Великий поход. Отступали из Китая в Бирму, из Бирмы в Лаос, из Лаоса в Таиланд. С конца сороковых годов они знали одни поражения: бежали, нередко голодали, совершали марш-броски и спали в джунглях с винтовкой под головой, всегда настороже. В четырех странах рыли могилы для павших. Ни одна из этих стран им не принадлежала.

Они потеряли родину, но у них оставалась надежда. Из Юньнаня они удирали с мыслью, что скоро вернутся. Дважды предпринимали безуспешные попытки в начале пятидесятых годов. Их нападение не вызвало восстания в стране и окончилось полным фиаско. Потерпели они поражение и в 1961 году от объединенных сил китайской Народно-освободительной армии и бирманских частей. Проиграли бои с Патет-Лао в «тайной» войне, которая велась в Лаосе.

В конце концов их покинула и надежда. Они стали анахронизмом даже в глазах собственных детей. Дети родились уже в Таиланде и в школе учили тайский язык. У них нет другой страны, чем та, которая для их отцов должна была стать лишь временной остановкой в пути. И они стараются слиться с ее народом, забыть о Срединной империи,— она их не интересует. Предел их мечты — японский мотоцикл «хонда».

Состарившиеся, никому не нужные, ветераны вдруг увидели, что они в конце пути. Кто о них пожалеет? Кому они помогли тем, что всю жизнь убивали и торговали наркотиками?

Все, что они оставили после себя,— Мэсалонг. Они уничтожили десятки деревень, Мэсалонг же — единственная, которую они построили. Может, именно поэтому их тянет в места, где двадцать лет назад простирались джунгли. Пожалуй, именно поэтому вернулся на холм, что возвышается над деревней, и мертвый генерал.

— У меня к вам деловое предложение,— обратился я к тайваньскому репортеру.

— Слушаю.

— Оба мы во время похорон наблюдали друг за другом. По-моему, ваши снимки будут не очень удачными.— Разумеется, я чуточку преувеличивал. Я и видеть его не видел до того, как он ко мне обратился. Но настоящий фотограф имел бы по меньшей мере два фотоаппарата — с цветной и черно-белой пленкой.

— Да нам хорошие снимки и не нужны. В архиве полно фотографий генерала.

— Речь не о газетах в Тайбэе, а о больших иллюстрированных журналах. Похороны генерала Туана дают великолепную возможность для рекламы.

— Это правда,— согласился он.

— У вас нет шансов. Репортаж не пойдет без фотографий. Большие журналы прежде всего хотят получить снимки и лишь потом — текст. Без качественных фотографий вы похороны генерала Туана не продадите.

Он нерешительно кивнул.

— У меня есть все,— расхвастался я.— Фотографии, связи и возможность продать снимки какому угодно агентству. Причем меня не волнует, что́ на это скажут таиландские власти.

С минуту он размышлял.

— Что вам, собственно, от меня нужно?— спросил он наконец. Логичный вопрос.

— Мне нужен вездеход с шофером и переводчиком. На один день, чтобы объехать ближние деревни в горах. И возможно — кое-какие сведения о наркотиках. В наших общих интересах — чтобы я быстрее попал в Бангкок. Похороны генерала будут актуальны еще три дня.

Господин Чен бросил вопросительный взгляд на господина Чандона. Они обменялись несколькими словами по-китайски.

— Ведь вы нуждаетесь в гласности,— быстро добавил я.— Положение китайцев в Таиланде незавидно. Вопреки всем заслугам, ваши бывшие солдаты не получили даже таиландского гражданства. Они живут под надзором.

— А что от этого будете иметь вы?— подозрительно спросил господин Чандон.

— Деньги,— ответил я.

Китайцы посовещались. Мой аргумент был им понятен.

— Думаю, это возможно,— сказал господин Чен.— Я поговорю с нашими

людьми, думаю, возражений не будет. В качестве переводчика с вами я могу поехать сам.

Мы не пожали друг другу руки, у китайцев это не в обычае. Мы заговорщицки чокнулись рисовой водкой, как союзники и деловые партнеры.

— А теперь, пожалуйста, извините меня.— Я встал.— Это был трудный день.

Ночь

Я лежал на кровати и вслушивался в ночь. Звуки, доносившиеся снаружи, ничем не напоминали о тропиках. Ни стрекотания цикад, ни щебета птиц, ни шороха невидимых крыльев. Дождь стучал по крыше, постепенно становилось прохладней. Если закрыть глаза, можно подумать, что ты в Европе.

Но я этому спокойствию не доверял. Мне лишь удалось отодвинуть неприятности на утро. Возможно, самые трудные минуты еще впереди. Помимо китайцев с портативными рациями, «обрамлявших» погребальную процессию, там были еще и до зубов вооруженные представители таиландской армии. Кто улетел на военных вертолетах? Кто из влиятельных лиц тайно прибыл, чтобы отдать последние почести покойному королю наркотиков? Кого я, сам того не ведая, сфотографировал в группе участников погребения?

В китайской гостинице не было холла, и лестница в номера вела прямо с улицы. Хотя окна были забраны массивными решетками, стены из тонких досок напоминали ящик из-под фруктов. Если бы не ливень, я мог бы переночевать в джунглях. Но и бамбуковые заросли не сулили защиты — тропы ведут лишь до ближайших деревень, ни по одной из них я бы не прошел незамеченным.

Я не сомневался, что в ближайшие часы состоится разговор, к которому я готовился с первых дней своего пребывания в Таиланде. Я продумывал четкие, быстрые ответы на любой вопрос, чтобы даже перекрестный допрос не сбил меня с толку. Вопрос, ответ, вопрос, ответ — без колебаний и раздумий.

Сон покинул меня. Я вышел на веранду и облокотился о перила. В чернильной ночи слышался лишь плеск дождя. Но это была обманчивая тишина. Я знал, что за фасадом зажиточной деревни скрываются убийства и похищения, одна из «опиумных» войн и тонны недоверия, плотно переплетенные заросли различных интересов и политики.

Прежде всего — политики, потому что политика и наркотики в Азии взаимозависимы.

Ночь кончалась. Пожалуй, уже стихла и попойка бывших друзей генерала Туана. Гости, съехавшиеся на похороны, уснули беспробудным сном. Хотя наверняка кто-то в этой деревне сейчас бодрствует и размышляет, как со мной поступить.

Минутами наплывали опасения. Это не был ни страх новобранца в первом дозоре, ни волнение солдата перед боем. Я боялся случайности, которую невозможно вычислить заранее.

Я сел на ступеньки, ведущие с веранды прямо на дорогу, и стал смотреть вниз, в черноту. Минуту за минутой ждал я какого-нибудь звука.

Тщетно.

С чего, собственно, начинается история этой своеобразной деревни — в какой именно момент? Без попыток Англии навязать Срединной империи опиум выращивание мака в Юньнане никогда бы не приняло столь крупных масштабов. Без отчаянного протеста против массовой наркомании в Китае, возможно, упадок маньчжурской династии начался бы в иное время и иначе. Без накопленного опыта беженцы из Юньнаня не знали бы, сколь выгодным источником доходов может стать опий, и не распространили бы — даже с применением силы — производство мака на «золотой треугольник». Без холодной войны торговля дурманящими ядами удовлетворяла бы только местный спрос и не проникла бы в другие части света.

Наркотики — проклятье не только для тех, кто их употребляет. Они разлагают и тех, кто ими торгует. В больших количествах наркотики словно бы начинают жить собственной жизнью. Они развращают каждого, кто к ним прикоснется. Для одних наркотики — средство, чтобы захватить или сохранить власть, для других — случай, чтобы выдвинуться, фантастически разбогатеть, для тех же, кто ими торгует — в Азии часто с риском для жизни,— они играют ту же роль, что некогда золото для конкистадоров.

Сравнение с испанцами, которые ринулись в джунгли Центральной Америки в поисках Эльдорадо, легендарной страны Золота, напрашивалось само собой. И у них жажда денег заглушила голос совести. В погоне за желтым металлом они сотнями тысяч убивали женщин и детей, уничтожали империи, погибали от лихорадки на Юкатане. Призрак золота гнал их навстречу смерти в безводных мексиканских пустынях. Разве генерал Туан и Чанг Ши Фу не родные братья свинопаса Писарро, только живущие в столетии, когда горы золота приобретаются уже не прямым грабежом чужих империй, а «промывкой» чужих карманов. «Конкиста двадцатого века»,— пробормотал я. Никто мне не возразил.

Чтобы отогнать страх перед близящимся утром, я стал думать, как, в добром здравии выбравшись из Мэсалонга, я начну писать книжку о наркотиках, которая вместит и соображения, пришедшие мне в голову в эти предрассветные часы.

Мэсалонг. Деревня, затерянная в горах, не родилась бы без кораблей Ост-Индской компании, посланных в Кантон два столетия тому назад. Выбор места для нее определялся не только стратегическими соображениями, но и инте-

ресами тайных обществ, и интригами в генеральных штабах.

Двадцатилетняя история Мэсалонга связана с историей Китая и основанием Гонконга, с событиями в Таиланде, Бирме и Лаосе, с вьетнамской войной. Без этого ее понять невозможно.

Но как передать сложность на первый взгляд не зависящих друг от друга событий, которые происходили и происходят в стольких странах?

Пожалуй, лучше всего выделить историю распространения наркотиков в отдельных странах Юго-Восточной Азии в самостоятельный раздел, назвать его «Беспокойный континент» и вклинить в повествование о ночи в этой гостинице.

Часть вторая

БЕСПОКОЙНЫЙ КОНТИНЕНТ

I. КИТАЙ:

корни зла

Корни первой «опиумной» войны 1839—1842 годов уходят в 1772 год, когда генерал-губернатором Бенгалии, незадолго до того присоединенной к Британской империи, стал Уоррен Гастингс.

На какие средства содержать колониальную администрацию?— размышлял он вместе со своими советниками. Новая колония в ту пору не давала больших возможностей для сбора податей и налогов. А опиум?— вспомнил один из советников опыт Великих Моголов, сказочно богатых владык Индии до появления англичан.

Новому генерал-губернатору идея понравилась. Опиум, заявил он, «это предмет роскоши, и продавать его следует не иначе чем за границу». В торговле опиум творит чудеса, потому что опровергает все законы спроса и предложения: с расширением продажи количество покупателей не уменьшается, а возрастает. Низкие расходы на производство опиума и пагубное пристрастие к нему людей позволяют почти неограниченно приумножать доходы.

Такого рода торговля пришлась по вкусу не всем. Самые веские возражения приводили те, за счет кого богатела бенгальская колониальная администрация. Китайские власти еще в 1729 году, задолго до появления Уоррена Гастингса, запретили курение опия. В 1800 году император издал особый указ, который запрещал курение, выращивание и ввоз опия, названного в этом документе «заморской грязью». Одновременно был закрыт Кантон, единственный порт, куда официально имели право ввозить опиум. Но запрет только распылил торговлю: с портовых складов, где ее можно было контролировать, она распространилась на всю береговую линию, перешла в руки пиратов и контрабандистов.

Китайцы, все еще убежденные в своем превосходстве над «белыми дьяволами», стали свидетелями того, как «заморская грязь» уничтожает миллионы подданных императора, подрывает основы национальной экономики и ослабляет могущество государства. Неприязнь к иностранцам перерастала в ненависть. В 1821 году Ост-Индская компания ввезла в Китай 270 тонн опиума. В 1838 году экспорт опиума достиг уже 2400 тонн. Прибыль от этого составляла седьмую часть доходов Британской Индии. Опиум приносил двойную выгоду. За китайский шелк, чай и антикварные изделия больше не надо было платить серебром. Наоборот. Поскольку Китай не успевал заработать на экспорте достаточно средств для все растущего ввоза одурманивающих ядов, дефицит в платежном балансе ему приходилось покрывать серебром. Таким образом, запасы драгоценного металла перекачивались в Индию и помогали финансировать ввоз дешевых тканей из Англии.

Жалобы на аморальность этой прибыльной торговли Ост-Индская компания парировала, приводя аргумент, который впоследствии неоднократно повторялся: мол, китайцы и малайцы не могут жить без опия. Если им не будут поставлять опиум британские подданные, доходную торговлю перехватят иностранцы. Аргумент, что и говорить, достаточно лицемерный.

В 1839 году китайский правительственный комиссар Линь Цзэ-сюй сжег в Кантоне 20291 ящик индийского опия. Он сделал примерно то же, что бостонские колонисты, с уничтожения груза чая начавшие в Америке Войну за независимость. Однако ход первой «опиумной» войны существенно отличался от сопротивления фермеров и охотников из Новой Англии.

С помощью мощного по тем временам оружия британцы разгромили дисциплинированную, но плохо вооруженную императорскую армию, во главе которой стояли малоспособные военачальники. Ее разгрому способствовал и сам опиум. Так, например, во время одного из сражений военачальник по имени Чан, командующий резервом, с таким увлечением курил свою трубку, что утратил интерес к событиям на поле боя. Его подчиненные тем временем никак не могли решить: наступать или отступать. Когда враг приблизился, армия выбрала третью возможность: бежала без единого выстрела.

После легкой победы в «опиумной» войне англичане вынудили Китай открыть для заморской торговли пять портов. Кроме того, китайцам пришлось уступить британской короне островок Гонконг и заплатить огромную контрибуцию — 21 миллион юаней, причем треть этой суммы составляло возмещение за сожженный в Кантоне опиум.

Победители навязали побежденным яд, который запрещали у себя дома

Опиум стал неотъемлемой частью политики.

В 1856 году началась вторая «опиумная» война. После нового поражения китайцам пришлось подписать договор, по которому ввозимый опиум почти не облагался налогом. В беззащитную страну хлынул ничем не сдерживаемый поток наркотиков: в 1880 году Китай ввозил из Индии уже более 6500 тонн опия.

Одурманивающие яды внедрялись на каждом шагу в масштабах, дотоле истории неизвестных. Трубка с опиумом становилась мерилом социального успеха. Богатые родители навязывали ее детям, чтобы соседи видели — они могут себе это позволить. Распространенным способом самоубийства стал прием большой дозы опия. Десятки тысяч кули умирали с голоду из-за того, что не могли отказаться от регулярного курения опия — единственного средства забыть о своем жалком жребии: на еду им просто не оставалось денег.

Не преуспев в своих попытках приостановить наркоманию силой, императрица Цы Си решила превратить неизбежное зло хотя бы в источник доходов и удержать таким образом все дорожающее серебро в пределах страны. И вот сеять мак стали китайские крестьяне в идеально подходящих для этого горных провинциях Сычуань и Юньнань. В 1875 году красный мак уже цвел на трети юньнаньской земли. В начале XX века Китай выращивал 22 тысячи тонн собственного опия. Теперь он больше не зависел от доброй воли «заморских варваров»: он мог уничтожать себя собственными силами.

Отдельные императорские чиновники пытались приостановить упадок страны мерами, подсказанными отчаянием. Так, генерал Цзо Цзун-тан повелел отрезать наркоманам губы, чтобы им нельзя было сосать трубку. Но и столь радикальные меры не могли остановить рост наркомании. В начале XX века наркотики в Китае потребляли 15 миллионов человек.

Под угрозой оказалось само существование китайского государства. Международная кампания против аморальной торговли наркотиками вынудила Лондон наложить запрет на экспорт индийского опия в Китай, где и своих посевов мака уже почти хватало для удовлетворения внутреннего спроса. Императорский же двор начал энергично действовать лишь на пороге подлинной катастрофы. На сей раз запрет производить опий возымел успех: в горных провинциях мак начал исчезать. Однако миллионы наркоманов жаждали наполнить свои трубки. Цены на черном рынке подскочили и продолжали расти. Так нехватка опия открыла путь морфину.

Новый опиат ввезли в Китай миссионеры — как средство, позволяющее освободиться от одурманивающего зла. Дьявола изгоняли с помощью Вельзевула.

Хаос, начавшийся в Китае после свержения в 1912 году маньчжурской династии, в начале двадцатых годов достиг своего апогея. В революции кроме гоминьдана приняли участие и другие группы и организации. И хотя доктор Сунь Ят-сен временно стал президентом, его власть была ограничена. Республиканский Китай распадался на мозаику больших и малых частных владений. Это было благодатной почвой для произвола. Генералы в мундирах всевозможных цветов бесчинствовали как настоящие разбойники. По сведениям Лиги наций, в 1924 году в одной лишь провинции Фуцзянь на восточном побережье доходы от продажи наркотиков обеспечивали существование пяти генералов и около семидесяти тысяч солдат. В провинции были даже военный флот и морская пехота. Подобные «личные» армии первым делом собрали дань за пять лет вперед. Когда же деньги у них кончились, они заставили крестьян сеять мак в принудительном порядке. Того, кто роптал, расстреливали.

Главным центром торговли одурманивающими ядами стал промышленный Шанхай. Четырехмиллионный порт — в пору «опиумных» войн маленькая рыбацкая деревня — превратился в Марсель Дальнего Востока. Здесь возникли прекрасно организованные профсоюзы, но одновременно — и самые отчаянные гангстерские банды. В Международном квартале, не подчиняющемся китайским властям и занимающем треть города, химики овладели и довольно сложным производством героина, который в виде розовых пилюлек вывозился даже в Соединенные Штаты.

Шанхайским преступным миром заправляли два тайных общества: Зеленый круг и Красный круг. Оба они были основаны еще в XIX веке торговцами и корабельщиками, которые привозили хлеб и контрабандой доставляли соль на территорию, примыкающую к Великому каналу. В беспокойную пору раздоров и гражданских войн их влияние распространилось и на Центральный Китай, и даже на побережье.

В январе 1924 года 1-й конгресс гоминьдана согласился на создание единого фронта с коммунистической партией. Несколько молодых офицеров, среди них и Чан Кайши, поехали учиться в Москву. По возвращении они должны были составить ядро национальной армии, способной подавить произвол сотен мятежных генералов. С помощью Коминтерна на острове Хуанпу (Вампу) была открыта военная академия, во главе которой поставили Чан Кайши. Чжоу Эньлай был там начальником политотдела.

После смерти Сунь Ят-сена в 1925 году единый фронт распался. Противоречия в гоминьдане, который представлял собой разнородную коалицию левых и правых сил, обострились. Хищный и ловкий Чан Кайши во время успешного похода национально-революционной армии на север (в 1926 году) укрепил

свои позиции верховного главнокомандующего.

Такова была ситуация, когда в феврале 1927 года гоминьдановские отряды подошли к Шанхаю. Чтобы облегчить им взятие города и сломить сопротивление местного диктатора, шанхайские левые профсоюзы организовали всеобщую стачку. Но неожиданный союзник отнюдь не обрадовал Чан Кайши. Без боя вступив на улицы города, где находились могущественные китайские банки и обитали самые влиятельные промышленники, он был бы обязан своей победой профсоюзам и тем самым усилил бы позиции левого крыла партии. Он предпочел остановить свои части перед городом и выждать, пока полиция, руководимая англичанами и пополненная неприятелем, ликвидирует бунт самоотверженных, но плохо вооруженных рабочих.

Однако после кровавых уличных боев всеобщая стачка лишь разрослась, вызвав в торговых кругах панику. Чан Кайши оказался перед самым важным в своей жизни выбором. Выжиданием он уже ничего не мог выиграть. Восставшие обезоружили полицию, а на свои войска, насчитывающие неполные три тысячи солдат, он еще боялся положиться. В заповедях Сунь Ят-сена слишком ясно говорилось о коммунистах как о союзниках гоминьдана. И тогда Чан Кайши обратился за помощью к триумвирату, правившему в шанхайском преступном мире,— к вожакам Зеленого круга, Ту Ю-сену и Рябому Чуаню, и к Чан Сяо-линю из Красного круга. В ту пору только в их руках была сосредоточена достаточная сила.

В начале двадцатых годов Ту Ю-сену удалось объединить распыленные гангстерские организации всего города. Базой для них служил Международный квартал. Здесь преступников охранял сам начальник уголовной полиции Рябой Чуань. Он владел несколькими курильнями опия, но особый авторитет в преступном мире снискал своим умением разрешать споры и подавлять междоусобицы гангстерских банд.

Чан Кайши (по сведениям некоторых биографов — в юности и сам бывший членом Зеленого круга) разъяснил главарям тайных обществ деликатность создавшейся ситуации. Договорились быстро: Ту Ю-сен принадлежал к гангстерам новой формации, которые поняли (так же, как их собратья на Корсике или в Чикаго), что организованный преступный мир нуждается в политическом покровительстве. За несколько дней он сформировал из шанхайских гангстеров «профсоюзы», вооружил их, и, прежде чем рабочие поняли, кто перед ними, его «профсоюзные активисты» перестреляли тысячи демонстрантов. Лишь после этого в город вступил Чан Кайши.

Резня в Шанхае стала переломным моментом в истории гоминьдана. Новый властитель Китая отрекся от наследия Сунь Ят-сена и превратил движение, в котором немалую роль играли высокие идеалы, в союзника консервативных кругов. С их помощью он добыл оружие и обрел влияние, позволившее ему в ближайшие годы добиться значительных успехов в борьбе с мятежными генералами. В то же время он отказался от проведения каких бы то ни было реформ. Беднейшее крестьянство стало относиться к Чан Кайши враждебно. Он захватил большие города, но не смог подчинить себе деревню. Гражданская война перешла в новую фазу: теперь среди противников Чан Кайши была и слабая в ту пору китайская Красная Армия. Та самая, которая двадцать лет спустя освободит всю страну.

Но в 1927 году Чан Кайши этого еще не знал. Казалось, после победы в Шанхае он стоит на вершине могущества и славы. Были оценены и заслуги Зеленого круга. Ту Ю-сен стал генералом. Вместе с Рябым Чуанем и Чан Сяолинем он выступал в роли почетного советника правительства. Тайные общества угнездились в шанхайской мэрии. Они отдавали приказы полиции и диктовали свою волю политикам.

Чтобы приобрести средства на финансирование своей растущей армии, Чан Кайши узаконил продажу опия. Хотя уже через год он был вынужден наложить запрет на выращивание мака, а торговлю наркотиками приравнять к преступлениям, караемым смертью.

Затеянная с большой помпой кампания «Новая жизнь» должна была устранить последствия «опиумных» войн и избавить Срединную империю от губительного порока. Однако благие намерения остались лишь на бумаге. Властям удалось перехватить бо́льшую часть наркотиков, отправленных на побережье из Юньнаня, так что конкуренты-генералы, захватившие отдельные провинции, понесли ощутимый урон. Правда, конфискованный опий недолго пролежал на складах: центральное правительство с помощью бравого Ту Ю-сена распродало его шанхайскому преступному миру.

Нападение Японии в 1937 году вытеснило Чан Кайши из населенных прибрежных городов и богатых долин в горы далекой провинции Сычуань. Отрезанное от налогоплательщиков и традиционных источников дохода, правительство вновь обратило свои взоры к маку. Умудренный опытом, генерал Ту Ю-сен позаботился о переправке белого порошка через линию фронта и дальше, в Шанхай, Макао и Гонконг. Японцы этому не препятствовали: они спокойно смотрели, как китайцы на оккупированной территории отупляют себя наркотиками — ведь наркоман не ропщет и не бунтует. Равнодушный ко всему, кроме собственных видений, он становится податливым инструментом в руках каждого, кто обладает силой.

Мак цвел в горах Юньнаня и Сычуаня и после второй мировой войны. Покончила с ним только революция, изменившая политический, экономический и культурный облик страны, в которой живет каждый четвертый человек нашей планеты. Победа революции на

этом этапе означала и огромный успех в борьбе с наркотиками.

Сведения о том, как протекал абстинентный синдром у миллионов наркоманов, внезапно лишенных наркотиков, за границу не проникали. Мало известно и о методах, использовавшихся новым государственным аппаратом. Помимо рабочих лагерей и революционного энтузиазма в первые годы после победы революции тут, бесспорно, важную роль сыграл и новый образ жизни: в народных коммунах, где каждый был на виду, наркоманы, перекупщики наркотиков и те, кто нелегально выращивали мак, просто не могли существовать.

II. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ:

на сцену выходят Триады

— Вечером пойдем в кино,— сказал мой хозяин-китаец в Денпасаре на острове Бали и выбрал фильм: «Гибель монастыря Шао-линь».

В результате козней, которые плетутся при дворе маньчжурского императора, против монастыря Шао-линь выслано войско. Монастырь подожжен. В упорном бою погибают все монахи. Только пятерым удается спастись.

В ту пору я и не подозревал, что гибель монастыря Шао-линь, запечатленная в стольких гонконгских фильмах, имеет для китайцев символическое значение. Именно в пламени, пожирающем монастырь, родилось — согласно преданиям — самое известное китайское тайное общество — Триады. Потом уже я сообразил, что членом этого общества мог быть и мой хозяин на острове Бали. И скорее всего был, поскольку влияние этих запрещенных, но могущественных организаций на живущих за границей двадцать миллионов китайцев с течением времени не уменьшается.

Тайные общества возникают повсюду, где поселяются китайцы. Они существуют в Сингапуре и Гонконге, в Сан-Франциско и Амстердаме, в Бангкоке и Нью-Йорке — невидимые и куда более загадочные, чем мафия.

Белый лотос, Краснобровые, Большой меч, Малый меч...— тайные общества стали неотделимы от китайских традиций, складывавшихся на протяжении двух тысячелетий.

По учению Конфуция, правитель является высшим авторитетом на земле. Он сосредоточивает в своих руках всю законодательную, юридическую и исполнительную власть. Но высокое положение налагает на него и обязанности. Он должен хорошо управлять государством и заботиться о его благе. Мудрость и традиции повелевают ему выбирать способных чиновников и обеспечивать подданным безопасность, мир, эффективную администрацию и минимальные налоги. Подданные же обязаны соблюдать безоговорочное послушание и склоняться перед волей доброго владыки, как гнется бамбук под ветром.

Однако то же конфуцианство, которое учит послушанию, породило традицию протеста и сопротивления. Если на троне окажется плохой правитель, народ не только имеет право, но и просто обязан его свергнуть.

История Китая — это десятки восстаний, организованных тайными обществами.

Члены тайных обществ не признавали не только императора, но и его законы. Поэтому их патриотизм всегда шел рука об руку с преступлением. Грабежи, кражи и похищения людей чередовались с бескорыстным самопожертвованием.

Члены тайных обществ узнавали друг друга по особым знакам. Например, хозяин подавал гостю чашку ароматного чая, держа ее большим и указательным пальцами, а средним прикасаясь к ее дну. Или, скажем, во время еды хозяин, щелкнув пальцами, клал на миску с рисом перекрещенные палочки. Если посетитель был членом того же общества, он молча отодвигал миску. Особые знаки помогали и в критических ситуациях. Так, при неожиданном нападении путник, вместо того чтобы обороняться, вдруг начинал энергично тереть пальцами левой руки брови. И бандиты, если они принадлежали к тому же братству, не прикасались к его кошельку.

В 376 году было основано тайное общество Белый лотос. Тысячью годами позднее оно возглавило гигантское восстание, которое окончилось тем, что из Китая были изгнаны монгольские захватчики и на трон посажен первый император династии Мин. Триста лет продержалась эта династия у власти, а потом одряхлела и пала, подточенная коррупцией и собственной недееспособностью. Этим воспользовались маньчжуры с северо-востока страны, возведя на трон династию Цин, с самого начала вызвавшую к себе ненависть. Это она, по легенде, уничтожила монастырь Шао-линь.

Триады берут начало от пятерых монахов, которым удалось бежать из горящего монастыря. Долгие годы блуждали они по дальним странам, пережили бесчисленные приключения, сталкивались с полководцами, купцами и простыми крестьянами. Так добрались монахи до Му-яна, города верб. Здесь, на торжище Великого мира, основали они тайное общество — Триады — и впервые произнесли девиз, который в последующие столетия не раз сотрясал Китай: «Фан — цин, Фу — мин!» — «Свергните маньчжурскую династию Цин, возведите на престол китайскую династию Мин!»

В 1911 году власть маньчжурских императоров была свергнута.

Час триумфа ознаменовался для тайных обществ и началом упадка. Их политическую программу составлял единственный лозунг, который с падением империи утратил свой смысл. Сложная символика жестов, клятв и ритуалов стала вдруг похожа на пустую раковину без улитки. Полностью обращенные

в прошлое, тайные общества дегенерировали, превратившись в организации гангстеров.

Во всех странах Юго-Восточной Азии китайские общества на первых порах имели не столько экономическое, сколько психологическое значение. Переселенцы из Китая были родом из разных мест и потому в их общении возникали трудности, ибо китайские диалекты скорее напоминают разные языки. Тайное общество чаще всего объединяло земляков, говоривших на одном диалекте: никому не нужные одиночки становились членами содружества. С его помощью мелкий торговец мог получить кредит, а сын этого торговца — найти девушку, говорящую на его диалекте. Бедный кули, варивший где-нибудь на краю каучуковой плантации свой рис, нес на себе клеймо изгоя, отданного во власть несправедливости. Со вступлением в тайное общество он избавлялся от одиночества. Правда, он по-прежнему варил свой рис в том же оббитом горшке, но мог воспрянуть душой. Неожиданно у него появлялась тайна, и его высохшую грудь распирала гордость. Свершив старинный ритуал, он становился наследником древней Срединной империи, избранным.

Подобные содружества ныне распространены во всех странах Юго-Восточной Азии. Родственная и клановая солидарность позволяет осуществлять крупные торговые операции без документов, договоров и товара. Китаец в Гонконге, к примеру, поклонится и примет от клиента, который к нему обратился, американские доллары. Какой-нибудь дальний его родственник или, возможно, всего лишь член того же тайного общества без единого вопроса выплатит потом иностранцу, которого увидит впервые в жизни, соответствующую сумму в Бангкоке, Маниле или Рангуне в местных батах, пиастрах или рупиях. При взаимном доверии отпадает необходимость нелегально вывозить или ввозить полные денег портфели, перевод капитала осуществляется без документации, без риска и, собственно, без нарушений закона.

Так можно торговать холодильниками, контрабандными рубинами, золотом и... наркотиками. Китайские тайные общества играют в торговле наркотиками в Юго-Восточной Азии решающую роль. Их влияние простирается от Таиланда и Бирмы до самого Гонконга. И всюду они богатеют.

III. ГОНКОНГ:

товар как товар

«Альберта искренне позабавило, что я приобрела остров Гонконг»,— записала в своем дневнике королева Виктория после победы в «опиумных» войнах, когда Британская империя увеличилась на маленький негостеприимный островок близ берегов Китая. Ее муж Альберт не был исключением. В современном им географическом труде о Китае одна из глав носила название: «Гонконг — его местоположение, перспективы, характер и абсолютная непригодность для использования Англией». Новая британская колония обогатила даже жаргон — выражение «отправляйся на Гонконг!» стало означать примерно то же, что «иди к черту!»

Островок, некогда вызывавший насмешки, во второй половине двадцатого века превратился в огромную, работающую на полный ход промышленную мастерскую с более чем четырехмиллионным населением. Теперь он изготовляет телевизоры и шьет одежду, мастерит искусственные цветы и монтирует транзисторы. Он запрудил полмира дешевыми игрушками, ввозит хлопок и ткет из него модные ткани, ремонтирует суда, производит джинсы и косметику, парики и обувь. В 1969 году здешняя киностудия выпустила 170 полнометражных художественных фильмов — в три раза больше, чем Соединенные Штаты.

Стоит ли удивляться, что среди товаров, проходящих через Гонконг, мы обнаружим и наркотики?

К концу сороковых годов в маленькую британскую колонию потянулись самые известные гангстеры из крупных портов, а также из Пекина. Здесь нашел прибежище и всемогущий Ту Ю-сен со своими приверженцами. После расправы, некогда учиненной над шанхайским пролетариатом, приход Народно-освободительной армии означал для гангстеров верную смерть.

В Гонконге, бывшем до их появления глухим провинциальным уголком, главари Зеленого круга завели обычаи организованного преступного мира. Они завладели танцевальными залами. Контролировали проституцию. Практиковали похищения людей и грабежи банков. Собирали с торговцев дань «за охрану», а если те отказывались, громили их лавки. Начали производить героин, ранее известный здесь лишь понаслышке. Говорят, что большинство китайских химиков, которые в конце шестидесятых годов заполонили тайные лаборатории «золотого треугольника», именно в ту пору прошли соответствующую выучку у гонконгского однорукого мастера и шестерых его подмастерьев.

Решающий момент настал в октябре 1956 года, когда агенты Чан Кайши развязали в Гонконге кровавые уличные бои и пытались использовать тайные общества для борьбы с народным Китаем. Недовольство могучего соседа поставило под угрозу само существование колонии. Гонконгская полиция с помощью членов конкурирующей с Триадами гангстерской группы «чиучау» за последующие пять лет арестовала почти 11 тысяч подозрительных лиц. Каждый, кто мог занимать в тайной организации сколько-нибудь важное место, был без жалости депортирован на Тайвань. Жесткие меры принесли заметные результаты. Некогда мощ-

ние Триады распались на маленькие враждующие между собой группки.

Систематические полицейские облавы изгнали с улиц мелких торговцев. Однако мечта о легких заработках не давала «чиу-чау» спокойно спать. С применением современных организаторских методов курение героина тоже превратилось в доходное торговое предприятие.

Чтобы продажные чиновники могли похвастать какими-то успехами, гангстеры время от времени нанимают несколько пустых помещений и сажают туда в качестве «подсадных уток» бедняков. Те позволяют себя арестовать и служат «доказательством» полицейской активности. Схваченные наркоманы перед камерой вздыхают, рыдают, рвут на себе волосы. Вспышки репортерских фотоаппаратов освещают «добычу». Приглашенные журналисты делают записи в блокнотах. Но разумеется, на синдикатах «чиу-чау» это никак не отразится.

К тому же, в сравнении с организованным преступным миром возможности гонконгской полиции крайне ограничены. Еще в начале семидесятых годов шесть сторожевых судов должны были патрулировать более двухсот островов и почти тысячекилометровое побережье, где всегда на плаву до пятнадцати тысяч рыбацких джонок. Несмотря на точные сведения, поступившие от зарубежных агентов, их усилия напоминали попытку вычерпать море суповой ложкой. Контрабандисты закапывали наркотики на пустынных островах или передавали в нейтральных водах на одну из рыбацких джонок, где пакет прятали среди улова под грудой сетей или в канистрах с нефтью.

Иной раз контрабандисты сбрасывают наркотики в металлических бочках на прибрежную мель. Капитан ничем не рискует: если покажется сторожевой катер, он спокойно уйдет в открытое море. В крайнем случае полицейские конфискуют контрабанду, но для этого им понадобится водолаз. А тем временем о грузе позаботятся местные контрабандисты, которые привяжут к бочкам стальные тросы и подтащат их под водой к пристани. В случае погони достаточно перерубить трос, и вещественное доказательство канет на дно.

Финансовые операции проводятся через банки, теряются в гуще контрактов и цифр, в которых не разобраться и самому искушенному налоговому инспектору. Лишь немногие посвященные знают, на чем зиждется благополучие одного из наиболее именитых в Гонконге предпринимателей, который владеет целыми улицами доходных домов, небоскребами и ресторанами. Но эти немногие предпочитают молчать.

Негостеприимный островок, полученный от Китая в результате победы в «опиумных» войнах, стал перекрестком, откуда героин, опиум и морфий поступают в Европу, Японию или Соединенные Штаты. Однако источник сырья — Бирма.

IV. БИРМА:

меняются лишь посредники

История бирманского участия в мировой торговле наркотиками начинается в Китае.

Осень 1949 года. Фронт как таковой прекратил существование. Многомиллионная Народно-освободительная армия почти без сопротивления продвигается на юг.

Уцелевшие части 93-й дивизии, 26-й и 8-й армий, защищавшие горный Юньнань, который, по представлениям Чан Кайши, должен был стать территорией, откуда он когда-нибудь начнет поход во имя завоевания Китая, остановились лишь в Индокитае, где французы разоружили их и взяли в плен. Пятнадцать сотен беженцев, перешедших границу Бирмы, избежали этой участи. В первые недели, голодные и гонимые, они несомненно завидовали счастливцам, попавшим во французские лагеря для интернированных,— тех по крайней мере кормили рисом. А они за одну ночь утратили свое богатство и влияние, превратившись в беженцев на чужой, равнодушной земле.

Но вскоре ситуация изменилась.

— Кто проиграл Китай? — спросили в начале пятидесятых годов в Вашингтоне. Этот крылатый вопрос начали повторять газеты, а позднее и различные комиссии по расследованию. Быстрота, с какой рухнуло правительство генералиссимуса Чан Кайши, вызвала в Соединенных Штатах волну паники. Политические споры наряду с шоком от известия о создании первой советской атомной бомбы способствовали усилению власти сенатора Маккарти. Началась «охота на ведьм», начались чистки в Голливуде, затем «дело» Роберта Оппенгеймера.

Отголоски этих событий быстро долетели и до Азии.

Со вступлением китайских частей в Тибет самая населенная в мире страна обрела общую границу с Индией, Пакистаном и Непалом. Соседствовала она и с Бирмой, Лаосом и Вьетнамом. Казалось, революция каждую минуту может перекинуться и в другие перенаселенные нищие страны южной Азии. Напуганные этим, американские правящие круги пытались воздвигнуть плотину, которая остановила бы продвижение на юг китайской Народно-освободительной армии.

Над Кашмиром и непальским княжеством Мустанг по ночам на огромной высоте гудели неизвестные самолеты, не посланные сюда ни одним из соседних государств. В горах Тибета вспыхнуло восстание племени кампу. В Гавр приплывали корабли под американскими флагами, но боеприпасы, которые они доставляли, спустя некоторое время появлялись у солдат иностранного легиона в Ханое. Самолеты С-47 без опознавательных знаков кружили и над

джунглями северной Бирмы. Это было, по мнению многих, наиболее уязвимое место, откуда китайские дивизии легко могли проникнуть в плодородные, густо населенные таиландские и южновьетнамские низины.

Эфир разносил шифрованные радиограммы. Начиналась операция, столь тайная, что о ней не были информированы не только американские послы в Бирме и Таиланде, но даже тамошние представители руководства ЦРУ. Дело в том, что на границе Юньнаня дядя Сэм нашел союзника, который в силу международных соглашений не должен был бы там находиться,— остатки бывших гоминьдановских частей во главе с прежним командующим 8-й армии генералом Ли Ми. При содействии инструкторов с Тайваня и загадочных самолетов без опознавательных знаков, которые пять раз в неделю перебрасывали сюда оружие, в течение нескольких месяцев оборванных беглецов превратили в дисциплинированную, отлично вооруженную армию.

В апреле 1951 года две тысячи солдат вступили в Юньнань и, почти не встречая сопротивления, начали продвигаться в глубь страны. Их появление отнюдь не повлекло за собой всеобщего восстания, на которое рассчитывали инициаторы вторжения. Не прошло и недели, как части китайской Народно-освободительной армии перешли в контрнаступление, и противник, понеся тяжелые потери, был выдворен обратно за рубеж.

В августе 1952 года последовало новое вторжение. Но и на сей раз жители Юньнаня не встретили цветами желтое солнце на флагах гоминьдана. Подразделениям, перевооруженным и пополненным восемью тысячами наемных солдат из бирманских горных племен, удалось продвинуться на какую-нибудь сотню километров в глубь страны, откуда их вновь изгнала Народно-освободительная армия.

Даже самые большие оптимисты поняли, что двенадцать тысяч солдат генерала Ли Ми не завоюют Китая. Поэтому его люди больше не покушались на вторжение. Они охраняли на границе радиолокационные и подслушивающие станции, формально работавшие на Тайвань, а фактически — на американцев, собирали информацию да время от времени взрывали где-нибудь на китайской земле мост. Сугубое же внимание они стали уделять торговле.

Территория близ границы с Юньнанем с незапамятных времен была базой бирманского производства опия. С помощью посулов, денег и насилия беглецы из Китая расширили площадь посевов мака и начали вымогать у горцев особую, «опиумную» дань. Недовольных вразумляли простыми, но действенными мерами. «Десять тысяч ножевых ран» относились к наиболее «мягким» способам воздействия. Гоминьдановцы обеспечивали себе поддержку со стороны горских племен, особенно лаху, и другим, более приятным способом. Одинокие солдаты брали в жен местных девушек, у них появлялись дети.

Могущество незваных гостей все росло. Самоуверенность довела их до безрассудства. Раз уж они не смогли завоевать Китай, то решили попытаться расширить сферу своего влияния хотя бы в Бирме.

В конце 1952 года они перешли реку Салуин и двинулись на восток. Рангунское правительство всполошилось. Пока чужеземцы держались близ границы, их присутствие считалось нежелательным, но еще не угрожающим. Иное дело — продвижение в глубь страны. Наступающие части были атакованы тремя лучшими бригадами бирманской армии и отброшены за Салуин. Правительство обратилось в ООН с жалобой на иностранную агрессию и сопроводило обвинение столькими фотографиями и показаниями пленных, что даже Соединенные Штаты не смогли защитить своих союзников.

После длительных международных споров началась эвакуация двух тысяч солдат на Тайвань.

Бирманское правительство, разочарованное и раздраженное проволочками, в конце концов вновь прибегло к оружию. После двухдневной бомбардировки пала резиденция генерала Ли Ми в Монгсате. Стычки продолжались на протяжении семи лет, пока бирманцы окончательно не потеряли терпение и не попросили о помощи северного соседа. В 1961 году пять тысяч бирманских солдат вместе с тремя дивизиями китайской Народно-освободительной армии атаковали Монгпальяо, где находился аэродром, способный принимать тяжелые транспортные самолеты. После упорных боев с десятью тысячами обороняющихся этот укрепленный лагерь удалось уничтожить.

Наемники-горцы разбежались. Ветераны из Юньнаня выстояли. Только сменили «нездоровую» обстановку: ушли с китайской границы, найдя себе прибежище в западном Лаосе, а потом — в северном Таиланде.

В ту пору и возник Мэсалонг.

Отнюдь не по доброте сердечной таиландское правительство приняло на свою территорию потерпевшие поражение части генералов Туана и Ли.

Правда, несколько тысяч бывших гоминьдановских солдат не сумели завоевать ни Китай, ни даже Бирму, однако исход боев с плохо вооруженными повстанцами в таиландских горах решало не количество. Наемники с их многолетним опытом ведения войны в джунглях передвигались по труднодоступной местности так же легко, как партизаны. Они не страшились ни кромешной тьмы, ни холода, умели самостоятельно воевать малыми группками и договаривались с горцами легче, чем правительственные солдаты. Гоминьдановцы наняли лаху для военных действий против мео и не допустили объединения горских племен. В незначительных стычках они потеряли несколько сот солдат, но не дали отдельным мятежам перерасти в широкое

восстание. Генерал Туан, именовавший себя «сторожевым псом у северных ворот», доказал, что не бросает слов на ветер.

Гоминьдановские части на севере представляли для таиландских политиков еще и важный источник дохода. Взаимовыгодное сотрудничество началось уже в момент, когда остатки разбитых гоминьдановских частей бежали из Юньнаня. Авиамост из Тайваня просуществовал всего несколько месяцев. Затем оружие стали доставлять в таиландские порты, а оттуда по железной дороге в Чиангмай, где его грузили на мулов и перебрасывали в Бирму. В обратном направлении везли опий. Он нужен был тайцам прежде всего для собственных нужд, поскольку налоги с официально разрешенных опиумных курилен составляли немалую часть их государственного бюджета.

До самого конца сороковых годов Таиланд покупал опий в Иране и Китае. Запрет на выращивание мака в обеих странах привел к стремительному сокращению доходов таиландской государственной казны. Бангкок закрыл все курильни, однако искушение оказалось сильнее добрых намерений. Слишком уж резко поднялись цены на наркотики.

Опий из «золотого треугольника» неожиданно начал приносить такие головокружительные доходы, что правительство потихоньку вернулось к старой практике и стало в нарушение собственных же законов понуждать горцев на севере засевать свои крошечные поля маком. Еще до первого урожая инициативу взял в свои руки начальник таиландской полиции Пао Сианон, пользовавшийся репутацией самого продажного генерала за всю послевоенную историю страны. Он начал закупать опий у китайцев в северной Бирме. Сотрудничество с гоминьдановскими частями вкупе с американской помощью приносило двойную выгоду.

Пять лет — с 1950 по 1955 год — генерал Пао «ведал» таиландской торговлей наркотиками. Полицейские патрули на бирманской границе принимали грузы наркотиков от бывших гоминьдановцев или сопровождали караваны контрабандистов в Чиангмай. Оттуда в полицейских самолетах или особо охраняемых железнодорожных вагонах грузы переправлялись в столицу. Из Бангкока мешки со смертоносным содержимым перевозились на полицейских автомобилях в порт, где полицейские же катера грузили их на корабли, отплывавшие в Сингапур или Гонконг.

Однако в июле 1956 года этот безупречно отлаженный конвейер был поставлен под угрозу — из-за алчности генерала.

Благодаря великолепно поставленной информации возле речки Мэсай полиции удалось захватить караван с двадцатью тоннами опия. Полиция не понесла потерь — так четко была проведена операция.

По закону полицейский, который активно содействовал захвату контрабанды, имеет право на награду — сумму, составляющую одну восьмую конфискованного товара, и потому начальник полиции тут же подписал прошение о выплате премии размером в 1,2 миллиона долларов.

Чтобы избежать проволочек, он немедленно отправился в министерство финансов, где в качестве заместителя министра сам подписал приказ о выплате. И как шеф полиции получил деньги.

— Кто заграбастал такую кучу денег? — стал дознаваться премьер-министр, генерал в отставке.

— Человек, доносом которого о движении каравана воспользовалась полиция, отчего и удалось захватить контрабандистов врасплох,— с готовностью ответствовал генерал Пао.

— Неизвестный информатор — китаец? — добивались ответа журналисты.

— Его имя должно оставаться в тайне, иначе его ликвидируют соучастники,— разъяснил на пресс-конференции журналистов начальник полиции.

— Можно его допросить? — домогались члены правительства на заседаниях кабинета и клялись, что сохранят имя неизвестного в тайне.

— Увы, нельзя,— отвечал генерал Пао,— дело в том, что, получив деньги, он бежал из нашей страны, ибо опасался за свою жизнь.

— Где опий сейчас? — допытывались журналисты и члены правительства.

— Полиция сбросила его в море,— отвечал Пао.— Оставила себе лишь небольшую часть груза, чтобы продать заграничным фармацевтическим фирмам для возмещения суммы, выплаченной министерством финансов.

Смех, сопровождавший слова генерала Пао, предвещал падение этого могущественного человека. В 1957 году армия устроила путч и к власти пришел маршал Сарит. Пао бежал за границу.

Часть полицейских офицеров была уволена, часть — арестована. В печати начали появляться сообщения о том, что торговлю наркотиками контролировало пять или шесть гангстерских организаций, которых поддерживала полиция. Правительство выдворило из страны представителя ЦРУ. По стране прокатилась волна уличных демонстраций.

Все эти перемены не коснулись интересов гоминьдановских военачальников в Бирме. Генералы, вошедшие в новое военное правительство, быстро поняли, что без огромных доходов от продажи наркотиков им не справиться с ропотом сотен полковников. Только деньги могли предотвратить угрозу нового путча. Так все вернулось на круги своя. Правда, осторожный маршал Сарит не согласился с тем, чтобы армия принимала непосредственное участие в торговле опием. Эту роль взяли на себя китайские тайные общества. Роль Бангкока как международного центра по распространению наркотиков сохранилась.

Переменились только посредники.

(Окончание следует)

Письма из-за рубежа

ТИБОР ЧЕРЕШ

ПОКОЛЕНИЯ И МОДА...

Читая мемуары, увидевшие свет в далекие времена или совсем недавно, почти непременно встретишь в них сетования на нравы молодежи. Дескать, в моей юности мир совсем был иной. Люди были лучше, и лучше была молодежь, куда воспитаннее, нравственнее, почтительнее к старшим — не то что нынешнее молодое поколение.

Так оно и идет от поколения к поколению. Время нашей молодости всегда кажется гармоничнее, когда, вспоминая, оглядываешься на минувшее. Если верить авторам мемуаров, сравнивая следом за ними поведение и взгляды человека любой эпохи с золотым веком наших предков, то нынешнюю молодежь мы должны будем признать самой распущенной, самой безнравственной.

К счастью, дело обстоит не так. Поверив мемуаристам, мы невольно оказались бы жертвами своей памяти, всегда приукрашивающей прошлое.

Что происходит с человеком, когда он стареет? Жизнь ли уходит вперед, оставляя его за бортом? Или сам он отстраняется от жизни?

Чем яснее проглядывается впереди конец пути, тем ближе, дороже становятся нам собственные молодые годы. И потому судим мы, собственно, не юность, а сегодняшний день, ощущая в себе для этого и моральное право, и даже некоторое «призвание».

В чем (кроме отмеченных выше свойств человеческой памяти) здесь причина?

В том, что старики устанавливают законы, молодые — их преступают. И мы, те, кто вспоминает, все решительнее встаем на сторону законов.

В западном мире противоречия между «отцами» и «детьми» особенно обостряет научно-технический прогресс. Но и в социалистических странах, где общество с большими или меньшими основаниями может считаться бесклассовым, поскольку «традиционные» конфликты между классами здесь исчезают, хотя вместо них возникают, а то даже и усиливаются другие различия — в интересах и вкусах, проблема взаимонепонимания поколений существует, она не выдумана.

Чем объяснить это стойкое и, может быть, даже пока углубляющееся противостояние? Ответить можно, к примеру, так: стремительным развитием науки и быстро меняющимися, набегающими друг на друга волнами моды, диктатами вкуса.

Если в современном обществе сопоставить ценностные критерии подростка и близкого к пенсионному порогу мужчины, сравнить, что в окружающем мире и в собственной жизни представляется им достойным уважения, сохранения,— мы обнаружим огромную разницу в их подходах. Причем отличия не сводятся лишь к объекту оценок, они касаются также способов их выражения, даже языка, и не просто словоупотребления, но и логики рассуждений.

Подобный разрыв между поколениями в прошлом как историческое явление во многом объяснялся — и вызывался — экономи-

---

ТИБОР ЧЕРЕШ — CSERES TIBOR (род. в 1915 г.)

Венгерский писатель, лауреат литературных премий имени Аттилы Йожефа и Лайоша Кошута. Автор романов «Крыши Пешта» («Pesti háztetők», 1961), «Неуверенный век» («Bizonytalan század», 1968), «Похотливые статуи» («Parázna szobrok», 1978), «Фоксанское ущелье» («Foksányi szoros», 1985), биографического романа «Я, Лайош Кошут» («Én Kossuth Lajos», 1981), сборника рассказов «Сын человечий и волк» («Ember fia és farkasa», 1967) и др. произведений.

На русский язык переведены романы Т. Череша «Черная роза» (М., 1977) и «Холодные дни» (М., 1985).

Статья «Поколения и мода...» получена редакцией в рукописи.

ческими кризисами, голодом и, наряду с этим и даже в первую очередь, военными катастрофами.

В наши дни подобным образом обосновать разрыв преемственности нельзя. Если бы нас устроил один-единственный «козел отпущения», можно было бы сослаться на революционный сдвиг в развитии средств массовой коммуникации. Но едва ли нас и это удовлетворит, вряд ли одним этим объяснишь исчезновение былого пиетета по отношению к старшим.

Что служило, еще не столь уж давно, фундаментом непререкаемого авторитета, побуждавшего юношу с особым почтением относиться к старцу? В недавнем прошлом это — накопленные знания; в более давние времена — владение устной традицией, которую только старшие могли передать младшим; еще раньше — та роль, которую обеспечивала старейшине хранимая в его седой голове коллективная мудрость племени, тайна обрядов и ритуалов. В наши дни необходимые для активного участия в общественной жизни знания по сути обновляются каждые пять-шесть лет. Иными словами, за пятилетие бóльшая часть приобретенных человеком знаний устаревает, а с ними «устаревает» и сам их носитель, погрязающий в массе ни для чего уже не пригодных, не нужных истин и сведений.

Кого же отнести к этим отсталым (мягко говоря) людям? Разумеется, старых, пожилых — пусть физически вовсе еще и не дряхлых.

(Для пожилых в этом смысле существует один-единственный выход: сохранять молодость. И это не просто вопрос желания или намерения: медицина, которая быстро движется вперед вместе с наукой и техникой, сегодня дает возможность сохранять физическую активность, подвижность гораздо дольше, чем, скажем, еще пятьдесят лет тому назад. Не говоря уж о давних столетиях, когда человек лет тридцати — сорока считался стариком; нынче на пятидесятилетних мужчин смотрят еще как на молодых, а женщины даже способны, став бабушками, рожать детей).

Есть еще многое, над чем стоит поразмыслить в связи с поведением молодежи. Старики в наше время забыли о ежегодных ритуалах (кстати, вполне заслуживающих, чтобы их воскресили) принятия молодых в равноправные члены общества, приобщения их к его жизни — ритуалах, посредством которых можно учить молодежь преемственности, вручать эстафету. На Западе это связано с ослаблением религиозных и этнических традиций. У нас осознание принадлежности к своему поколению, а вместе с тем и смысла жизни, воли к борьбе за будущее подчас не мыслится молодежью без разрыва с поколениями, придерживающимися, на ее взгляд, устаревших представлений, зашедшими в мировоззренческий тупик. И хорошо еще, если разрыв этот в какой-то мере сочетается с терпимостью; ведь если старики в общем отказались уже от навязывания молодым своих вкусовых норм, то молодежь благодаря мощной поддержке со стороны средств массовой информации склонна злоупотреблять своим положением, прибегать к вкусовому террору.

Я имею в виду, например, современную музыку и телевидение. И тут подхожу к вопросу, ради которого завел этот разговор,— к вопросу о настоящем и будущем нашей литературы, вернее, о том, что я наблюдаю в этой сфере и что по этому поводу думаю.

Для начала напомню о печально известном, и как можно уже полагать, не вполне сбывающемся пророчестве Маршалла Маклюэна, который утверждал, что «галактике Гутенберга», то есть базирующейся на письменном тексте культуре, приходит (ни более ни менее!) конец, что распространение электронных средств массовой коммуникации на все сферы повседневной жизни, а в дальнейшем вторжение их в искусство уничтожает (уничтожит) любую художественность, хоть в какой-то степени связанную с буквой. Это означало бы вообще конец печатной, книжной культуры, конец пускай не мгновенный, но ведущий во всяком случае к коренному изменению, оттеснению на задний план культуры логического чтения.

И тут мы окунаемся с головой в проблемы, которые во множестве порождает проза наших дней (что касается поэзии, то судить о ней предоставим более компетентным людям).

Как может молодой романист или новеллист отозваться на вызов, брошенный литературе кинематографом, телевидением (а теперь еще и видео)? Возможны три способа. Если писатель окажется слаб духом и выберет быстрый успех, он займет сторону визуальной коммуникации и поставит свои средства писательского воздействия ей на службу.

Второй путь — использование в творчестве психологических, логических завоеваний и методов, привнесенных новыми жанрами, всего того, чем электронная революция способна обогатить технику монтажа в литературе.

Наконец, есть третий путь: повернуться к соблазнам новых видов искусства спиной, попытаться уберечь письменную культуру от полного разрыва с традициями.

Настоящее и будущее литературы связано и будет связано с дальнейшим движением по второму и третьему пути. И прежде чем говорить о традиции, скажем кратко: «галактике Гутенберга» отнюдь не пришел конец, «масс-медиа» вовсе не отменили ее, разве что кое-где наметили г р а н и ц ы господства печатного слова, культуры чтения.

И все же сейчас, в эпоху распространения новых средств массовой коммуникации, прежняя культура логического чтения подошла к началу своего конца.

Правда, изменения в этом плане весьма относительны: количество произведений традиционной литературы и ее сторонников не уменьшается, ибо массы, овладев умением писать, должны еще пережить приобщение к традиционной культуре, то есть освоить искусство чтения.

Отказ от логического, традиционного чтения — пока привилегия небольшого, очень узкого слоя интеллигенции и, естественно, молодых, набегающих друг на друга поколений писателей. Литераторы, только-только вступающие в литературу, считают почти обязательным для себя овладеть «не-

линейным» образом мышления и способом творчества. При этом они словно бы нисколько не заботятся о читателях, о том, многим ли плоды их творческой работы доступны. Впрочем, успех для них все же не пустой звук; об этом свидетельствует пример музыки: массовые перемены в сфере музыкальных вкусов, стремительное распространение «молодой» музыки.

Что же все-таки характерно для новейших явлений литературы? Говоря предельно кратко: иронический или серьезный сюрреализм и, наряду с ним или в противовес ему, склонность к игре, микрореализм, доходящий до натурализма. В структуре произведений: повествование сразу на нескольких уровнях, смещение временных плоскостей в рассказе. Этот новый тип рассказа не требует, однако, «истории», фабулы, событийности. О чем повествует такой текст, такое произведение, нельзя изложить последовательно, от начала к концу. То есть само понятие «рассказ» в старом его значении к таким произведениям уже не подходит; здесь уместнее слово «новелла» — в исконном его значении, подчеркивающем идею «нового». Да и роман нельзя уже понимать в том смысле, что писатель излагает нам какую-то занимательную или поучительную историю. Чего хочет писатель, мы, читая произведение, не очень можем понять, так как прекрасно оформленный, меткий, порой эпиграмматически четкий, а подчас усложненный текст должен восприниматься как самостоятельный объект наслаждения. В лучшем случае лишь после того, как читатель насладился текстом, мы узнаем или почувствуем, что́ хотел сказать автор.

Один великолепный наш критик, характеризуя различие между прежней и нынешней прозой, приводит в пример стрельбу из лука. Новеллист прошлого с первых фраз ставит перед читателем мишень, в которую будет пускать свои стрелы и в которой по мере движения повествования стрел будет торчать все больше. «Современный» прозаик и не думает выдавать читателю свою цель, ставить перед ним мишень: он просто пускает стрелы вперед, назад, вправо, влево. Любезный читатель и не догадывается, в каком круговороте он оказался; лишь дойдя до конца, подытожив то, что поддается подытоживанию, он сможет отдать себе какой-то отчет о «пережитом».

Что отличает современную прозу от того воздействия, которое оказывает на человека телевидение? Информация, полученная с экрана, оседает в сознании чужеродными пластами, в то время как в самостоятельном художественном произведении слои значения переплетаются, даже сплавляются друг с другом.

Автор этих строк, сам работающий в сфере прозаических жанров, старается замечать и учитывать все новшества и завоевания, которые несет с собой телекоммуникационная революция, использовать все, что поддается логическому (пусть не всегда «линейному») использованию, вводит в свои новые вещи достижения «текстовой культуры», берущей свои идеи с самых разных сторон, стремится извлечь пользу из всего нового, отказываясь от того привнесенного из прошлого, что превратилось в негодный хлам реквизита, от бросающей в сон дотошной описательности. Но он не может допустить, чтобы в его (длинных или коротких) новеллах не было сущностного ядра (или пускай лишь зародыша) сюжета, действия. Не может он обойтись и без заранее выставленной мишени, в которой к концу творческого процесса будут торчать стрелы — как показатель эффективности его творчества.

Писатель, который отказывается от такой мишени, подвергает терпение своего читателя столь сильному испытанию, что тот может вовсе утратить его, то есть терпение; писатель в тот же самый момент лишится читателя. Утрата терпения в любой момент обернется скукой, а это прямой путь на тропу, уводящую от аудитории, на тропу, с которой нет возврата.

Ориентацию на самую массовую аудиторию литературного «ширпотреба» и, напротив, узко-элитарную установку, заведомо отвергающую упреки в нетерпимости и скуке, роднит одно общее понятие — мода, которая и в том и в другом случае означает недолговечность и эфемерность.

Как я рассматриваю поколения, рождающиеся каждые пять-шесть лет, что думаю о модах, набегающих друг на друга, обновляющих объем знаний и информации, громоздящихся друг на друга в жизни, в литературе? Я не испытываю тревоги: и мыслящий человек, и настоящий писатель всегда докопаются до корней действительности.

Будапешт

◆

ТРЕТИЙ В ДИАЛОГЕ

Конспект шестой Международной встречи журналистов, которая проводилась в местечке Яблонна под Варшавой

Слоноподобный автобус ввинчивался в варшавские улицы. Сначала — элегантность и оживленность Краковского Предместья, потом — возрожденная древность черепичной россыпи крыш в Старом Мясте, пронзенных шпилями башен, затем — стремительный бросок по мосту через неспешную Вислу, и вот уже — знак «конец Варшавы», поля, загородные домики, теплицы.

Три утра подряд — с 29 ноября по 1 декабря минувшего года — отправлялись караваны автобусов от гостиницы «Виктория» в центре польской столицы к расположенному в двух десятках километров от города местечку Яблонна. Там, в старинном замке, собрались более 120 представителей информационных агентств, газет и журналов, радио и телевидения из 26 стран — участниц общеевропейского совещания в Хельсинки.

Наряду с врачами и учеными-физиками, представителями других естественных наук и деятелями искусств журналисты разных стран сформировали собственное профессиональное движение, цель которого — содействовать взаимопониманию в сегодняшнем тревожном мире: по инициативе польских коллег встречи в Яблонне проводятся с 1969 года.

В первой теме своей нынешней дискуссии — «Наша планета после Рейкьявика» — участники «Яблонны-6» суммировали миллионы газетных заголовков и названий телепередач, сопутствовавших советско-американской встрече в столице Исландии.

«Диалог между Генеральным секретарем ЦК КПСС и президентом США был доведен до сведения мирового общественного мнения. Это произошло сразу же после встречи, когда состоялась пресс-конференция М. С. Горбачева, а позднее — в телевизионных выступлениях обоих руководителей, которые тем самым как бы пригласили к участию в своем диалоге третьего партнера — мировое общественное мнение»,—

такими словами открыл заседание «круглого стола» председатель Союза журналистов ПНР Клеменс Кшижагурский. И сразу же, подобно удачному газетному аншлагу или емкой журнальной рубрике, было найдено верное определение той роли, которую призваны играть средства массовой информации в столь трудном и столь необходимом диалоге Восток — Запад,— роль третьего партнера.

Не поспешна ли, не самонадеянна ли эта характеристика? По сути своей — нет, но лишь при условии высочайшей ответственности «третьего в диалоге» за то, с чем он обращается к людям посредством газетной полосы, телеэкрана, радиоволны. Об этом напомнил собравшимся за «круглым столом» в Яблонне министр иностранных дел ПНР Мариан Ожеховский:

«Современный журналист, занимающийся международной проблематикой, располагает мощными средствами, при помощи которых можно дойти до сознания сотен тысяч, даже миллионов людей. Он играет исключительно важную роль в формировании позиций, взглядов, поведения широких кругов общественности. Часто лишь от доброй воли, такта, знаний и позиции журналиста зависит то, как он использует вверенный ему инструмент, какой цели будет служить его труд».

Дискуссия сразу же начала набирать скорость, причем в немалой степени этому способствовали польские коллеги, в особенности ветеран польской публицистики Мариан Подковиньский, который вел дискуссию за «круглым столом». Участник минувшей войны, журналист, освещавший не только вооруженную борьбу против германского фашизма, но и Нюрнбергский процесс над главными нацистскими военны-

ми преступниками, именно он был и автором девиза встречи: «Не хотим быть военными корреспондентами! Хотим писать о мире!» Главный тезис Мариана Подковиньского:

«Со встречей в Рейкьявике человечество связывало огромные надежды на то, что она откроет отсчет нового времени — периода прочного мира, разоружения, взаимопонимания. Тот факт, что Рейкьявик не увенчался ожидаемым успехом, вызвал разочарование у многих людей. И все же диалог Восток — Запад может и должен продолжаться, а мы, журналисты, способны внести большой вклад в создание политической атмосферы, благоприятной для такого диалога».

Но в чем же причина того, что переговоры на высшем уровне в исландской столице завершились именно так? Почему администрация США, пойдя на встречу в Рейкьявике, потом стала делать все, чтобы извратить, дискредитировать ход и итоги советско-американского диалога, чтобы вернуть мир к ситуации до Рейкьявика? Делясь многолетними наблюдениями за внешней и внутренней политикой Белого дома, обозреватель польской газеты «Речь Посполита» Максимилиан Березовский так комментировал происшедшее:

«Администрация Рейгана поистине непредсказуема в своих действиях на мировой арене. Все более увязая во внутриполитических скандалах (достаточно назвать «ирангейт»), она все более прямолинейно делает ставку на силу во внешней политике. Демонстрация грубой силы — это и попытка поставить с ног на голову соглашения, достигнутые в Рейкьявике, и продолжение ядерных взрывов, и нарушение Договора по ПРО, и военный шантаж Никарагуа, и жажда так или иначе оказать давление на мою страну — Польшу...»

По мнению советского американиста Томаса Колесниченко («Правда»), «правящие круги Вашингтона отвергают миролюбивые инициативы СССР, постоянно пуская в ход тезис, столь же анахроничный, сколь и фальшивый: все, что хорошо для Советского Союза, автоматически должно быть плохо для США. И потому Рейкьявик, где переговоры в области разоружения зашли так далеко, как никогда раньше, именно Рейкьявик может стать символом упущенных возможностей».

А что же западные коллеги? Как они представляют себе мир до и после Рейкьявика? Как оценивают они политический курс администрации США в международных делах? Ясного ответа на эти вопросы от американцев в Яблонне не было. Известный мастер американской международной публицистики Флора Льюис («Нью-Йорк таймс») ограничилась скупой ремаркой на эту тему:

«Я никогда не защищала Рональда Рейгана и не собираюсь этого делать в будущем. Но я не согласна с мнениями некоторых журналистов из социалистических стран, утверждающих, будто провалы во внутренней политике лишают внешнеполитический курс президента надежности и предсказуемости».

Еще резче высказался соотечественник Ф. Льюис, корреспондент телекомпании Си-Би-Эс Питер Кендолл:

«Многие участники нашей дискуссии явно заинтересованы в том, чтобы использовать в собственных пропагандистских целях ход и итоги встречи в Рейкьявике».

Впрочем, подобные суждения лишь подчеркивали растерянность американских коллег, которые, несомненно, чувствовали себя не в своей тарелке, поскольку, говоря словами П. Кендолла, никак не могли «использовать в собственных пропагандистских целях ход и итоги встречи в Рейкьявике». На американской стороне «круглого стола» возник явный вакуум, и тогда, проявляя «атлантическую солидарность», его поспешили заполнить некоторые западноевропейские журналисты.

«Ситуация после Рейкьявика — хуже, чем была до него, так как теперь обеим сторонам потребуется гораздо больше времени и усилий для организации новой аналогичной встречи; к тому же, не устранена и главная причина расхождений: стремление СССР склонить президента США к отказу от программы СОИ»,—

такую точку зрения изложил корреспондент шведского телевидения Уле Стенхольм. Таким образом, в работу был запущен обкатанный тезис буржуазной пропаганды насчет «равной ответственности двух сверхдержав» за напряженность в мире и «несговорчивости СССР» касательно планов «звездных войн». Подбросил хворосту в дискуссию и обозреватель французского журнала «Экспресс» Бернар Ульман:

«Неуспех Рейкьявика был предопределен уже тем, что СССР категорически не согласен с американской программой СОИ. Мне не нравятся атаки советских коллег на президента США, тем более что он остается полномочным партнером руководства СССР по дальнейшим переговорам. Впрочем, как гражданин страны, опирающейся на собственные ядерные силы и не участвовавшей в рейкьявикской встрече, я не хотел бы вмешиваться в советско-американский диалог».

Эстафета подхвачена швейцарским журналистом Пьером Зимоничем, постоянно сотрудничающим в газете «Франкфуртер рундшау» (ФРГ):

«А почему СССР столь упорно пытается списать со счетов Рейгана? В Москве уже делают ставку на следующего президента США? И почему советская сторона столь упорствует в своем требовании реализовывать выдвинутые ею предложения лишь в пакете?»

Итак, на «круглый стол» выложен более или менее полный набор аргументов, которые используются официальной пропагандой Запада в международной полемике после Рейкьявика. Любопытная деталь: те самые журналисты, которые на третий день

дискуссии, когда речь шла о профессиональном долге работника средств массовой информации, обвиняли коллег из социалистических стран в том, что они «идут в хвосте за политиками», «представляют не собственную точку зрения, а позицию своего правительства»,— именно эти журналисты при обсуждении итогов Рейкьявика слово в слово повторяли аргументацию Рейгана и Коля, Тэтчер и Миттерана.

А что касается существа поднятых проблем, то:

«СССР отнюдь не требовал от США абсолютного отказа от СОИ, предложив американской стороне лишь ограничиться лабораторными исследованиями в этой области; СССР и тут пошел на компромисс, возражая только против испытаний новейших вооружений в космосе, против нарушения советско-американского Договора по ПРО» (политический обозреватель Советского телевидения Валентин Зорин);

«Французский коллега совершенно напрасно не хотел вмешиваться в советско-американский ядерный диалог. Не отражает ли это позицию официального Парижа в вопросе ликвидации ядерных вооружений на европейском континенте? Не соответствует ли это реакции правящих кругов Франции, ФРГ, Великобритании, которые бьют тревогу именно в связи с реально обрисованной и в принципе согласованной в Рейкьявике перспективой безъядерной Европы и безъядерного мира?» (политический обозреватель «Известий» Викентий Матвеев);

«Нет никакого сомнения в том, что СССР стремился и стремится заключить с США всеобъемлющее соглашение о ядерном разоружении. Результаты Рейкьявика необходимо не только сохранить, но и развивать дальше» (корреспондент Финского телевидения Ярмо Мякеля);

«Не потому ли сегодня кое-кто в Западной Европе пытается растащить по частям пакет советских предложений, что не может и не хочет себе представить жизни без гор оружия, без ядерной угрозы, не способен овладеть новым политическим мышлением?» (корреспондент Чехословацкого радио Антонин Костка).

Среди собравшихся за «круглым столом» в Яблонне многие знали друг друга по дискуссиям на предыдущих журналистских встречах. Двое участников продолжали здесь полемику, начатую ими еще в 1945 году, когда оба они оказались в английском лагере для пленных солдат и офицеров нацистского вермахта. Карл-Эдуард фон Шнитцлер — известнейший тележурналист ГДР, многие годы ведущий популярную международную передачу «Черный канал»; Штефан Томас — один из старейших публицистов ФРГ, долгое время возглавлявший радиостанцию «Дойчландфунк». С 1945 года их идейные пути разошлись, фон Шнитцлер и Томас, граждане двух различных германских государств, убежденные сторонники того социально-экономического строя, при котором они живут и работают. Но вот что думают они о сегодняшнем времени, о возможности выхода из ракетно-ядерного тупика, в котором оказалась планета, о первейшем долге журналиста в наши дни:

«Война в ядерный век может обернуться лишь всеобщим поражением человечества, и потому у народов самых различных государств существует объективное стремление к всеобщему выживанию... Противоречия между капитализмом и социализмом были, есть и будут, но они никоим образом не должны переноситься на межгосударственные отношения или тем более выражаться в военной конфронтации... Людям всей земли необходимо заключить коалицию с разумом, со здравым смыслом, а нам, журналистам, следует учиться новому политическому мышлению, следует во весь голос говорить о том, что ядерная ракета не будет делать различия между теми, кто прижимает к сердцу библию, и теми, кто носит у сердца партийный билет коммуниста...»

«СССР и США в Рейкьявике подошли к тому этапу, когда существует реальная возможность договориться о модусе вивенди в ядерный век, и потому эту встречу никак нельзя назвать провалом. Но чтобы возможность стала действительностью, необходимо реальное и трезвое политическое мышление, отчетливое понимание того, что разрешение существующих сегодня в мире конфликтов возможно лишь мирным путем... Истина всегда конкретна, и в наши дни она гласит: либо совместное выживание, либо совместная гибель».

Право, я чуть было не перепутал в блокноте эти записи: до того они схожи. И Карл-Эдуард фон Шнитцлер, говоривший первым, и Штефан Томас, выступавший вслед за ним, своим полным согласием по главной проблеме словно подвели итоги дискуссии первого дня.

Следующая тема называлась «Европа и весь мир». Взаимосвязь Старого Света с остальным миром очевидна. Еще более наглядна взаимозависимость народов, населяющих сам европейский континент, где не может быть мира лишь для одного государства или группы стран (как было во время первой и второй мировых войн) и где невозможна охрана окружающей среды только в национальных рамках (как показала трагедия Чернобыля и катастрофа с отравлением Рейна). Но почему же тогда в ряде западноевропейских столиц так упорно держатся за ядерный, а отнюдь не безъядерный мир на континенте? Почему стремятся превратить его западную часть в заложницу американской программы «звездных войн»? Почему идеологическая борьба на страницах многих газет, именующих себя «свободными» и «независимыми», сплошь и рядом превращается в пропаганду ненависти к «русским», «красным», «коммунистам», в ту самую психологическую войну, которая уже дважды в этом столетии предваряла настоящую?

«Мы, на востоке Европы, быть может, тоже не всегда даем во всей полноте и достоверности картину жизни на Западе, но мы никогда не опустимся до клеветы, инсинуаций, утаивания и передергивания

фактов и уж тем более до пропаганды ненависти к другим народам,—

сказал по этому поводу обозреватель польского информационного агентства ПАП Станислав Гломбиньский.—

Я хочу спросить многих западных коллег: неужели вы не видите огромных перемен в социальной и экономической жизни Советского Союза? Не видите, что Польша в 1986 году — совсем не та, что была два и тем более четыре года тому назад? Но почему же тогда, если видите все это, вы пытаетесь втиснуть новые явления жизни в старые пропагандистские клише, в убогий тезис: «этого нет, потому что этого быть не может»? А между тем перемены, происходящие в социалистических странах Европы, будут иметь огромное значение для всего континента».

Не прямо, но косвенно отвечая на эти вопросы, корреспондент швейцарской газеты «Базлер цайтунг» Петер Циглер говорил о важности внутриевропейского культурного обмена, о том, что общему духовному наследию Европы принадлежат Маркс и Гегель, великие писатели, художники, музыканты Востока и Запада, о том, наконец, что нелегкий процесс взаимного сближения и понимания народов, начатый общеевропейским совещанием в Хельсинки, идет и сегодня.

«Это все очевидно, и наши страны всегда готовы к расширению культурного обмена,—

с юношеской запальчивостью вступил в полемику молодой журналист Габор Хорват из венгерской газеты «Эшти хирлап»,—

но объясните мне все же смысл и цель существующего на Западе гигантского количества публикаций прессы, телепередач, книг, кинофильмов, в том числе и научно-фантастических, где непременно идет речь о «коммунистической угрозе свободному миру»! А ведь в самом первом документе ООН говорилось, что войны начинаются прежде всего в умах людей...»

«Согласитесь, что страх перед соседями, большими и малыми, у многих народов существует уже давно, и его не так легко устранить. Но конечно же, не стоит подливать масла в огонь,—

примирительно говорил в ответ обозреватель второй программы западногерманского телевидения (ЦДФ) Дирк Загер.—

Журналисты, как и вообще все деятели культуры, способны содействовать упрочению доверия и потому обязаны действовать именно таким образом. Я видел недавно советский фильм «Письма мертвого человека» и убежден, что такие произведения искусства, открыто говорящие об общечеловеческих проблемах, вносят серьезнейший вклад в доверие и взаимопонимание».

Так протекала эта дискуссия, в целом откровенная, коллегиальная и доброжелательная, хотя один раз ее нарушил резкий диссонанс. Редактор шведской газеты «Свенска дагбладет» Ларс Эстберг, прижав руку к сердцу, трагически зашептал в микрофон:

«Я хочу говорить здесь не только как журналист, но и как человек. Я хочу говорить о том, как тяжело нам, шведам, жить в тени соседней сверхдержавы...»

И далее последовал рассказ об ужасах, терзающих г-на Эстберга, в том числе — о самом кошмарном, о грузовиках «Совтрансавто», водители которых «при поездках по Швеции используют исключительно проселочные дороги и выслеживают военные объекты». Шведскому коллеге резонно заметили, что разговор о «жизни в тени соседней сверхдержавы» был бы вполне закономерен в отношении американского континента, где тень, брошенная империалистическим гигантом США на маленькую свободолюбивую Никарагуа, таит в себе вооруженную агрессию. Что же касается иных галлюцинаций г-на Эстберга, то они были разрушены буквально наутро лаконичной информацией агентства ПАП: сообщалось, что сотрудники службы безопасности ПНР пресекли попытку нелегального ввоза в страну крупной партии полиграфического и электронного оборудования, предназначенного для подрывной деятельности некоторых бывших деятелей бывшей «Солидарности»; большегрузный автомобиль с этим оборудованием прибыл в Польшу из Швеции, имел шведские номера и управлялся водителем-шведом по имени Ленарт Йерн...

Из конспекта дискуссии видно, что и в первый и во второй ее день неизменно поднимался вопрос об «ответственности журналиста в диалоге Восток — Запад». Полностью же этой теме был посвящен заключительный день встречи. И разумеется, здесь наиболее часто сталкивались противоположные мнения: слишком различны традиции и условия, в которых работают люди с пишущей машинкой, телекамерой, радиомикрофоном. Но

«в условиях обострения международной обстановки особо необходимо объединение усилий во имя сохранения мира, продолжения диалога Восток — Запад. Если эта необходимость проникнет глубоко в сознание масс, то она, говоря словами Маркса, станет материальной силой, и здесь для журналистов исключительно широкое поле деятельности. Наверное, никакая другая профессиональная группа не могла бы столь эффективно выполнять функцию защитников мира и диалога»,—

подчеркнул по завершении «Яблонны-6» на своей встрече с ее участниками Первый секретарь ЦК ПОРП, Председатель Государственного совета ПНР Войцех Ярузельский. В том или ином виде эта мысль об ответственности журналистики высказывалась и по ходу самой дискуссии за «круглым столом». Споры чаще всего разгорались, когда речь шла об освещении конкретных событий.

«В западной прессе с трудом можно найти упоминание о будапештской инициативе государств — участников Варшавского Договора в области сокращения

обычных вооружений в Европе. Почему? Западная пресса не дала полностью либо исказила советские предложения в Рейкьявике. Почему? Американские газеты постоянно пишут, что США имеют право проводить политику с позиции силы. А кто дал им это право? Все это вопросы нашей профессии, журналистской этики»,— размышлял чехословацкий журналист, сотрудник братиславской «Правды» Бедржих Загара. По мнению американки Флоры Льюис, «поиск журналистом истины не так важен, как изображение самой действительности»,

а по словам обозревателя западногерманской газеты «Вельт» Бернда Конрада,

«журналисту не следует влезать в политику и тем более становиться на ту или иную сторону в политическом споре».

Удивительное дело: и Флора Льюис, и Бернд Конрад, и ряд других западных журналистов со всей серьезностью утверждали подобное в ответ на справедливые вопросы чехословацкого коллеги или, скажем, оправданные упреки корреспондента Польского радио Кшиштофа Войны по поводу тенденциозной, злопыхательской, клеветнической информации «свободных» журналистов Запада о социалистической Польше. Впрочем, когда профессиональный разговор в Яблонне заходил о конкретных фактах и событиях в изложении прессы, сторонники тезиса «абсолютной свободы и политической независимости» средств массовой информации на Западе предпочитали не вдаваться в подробности.

«Это и понятно, ибо даже в такой стране буржуазной демократии, как Швеция, есть немало фактов политической дискриминации, нарушения прав человека, преследования людей за их убеждения, о чем, однако, никогда не пишет «свободная» печать»,—

заметила корреспондентка рабочей шведской газеты «Норшенсфламман» Ребекка Хаазал.

...Итак, «Яблонна-6» стала уже историей. И не только ее солидный порядковый номер, но и то, что́ председатель встречи Мариан Подковиньский назвал «духом Яблонны», свидетельствует о том, что название маленького польского местечка по праву вошло в международный политический словарь. Это произошло потому, что

«разные политические взгляды, различные профессиональные традиции не могут повредить единству журналистов, если общей их целью является посильное содействие трудному и столь необходимому диалогу Восток — Запад».

Слова, произнесенные в конце встречи вице-президентом Международной организации журналистов (МОЖ) Жераром Гатино, стали сжатым и выразительным итогом «Яблонны-6».

АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВ,
политический обозреватель ТАСС

Варшава—Москва

◆

Критика

ИЗ БЕСЕД В РЕДАКЦИИ

ГОЛОС АВТОРА И ПРОБЛЕМЫ РОМАНА

О некоторых особенностях современной западной прозы

Часть II

Т. МОТЫЛЕВА. В литературе XX века картина мира усложняется, обогащается. Вместе с тем усиливается социальная, идейная активность художественной литературы, в лучших ее образцах. Писатели-прозаики (ведь мы говорим именно о прозаиках) стремятся разобраться в противоречиях современного мира, выразить свою идейную позицию перед лицом этих противоречий. Отсюда поиски новых художественных средств, отсюда и изменение роли автора. Все те факты и примеры, которыми оперировал здесь Дмитрий Владимирович, конечно, убедительны: они показывают, что способы выражения авторской позиции в романе становятся более разнообразными, часто — художественно более действенными, чем традиционное авторское всеведение. Но стоит задуматься над тем, *как* утверждается авторская позиция, несмотря на отказ от условной роли всезнающего автора. Или, вернее,— *как* авторское всезнание прокладывает себе дорогу даже и там, где на место автора-демиурга, полновластного хозяина сотворенного им мира, становится вымышленный личностный повествователь — сам ли герой, или свидетель, или участник описываемых в романе событий.

Конечно, подобные способы повествования существовали и в литературе прошлого. «Симплициссимус», «Жиль Блаз», «Страдания молодого Вертера» — надо ли приводить еще примеры? Образ Печорина у Лермонтова раскрывается с разных сторон через восприятие Максима Максимыча и через его собственный «журнал». Исследователи не раз писали о проблеме автора у Достоевского. Ему — как говорит Дмитрий Сергеевич Лихачев — «чужда позиция спокойного писательского всеведения», в поисках выражения реального он выдвигает образ «неопытного рассказчика», хроникера, летописца, очевидца. Вспомним сцены суда в «Братьях Карамазовых»: как выигрывают эти сцены благодаря тому, что рассказчик, некий житель города Скотопригоньевска, сидит среди публики и передает реакцию этой публики на важнейшие моменты судебного процесса! Так создается особый эффект присутствия, необычайно повышается драматическая интенсивность повествования. Но ведь не мог этот вымышленный рассказчик присутствовать ни при доверительных разговорах братьев, ни при аресте Мити в Мокром. Достоевский и не мог, и, очевидно, не хотел полностью изгнать автора-демиурга из своих романов — этот демиург иногда уступает место вымышленному хроникеру, но *не устраняется полностью*.

В зарубежных литературах XX века мы иногда находим разнообразнейшие примеры взаимодействия разных повествователей в рамках одного произведения. Автор как бы перевоплощается то в одного, то в другого из своих персонажей, иногда в анонимного свидетеля событий. Позиция автора выявляется именно в сочетании, в совокупности разных точек зрения. Но всезнающий автор присутствует— пусть незримо.

В романе Томаса Манна «Доктор Фаустус» повествование передоверяется Серенусу Цейтблому — честному, наивному интеллигенту-либералу. Но в ключевой 25-й главе, где идет речь о дьявольском наваждении Адриана Леверкюна, рассказ ведет сам композитор. И он же в финале романа получает слово для уничтожающе-покаянных признаний. Томас Манн подарил частичку своей личности и Леверкюну и Цейтблому. И оба они в конечном счете предстают в критическом освещении: к повествованию, которое ведет Цейтблом, примешивается струя неуловимой и все же явственной авторской иронии. Это и есть тот феномен,

Окончание. Начало см. в № 3.

МОТЫЛЕВА ТАМАРА ЛАЗАРЕВНА

Советский литературовед, доктор филологических наук, профессор. Автор книг «О мировом значении Л. Н. Толстого» (1957), «Иностранная литература и современность» (1961), «Зарубежный роман сегодня» (1966), «Ромен Роллан» (ЖЗЛ, 1969), «Роман Анны Зегерс «Седьмой крест» (1970), «Достояние современного реализма» (1973), «Первый антифашистский роман» (1974), «Война и мир» за рубежом. Переводы. Критика. Влияние» (1978), «Роман — свободная форма» (1982), «Анна Зегерс. Личность и творчество» (1984).

который Бахтин называл «двуголосое слово».

Даже там, где всезнающего автора, казалось бы, нет, мы можем разглядеть *соприсутствие автора* в рассказе, размышлениях, свидетельствах одного или нескольких повествователей. Это соприсутствие обнаруживается иногда на уровне интеллектуальном, идеологическом, как в «Фаустусе», иногда на уровне композиционном, как в «Братьях Карамазовых», иногда и на уровне стилистическом.

В трилогии Фолкнера взаимодействуют три вымышленных повествователя. У каждого из них свой угол зрения на события. Но разве, скажем, простодушный Рэтлиф говорит своим языком? Мог ли он произнести громадные, сложнейшие фолкнеровские периоды? Художник передает то видение мира и людей, которое присуще Рэтлифу. Однако строй речи у Рэтлифа не его собственный, а фолкнеровский, обогащенный, усложненный. И это не единственный случай, когда элементарный стилистический анализ помогает выявить присутствие автора в повествовании.

В романе Германа Канта «Остановка в пути» герой очень близок автору по некоторым чертам биографии — в основе сюжета здесь лежит личный опыт автора, его свидетельство и самоанализ. Однако романист силой своего авторского всеведения расставляет на пути героя людей, которые помогают ему осознать преступную суть фашизма и его собственную, пусть маленькую, но реальную долю ответственности за фашизм и за войну. Притом стиль изложения здесь сложнее, богаче, чем мог быть строй речи юного рабочего-солдатика, такого как Марк Нибур. Мы тут сталкиваемся с интеллектуализацией речи героя-повествователя в романе «от первого лица». Автор как бы наделяет его собственным литературным мастерством. И это в немалой степени повышает привлекательность книги для читателя.

Аналогичный пример мы находим в творчестве писательницы, которая была для Канта одним из литературных учителей. Я имею в виду Анну Зегерс — «Транзит», единственную ее книгу, написанную от первого лица. Роман начинается в непринужденной манере устной речи, как обращение героя к невидимому слушателю. И конечно, романистка подключается к этому устному рассказу, ее голос взаимодействует с голосом героя-рассказчика, неискушенного в литературе молодого немца. В «Транзите» есть эпизод, где этот молодой человек читает рукопись крупного писателя и испытывает радостное волнение от встречи с родным языком на чужбине. Тут возникает небольшое лирическое отступление — во славу родного языка и во славу профессии писателя, который хранит в тяжких условиях изгнания национальное духовное богатство. Здесь автор явно выражает от имени героя свои собственные заветные мысли. Да и в самом стиле повествования мы находим такие изощренные обороты речи, которые принадлежат именно самой писательнице, а не вымышленному повествователю. Например, метафора, которая понравилась Генриху Бёллю: о некоей бабушке большой семьи беженцев говорится, что эта старуха столь древняя, что кажется, будто она была изгнана из Вены не Гитлером, а декретом Марии-Терезии... Такие формы авторского присутствия в романе — тоже не мелочь. Бывает вторжение в авторскую речь «чужого слова» из лексики персонажа — а бывает, оказывается, и вторжение авторского слова в речь персонажа.

Более сложную структуру находим мы в романе «Седьмой крест». Там ясно различимы *два* повествователя (хотя исследователи из ГДР этого не признают, но это так). Один — безымянный антифашист, говорящий от лица узников лагеря Вестгофен,— он комментирует побег семерки заключенных, и именно ему отданы знаменательные слова о том «неуязвимом и неприступном», что живет в человеке, помогая ему сопротивляться силам зла. Другой — автор, который знает все: и о Георге Гейслере, который спасся, и об остальных шести, которые не могли спастись. Тут по-своему преломляется структурный принцип Достоевского — взаимодействие рассказчика-очевидца с автором-демиургом. Именно так Анна Зегерс могла лучше всего донести до читателя свой идейный замысел.

Раздвоение автора на две «роли» возможно иногда и в другом смысле. В романе Стайрона «Выбор Софи» центральный персонаж отчасти автобиографический — молодой Стинго, не так давно вернувшийся с фронта; он, как и многие американские солдаты, не имел понятия об антифашистском смысле войны, не имел представления о фашизме,— и только теперь, слушая страшные рассказы Софи, узнает об Освенциме, о тех зверствах, которые там творились. Однако в последних главах иногда получает слово уже не былой, наивный Стинго, а зрелый, опытный писатель, который продолжает годы спустя размышлять над проблемами фашизма и войны, над новыми опасностями, грозящими человечеству. Эти страницы, где актуальная эссеистика вторгается в повествование, намного повышают идейную значимость книги.

Прослеживая пути видных писателей XX века, мы можем заметить, как возрастание их социально-политической активности отражалось в изменении роли автора в их романах. Ромен Роллан в «Жан-Кристофе» придерживается принципа авторского всеведения, вместе с тем иногда вводит и лирические отступления «от себя»; передавая своему герою многие свои мысли, он все же не сливается с ним (в его письмах даже встречается фраза: «Жан-Кристоф не мог бы написать «Жан-Кристофа»). И в «Очарованной душе» Роллан, конечно, не отождествляется ни с Аннетой, ни с Марком, но в последних томах прямо вводит себя как эпизодическое действующее лицо, вступает в разговор со своими героями, подчеркивая тем самым собственную причастность к их поискам и проблемам.

Генрих Манн никогда не отказывался от авторского всезнания. Не отказался он от него и в романах о короле Генрихе IV, где впервые за свою долгую писательскую жизнь создал образ гуманиста, активного творца истории. Не довольствуясь историческим повествованием, писатель включил в текст первого из двух романов короткие «моралите», поучения, обращенные

к герою: там содержатся нравственно-философские обобщения, не утратившие значения и для нашей современности. Дилогия завершается прямым обращением Генриха IV к людям века двадцатого, призывом к высокой человечности и миру между народами.

Ранние романы Хемингуэя, «Фиеста», «Прощай, оружие», носят характер по преимуществу лирический — повествование идет от лица героя, психологически близкого автору. Но в романе «По ком звонит колокол» — где герой тоже близок автору по умонастроению и нравственному складу — лирическая манера оказалась бы неуместной. Размышления Джордана вбирают в себя много событий и человеческих судеб — и небольшой по объему роман вырастает в мощную эпическую картину народно-освободительной борьбы, с ее героикой и ее внутренними противоречиями. Авторское всезнание (или многознание) ненавязчиво, но существенно обогащает, углубляет мысль центрального персонажа.

Недавно мы увидели любопытный пример того, как отказ от объективной формы повествования дорого обошелся одному из крупнейших мастеров прозы нашего столетия: я имею в виду неоконченный роман Роже Мартен дю Гара «Подполковник де Момор». Работа автора над ним продолжалась семнадцать лет и не пошла дальше фрагментов. Поставив себе целью дать жизнеописание честного французского военнослужащего, патриота, писатель избрал изложение от первого лица. И он с высоким мастерством описал детство и юность героя, становление его личности. Описал он и его старость, его переживания в дни немецкой оккупации. Но основная часть романа, история военной карьеры Момора, в частности его служба в Африке, осталась ненаписанной. Не смог автор, принципиальный противник войны, перевоплотиться в своего героя в бытность его офицером колониальных войск — именно потому, что этот герой был симпатичен ему. Структура романа и выбор центрального образа пришли в противоречие, оказавшееся неразрешимым.

С другой стороны, мы знаем в литературе XX века — именно в литературе антивоенной, антифашистской — произведения, где типы явно одиозные раскрываются «изнутри», посредством внутреннего монолога или исповеди. Тут требуется немалое мастерство автора (а в дальнейшем и переводчика), чтобы психология реакционера, антигуманиста была передана без упрощения и чтобы вместе с тем было очевидным отрицательное отношение художника к нему. Скажем, в романе Робера Мерля «Смерть — мое ремесло» образ фашистского изверга очерчен вполне отчетливо, совершенно беспощадно — автобиография антигероя Рудольфа Ланга говорит сама за себя, без каких-либо комментариев.

Не стоит расширять круг примеров. Формы выражения авторской позиции в романе XX века, как мы видим, очень различны. Отказ от авторского всеведения, вообще говоря, возможен, но не надо считать его некоей обязательной нормой. Многое зависит от темы и материала, наконец, и от личных склонностей художника. Автор современного романа далеко не всегда хочет быть невидимым, как бог в природе,— нередко он выходит из-за кулис, вступает в прямое общение с читателем или со своими героями. На наших глазах продолжаются поиски писателей, стремящихся вместить в рамки своих повествований многосложную, драматичную действительность нашего времени.

Недавно вышла — одновременно в СССР и в ФРГ, на русском и немецком языках — необычайно интересная антология: «Европа на пороге третьего тысячелетия». Она содержит стихотворения и фрагменты повествовательной прозы, статьи, высказывания, размышления писателей обеих стран, а также ученых, публицистов, политических и религиозных деятелей. Здесь соседствуют Чингиз Айтматов и философ Карл Ясперс, Константин Симонов и Вольфганг Борхерт, Гюнтер Грасс и Кайсын Кулиев. На отдельных серебристо-серых листках-вкладках представлены, далеко за пределами СССР и ФРГ, писатели разных стран Европы, социалистических и капиталистических — Альберто Моравиа, Криста Вольф, Эммануэль Роблес, Герман Кант, Радован Зогович. И еще многие другие.

Книга наводит на поучительные размышления. Она представляет плодотворную попытку соединить под одним переплетом людей разных мировоззрений, живущих в государствах с различным политическим строем. Перед нами своего рода опыт реализации нового мышления в поэтическом и публицистическом слове. Книга свидетельствует о единстве коренных устремлений деятелей культуры XX века, вдохновленных общей целью, общей волей — спасти человечество, сохранить жизнь на земле. И свидетельствует вместе с тем о неисчерпаемом многообразии словесных средств, какими может быть выражена эта общая воля.

Писатели разных стран, и не в последнюю очередь наши советские писатели, размышляют над тем, каковы задачи художественной литературы в свете современной борьбы за мир. Само собой разумеется, что участие в этой борьбе не предполагает каких-либо ограничений, стилистических или жанровых. Напротив, оно требует от литераторов прежде всего широты кругозора, душевной открытости. И конечно, мастерства. Мне хочется привести несколько строк из статьи писательницы, участницы Великой Отечественной войны Елены Ржевской: «Не должна литература лишиться животворности под гнетом омрачающей доминанты. Думается, в наши-то времена литературе нужны все краски, все многообразие, чтобы облагораживать, смягчать нравы, чтобы жизнь представала в ней полнокровной, желанной, достойной того, чтобы, страдая, радуясь, негодуя и грустя, любить ее и желать ей бессмертия».

В условиях, когда само существование рода человеческого поставлено под вопрос, многие, застарелые или новоявленные, разногласия касательно художественных форм становятся малосущественными. И не о формах надлежит спорить. Авторское присутствие, авторская позиция в романе, повести, поэме может быть высказана различными способами. Важно, чтобы позиция эта была искренней, чтобы правда художника

была бескомпромиссной, чтобы слово художника убеждало.

Д. УРНОВ. Для наших бесед выбрана удачная тема — это следует отметить прежде всего. Она и общеинтересна, и сугубо специальна. Не всякая, даже очень важная проблема, интересующая литературоведов, прямо затрагивает читателя. А здесь совпадение интересов полное, потому что это ведь, собственно, вопрос вопросов относительно литературы. Исследователь и читатель сформулируют его, скорее всего, по-разному. Исследователь употребляет такие выражения, как композиция, повествовательная «точка зрения», авторское «всеведение» (или «неведение»), а читатель спросит просто: «Почему книга увлекательна?» Но в принципе речь будет идти об одном и том же, о главном: как книга заставляет себя читать? Почему мы автору верим?

Фундаментальный вопрос. И фундаментальный ответ на него дан самим развитием литературы как общественного «института», эволюцией книги как культурного феномена. Этот ответ даже закреплен авторским правом. Всем известно: чье имя стоит на обложке (или перед заглавием), тот заслуживает доверия. Конечно, вопрос не решался сам собой. Заглянув в отдел редких книг какой-либо крупной библиотеки, мы убедимся в этом воочию. Вот «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка... Написано им самим». Мы-то знаем, что не «им самим», не моряком, а литератором-профессионалом, который плавал преимущественно в море чернил. Нам эта осведомленность, однако, не мешает. Зная секрет лишь видимой «достоверности», мы все равно читаем книгу с увлечением. А в свое время секрет должен был оставаться секретом, по крайней мере для большинства читателей. Иначе они бы и не открыли книгу. Кто стал бы верить всяким выдумкам, даже имеющим некоторое фактическое основание?

Но прежние времена миновали. Мистифицировать читающую публику так, как некогда делал Дефо, ныне не позволяют те же самые законы авторского права. Если автор не поставит своего имени на обложке, пусть пеняет на себя: не получит ни гонорара, ни славы! А то еще, чего доброго, получит неприятности, как это случилось с известной английской писательницей Дорис Лессинг: она попробовала, совсем как Дефо, писать от лица другой женщины — скандал! Нет, между автором и читателями, во избежание всяких неприятностей, уже давно заключен прочный общественный договор. Мы знаем (как бы говорят автору читатели, открывая книгу), что вы сочиняете, что вы нас в известном смысле «обманываете», но мы согласны вас выслушать. «Добровольное упразднение недоверия»,— так сформулировал этот читательский закон английский же поэт-романтик Кольридж.

Однако остались проблемы в границах читательского доверия. И даже еще усложнились. Уже в новые времена один писатель, перечитывая «Робинзона Крузо», воскликнул: «Жаль, что Дефо не описал смерть Робинзона!» — «Позвольте,— возразил ему собеседник, тоже литератор-профессионал,— а кто же рассказал бы об этой смерти?» В самом деле, где свидетель? Если бы «моряк из Йорка» погиб, тогда повествовательная позиция («точка зрения», с которой излагается история Робинзона) оказалась бы устранена, а другой «точки зрения» на необитаемом острове не было. Если бы, конечно, Робинзон хотя бы ради описания своей возможной кончины, не обучил своевременно писать Пятницу! Но, как известно, все вышло наоборот: Пятница погиб раньше.

«Подумаешь! Что за тонкости? Было бы, в самом деле, читать интересно, а уж с какой «точки зрения» все рассказывается, не суть важно»,— могут сказать читатели. И читатели, как всякие «покупатели», будут правы. И писателям это известно: за многими повествовательными тонкостями никто не уследит, а потому, если даже некоторые, принятые на себя автором условия «игры» («конвенция», говорят специалисты) окажутся нарушены — не беда! «Хорошо, когда кто врет весело и складно»,— сказал наш поэт, обозначив важнейший закон повествовательной поэтики. Писатели этим законом, или, лучше сказать, нарушением законов, постоянно пользуются. Сам Толстой, взяв на себя обязательство написать «такое Бородино, какого в литературе не было» (то есть окинуть грандиозную битву взглядом одного человека), иногда все же вводит в повествование другую «точку зрения», помимо «взгляда» Пьера Безухова. Да и как же иначе? Разве способен один и тот же повествователь-наблюдатель оказаться одновременно в разных местах «большого поля»?

Вот этот вопрос, вероятно, покажется чересчур специальным. Однако во вступительном слове Дмитрия Владимировича Затонского уже сказано, в чем суть: повествование или познание. Через повествовательные приемы в литературе решаются проблемы познания. Для чего Дефо выдал им самим выдуманное за «подлинные записки»? Как последователь своего современника, философа Локка, он верил в непосредственно-чувственную природу познания: что испытал сам, то и является истиной. Поэтому повествование очевидца считается правдой. Разумеется, «очевидца», созданного Дефо, но важен принцип: видел собственными глазами и сам же рассказываю,— значит, правда. Чтобы почувствовать проблему, перенесемся к началу нашего века: вроде бы такие же приключения, морские, но что-то тут не то — у Джозефа Конрада. А ведь Конрад, не в пример Дефо, сам был моряком, сам плавал и основным повествователем-свидетелем в своих книгах сделал моряка, капитана Марло. Но до чего странный свидетель! Рассказывает вроде бы исключительно о

УРНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1936 г.)

Советский критик и литературовед, доктор филологических наук. Автор книг «Как возникла страна чудес (Льюис Кэрролл)» (1968), «Робинзон и Гулливер» (1972), «Дефо» (1978), «Кони в океане» (1983), а также статей о Джозефе Конраде, Джеймсе Джойсе и др. английских и американских писателях.

том, что видел собственными глазами, и — вот не верит собственным глазам. Как все было, Марло излагает в деталях и даже еще прибавляет слухи, сведения из вторых рук, однако понять происходившее у него на глазах решительно отказывается. Видеть — видел, объяснить не в силах. Видел он цепь событий, видел, что за чем следовало, но — почему? Кто знает! Нужно ли напоминать, что подобная повествовательная позиция возникла в эпоху повального философского агностицизма?

Алексей Матвеевич Зверев отметил, что черты сугубо современной литературы можно отыскать в далеком прошлом. Разве Жак-фаталист не агностик? Это так. Но то прорывы в будущее, а мы говорим о характерном. И вот эта трудность познания, даже когда речь идет об очевидных, что называется, на поверхности лежащих фактах, стала проблемой литературы в нашем веке, она вызвала разработку соответствующих повествовательных средств, таких, с помощью которых можно дать понять читателю, что все непросто. Именно все, о чем только ни возьмись рассказывать. «Я родился в...» — уж в этом, приступая к рассказу, повествователь прошлого не сомневался, и вдруг самоочевидная точка отсчета ставится под вопрос. «В поисках утраченного времени» Пруста или «Портрет художника в юности» Джойса — это поиски цельного, самому себе верного, обладающего тождеством лица.

А сейчас что происходит с повествователем в западной литературе? В самом общем плане, конечно. Мне кажется, известное топтание на месте — после всего того, что было разработано в повествовательной «технике» на рубеже XIX—XX веков. До середины нашего столетия авторы еще штурмовали разные принципиальные повествовательные трудности, а потом как бы выбились из сил. Одним из памятников такой борьбы явился роман англо-канадского писателя Малькольма Лаури «У подножия вулкана» (1947), изданный у нас в серии «Мастера зарубежной прозы». Это очередная попытка передать «всю сложность» жизни с помощью, казалось бы, соответствующих средств: сложно построенного повествования. Но если Лаури удалось еще усложнить технику рассказывания после опытов первой трети века, то все-таки к новому творческому синтезу он свое повествование не вывел. Он не сказал ничего, кроме того, что история — кошмар, а индивидуальное человеческое существование — одна бесплодная морока, но это нам уже известно из «Улисса» и «Поминок по Финнегану». Тем не менее роман Лаури, не имевший читательского успеха, оказал воздействие на писателей, и вот передо мной одно из последствий его влияния: роман американского писателя Уильяма Гэддиса «Замок плотника» (1985). Буквально передо мной: я должен прочесть эту книгу и ответить редакции, стоит ее переводить или нет? Я в большом затруднении, в особенности если учесть, что Гэддис принимал активное участие во встрече советских и американских писателей и мы с ним познакомились. Стараясь не ошибиться в своем суждении, я прочитал отзывы американских рецензентов и в одной статье нашел такое мнение: если предыдущий роман Гэддиса был о словах, то этот — о знаках препинания. Вот до чего изощрилась повествовательная техника! Как повествователю Гэддису доступна позиция любого «ведения» и какого угодно «неведения», он держит под контролем каждую запятую и в то же время стремится сделать вид, будто в повествовании нет не только «направляющего» сознания, но какой бы то ни было определенности. Однако в итоге вместо вроде бы самопроизвольного текущего потока жизни я как читатель вижу в самом деле одни слова и знаки препинания, использованные с невероятным изыском. Отчего это происходит? Да потому, что повествовать так, как уже множество раз повествовали, автор считает излишним, ненужным, а новых рубежей взять не может. Как поистине передать на бумаге обыкновенные телефонные разговоры таким образом, чтобы мы их и не слышали? Чтобы разговоры были, а нас не было? В литературе обозначились своего рода неразрешимые задачи и парадоксы, как в философии, вроде «Ахиллеса и черепахи». Прежние повествовательные позиции, конечно, используются, и когда мы имеем дело с одаренным или хотя бы вполне профессиональным автором, это можно читать, это некий новый жизненный материал. Но принципиальные познавательно-повествовательные задачи (вроде возможности одному наблюдателю увидеть сразу все, что происходит и здесь и там: «Пока Джонс убивает свою жену, Смит с колясочкой гуляет в парке»,— так это формулировали в 20-х годах), подобного масштаба задачи давно не ставились...

Правда, тут наблюдается и следующий парадокс, связанный со сменой читательских поколений. Читатели, если они не историки литературы, не соблюдают исторической последовательности, не придерживаются иерархии литературных величин, читают первое, что в руки попалось — последователей раньше родоначальников. Многие повествовательные приемы и позиции (та же «точка зрения» или «поток сознания», «контрапункт») возникали у старшего поколения на глазах, очередность их освоения была очевидной, а нынешние читатели не читали Джойса (как лидера школы «потока сознания»), зато читали других авторов, испытавших его влияние: Хемингуэй, Фолкнер да и кто только в литературе XX века «потоком» не пользовался и не продолжает пользоваться... Поэтому новые читательские поколения всегда открывают для себя в литературе что-то новое, хотя сама по себе литературная техника может стоять на месте.

Впрочем, иллюзия новизны создается подчас не только у непрофессиональных читателей. Не раз в специальных работах попадались мне странные, анахронические перечисления, где последователи шли первыми, а за ними основоположники: «Фолкнер, Конрад...» или «Джон Апдайк, Джеймс Джойс...». А я помню, как Апдайка, когда он приехал в Москву, спросили, какого он мнения о Джойсе. «Какого мнения? — удивился вопросу начинающий писатель (он тогда только начинал).— Какого же мнения о горé могут быть кочка или кустик, находящиеся в тени этой горы?» О масшта-

бах Джойса как писателя можно иметь совсем другое, не столь возвышенное мнение, однако в смысле соотношения величин и творческого наследования это — бесспорно.

И все же, как ни объясняй, сколько ни наводи исторический порядок, все равно новые читатели читают новые книги как новинку во всех отношениях. Но это уже другой вопрос, не о роли автора в повествовании, а о роли читателя в литературном процессе,— вопрос, который, быть может, со временем тоже следовало бы обсудить. Вернусь к нашему вопросу и вновь сошлюсь на Дмитрия Владимировича, сделавшего еще одно существенное указание, с которым, я думаю, все участники наших бесед согласны. Он напомнил, что мировоззренческую позицию писателя не следует путать с его повествовательной позицией. Дмитрий Владимирович назвал позицию повествователя «ролью». Напоминание необходимое. В самом деле, иногда скажешь: «Генри Джеймс ввел «точку зрения» в литературу» — и уж обязательно кто-нибудь спросит: «А разве прежде него у писателей своей точки зрения не было?» Нет, речь идет именно о приеме, только о способе повествования, кстати используемом очень часто в тех случаях, когда у писателя нет определенного взгляда на происходящее. «Точка зрения» как повествовательный прием, или, вернее, различные повествовательные «точки зрения», заключенные в одном произведении,— это повествовательно выраженный релятивизм. Скажем, упомянутый роман Гэддиса трудно читать потому, что уследить за чередованием «точек зрения» там почти невозможно. Но автор в известном смысле только того и добивался, а писателю, не разделяющему релятивистских воззрений, и незачем, собственно, прибегать к «точке зрения» как приему.

Правда, некоторые участники бесед склонны пользоваться повествовательными, узкотехническими терминами расширительно. Татьяна Петровна Григорьева, например, в таком духе говорила об авторском всеведении, подразумевая не способ повествования, а понимание жизни, затем понимание жизни становится у нее причастностью ко всему сущему — и мы переходим к совсем другой проблеме. Конечно, различные проблемы литературного творчества взаимосвязаны, но и самую связь их между собой можно отчетливо выявить лишь после того, мне кажется, как каждая проблема будет рассмотрена в ее особенности.

Н. АНАСТАСЬЕВ. Мысль о «смерти автора» стреловидно проходит через целый ряд эстетических работ нынешнего столетия.

Еще в 1919 году молодой Элиот утверждал, что процесс усвоения традиции неизбежно связан с нарастающей энтропией индивидуального начала в творчестве.

По прошествии некоторого времени Ортега-и-Гассет заявил программно, что «представление о рукотворности произведения искусства принципиально несовместимо с эстетическим наслаждением как таковым».

Еще несколько лет спустя прозаик и критик Форд Мэдокс Форд заметил, что «исчезновение автора является наиболее впечатляющей особенностью нынешнего романа».

Наконец, уже в наше время публику уверяют, что роман — это не описания похождений, а похождения самого письма (Жан Рикарду), что «вселенная создается из молчания» (Сэмюел Беккет), что литература в наиболее значительных своих проявлениях — это «преодоление языка средствами самого языка» (Мишель Бютор).

Чем порождена такая система взглядов, утверждающих себя директивно, не желающих слышать малейших возражений?

Говорят — полемикой с архитектурными принципами классической эпохи романа, опиравшимися на твердую определенность авторского слова. Можно возразить, конечно, что даже в узкоформальном смысле такая полемика не вполне корректна, ибо и сам классический роман лишен монолитной цельности. Алексей Матвеевич Зверев уместно сослался в этой связи на «Жака-фаталиста». Еще более впечатляющий пример в данном смысле — «Тристрам Шенди». Можно привести также строки из письма Анненкова Тургеневу: «Произведение должно носить в себе самом все, что нужно, и не допускать вмешательства автора. Указания последнего всегда делают неприятное впечатление, напоминая вывеску с изображением вытянутого перста». Ну, и, разумеется, Флобер, разработавший, как известно, целую эстетику авторского беспристрастия.

Однако же, все это — значительные, пусть эпохальные порой, отклонения от нормы внутри самой нормы, которую некогда твердо сформулировал Теккерей: «Романист знает все», то есть открыто управляет ходом действия, дает оценки и так далее. Ведь даже Достоевский с его знаменитым многоголосием не уходил при случае от прямых высказываний. О Раскольникове, например, от авторского имени говорится так: «Он был скептик, он был молод, отвлеченен и, стало быть, жесток». О Бальзаке же, особенно о Толстом, даже говорить не приходится. «Если реализм XIX века,— пишет Лидия Гинзбург,— искусство объясняющее, то величайший его выразитель Толстой объясняет открыто, уверенный в том, что его объяснение есть художественный факт».

Так что позиция авторского «молчания» на самом деле представляет собой вызов эстетике традиционного романа.

Но только отчасти. Скажу больше: спор вокруг формы есть лишь оболочка иной, куда более серьезной, принципиальной по своей сути и последствиям дискуссии.

Если свести дело к повествовательной технике, роман XX века на Западе откроется нам по преимуществу в виде единого потока.

АНАСТАСЬЕВ НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ (род. в 1940 г.)

Советский критик и литературовед, доктор филологических наук. Автор книг «Фолкнер. Очерк творчества» (1976), «Разочарования и надежды» (1979), «Творчество Эрнеста Хемингуэя» (1981), «Обновление традиций» (1984) и ряда статей о писателях США XX века.

Авторское слово практически неразличимо у Конрада.

Еще менее возможным представляется выделить его у Джойса — в «Улиссе» слышатся любые голоса, кроме голоса самого автора.

Роб-Грийе и следом за ним другие «новые романисты», кто более, кто менее, последовательно фиксируют пространственные перемещения своих персонажей, скрупулезно воспроизводят их мысли, картину их разорванного сознания, но ни за что не дождемся мы сколь-нибудь внятной оценки происходящего.

Только ведь и Фолкнер, положим, от такой оценки всячески уходит. Георгий Павлович Злобин напомнил нам, что в «Шуме и ярости» понадобилась четвертая часть. Но попробуйте даже в этой, собственно авторской, части уловить четкое авторское суждение — ничего не выйдет. А в другом романе Фолкнера — «Авессалом, Авессалом!» — форма выдержана до конца: все повествование вытянуто в цепь монологов.

Тем не менее согласились мы, кажется, с тем, что названные писатели принадлежат к разным направлениям в современной литературе. Разным не по форме (она как раз часто обманывает видимостью сходства), но по сути подхода к истории и человеку. Протест тех, кого мы называем модернистами, против традиции — это не просто реформа всей системы изобразительных средств, это отказ от учительной роли литературы, отказ, как говорит в своем известном эссе Джон Гарднер, от нравственного отношения к предмету. И в этом смысле классик Бальзак столь же неприемлем для американского «черного юмориста» Джона Барта, сколь и его близкий — но только по времени — предшественник Хемингуэй. О чем и было Бартом со всей прямотой сказано: «Проблема состоит в том, чтобы сменить даже не Джойса и Кафку, но тех, кто сменил Джойса и Кафку и ныне приближается к своему закату».

Возвращаясь к обсуждаемой теме, можно сказать так: не о форме участия автора в созидаемой им картине идет спор (понятно ведь, что даже самые отчаянные радикалы говорят о «смерти автора» в сугубо метафорическом значении); спор идет о сути и характере его позиции, его роли.

Дмитрий Владимирович Затонский предложил эти два понятия разграничить. В принципе с таким разграничением я совершенно согласен, хотя мне это представляется уже аксиомой. Пусть добывать ее пришлось в нелегкой борьбе с цепкими догматами вульгарно-социологического мышления.

Вызывает уважение гражданская позиция Хемингуэя, который выступил на Втором конгрессе американских писателей в защиту культуры против фашизма, а потом сражался против фашизма с оружием в руках. Но фактом жизни Эрнеста Хемингуэя-писателя стала пьеса «Пятая колонна», роман «По ком звонит колокол», испанская публицистика.

В опубликованном цикле лекций по русской литературе, читанном Владимиром Набоковым в одном из американских колледжей, говорится, между прочим, что художнику, если он хочет осуществить свое истинное предназначение, следовало бы вернуться в башню из слоновой кости. Конечно, это безнадежный анахронизм, конечно, такая позиция способна вызвать у нас только отпор, но ею вполне можно было бы пренебречь, если бы ее, эту позицию Набокова — педагога и публициста, не укреплял своим авторитетом Набоков-романист. В его книгах есть виртуозность письма, но не слышно даже и отдаленного эха мировых бурь.

Это примеры близкого или даже полного соответствия позиции и роли.

Но тождества вполне может и не быть. «Роялизм в политике, англо-католицизм в религии, классицизм в литературе»,— разве отыщешь точное соответствие этого известного манифеста Элиота в его поэмах, например в «Полых людях», в его пьесах, например в «Смерти в соборе»? Хотя, разумеется, и триада выстроилась не случайно, не по мимолетной прихоти. Элиоту-художнику тесны рамки, установленные Элиотом-мыслителем, но все-таки в родстве эти двое состоят.

Словом, в литературе, если эта литература достойна своего наименования, позиция автора интересна и существенна только как художественная позиция, или, если угодно,— авторская роль.

В нынешних условиях, когда предупреждения политиков и ученых о возможной гибели земной цивилизации лишены и оттенка риторического пышнословия, заметно повысилась общественная активность деятелей культуры. Ощущение совместной ответственности за продолжение рода человеческого собирает под одной крышей людей противоположных порой убеждений — и политических и творческих. Полагаю, предложи Чингиз Айтматов своим гостям-литераторам, деятелям культуры обсудить, допустим, проблему «миф и литература», или «эстетика документа», или тем более «что такое реализм в художественном творчестве», они ни за что не договорились бы — слишком разные индивидуальности. А как участники Иссык-Кульского форума они находят общий язык и ставят свои имена под одним заявлением. Потому что речь идет о главном, о том, что выше любых разногласий,— о выживании.

Это прекрасно, это свидетельствует о том, что литература сегодня, как и вчера, за барьерами, разделяющими народы, видит нити, их соединяющие. И пытается их укрепить.

Но всегда ли адекватен гражданский пафос писателя-гуманиста творческому пафосу его произведений? Становится ли позиция ролью?

Я имею в виду, конечно, не прямую моральную проповедь, не открытое слово, не обнажение своей, авторской, точки зрения — хотя и в изменившихся эстетических условиях все это, наверное, не противопоказано роману. Я говорю о масштабе повествования, соотносимом с масштабом переживаемого времени. Я говорю о повествовательных пропорциях объемах, выстраивая которые определенным образом нынешний «скрытый» но не исчезнувший автор и заявляет, как правило, о своем присутствии.

Даже самый страстный почитатель Фолкнера не обнаружит у него выраженного общественного темперамента. Перечитайте

его письма, интервью, стенографические записи бесед со студентами и преподавателями литературы — возникает стойкое ощущение, что важнейшие события века мало занимают писателя. Оказавшись в Японии, он рассуждает о моральной миссии искусства, комментирует произведения, но даже не упоминает Хиросиму. Да и созданный им художественный мир менее всего злободневен, за вычетом, разумеется, вечно болезненной для американского Юга и для него лично расовой проблемы. И все же как просторна, как подвижна в своих границах крохотная Йокнапатофа, как близки нам трагические переживания ее обитателей! Отчего возникает это чувство сердечной причастности? Оттого, что, в отличие от любого из персонажей, невидимый строитель и «единственный владелец» апокрифического королевства, затерянного где-то на задворках цивилизации, воспринимает жизнь в ее полноте. Можно спорить с не высказанными прямо, но вполне определенными суждениями автора по поводу истории, культуры, судьбы человека и человечества, но нельзя не восхищаться тем мужеством, тем несокрушимым упорством, с каким Фолкнер, вороша пожелтевшие йокнапатофские хроники, пробивается к последним истинам.

В отличие от Фолкнера, Томас Манн ощущал потребность непосредственного вмешательства в ход событий. Публицистика мастера — от раннего памфлета «Бильзе и я» до выступления на шиллеровских торжествах — драматическая исповедь интеллигента классической выучки, пережившего вместе со временем и его взлеты, и его заблуждения. Но действие главной, может быть, книги Томаса Манна — «Иосиф и его братья» отодвинуто на тысячелетия назад. Так, может быть, позднейший автокомментарий («миф тут выбит из рук фашизма») — лишь запоздалая попытка навязать содержанию тетралогии нечто такое, чего изначально она была лишена, и нам остается лишь вместе с машинисткой, перепечатывавшей первую ее часть, простодушно порадоваться тому, что теперь мы знаем, «как все это было на самом деле»?

Нет, конечно. Всячески избегая любых прямолинейных аналогий и впрямь дорожа достоверностью мифа, автор в то же время целенаправленно его реконструирует. «Юноша из чистого света» — ничего подобного нет в библейских преданиях. А в тетралогии этот образ — несущая опора той концепции истории и личности, которая объективно противостоит человеконенавистнической идеологии фашизма.

К чему говорить об общеизвестном? А к тому, что на фоне высших достижений западной литературы XX века резче проступают проблемы и трудности литературы собственно современной, скажем послевоенной. Мне кажется, автор в ней — как субъект повествования — заметно измельчал, а следовательно, и само это повествование утратило историческую насыщенность. В этом смысле я согласен с тем, что говорил Владимир Яковлевич Лакшин.

Норман Мейлер нередко выступает с разного рода заявлениями, даже участвует — во всяком случае участвовал — в политических кампаниях. Иные из его суждений вызывают симпатию, другие, наоборот,— протест, но не в этом дело. Я открываю, скажем, его талантливый роман «Американская мечта», в самом заглавии которого уже заключен, кажется, намек на значительность замысла. Но по мере чтения замечаю, как постепенно автор облегчает себе задачу, так что в конце концов остается впечатление правдиво написанной картины духовной пространии «великого общества», приход которого возвестил соотечественникам президент Джонсон. Мне этого мало. Ибо я помню Скотта Фицджеральда, под чьим пером описание сходного в чем-то момента — «века джаза» — превратилось в глубокое художественное исследование целостного социально-нравственного опыта Америки.

Я читаю талантливый роман Гюнтера Грасса «Жестяной барабан» и вижу, сколь остро автор пародирует нравы Германии времен «экономического чуда», когда людей подменили вещи и утратили смысл высокие некогда понятия: любовь, религия, мораль, искусство. Мне этого мало. Ибо я помню «Игру в бисер», где изображение «фельетонистической эпохи» — тоже гротеск, только оформленный в духе интеллектуальной прозы,— стало поводом для постановки болезненных проблем духовной жизни XX века.

Я читаю заслуженно популярные романы Робера Мерля, Пирса Пола Рида, Джеймса Джонса, других писателей, которые открывают силу и слабость «молодежной революции», а отчасти и внутренний мир героя, ощутившего себя на историческом перепутье и отчаянно пытающегося найти то, что называют смыслом жизни. Но мне этого мало. Ибо я помню автобиографическую тетралогию Томаса Вулфа — этот замечательный образец воспитательного романа XX века,— где рассказ о жизни молодого человека стал книгой американской жизни, не замкнутой четко вымеренными сроками одного десятилетия.

Роль автора во всех этих книгах, вчерашних и сегодняшних, оформлена в принципиальном смысле сходно: обеспечивая персонажам полную свободу волеизъявления, давая выразиться всем точкам зрения, он управляет ходом событий незаметно, никак не форсируя собственного голоса — напротив, всячески приглушая его. Близость обнаруживается легко, различия не очевидны, но существенны. Если «скрытый» автор в произведениях крупнейших писателей XX века (как и откровенно-всезнающий автор в произведениях классического реализма) был прежде всего носителем исторического взгляда на действительность, то в произведениях писателей современных автор чаще всего становится просто хроникером либо субъектом иронической оценки текущей жизни (это хорошо видно, например, у Джона Апдайка).

Нелепо, разумеется, превращать классику, старую и новую, в незыблемый эталон, да и вообще малопродуктивное это занятие — измерять литературу литературой же. Но если вернуть ее в естественную среду бытования — в саму действительность — то сравнения могут оказаться и законными и поучительными.

Что, собственно, превращает книгу, книги в классику? Не в последнюю очередь, по-видимому, ощущение мировой значительности событий, свидетелями, а порой и участниками которых выпало быть. И разумеется, умение так закрепить эти события на бумаге, что они органично войдут в духовный опыт многих поколений. А может быть, останутся навсегда.

Казалось бы, сегодня такое ощущение неповторимости переживаемого момента, когда все противоречия накалились добела, должно быть особенно острым. Впрочем, почему «казалось бы»? Так оно и есть — еще раз напомню, что голос писателей в защиту основных ценностей жизни и культуры звучит решительно и весомо.

Но высота гражданской позиции далеко не всегда обеспечивается равной высотой позиции творческой.

Не стоит впадать по этому поводу в уныние. Литература — дело медленное, и, может быть, накапливается новое художественное качество, которое в обозримом будущем прорастет сочинениями, имеющими шанс пережить свое время.

Будем ждать их с верою и терпением.

Д. ЗАТОНСКИЙ. По-моему, беседы у нас получились. Вышли они интересными для самих участников и, надеюсь, не оставят равнодушными читателей журнала. Хорошо, на мой взгляд, прежде всего то, что говорили мы о литературе, а не, как это иной раз бывает, вокруг да около литературы. Ведь сообща мы прикоснулись к главному — к тому, что можно бы определить как миссию художественного творчества. Но подошли к ней не со стороны идеологии, а со стороны специфики искусства, со стороны внутренних его, если угодно, даже технических законов.

Признаться, настраивая наш разговор на камертон «авторского голоса», я опасался, верен ли он, достаточно ли как зачин универсален, чтобы быть принятым всеми собеседниками. Опасения не оправдались. Что, разумеется, не значит, будто мысли мои всем в равной мере понравились, всех убедили. Это было бы печально, ибо не сообщило бы разговору желательного толчка. Но все, кажется, согласились видеть в мною высказанном ту «печку» от которой можно танцевать. В результате мы в достаточной степени понимали друг друга и в той же степени друг с другом не соглашались, чтобы не утратить друг к другу интерес. Однако к острой дискуссии это нас не привело.

Сейчас ждут дискуссий. И то, что у нас ее не было, кого-нибудь, наверное, разочарует. Лично я, однако, не разочарован. Конечно, в данном, конкретном случае. Дискуссии в литературоведении нашем случались и прежде. Бывали и плодотворные. Но чаще такие, в ходе которых каждой из спорящих сторон высказывались суждения окончательные, в глазах носителя той или иной идеи до стерильности верные и бесспорные. Говорят, в споре рождается истина. В таких спорах она, как правило, не рождалась. А если что и появлялось на свет, то оргвыводы осуществлялись под давлением более сильной (но, увы, не всегда более правой) стороны.

Что же до наших бесед, то никто из их участников не пытался делать вид, будто уже вполне для себя уяснил, что, как и почему происходит в зарубежных литературах XX века. Мы высказывали суждения, обменивались взглядами, выражали сомнения, чтобы, как на хорошем медицинском консилиуме, приблизиться к постановке диагноза. И многое, уверен, прояснилось. В свое время Михаил Михайлович Бахтин обосновал существование «полифонического» романа. Жанр наших бесед я бы определил как «полифоническое» эссе: отдельные голоса, не сливаясь в хор, но и не сталкиваясь непримиримо, очерчивают проблему.

Разговор, порой отклоняясь к предметам особенно близким тому или иному из говорящих, имел и главный предмет. Им стало отношение к авторскому всеведению. Является ли оно непременной принадлежностью литературы? Или только литературы XIX века? Отличается ли литература XX века в этом смысле от классической лишь по форме или и по сути? Вот круг вопросов, по преимуществу нас занимавших. И не зря. Потому что, так или иначе на вопросы эти отвечая, мы выражали свой подход не только к характеру новейшей литературы Запада, но и к характеру породивших ее социальных процессов, даже к характеру нашего столетия в целом, к мироощущению своих современников.

И не случайно именно в оценке сегодняшних пределов авторского всеведения выявились аспекты взаимных несогласий. Георгий Павлович Злобин много говорил о новых романных формах, но каждый раз делая упор на том, что они всеведению не противоположны, более того, доказывая, что как бы выставляя его за дверь, формы эти впускают всеведение через окно. А Тамара Лазаревна Мотылева, опираясь на множество убедительных примеров, показала, что новейший отказ от всеведения — именно лишь с п о с о б изображения. Само же оно не испарилось — лишь задрапировалось формами отказа от себя, заслонилось ими. Во многих случаях это действительно так. Только я чуть большее ударение сделал бы на причинах такой «игры». Ведь она не каприз, она чем-то вызвана, чем-то обусловлена. Наш век (как, впрочем, и всякий другой) в равной мере живет с о х р а н е н и е м и и з м е н е н и е м; но то, что ново, что непривычно, всегда требует к себе большего внимания. В том числе и модернизм, о котором мы беседовали как-то мало. Разве он — лишь нечто самодовлеющее, из самой себя рождающаяся психология, самое себя толкующая философия? Нет, он тоже реакция на состояние мира, на происходящие в мире события. Бесспорно, реакция предельная, шоковая, подчас мифотворческая. И все же реакция — другими словами, древо, так или иначе произрастающее на почве меняющейся действительности.

Особое внимание к тому, что мир XX века, а следовательно, и его литература, решительно изменились, проявил Алексей Матвеевич Зверев. И для него всеведение — не просто форма повествования, но и форма самосознания, которая ушла в прошлое

вместе с XIX столетием. Во многом сходной точки зрения придерживаются Владимир Яковлевич Лакшин и Татьяна Петровна Григорьева. Каждый из них предложил два толкования термина. Собственно всеведение в толковании Владимира Яковлевича совпадает с представлением о нем Алексея Матвеевича Зверева, то есть оно конгениально условиям XIX века. Другую разновидность того же явления Владимир Яковлевич нарекает «всевидением». Если всеведущий автор знает (или думает, будто знает) о жизни все, то автор «всевидящий» — лишь о тех предметах, событиях, людях, которых рисует в произведении. Без «всевидения», как бы стилистически оно не оформлялось, вообще нет литературы, нет писателя. Для Татьяны Петровны Григорьевой всеведение — это и есть лакшинское «всевидение», но связанное уже не с мировоззрением, а с гениальностью, наитием, интуицией и не закрепленное во времени, в литературной эпохе. А всеведение в значении общепринятом у нее названо «позицией всеведения». В обоих случаях, как мне представляется, делается попытка обрести кажущееся утраченным равновесие между авторской ролью и авторской позицией. Смущает меня, однако, то, что для Владимира Яковлевича и отказ от всеведения — утрата. Великие мастера прошлого имеют перед нами неоспоримые преимущества. Но вряд ли они абсолютны. Каждой эпохе свое: нечто утрачивается, нечто приобретается. Неотторжимость судьбы писателя от хода мировой истории побуждает к новому поиску новых идеалов. И он неизбежно отливается в формы, созвучные времени. В одном из своих очерков Карел Чапек писал, что если в газете помещена чья-то парламентская речь, «то не потому что она лучше, важнее для моей души, чем Нагорная проповедь, а потому что она, в отличие от Нагорной проповеди, была произнесена вчера». Чапек иронизировал и одновременно говорил всерьез о том, что уважением к традиции негоже заслоняться от того, что происходит на наших глазах. Было время, мы жили чуть ли не исключительно интересом к нами самими сотворенной новизне. Потом маятник качнулся в другую сторону.

В этом своем качании он дотянулся и до нашей беседы. Дмитрий Михайлович Урнов, поведавший много верного и нового о повествовании как сознании, когда речь зашла о XX веке, обнаружил в его литературе «известное топтание на месте». Николай Аркадьевич Анастасьев и Георгий Павлович Злобин отметили некое «измельчание» западного искусства второй половины нашего столетия. А Владимир Яковлевич Лакшин даже начал свое выступление с мысли, «что последние годы не являются, осторожно говоря, годами большого подъема мировой литературы».

Пусть это и покажется странным в свете сказанного мною выше, я тоже склоняюсь к этому впечатлению. Однако лишь к впечатлению — не к этой уверенности. Алексей Матвеевич Зверев в той же связи напомнил, сколько общепризнанных ныне мировых шедевров при их появлении вообще отказывались признавать романами. Но я приведу еще один пример. В 1931 году некий Элиас Канетти, двадцати шести лет от роду, написал роман под названием «Ослепление». В 1935 году роман увидел свет, но большого интереса к себе не вызвал. Признаки его пробуждения наметились лишь в послевоенные годы. Но только в 1981 году автору была присуждена Нобелевская премия. И не напрасно присуждена: «Ослепление» — очень крупное литературное явление. Итак между написанием романа и его увековечиванием прошло полвека: почти полвека мир не ведал, что в нем живет большой писатель Канетти. Разве это не побуждает еще и еще раз вспоминать о том, что большое видится на расстоянии, не заставляет прислушаться к тому, что говорил здесь Серго Анастасович Микоян о роли, о значении, о расцвете латиноамериканского романа?

Вот собственно и все, что мне хотелось сказать в заключение.

◆

Трибуна переводчика

Споря и соглашаясь...

В девятом номере «Иностранной литературы» за 1985 год опубликована статья известного советского переводчика С. Апта, из которой читатель узнает, что вкладывает автор в понятие «современность художественного произведения» и что побуждает его обращаться к переводу той или иной книги. Коллеги С. Апта, А. Парин и О. Сорока, в выступлениях, публикуемых ниже, развивают поднятую им тему и размышляют о праве переводчика на смелость в истолковании текста, на литературоведческие открытия, которые порой сопутствуют их работе, и о том, нужно ли заново переводить классику.

А. ПАРИН

ПЕРЕВОД КЛАССИКИ И НАШЕ ВРЕМЯ

Масштабность темы, затронутой С. Аптом, будоражит меня не только как литератора, но и как человека. И хотя все, что говорит С. Апт. относится к прозе, многие выводы и отдельные примеры его статьи «вторгаются» в область перевода поэтического. Это и позволяет мне подхватить дискутируемую мысль и попробовать применить ее для разговора о переводах поэзии. Отталкиваясь от отдельных положений С. Апта, хочется поразмышлять и о связи перевода с другими искусствами.

Итак, давайте говорить не о том, к а к мы переводим, а о том, ч т о мы переводим. Давайте разбираться, можно ли так же страстно зажечься задачей заново перевести классическое произведение, как задачей «первопроходческой».

«Положа руку на сердце — нельзя»,— говорит С. Апт, мастер, одаривший нас виртуозным и пластичным переводом «Иосифа и его братьев» Томаса Манна, покоривший способностью к глубинному перевоплощению в своей недавней работе — переводе «Человека без свойств» Музиля.

«Где нет любви к искусству, там нет и критики»,[1] — сказал А. С. Пушкин. Несомненно, любовь к искусству водит пером Апта, заставляет его сердиться на собратьев по цеху и еще пуще на «болельщиков» перевода, и этот гнев по большей части справедлив. Но вправе ли даже один из признанных корифеев отвечать на столь принципиальный вопрос за всех переводчиков сразу, своей доверительной интонацией словно открывая некую тайну нашего «братства»? Суждение Апта удивило меня, тем более что его высказал переводчик Томаса Манна и Германа Гессе, писателей сколь ни современно своеобычных, но прежде всего укорененных в мировой культуре, воспринимавших ее не как нечто вечнозеленое в кавычках, а как живую питательную среду для своего творчества.

Вот с чем нельзя не согласиться безоговорочно, так это с утверждением Апта о том, что искусство перевода не терпит «отстранения от эпохи, в которую живешь», что «при таком отстранении... не может быть и настоящей поэтической культуры, которая всегда соответствует идущему, а не ушедшему веку».

Художественный перевод, безусловно, во многих чертах сродни исполнительским искусствам. Ярчайшие создания актеров и музыкантов, певцов и танцовщиков не обязательно связаны с современным материа-

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., изд. 4-е. т. 7, Л., 1978, с. 111.

ПАРИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1944 г.)

Советский поэт-переводчик. В его переводах издавались трагедия Софокла «Антигона» и комедии Менандра, лирика Овидия, Ронсара, Гёте, Китса; переводил также современных европейских поэтов и поэтов США. Составитель поэтических антологий, выступает как критик в области художественного перевода и музыкального театра.

лом, но непременно самой сутью соотнесены с современным видением мира.

Мария Каллас не спела, кажется, ни одной партии в современных операх, между тем именно ей обязан мир небывалым взрывом интереса к опере вообще, расцветом музыкального театра в целом. Даже слушая Каллас в записях, мы оказываемся как бы помимо своей воли вовлеченными в бури, которые проносятся над головами друидской жрицы Нормы, шотландской патрицианки Лючии или колхидской колдуньи Медеи — образов более чем условных. Никто до Каллас так хищно не вгрызался в смысловое нутро партии — и потому так нужен стал людям послевоенных поколений этот сплав из классической красоты музыки и нечеловеческой истовости живой души. Возрожденная содержательность традиционного оперного образа стала духовной опорой.

Святослав Рихтер лишь в последнее время обратился к музыке XX века, но без его интерпретаций классики звуковой образ современного мира был бы существенно неполон. Ощущение присутствия при самом акте рождения музыки, когда великий музыкант творит из звуков то единственное, что было заключено в глубине бетховенского ли, шопеновского ли творения, но оставалось скрыто от постороннего взгляда,— разве это ощущение по его роли в формировании нашего жизневосприятия не равнозначно встрече с новым, только что созданным произведением?

Балерины в своих интервью трафаретно мечтают создать образ современницы и впечатываются в нашу память летучими сильфидами или тревожащими, исчезающими во тьме Жизелями, в которых чувствуются ритмы более острые, чем в музыке Адана и классической хореографии.

Переводчик, увлеченный классикой, тем полнее выразит не только восхищающий его оригинал, созданный века тому назад, но и свое время, чем глубже и многосторонней он воспринимает жизнь в целом.

Будучи в определенном смысле исполнителем (существует и другая точка зрения на перевод как на искусство «авторское», но ее мы для простоты исключим из рассмотрения), он должен воспитывать в себе Протея, принимающего разные облички, должен повышать свою «восприимчивость до поистине сейсмографической реактивности на все раздражения, которым он себя открывает» (это было сказано Теодором Адорно об одном композиторе XX века). Вечно изменяющийся образ мира влечет и переводчика уловить новые ритмы новые смыслы вечных образов. Странно было бы слушать пианиста, признающего высшую ценность лишь за десятком сочинений прошлого, а в остальном ориентирующегося лишь на XX век, пусть и в лице скажем, Шостаковича и Мессиана. Неисчерпаемы возможности интерпретации классической музыки — неисчерпаемы и шедевры мировой литературы, открытые или еще не открытые русской словесностью. С одной оговоркой: как интерпретацию Рихтера полнит нечто гораздо большее, чем сумма звуков, так и желание заново прочесть шедевр литературы должно питаться прежде всего живой связью с живым литературным процессом. И эта связь, мне кажется, может существовать и существует в реальности.

При «цеховом» разговоре о поэтическом переводе в наши дни трудно обойтись без резких тонов. В редакциях, как правило, ценят «умеренность и аккуратность»; даровитые переводчики часто принимают эту установку за руководство к действию и сосредоточенно пестуют в себе умение нравиться публике, а уж о менее даровитых и говорить нечего — они берут для перевода все, что требуется, и наводят требуемую скуку. В результате многие переводческие антологии становятся «свальными грехами», в которые волею случая вовлечены и «безгрешные».

Очень редко переводчику поэзии удается издать то, что он хочет переводить или уже перевел. Любовно отобранное, выношенное, чему отданы многие силы души, лежит втуне.

Я знаком, например, с переводами А. Величанского из Эмили Дикинсон, пока — увы! — не опубликованными. Все мы полюбили блистательные переводы Веры Марковой, в которых независимый дух американской поэтессы явственно проступает сквозь непростую (или «слишком простую») оболочку стиха. Величанский, мне кажется, по-своему увидел пружины и движущие силы поэтической вселенной Дикинсон, еще сильнее оголил стих — и мы бы, я уверен, приняли его «версию», будь она обнародована. Ведь по-русски не существует некоей единственной Эмили Дикинсон, а есть Дикинсон И. Лихачева, Дикинсон Марковой, Дикинсон Величанского — будут, надо уповать, и другие.

Выдающийся мастер перевода Вера Потапова подготовила отдельную книгу английских баллад, тоже не нашедшую пока издателя, между тем как книга выявила бы все своеобразие ее работы. Цветаева, Маршак — каждый по-своему — прочитывали эти шедевры европейского фольклора, и на первый план выходили то бесстрашие и бунтарский дух героев, то добропорядочность и наставительность рассказчика. Язык Потаповой всегда похож на прихотливый узор мастерски выделанного ковра — облекая в эту ткань персонажей баллад, переводчица добилась особой осязаемости образов, подчеркнула эпически объективные черты их характера.

А. Ревич рвется составить и перевести книгу выдающегося французского поэта XIX века Стефана Малларме, публикация которой, мне кажется, вызвала бы большой интерес. Уже в тех образцах, которые напечатаны в недавно вышедшей антологии «Французская поэзия. XIX век», можно было понять, сколь значительной может стать вся работа. Тютчевские прорывы к «открытому» выражены в этих переводах А. Ревича с интерпретационной смелостью, в основе которой лежит не скрупулезный литературоведческий анализ, а поэтическая интуиция. Слово гут вбирает мельчайшие оттенки чувства с убедительностью, какая обычно присуща лишь оригинальному стихотворению. (Любопытна эта вечная «презумпция второсортности» в отношении перевода —

о батюшковском «Омире и Гезиоде» Пушкин написал: «Вся элегия превосходна — жаль, что перевод!»[1]).

Ловлю себя на том, что всякий раз, говоря о той или иной работе своих коллег, я непроизвольно сцепляю решение содержательных задач с достижениями в области поэтической формы. Но нужно ли их разделять?

«...Нет сегодня ничего скучнее, чем... дискуссия о чисто технических проблемах перевода»,— пишет, подхватывая мысль Томаса Манна, Апт. Подхватывая мысль Апта, скажу: нет сегодня ничего скучнее, чем рассуждать относительно того, должен ли переводчик поэзии обладать поэтическим талантом; это все равно что обсуждать, должен ли оперный певец обладать большим и красивым голосом. Можно, конечно, спеть Бориса Годунова голосом некрасивым и маленьким, но только нужно ли?

Я лично (и не я один) абсолютно уверен: если художник владеет формой, ему по плечу передать сложное содержание. Разумеется, можно остаться на уровне «чистой формы» и по-промышленному планомерно эксплуатировать свое мастерство, нисколько не задумываясь о «сверхзадачах», духовной содержательности, равно как и о собственном жизненном назначении. Такие ремесленники были немалочисленны всегда не только в художественном переводе. Но вслед за Аптом откажусь от темы «переводческой беспомощности и бесталанности» и не стану анализировать, каким образом приспособленчество и делячество меняют творческую палитру даровитых.

Попытаемся разобраться, как возникает у переводчика желание заново перевести классическое произведение. Рискуя показаться нескромным, позволю себе привести несколько примеров из собственной практики.

По мысли современного французского поэта Ива Бержере, «поэзия — это жанр, где реализуются эмоции, живо переживаемые поэтом и приобретающие всеобщность благодаря причудливому и воздушному танцу слов»[2]. Самый простой случай — когда в существующем уже переводе не чувствуются эмоции или нет никакого «танца слов». Тогда возникает естественное желание защитить любимого поэта.

Давным-давно, когда я еще и не мечтал стать профессиональным поэтом-переводчиком, а был только страстным читателем и робко пробовал переводить Карла Орлеанского и Верлена, мой друг посетовал, что никак не может взять в толк, в чем же состоит величие трагедий Софокла. Имеющиеся в обиходе переводы (особенно рядом с переводами И. Ф. Анненского из Еврипида) оставляли многие богатства Софокла за закрытыми дверьми. Мой друг стал уговаривать меня ринуться с головой в авантюру — попытаться заново перевести «Антигону», эту «царицу трагедий». Подогрели мое желание и страстные рассуждения об «Антигоне» и ее героях в книге французского культуролога А. Боннара «Греческая цивилизация». Фиванская царевна с ее духовной независимостью и несгибаемой преданностью исконным законам справедливости захватила мое воображение. Я стал учить древнегреческий язык под руководством известного филолога-античника В. Н. Ярхо, стал разбирать понемногу текст «Антигоны». Вначале мы читали вместе с моим учителем, и, с удовольствием впитывая все новейшие концепции совести и рока у древних, любви в их понимании, я лелеял главную свою эмоцию: восторг перед совершенством слова, бьющего в цель без промаха. Стремящийся к общественному благу и приходящий к полному краху Креонт, маленькая запуганная Исмена стали мне не менее дороги, чем сама Антигона. Я перевел трагедию, стал показывать перевод профессионалам. С благодарностью помню, что «крестным отцом» моего перевода стал С. Апт — именно он предложил его издательству «Искусство». Но — увы! — я выступил конкурентом именитого мастера — и работе моей суждено было пролежать в портфеле издательства почти 10 лет. Теперь перевод наконец вышел в изящном оформлении художника Н. Алексеева, и мне остается только публично поблагодарить редактора И. Гракову за героическую решимость, с которой она вела к выходу в свет мою «Антигону».

Поэзия Джона Донна увлекает всякого, кто осмеливается заглянуть в ее глубины. «Пространство человека, насыщенное конфликтами и движением», предстает здесь многомерным и необъятным одновременно. Напряженность любовного чувства, острота взаимоотношений с самим собой и универсумом — все трактуется намеренно жестко, самое потаенное переживание, самая физиологическая эмоция вызываются на суд трезвым рассудком, острые углы противоречий только заостряются, а никак не затушевываются. Может ли это не захватить современного человека с его желанием прорвать завесу обыденного? Единственная вышедшая у нас книга лирики Донна, маленькая по объему и, с моей точки зрения, слабая по художественным достоинствам, на долгие годы закрыла путь новым переводам. У нас порой ведь считают, что если есть «монографическое» издание какого-то еще не ставшего «хрестоматийным» поэта, то, значит, больше и не надо. Откликнувшись на предложение ленинградского литературоведа В. Захарова, собиравшегося издать Донна в серии «Литературные памятники», десять лет назад мой коллега В. Топоров и я, затратив немало трудов (каждый текст Донна — материал для разнообразных интерпретаций), перевели наиболее важную часть литературного наследия великого английского лирика. Нам хотелось увлечь читателя, как увлеклись мы. В. Захаров умер, не осуществив своего намерения, а наши переводы до сих пор лежат без движения — и не потому, что они, по чьему-то мнению, плохи, а потому, что поэзия Донна для нас, как говорят, не актуальна.

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. 7, с. 398.

[2] «Литературная газета», 13.VIII.86, № 33, с. 6.

Любимейшей для меня частью мировой литературы является поэзия средневековой Франции. Из этой богатой именами эпохи наш читатель фактически знает лишь одного поэта, пусть и самого крупного,— Франсуа Вийона. Между тем импровизационность внутри заданного канона (по мысли И. Ю. Подгаецкой, роднящая лирику труверов с классическим джазом), с одной стороны, и жесткая строгость канона, сквозь который большой мастер умеет «выпятить» свою тему, свою сокровенную мысль — с другой, в наш век, когда потоки слов льются нередко бесформенными массами, приобретают особую содержательность. Недаром многие современные поэты Франции обращаются к куртуазной поэзии как к животворному источнику — в частности, один из их корифеев, Жак Рубо, издал в своем переводе с подробными комментариями лучшее из наследия провансальских трубадуров. Труверы с их культом служения Даме и небесам, Гийом де Машо с его изысканной самоиронией, вельможный Карл Орлеанский, в стихах которого сквозь изящество и беззаботность проступают все тяготы жизни: неудачи в любви, четвертьвековой плен у англичан, старческие хвори,— разве они не могут сказать что-то важное современному человеку? Мне жаль, что заявка на книгу «Лирика средневековой Франции» лежит без ответа и без движения уже больше десяти лет в издательстве «Художественная литература», и я радуюсь что многое из переведенного мне удалось опубликовать «кусками» в отдельных книгах серии «Однотомники классической литературы», выпускаемой издательством «Московский рабочий». А папка с переводами из Карла Орлеанского, наверное, останется «невостребованной» еще долго...

Большинство переводчиков поэзии, я уверен, легко ответит на вопрос, что́ они хотят переводить. И кроме великих поэтов XX века — Рильке и Целана (которого, кстати, давно пора издать отдельной книгой), Аполлинера и Йейтса, Лорки и Одена — будут названы имена поэтов далеких эпох. «Заветное для каждого художника право на личный выбор» должно быть дано переводчикам — и пусть это будет право не только переводить в стол, но и право публиковать свои переводы.

Если иметь в виду особую, сокровенную близость, то Апт, может быть, и прав, утверждая, что «в мире не бесконечно много, а, честно сказать, просто мало очень хороших, выдерживающих проверку временем книг». Есть, конечно, произведения, которые вынимаются из-под спуда лишь в плане «исторической ценности», живая связь с нашей жизнью в них не ощущается. Но во-первых, даже усваивая вещи чисто исторические, человек читающий и думающий занимается не чем иным, как духовным самосовершенствованием, а во-вторых, духовные интересы общества меняются во времени, и мы не можем с уверенностью сказать, не прозвучит ли малоинтересная для нас страница мировой литературы через какое-то время как остроактуальная.

Для меня сокровища, заключенные в недрах мировой культуры, представляются неисчерпаемыми. И разве не знакомы многим из нас горькие мысли об ограниченности человеческой жизни, особенно больно тревожащие в библиотечных стенах, когда понимаешь, что не только перевести, но и прочитать все самое интересное не хватит времени?

Будущее человечества поставлено под вопрос, и это оправдывает упреки Апта тем, кто закопался в мелочах или занят чисто формальным поиском. Но давайте научимся отличать ремесленническую всеядность от желания как можно глубже понять меняющийся лик человечества в разные времена, понять и полюбить все его прозрения и заблуждения, прорывы к свету и низвержения во тьму, полюбить и поделиться этой любовью с читателями...

Возвращаясь к аналогиям с другими искусствами, прибегну к сравнению художественного перевода с режиссурой. Г. Товстоногов — один из самых глубоких в наши дни интерпретаторов классики на театральных подмостках. Ему свойственно внимательнейшее вчитывание в текст пьесы. Но видение его — остросовременно, неотделимо от наших духовных горизонтов. Для примера назову всего лишь два режиссерских «пуанта». В шестидесятые годы Чацкий — Юрский в «Горе от ума» падал в настоящий обморок от ужаса перед нравственной мерзостью. В двухлетней давности спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» Глумов — Ивченко падал в притворный обморок, понастоящему принимая всю окружающую его мерзость нравов. «Рифмующиеся» акценты выявляли оценку режиссером не только героя, но и состояния общества. Так, смещая лексическую перспективу, вводил в современный обиход А. Штейнберг свой перевод мильтоновского «Потерянного рая».

Бывает, что переводчик и режиссер работают рука об руку. Ингмар Бергман при постановке драмы Ибсена «Гедда Габлер» на немецком языке отверг девять (!) существующих переводов, не найдя там нужного ритма, и заказал десятый литератору-единомышленнику. Судя по отзывам критиков, эта игра стоила свеч — а переводчик, вероятно, испытал радость творчества, сравнимую с той, что испытывают «первопроходцы».

Война ненавистна каждому человеку в отдельности, потому что несет ему и его близким смерть. Но войны случаются, не в последнюю очередь и потому, что те, кто их затевает, рассчитывают остаться в живых. Так было всегда, и мировая литература в разные эпохи сумела воплотить ненависть к войне в образах объемных и ярких. Любовь к духовному прошлому человечества позволяет поднять эти образы из глубоких колодцев забвения и непонимания. Единый порыв театрального коллектива с Кипра возвратил жизнь не самой лучшей из трагедий Еврипида «Просительницы», напитал ее страстью — и спектакль стал данью памяти погибших в недавних распрях.

Одно из ярчайших впечатлений от перевода прозы я получил недавно, читая роман Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй», мастерски воссозданный по-русски Е. Су-

риц[1]. Перевод выявил в этом произведении, ставшем уже классикой XX века, какую-то волшебную неделимость «придуманного», «сделанного» и правды жизни, всевластие ритма, передающего живой трепет земного существования. Страшный образ молодого человека, в котором война поселила безумие и предощущение гибели, отдается в нас болью и ужасом.

Не надо упрекать произведения далеких эпох в том, что они умерли; это уже делали и сделают без нас. Кому как не нам, переводчикам, пристало с особой любовью вызывать к жизни то, что было когда-то живым, но кануло в Лету от небрежения,— так спят до момента, пока о них вспомнят на земле, дедушка и бабушка в «Синей птице» Метерлинка. Поэтический талант подразумевает лирическое чувство, чувство, способное оживлять все, к чему оно прикасается. Как бы ни растолковывали литературоведы достоинства далекого шедевра, он не вступит в родную словесность без поводыря-переводчика. Но найти дорогу в эту Страну Воспоминаний поводырь должен сам, черпая силы в своих знаниях и любви.

И потому Пастернак все же открыл (без кавычек!) для меня Гёте и Шекспира, точнее, русских Гёте и Шекспира. И это не означает, что в ближайшее время чей-то яркий талант не откроет мне «Фауста» и «Гамлета» заново, потому что при всей романтической конгениальности пастернаковских переводов нынешнему восприятию уже стало недоставать большей философской исхищренности в «Фаусте», словесной громоздкости и расшатанности в «Гамлете». Только победить лирическую безусловность, «неслыханную простоту» поэтической интонации Пастернака будет не так-то просто.

«Меньше пассивного исполнительства» — пожелаю и я вместе с С. Аптом переводческому делу, больше любви и преданности неоспоримым духовным ценностям, содержащимся в письменной памяти людей.

Недавно С. Апт заново открыл русским читателям строгую красоту прозы Германа Гессе в романе «Игра в бисер», перевел он вслед за С. Аверинцевым и стихи к роману. Одна строфа в аптовском переводе как нельзя лучше завершит мои заметки:

И музыке вселенной внемля стройной,
И мастерам времен благословенных,
На праздник мы зовем, на пир достойный
Титанов мысли вдохновенных.

О. СОРОКА

МОЖНО ЛИ В ШЕКСПИРЕ НАЙТИ НОВОЕ?

С живым интересом читал я статью С. Апта, на чьи плечи лег тяжкий, радостный и плодотворный труд перевода нескольких крупнейших немецкоязычных произведений нашего века. Читал, и поучался, и соглашался. Двадцатого столетия не заместить, не возместить далекими, ушедшими веками — Катуллом, Тибуллом, Сенекой, Беном Джонсоном, Шексп... Ох, нет. Хоть режьте, не могу я поставить в этот ряд Шекспира, потому что не знаю ни одного современного писателя, который способен был бы увлечь переводчика сильнее, чем Шекспир. Как на любом миллиметре числовой оси открываются перед математиком бесконечности, пропасти, бездны, так посреди шекспировской строки вдруг распахиваются возможности, ознобно потрясающие и захватывающие дух. Шекспир не просто современен — он современен неожиданно, свирепо, дерзко, еретически. Подобно тому как лишь в свете — в апокалипсическом свете — ядерных реакций понятней делаются внутрисолнечные процессы, так в наши грозовые времена становится яснее глубина и конкретность шекспировской мысли. «Э-э, все это слова и кружева,— поморщится скептик,— а на самом-то деле Шекспир весь до последней косточки изучен, истолкован и переведен. Вы нам зубы не заговаривайте выспренними сравнениями. Вы нам факты дайте». Ладно, даю факты.

Пузыри земли

Шекспировского Макбета, победно едущего с поля битвы, на болотистой и чахлой

[1] Опубликован в «ИЛ», 1984, № 4.

СОРОКА ОСИЯ ПЕТРОВИЧ (род. в 1927 г.)

Советский переводчик, филолог. Переводил произведения Фолкнера, Фицджеральда, Поуэлла, Олдриджа, С. Чаплина, Лаури, Момадея. Автор работ о шекспировских неологизмах, «Зачем Лиру цветы» и др.

вересковой пустоши поджидают три странных существа — облика вроде бы старушечьего (хотя и с бороденками), но происхождения самого диковинного. В «Макбете» они названы ведьмами, но это не ведьмы в традиционном смысле слова: это злые духи, возникшие, сгустившиеся из болотных газов. Пообещав Макбету королевскую корону, они бесследно тают в воздухе, и спутник Макбета (Банко, которому ведьмы посулили, что потомки его будут королями) замечает:

Земля, как и вода, содержит газы —
И это были пузыри земли.

Я цитирую перевод А. Кронеберга, впервые опубликованный в 1846 году, а в 1903 году напечатанный в брокгаузовском пятитомнике сочинений Шекспира. Обе даты кажутся мне знаменательными — ведь не каждый год случаются у переводчиков такие удачи, рождаются фразы, которые вызвали бы такой поэтический отклик, как эта.

Пузыри земли!.. Любители буквальных соответствий могут поставить Кронебергу в упрек, что этого сочетания слов нет в подлиннике. Там читаем вот что (даю буквально):

Земля имеет пузыри, как и вода.
И эти (то есть ведьмы) — из них.

Да, необычное, сильное, совершенно по-шекспировски звучащее «пузыри земли» изобретено переводчиком. Что ж делать — приходится порой усиливать строку, чтобы хоть отчасти компенсировать ослабления смелых шекспировских оборотов, неизбежно допускаемые в других местах перевода. В двустишии Кронеберга можно бы придраться и к небольшому анахронизму — слово «газ» при Шекспире еще не употреблялось в Англии. Но все это перекрывается звуковыми и смысловыми достоинствами фразы. Переводчик словно лучом прожектора осветил шекспировский образ — и образ этот метнулся в глаза большому русскому поэту. В стихотворении «Она пришла с мороза» (1908) Александр Блок пишет:

Впрочем, она захотела,
Чтобы я читал ей вслух «Макбета».

Едва дойдя до *пузырей земли,*
О которых я не могу говорить без волнения...

Подобно тому как Фолкнера, создававшего свой лучший роман, вдохновляло макбетовское «шум и ярость»:

Жизнь — (. . .) это бредовой
Рассказ кретина: ярости и шума
Хоть отбавляй, а смысла не ищи...[1]—

так Блока вдохновили «пузыри земли» на целый стихотворный цикл (1904—1905), которому он и предпослал эпиграфом кронеберговское двустишие. Какая, в самом деле, редкостная переводческая удача — и какая заслуга! Но это не все; на этом воздействие фразы отнюдь не кончается, она и по сей день будоражит воображение читателя и помогает глубже вдуматься в Шекспира.

В следующий раз ведьмы являются на сцену (III, 5) для того, чтобы принять выговор от грозного начальства — от Гекаты, богини колдовства. К тому времени Макбет уже стал королем, а Геката рассержена тем, что ведьмы, действуя без ее ведома и участия, посмели пособлять Макбету — «строптивому (wayward) сыну, своевольному и злобному, который любит не вас (то есть не зло само по себе), а свою выгоду». И Геката велит ведьмам поправить дело — приготовить колдовскую утварь и снадобья для встречи Макбета,— а сама отправляется ловить висящую на острие лунного серпа росную каплю, чтобы «посредством волшебной возгонки породить (вызвать к бытию) искусственных духов, которые силою своего обмана доведут Макбета до погибели».

И старые и новые комментаторы «Макбета» считают эту кратенькую 5-ю сцену III акта нешекспировской вставкой. Так Б. Лотт пишет (цитирую по московскому изданию 1977 года на английском языке — New Swan Shakespeare, Macbeth):

«Эта сцена, по общему мнению, не принадлежит перу Шекспира. Почти ничего не добавляя, она лишь замедляет быстротекущее действие... «Строптивый сын» (...) эти слова плохо вяжутся с Макбетом».

Начинают уже слышаться, однако, и другие голоса.

Джефри Буллоу — составитель недавно завершенного в Англии восьмитомного свода тех источников, из которых Шекспир черпал сюжетный и прочий материал,— пишет во вступлении к макбетовскому разделу:

«Многие критики считают речь Гекаты «слишком корявой» для Шекспира, и ритмом своим она отличается от ведьмовских речей. Но является ли эта сцена нешекспировской в большей степени, чем многие другие «духовидческие» его сцены?» И Буллоу указывает на уместность и значимость слов Гекаты.

В самом деле, что же в словах Гекаты «нешекспировского»? Примерно в том же духе, как Геката аттестует Макбета, отзывается Гонерилья о Лире, употребляя слово «waywardness»[1]. И сама мысль Гекаты: «Любит не вас, а свою выгоду» — лишь варьирует в злобно окарикатуренном виде мысль герцога из «Меры за меру»:

...если ты
Лишь о себе скорбишь, а не о боге,
Обиженном тобою,— и всего лишь
Питаешь к богу страх, а не любовь...

Геката — как пастырь и глава некоей сатанинской церкви — именует Макбета «строптивым сыном», и эти два слова, мало сказать, уместны — они являются ключом к характеру Макбета. Макбет не исчадие зла: это честолюбивый, страстный человек, поддавшийся неистовым и неразумным настояньям и в итоге погубивший и себя, и злосчастную свою жену... Дать ей отпор, как герцог Олбанский дал отпор Гонерилье, Макбет не в силах — и с момента убийства Дункана не властен уже выбраться из кровавой трясины. Коготок увяз... Но вернемся к нашей сцене. Единственным в ней, что замедляет действие — а лучше сказать, слов-

[1] Здесь и далее цитаты из Шекспира переведены автором статьи, выполнившим в последние годы новые переводы трех пьес великого драматурга — «Король Лир», «Буря», «Мера за меру». *(Прим. ред.)*

[1] Своенравность, непокорность, строптивость *(англ.)*.

но бы и вообще не работает на сюжет,— является затеянный Гекатой полет за волшебной каплей, ни разу не упоминаемой затем. Правда, и Ариэль в «Буре» отправлялся в далекий полет за волшебной росой, так что нешекспировским мотивом это не назовешь; однако получается, что ночное путешествие Гекаты к Луне — как бы сбоку припека, зряшная прикраса, не имеющая отношения к действию. Но так ли это? Давайте-ка всмотримся в первую сцену четвертого акта, где по распоряжению Гекаты ведьмы творят свою волшбу на погибель Макбету. Они бросают в кипящий котел ядовитую требуху, жабью слизь, акульи потроха и тому подобные ароматные ингредиенты и кружатся подле котла с колдовским пением:

Удваивайся, удваивайся (то есть умножайся), труд и смута;
Огонь, гори и, котел, вскипай пузырями.

Опять «пузыри» — и притом как завершающее, стержневое слово ворожбы, звучащей по-английски приблизительно так:

Да́бл, да́бл, то́йл энд тра́бл;
Фа́йер, бе́рн, энд колдрон, ба́бл.

(Рифмующиеся слова произносятся в два слога: даб-л, траб-л, баб-л).

Втиснуть все это содержание в четырехстопное хореическое двустишие переводчикам не удается (русские слова попросту длинней английских); если же сосредоточиться на второй — основной здесь — строке, то возможен такой вариант:

Огнь, гори; котел, вари;
Подымайтесь, пузыри.

Затем варево студят кровью бабуина (непристойно-яркозадая порода обезьян). Является Геката, хвалит ведьм за старание и велит продолжать. Снова пение и круговая пляска. Входит Макбет и спрашивает, чем ведьмы заняты. «Деяньем без названья»,— хором отвечают те. Макбет требует открыть ему грядущее. «Хочешь ли ответа от нас или от наших хозяев (старших духов)?» — спрашивают ведьмы. Макбет, конечно, желает видеть этих духов. Тогда, по указанию первой ведьмы, к вареву добавляют кровь свиньи, сожравшей девятерых своих поросят, бросают в пламя жир, который соскребли с виселицы,— и под раскаты грома являются друг за другом три призрака и предсказывают Макбету непобедимость и неуязвимость. Но Макбет настойчиво хочет узнать также и то, будут ли потомки Банко королями. Тут котел вдруг проваливается сквозь землю — и торжественной чредою являются восемь королей, а за ними призрак Банко, убитого по приказу Макбета. Затем ведьмы пляшут на прощанье и вместе с Гекатой исчезают.

А теперь зададим себе наивный вопрос, никем еще, кажется, не заданный: зачем вообще нужен в этой сцене котел с адским варевом и почему проваливается он потом сквозь землю?

Дж. Буллоу приводит — как возможный источник этой сцены — отрывок из Сенеки, из его трагедии «Медея», где описано приготовление яда, которым пропитывает Медея одежду своей соперницы. Пожалуй, не менее уместно будет вспомнить описание колдовской варки в «Метаморфозах» Овидия:

В медном котле между тем могучее средство вскипает
И подымается вверх и вздувшейся пеной белеет...

(«Метаморфозы», перевод С. Шервинского)

Эпизод этот, вероятнее всего, известен уже был Шекспиру в пору написания «Макбета» — Шекспир потом использовал заклинание Медеи в «Буре», в монологе Просперо (начало V акта).

Но и у Сенеки, и у Овидия Медея приготовляет свои снадобья для конкретного, непосредственного, так сказать, использования; котел у Овидия «работает» — Медея варит в нем состав, которым наполняет затем жилы старика свекра, чтобы вернуть ему молодость. А в «Макбете» для чего котел и пламя? Неужели всего лишь для пущей эффектности — как красочная театральная условность, позволяющая ведьмам поплясать и покривляться? Неужели же все это действо и впрямь окутано непроницаемой тайной и названья не имеет, как заверяют Макбета ведьмы? Но ведь им приказано отныне лгать Макбету, и они лгут (точно так же, как лгут, напускают туману, называя обманных призраков своими «хозяевами»). А что, если названье у деянья до смешного простое и конкретное: образование пузырей, производство искусственного газа, из которого и возникают искусственные духи?

Вернемся же к началу сцены и проследим за «технологическим процессом». Ведьмы приготовляют кипящее варево; затем разрежают и охлаждают его обезьяньей кровью, прекращая ненужное пока кипение,— и ждут Макбета. А дождавшись, кидают в пламя жир, чтобы усилить огонь, чтоб закипело снова,— и тут-то Геката роняет в котел драгоценную лунную каплю — последний и важнейший ингредиент клокочущего, пузырящегося варева. Для того и явилась Геката сюда, разумеется. Правда, ремарки здесь об этой капле нет; но в ранних шекспировских изданиях даны отнюдь не все необходимые ремарки. Так, в «Мере за меру», текст которой дошел до нас в том же примерно состоянии, что и текст «Макбета», отсутствует ремарка о том, что Изабеллу в середине пятого акта уводят со сцены — это становится ясно лишь страницей ниже...

И вот зловонный пар колдовских пузырей сгущается, «сублимируется» в обманные видения. Почему же котел проваливается затем? Да потому, что вереница королей не из котла является — духи эти совершенно иной природы (призрак Банко, во всяком случае, «натурален»), и они не лгут Макбету, и Шекспир подчеркивает это устранением котла.

Не правда ли, поучительный пример конкретности, «вещности» шекспировского воображения? И способный в сильнейшей степени ободрить нашего брата, переводчика. Есть ведь что-то оскорбляющее разум, какая-то ведьмовская ложь в туманных ссылках на загадочность, неизреченность, на некие лишь посвященным понятные законы сценической условности — одним словом, на то, что не нашего это ума дело

толковать Шекспира и доискиваться причин. Нет, нашего ума и нашей проницательности это дело! Именно переводчику, корпящему и мучающемуся над каждым словом текста, удается иногда разглядеть то, чего не улавливают взгляды, привычно и легко скользящие вдоль строк. Пусть передача Кронебергом макбетовских сцен, отслужив свое, устарела в целом, но блистательные «пузыри земли» заслужили, заработали бессмертие. Для меня, читателя, ворожба ведьм, котел, Геката, вся эта сцена озарена теперь простым и ясным смыслом— благодаря короткой кронеберговской строке: «И это были пузыри земли».

Шекспирова ересь

В комментариях к шекспировской «Мере за меру» можно прочесть, что непосредственным ее сюжетным источником была длиннейшая (десять актов) стихотворная пьеса Джорджа Уэтстона «Промос и Кассандра». И пьеса эта сохранилась, и напечатана у Буллоу во втором томе. «Как хорошо!— обрадуетесь вы.— Можно будет на живом примере проследить за работой мастера над источником, увидеть, что взято, что сокращено, что развито; использованы, быть может, целые абзацы, куски, сцены...». Увы, вас ждет разочарование. В сущности, вы не отыщете заимствований. Взят разве что остов проблемы: судья-правитель приговаривает прелюбодея к смерти. Сестра приговоренного просит о помиловании. Судья соглашается — при условии, что она заплатит своей девственностью.

Нет, даже и того меньше взято, ибо у Шекспира Клавдио, собственно, не прелюбодей, не распутник, а милый, добрый, совестливый юноша, не оформивший еще брака со своей невестой единственно из опасения потерять приданое.

А дальше у Шекспира все иначе; проблема ставится остро и строго. Исчезают смягчения, банальности, нелепости. У Джорджа Уэтстона судья манит девушку тем, что потом, возможно, женится на ней. У Шекспира Анджело никаких таких обещаний не дает.

В пьесе Уэтстона девушка уступает. У Шекспира Изабелла готова отдать за брата жизнь, но к блуду приневолить себя не способна.

У Уэтстона судья, добившись своего, обесчестив девушку, велит вручить ей голову казненного брата, поскольку он ведь обещал «отдать ей брата». У Шекспира голова казненного затребована судьей не по нелепой прихоти садиста, не для кровавых каламбуров, а чтобы самому удостовериться в смерти приговоренного — ибо Анджело опасается, что, оставшись в живых, брат Изабеллы стал бы ему мстить.

У Уэтстона в финале судью женят на его жертве, и та проникается тут же любовью к нему — к убийце ее брата. Такой исход немыслим не только для шекспировской Изабеллы — он неприемлем был бы и для Анджело: слишком тонки у Анджело нервы. Недаром характер Анджело привлек своею тонкостью и глубиною Пушкина, поставившего его в центре поэмы, основанной на «Мере за меру». Внезапная и краткая страсть к Изабелле не принесла Анджело радости.

Я сам не свой; все валится из рук.
Меня ослепило безобразье
Поступка. Девственности лишена!
И кем же — мною, воскресившим казнь
За блудодейство!

Примечательно то, как невысоко ставит зрелый Шекспир страсть подобного рода. Анджело даже и не заметил, что обнимал не ту девушку,— точно так же, как в пьесе «Конец — всему делу венец» (написанной годом-двумя раньше) не заметил Бертрам, что девушку ему подменили. Этот введенный Шекспиром мотив подмены — один из важнейших в «Мере за меру». Настойчивая мысль о том, что на уровне бездуховном — на уровне похоти, пусть даже и неодолимо влекущей,— партнер, в сущности, взаимозаменяем, личность его не имеет значения, шекспировская эта мысль еретично смела. Шекспир воспел и возвеличил Изабеллу, наделенную редкостным даром нравственной чистоты. Когда брат молит ее пожертвовать собой, она приходит в исступление. Невыносимая жалость к брату и вместе с тем необоримое отвращение к грязи и лжи доводят ее до настоящего припадка ярости, обращенной на злосчастного брата.

Эта неспособность «жить в грехе», этот высокий и чистый строй души роднит Изабеллу с героиней «Грозы» — с Катериной Островского. Вспомним слова Катерины: «Обманывать не умею, скрыть-то ничего не могу» или удивление Варвары: «Она (то есть Катерина после ночи с Борисом.— О. С.) просто сама не своя сделалась. Дрожит вся, точно ее лихорадка бьет; бледная такая, мечется по дому, точно чего ищет. Глаза как у помешанной».

И недаром так подействовала Изабелла на герцога, подслушавшего ее разговор с братом,— такого слышать герцогу наверняка не приходилось во всю жизнь.

Далеко не любому зрителю понравится Изабелла — как далеко не всем нравится Катерина. Любопытно, однако, что даже с житейской точки зрения Изабелла у Шекспира оказывается права — ведь брата все равно велят казнить, хоть Анджело вроде бы и получил требуемый выкуп...

Что же до сцен и персонажей комических, то комедия тут особого рода. Некоторые исследователи считают, что Шекспир смягчил Уэтстона. Это неверно — просто уж потому, во-первых, что и сцены, и персонажи у Шекспира совершенно иные, новые, ничего общего с уэтстоновскими не имеющие. А во-вторых, тон этих сцен у Шекспира отнюдь не мягче, чем у Уэтстона,— совсем напротив. В нашей литературе, в нашем веке, если искать соответствий по тону, по свирепости, то разве что в стихах и пьесах Маяковского, который, не церемонясь и не обинуясь, писал о скверах, где харкает туберкулез, и т. д. «Сифилида» у Шекспира, принимающая лечебную ванну, преющая в бочке,— это совершенно маяковский образ («Где вы теперь, кто лечит их?..»).

Но дело не только в свирепости тона. Вообще поразительна у Шекспира эта маяковская смелость, эта еретическая новизна подхода к темам и проблемам, уже, казалось бы, использованным и решенным до

него. Удостоверясь, что проблема общечеловечески важна и интересна, Шекспир берет ее и открывает в ней глубины, и не снившиеся авторам так называемых источников. При этом, если надо, он переворачивает и преображает сюжеты безо всякого стеснения — как творческую власть имущий мастер, обладающий ключом к законам жизни. Он как бы восклицает: «Да не в том же суть! Да не так дело было! Вовсе не смирился христиански король Лир и не плел сентиментальных веночков! Вовсе не хотел быть Гамлет королем! Не осквернила себя Изабелла!..»

И пожалуй, прежде всего как неизбежную реакцию на эту малопонятную и дерзостную ересь надо рассматривать многочисленные переделки, вытеснявшие порой со сцены шекспировский оригинал на столетие, на полтора столетия. Перелицовывание шекспировских текстов особенно характерно для времен Реставрации (вторая половина XVII века). В тот период появилось десятка два, если не больше, переделок шекспировских пьес. Приноравливаясь ко вкусам придворной публики, авторы этих сценических переделок изменяли композицию пьес, вводили новых действующих лиц, выбрасывали большие куски шекспировского текста, заменяя их сценами собственного сочинения. Они прикладывали много стараний, чтобы «нормализовать» и сохраненное: приглаживали синтаксис, убирали «грубые» выражения, заменяли необычные слова... То была настоящая борьба с Шекспиром.

В 1661 году была поставлена пьеса Давенанта «Закон против любящих», представляющая собой весьма радикальную переделку «Меры за меру» с привлечением материала из «Много шума из ничего». Еретический мотив постельной подмены выброшен; Анджело покушается на честь Изабеллы лишь «понарошку», загодя простив ее брата... Шекспировский образ Анджело разрушен совершенно... В финале пьесы герцог отдает Изабеллу в жены Анджело... То есть осуществлен своего рода возврат к уэтстоновской банальности и мелкотравчатости.

Должно быть, Давенант искренне считал, что улучшает Шекспира, умеряя заодно его рискованные умствованья. От высокого трагизма остались в переделке Давенанта рожки да ножки. Да и от мрачного комизма шекспировской трагикомедии по существу ничего не осталось. Комические персонажи Давенантом почти полностью устранены из пьесы. А ведь Помпей, Перепрела, Лючио, палач, Барнардин — какая галерея резких, ярких, незабываемых образов, созданных как бы мимоходом, как бы небрежными взмахами волшебной кисти. Что за необычная и поразительная пьеса эта «Мера за меру» — вся в рембрандтовских мрачных тенях и слепящих сияньях!

Но все ли ее действующие лица ярки и отчетливы? Анджело, Изабелла, Марьяна, Клавдио — о да, конечно. Ну, а герцог — главное говорящее и действующее лицо, на чью долю приходится четверть всего текста шекспировской «Меры за меру»? Вот тут-то и загвоздка, роковым образом влияющая на сценическую судьбу пьесы.

Исследователи-шекспироведы сходятся на том, что в отличие от прочих персонажей герцог у Шекспира обрисован неясно. Одни исследователи (У. Лоренс, Э. Столл) объясняют это сценической условностью. Герцог Винченцо — герцог-де театральный, без всякого зазрения используемый драматургом для требующейся комедийной развязки, и бесполезно жаловаться на неправдоподобность или ненужную усложненность его действий.

Другие же (Дж. Уилсон Найт) считают герцога фигурой божественно-мудрой, сверхчеловеческой, вестником всепрощения и вселенской милости. «Неизъяснимой, потусторонней тайной проникнут его образ»,— писал Найт о герцоге. Что и говорить, слова эти звучат внушительно; но снимается ли, но решается ли ими проблема герцога? Думается, что нет. Позвольте пояснить на примере. Возьмем слова Лира:

О, не толкуйте вы мне о нужде.
Лохмот последний на последнем нищем
Уже избыточен. Сведи потребность
К тому лишь, в чем природная нужда,
И человека низведешь до зверя.
Ты — леди. Эта роскошь на тебе
Нужна природе? Даже и не греют
Твои шелка...

Можно восторгаться глубиной этой мысли, можно даже объявить ее божественно-мудрой; а можно не согласиться с этим, ибо в дальнейшем Лир с такой же страстностью отринет, отвергнет всякую одежду. Но суть в другом, суть в том, что Лир и здесь и всюду действует, и говорит, и мучается в с е р ь е з. А представим себе, что Лир все это делает «понарошку», а сам в любую минуту может вернуться на престол. И сразу обесценятся, померкнут его монологи, его слова и действия — и охладеет интерес к ним, как ни подогревай его тирадами насчет загадочности, мудрости или сценической условности. Беда-то герцога как персонажа именно в том ведь, что он действует как будто понарошку (в духе скорее Давенанта, чем Шекспира), что он словно бы не живой, страдающий, подчиненный жизненным законам человек, а так, условная какая-то фигура, манипулирующая прочими людьми. И надо, непременно надо попытаться разгадать тайну этой странной фигуры — нужно оживить герцога, чтобы ожила пьеса. Вглядимся же в пьесу. Завязка ее такова.

Герцог — человек мягкосердый и потому правитель неважный — распустил своих подданных до такой степени, что, по его же собственным словам, развращенность в Вене «пузырится, вскипая и через края лясь». Чтобы поправить положение, он, под предлогом неотложного отъезда, передает правление своему наместнику, беспощадно-строгому Анджело, а сам остается в городе, переодевшись монахом и следя со стороны за действиями Анджело, которому не вполне доверяет, ибо знает за ним один сомнительный поступок. Дело в том, что лет пять тому назад Анджело порвал со своей впавшей в бедность невестой Марьяной под тем предлогом, что о поведении ее пошла худая слава. Верна ли эта молва, герцог не знает — и теперь, в монашьей рясе, исповедуя Марьяну, выясняет, что она очернена безвинно. Тем временем Анджело, восстановив старый крутой закон, навел в го-

роде порядок,— так что герцогу вроде пора бы уж вернуться на престол. Но тут-то и впрямь начинаются странности. Перечислим их.

1. Узнав о преступном посягательстве Анджело на честь Изабеллы, герцог не спешит во дворец, чтобы взять в руки власть и предотвратить преступление, а затевает сложный контрманевр с подменой девушек, причем в рифмованном своем монологе (конец III акта) говорит об этом так: «Я должен хитрость применить». Почему же должен?

2. Во 2-й сцене III акта разговор монаха с Лючио о герцоге ведется как о ком-то, ушедшем в прошлое, и сам монах (переодетый герцог) употребляет здесь и в разговоре с Изабеллой (III, 1) отдаленно-условные обороты — «если герцог вернется когда-либо», «если случится так, что он вернется когда-нибудь». Почему же «когда-нибудь», а не в самом скором времени?

3. В 1-й сцене IV акта герцог велит Изабелле научить Марьяну, как той вести себя с Анджело, и, когда обе девушки уходят, он ни с того ни с сего начинает сетовать на то, как тяжело жить государю, неизбежно окруженному завистью и злобой.

Старинный комментатор Уорбертон даже предложил убрать отсюда это сетованье, перенести его в 1-ю сцену III акта; и редакторы кембриджского (1922 года) издания «Меры за меру» А. Куиллер-Куч и Дж. Довер Уилсон согласны с Уорбертоном насчет этой «совершенно неуместной затычки». И почему герцог так рассчитывает на последствия свидания Марьяны с Анджело, на «засев нивы»?

4. Во 2-й сцене IV акта герцог (ночью, в тюрьме) с нетерпением ожидает вестей от наместника: герцог убежден, что Анджело помилует Изабеллина брата. Почему он так подчеркнуто надеется на это?

5. Перед самым своим возвращением на престол герцог письменно известил наместника «то ли о смерти герцога, то ли об уходе его в монастырь». Что за нелепость? Зачем это нужно было?

6. Перед рассветом — накануне возвращения — герцог спешно сзывает к себе верных людей. Зачем нужны эти сборы, эти письма? Зачем нужна эта краткая сцена (IV, 5), сбившая с толку даже такого проницательного и ученейшего человека, как доктор Джонсон; не поняв слов герцога «Не опоздай с вручением этих писем», Джонсон писал в своих комментариях: «Петр так этих писем и не вручает герцогу, а докладывает дело устно. Шекспир забыл ход сюжета».

7. Пьеса кончается словами герцога:

Теперь идемте во дворец, и там
Открою все, что должно ведать вам.

Слова эти насторожили Куиллер-Куча и Довера Уилсона. «Подразумевается, видимо, что-то важное»,— замечают они, комментируя это место. Что же именно намерен герцог открыть придворным? Кстати, он еще в 3-й сцене I акта намекал на некие скрытые причины своего странного поведения («Потом я изложу еще причины»).

8. И наконец, зачем нужен герцогу весь замысловатый спектакль, разыгрываемый в V акте, вся эта нервотрепка, которой подвергает он Изабеллу, Марьяну и Анджело? Неужели всего-то для пущего эффекта и загадочности, согласно требованиям сценической условности? Но ведь сценической условностью и тайной можно объяснить все что угодно. Почему Гамлет медлит, не убивает короля? Театральная условность, а иначе пьесы не было бы. Почему Корделия упрямо не желает льстить отцу? Каприз, загадка и опять-таки условность. И так далее в том же духе...

Повторяю: беда в том, что при такой трактовке герцог видится зрителю не то зыбким каким-то сверхчеловеком, забавляющимся своей «великаньей мощью», не то добродушненьким самодуром-садистом; как персонаж он делается малоинтересен — и, откровенно говоря, портит всю пьесу. А предположим на минуту, что герцог почему-либо, по какой-либо, скажем, причине духовного порядка вернуться на престол не может. Насколько интересней тогда станет все, каким человеческим смыслом наполнятся действия герцога! Вспомним о том, что шекспировские герцоги и короли отнюдь не все изображены как фанатические властолюбцы. Например, Генрих VI у Шекспира созерцателен, добр, непригоден к жестокой королевской должности и тяготится ею. Как о великом счастье мечтает он о пастушеской жизни... Миланский герцог Просперо уходит от державных дел в ученые занятия. Ключ к характеру Гамлета, быть может, именно в том, что Гамлет отчаянно не хочет быть королем. А не тем же ли ключом отмыкается и характер герцога Винченцо? Попробуем же, опершись на это толкованье, дать ответ по всем восьми пунктам наших недоумений.

1. Герцог задумал покинуть престол навсегда. Не объявил же об этом потому, что решил сначала поглядеть, как пойдут дела без него. Потому и затеял он подмену девушек, потому и «должен хитрость применить», что не хочет возвращаться во дворец.

2. Упомянутые здесь детали разговоров («если герцог вернется когда-либо») — косвенные свидетельства того, что герцог не желает возвращаться.

3. Сетованье герцога на тяготы монаршей жизни вполне уместно, ибо мысли герцога заняты этим мучительно; и он решает все-таки не возвращаться на престол, рассчитывая на то, что будущая беременность Марьяны («засев нивы») позволит ей вернуть себе мужа — как позволило то же средство Елене вернуть Бертрама (в трагикомедии «Конец — всему делу венец»).

4. Герцог решил не возвращаться на трон именно в твердой уверенности, что наместник помилует Изабеллина брата. Приказ о казни Клавдио ломает весь расчет герцога. Казни герцог допустить не может и, вынужденный к возвращенью во дворец, начинает энергичнейше действовать.

5. Герцог послал извещенье о том, что уход его бесповоротен, ибо был твердо уверен, что Клавдио помилуют (хотя и заготовил на крайний случай письмо о своем возвращении).

6. Но приходится герцогу возвращаться — и приходится принять меры на тот случай, если Анджело воспользуется извещеньем об отказе от престола и не захочет вернуть власть. И герцог ночью сзывает верных людей. Любопытно, что у всех почти этих

сподвижников герцога оказываются древнеримские имена (вообще же атмосфера пьесы современная итальянская, и в V акте Лючио дважды именуют сеньором — а не герром, как полагалось бы в Вене). Мотив заговора, подготовки переворота, очевидно, вызвал у Шекспира ассоциации с «Юлием Цезарем».

7. Герцог намерен в той или иной степени разъяснить странности своего поведения, о котором Анджело в 4-й сцене IV акта отозвался как о сумбурном и полубезумном,— намерен раскрыть ту самую загадку, которую мы здесь пытаемся расшифровать.

8. В V акте герцог устраивает Изабелле тяжелейшую, мучительную, но необходимую проверку; Изабелла выдерживает это испытание с честью. Попутно проверяются душевные качества Марьяны и Анджело.

Какой же вырисовывается в итоге образ герцога? Отнюдь не бледный, не сценически условный, не схематический и не мистический, а полнокровный образ глубоко чувствующего и страдающего человека.

В начале пьесы герцог — в тяжком упадке духа; свидетельство тому — его монолог о жизни (III, 1), в котором звучит черное отчаяние. Хоть герцог и аттестует себя «державным кормчим», «ученым, и государственным мужем, и воином», но как государственный деятель он потерпел фиаско и вынужден передать бразды правления своему наместнику. И в качестве судьи не так уж прозорлив был герцог: Лючио сумел его обмануть, увернуться от наказания за внебрачного ребенка (IV, 3).

Герцог одинок, к женскому полу «не склонен» и, видимо, не слишком высокого мнения о нем — иначе не поверил бы в виновность Марьяны, не доверил бы правленья Анджело. И тем сильнее должна была поразить герцога встреча с Изабеллой; тем весомее финальная победа Женщины.

Узнав о посягательстве Анджело на честь Изабеллы, герцог пресекает этот умысел путем хитрой уловки; он не прочь бы даже обелить Анджело — в этом смысле надо понимать слова герцога (III, 1, 160 и IV, 2, 74), когда он хвалит Анджело, считая, очевидно, возможным не смещать его, если тот помилует Клавдио; ведь в остальном Анджело вел правление строго и честно.

Но жестокое распоряжение о казни меняет все дело, ломает весь расчет. Надо возвращаться на престол; и герцог рассчитывает теперь на Изабеллу как на важнейшую свою опору жизненную — так рассчитывал Гамлет на Офелию, возвращаясь в Эльсинор и посылая письма Горацию и королю. Но прежде чем увенчать Изабеллу короной, герцог устраивает ей последнюю проверку — и проводит это с таким же искусством творца-режиссера, с каким Гамлет поставил пьесу о Гонзаго, проверяя короля, и с каким Просперо проведет всю «Бурю». Как вдохновенно изобразил Шекспир нервную радость творчества в «Гамлете», «Мере за меру» и «Буре» — в этой своеобразной трилогии!

С помощью своего спектакля герцог прежде всего убеждается в том, что Изабелла, несмотря на все отвращенье к «окольным путям», способна подчиниться его авторитету — иными словами, что с ней можно будет поладить, можно будет жить. И, продолжая испытание, нагнетая муку, герцог видит, как Изабелла находит в себе силы простить Анджело, хотя считает его убийцей брата. Вот так же озарилась драгоценным блеском душа Дездемоны, когда та, умирая, стремилась выгородить, защитить своего убийцу («Я сама...»). Но герцог счастливее, чем герой той великой трагедии. Уж герцог-то не выбросит «жемчужину ценнее, чем племя все его».

И он обращается к Изабелле с примечательными словами:

> А ради вашей сущности прелестной
> Мне руку дайте; согласитесь быть
> Моей...

То есть не губите своего прелестного существа в монастыре, передайте эту драгоценность потомству. Сходным же образом в первых двадцати сонетах убеждал Шекспир своего друга не отдавать себя в добычу смерти, увековечить свою красоту в потомстве. Прочно владела Шекспиром эта трезвая и мудрая мысль...

Но почему же так затушевал, закамуфлировал, укрыл Шекспир этот свой оригинальнейший сюжет, уж конечно ни у каких Уэтстонов не взятый? Да потому, что это отъявленная была ересь и крамола. Одно дело — изобразить, как теряет власть слабый, безвольный Генрих VI. И совсем другое — открыто показать государственного мужа, ученого и воина, умного и сильного человека, по своей воле покидающего мир королевской власти,— и это в то время, когда в Англии воцарился Иаков I, именно-то и считавший себя «лучшим ученым королевства». Предсказывать его правлению такой финал означало бы рисковать головой; и Шекспир настолько завуалировал этот опасный сюжет, что приходится нам разгадывать его, подобно «узору надписи надгробной на непонятном языке».

◆

Наши интервью

У журнала «Иностранная литература» и у Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы при всей непохожести, несопоставимости их деятельности есть тем не менее одна общая задача — делать иностранную литературу достоянием современного советского читателя, помогать ему осваивать богатства мировой художественной культуры.

Редакция попросила Людмилу Алексеевну Гвишиани-Косыгину, директора ВГБИЛ, рассказать о работе библиотеки, ответить на наши вопросы.

Л. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА:

«НАША КОЛЛЕКЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ УНИКАЛЬНА»

— Само название — Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы — говорит о том, что мы собираем иностранную литературу, в основном литературу в области гуманитарных наук, художественную литературу, литературу по искусству — на языках оригиналов и в переводах. Словом, мы собираем то, что читают не только для научных целей, для овладения какой-либо специальностью, но и для духовного обогащения, для удовлетворения художественных, эстетических потребностей, для самообразования.

В отличие от многих специальных библиотек, которые работают в системе Академии наук или Академии художеств, ВГБИЛ открыта для всех, это публичная библиотека широкого профиля, и каждый, кому исполнилось 16 лет (или 18 — для некоторых залов), может стать ее читателем.

Наш книжный фонд — на 135 языках — насчитывает 4 миллиона 400 тысяч единиц хранения. Как собирается этот фонд? Собрать полностью всю иностранную литературу, выходящую в мире, физически невозможно — поток публикаций огромен, ежегодно выходит более миллиона названий книг. Поэтому мы, являясь не только библиотекой, но и научно-исследовательским библиографическим центром, собираем определенную книжную коллекцию по страноведческому принципу. Наша коллекция литературы уникальна, в основе ее лежит стремление узнать культуру других стран и народов, сделать ее достоянием многих советских читателей.

— А разве другие библиотеки преследуют не ту же самую цель — рассказать с помощью книги о культуре, истории, литературе страны? Есть какая-то особенность?

— Да, особенность в том, что все библиотеки, у нас и за рубежом, собирают главным образом книги своей страны. А наш читатель, не выходя из читального зала, может совершить путешествие в ту или иную страну, многое узнать о ней, о ее истории, архитектуре, философии, о ее писателях и художниках, познакомиться с различными сторонами сегодняшней ее жизни, читая книги, изданные в этой стране. Мы стараемся — путем систематического отбора литературы — представить все аспекты жизни каждого конкретного государства. Такой отбор — процесс сложный, и люди, которые им занимаются, должны иметь высокую квалификацию, знать мировой книжный рынок, его особенности, знать языки, хорошо представлять задачи библиотеки.

Книги мы получаем в течение всего года, регулярность поступления зависит и от того, далеко ли расположена страна, морским ли путем идет книга или железнодорожным, отлажены ли контакты с тем или иным регионом. Мы ощущаем и влияние общей политической обстановки. Когда страна заинтересована в развитии культурных контактов, когда она стремится к тому, чтобы и наша литература к ней поступала — потому что мы не только покупаем книги, мы и обмениваем их,— тогда новые книги приходят к нам значительно быстрее, обмен становится интенсивным, действительно двусторонним. В настоящее время у библиотеки более 1200 партнеров по книгообмену в различных странах мира.

— В Библиотеке иностранной литературы есть особо ценные экземпляры редких книг?

— Предмет гордости каждой библиотеки, и личной и общественной,— редкая книга. Десять лет назад у нас был создан отдел, собирающий такие издания. Сейчас там уже около десяти тысяч томов, а начинали мы с семи тысяч в 1974 году. Очень интересные и даже неожиданные находки были сделаны в нашем собственном фонде. Была, например, найдена Библия, изданная при Петре Первом на двух языках — голландском и церковнославянском — с прекрасными иллюстрациями. Голландский текст, как установили специалисты, был напечатан в Гааге в 1717 году, а славянский — в Санкт-Петербурге в 1718—1719 годах в типографии Александро-Невского монастыря. Это издание в свое время не получило одобрения Синода и было практически уничтожено, осталось всего несколько экземпляров, один из них находится в нашем фонде. Он очень хорошо сохранился. Ранее этот экземпляр принадлежал известному библиографу и библиофилу А. Норову. Есть в нашем фонде одно из первых изданий «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле, относящееся к XVI веку, три роскошных тома «Живописного путешествия, или Описания королевств Неаполя и Сицилии» с сотнями гравюр выполненных известными французскими художниками XVIII века. Есть у нас и книга, напечатанная в Китае в XV веке, она излагает основы религии бон — учения, зародившегося и господствовавшего в Тибете до проникновения туда буддизма.

Все эти издания заслуживают, на мой взгляд, пристального внимания ученых. Работа с редкой книгой трудна, кропотлива, но и увлекательна. Она потребовала от отдела и создания системы описания таких раритетов.

— А ведь у каждой из этих книг есть своя биография. Интересно и то, кому они раньше принадлежали, в чьих книжных собраниях хранились.

— Да, редкая книга ценна не только содержанием, она помогает заглянуть в историю, знакомит с интереснейшими человеческими судьбами. Есть, на мой взгляд, и еще одно направление работы с редкой книгой, ведь она — памятник национальной истории, но во многих случаях еще и памятник искусства книгопечатания, который дает возможность сегодняшним книгоиздателям и художникам обратиться к опыту своих предшественников, к незаслуженно забытым приемам оформления, типам издания, я хочу сказать, что наши находки имеют не только научную ценность, но и практическую, прикладную.

— Скажите, а рядовые читатели могут прийти и посмотреть эту редкую книгу или она у вас «за семью печатями»?

— Конечно же могут. Мы даже удивляемся, когда нас об этом спрашивают. Разумеется, книгу, особенно редкую, надо беречь, и мы много делаем для того, чтобы она была в сохранности, содержалась в определенных условиях, реставрировалась и так далее. Время, к сожалению, действует разрушающе, и наша прямая обязанность — сохранить книгу, чтобы читатели и после нас еще века могли иметь в своем распоряжении этот памятник истории и культуры, но, с другой стороны, книга — ведь не сама для себя, она — для людей. С редкой книгой мы просим наших читателей обращаться особенно бережно. Для длительной работы над ней всегда можно снять фото- или ксерокопию.

— Какая библиографическая работа ведется в библиотеке? Какие издания осуществляет ВГБИЛ?

— Наша библиотека вместе с издательством «Книга» уже более 20 лет публикует сводный бюллетень новых иностранных книг, поступающих в 170 библиотек Советского Союза. Этот бюллетень расходится по стране, и каждая библиотека через межбиблиотечный абонемент может запросить книгу из любой библиотеки.

Одно из самых популярных изданий ВГБИЛ — информационный сборник «Современная художественная литература за рубежом». Это обзоры, рецензии, аннотации книжных новинок, появившихся в разных уголках мира. Редакции удалось собрать широкий актив литературоведов-зарубежников — ведущих специалистов, а также молодых критиков, проходящих здесь хорошую школу. За 25 лет существования бюллетеня его тираж вырос с 500 экземпляров до 12 тысяч. Многие значительные произведения зарубежной прозы, поэзии, публицистики и драматургии XX века, которые потом пришли к советскому читателю в переводах, были впервые замечены, открыты на страницах этого бюллетеня.

Уже пятым тиражом вышел справочник «Основные произведения иностранной художественной литературы».

Если говорить о библиографической работе, связанной с общественно-политическими науками, то здесь мы стараемся охватить широкий круг вопросов, представляющих интерес для тех, кто изучает международные отношения, мировую политику. Одна из таких крупных работ — Библиография материалов по подготовке, проведению и результатам Общеевропейского совещания в Хельсинки. Это свод того, что сделано многими государствами для обеспечения безопасности, для установления доверия и взаимопонимания между народами.

Мне хотелось бы воспользоваться нашей беседой, чтобы рассказать читателям «Иностранной литературы» и о других наших библиографических сериях по общественно-политическим наукам. Мы готовим, в частности, библиографии, посвященные культурным связям между странами. В них — материалы, отражающие конкретную реализацию соглашений по культуре с той или иной страной. Надеемся, что эти серии окажут немалую помощь пропагандистам, журналистам, деятелям театра, всем, кто занимается практической работой по развитию связей с зарубежными странами.

Составление таких библиографий сначала осуществлялось только силами нашей библиотеки, но в последние годы к ним стали проявлять интерес и партнеры из социалистических стран. Сейчас, например, совместно с ГДР мы готовим к изданию свод материалов, посвященных развитию культурных связей между нашими государствами.

За последние 10—15 лет вышло более ста библиографий в серии «Писатели зарубежных стран», в том числе и двуязычных, посвященных отдельным писателям.

Есть у нас и относительно новая серия — «Произведения советских писателей в переводах на иностранные языки». Один из первых выпусков этой серии был посвящен произведениям М. А. Шолохова — к 70-летию со дня рождения. Книга получилась, как нам кажется, очень интересная, мы постарались охватить максимальное количество стран, опубликовавших произведения великого советского писателя.

— Как вы собирали эти сведения?

— Видите ли, кое-кто считает, что картотека — вещь скучная, но картотеки дают нам ответы на многие вопросы, в частности они помогли и при подготовке этой библиографии. Во ВГБИЛ систематически ведется работа по сбору такого материала — об издании произведений советских писателей за рубежом. Мы часто получаем от писателей запросы о том, какие их произведения и где были опубликованы. Отвечает на запросы наш справочный отдел, который выдает в год — письменно, устно, по телефону — до трех тысяч справок самого разного характера. В его распоряжении — энциклопедии всех стран мира, специальные справочники по всем областям гуманитарных знаний. Многие обращаются к нам за уточнениями, за дополнительными сведениями.

— Вы не опасаетесь, что теперь, когда читатели «Иностранной литературы» узнают о том, что вы охотно откликаетесь на просьбы и даете обстоятельные справки, работы вашему справочному отделу значительно прибавится?

— Нисколько не опасаюсь, нам это даже будет приятно... Мы с вами все говорили о книгах, но мне хочется сказать несколько слов и о людях, которые работают с книгами. Библиотеке уже 60 лет. Одно поколение ушло, постепенно сменяется и второе, но добрая традиция — любовь к людям и книге — остается, она переходит из поколения в поколение, и я надеюсь, так будет всегда.

— Скажите, с чего начиналась библиотека? Говорят, с одного книжного шкафа, в котором стояли сказки Андерсена и братьев Гримм. Или это просто легенда?

— Затрудняюсь сказать. Моя предшественница Маргарита Ивановна Рудомино работала в библиотеке со дня ее основания. Ей и принадлежит пальма первенства по началу сбора коллекции. Библиотека была основана в 1922 году и называлась она Библиотекой Народного комиссариата просвещения РСФСР. Поначалу в ней, как свидетельствуют документы, было 100 томов. Первые поступления — национализированные коллекции из крупных поместий, дворцов, особняков. Постепенно библиотека росла... К ее 60-летию мы подняли все архивы, восстановили всю ее историю. Кстати, знаете ли вы, что Институт имени Мориса Тореза вырос из курсов по изучению иностранных языков, организованных при библиотеке?

А что касается сказок Андерсена и братьев Гримм, то они у нас, конечно, есть. На языке оригинала можно прочесть и другие замечательные книги для детей — «Красную Шапочку» и «Золушку» Шарля Перро, книгу Коллоди о деревянном человечке, сказки нашего современника Джанни Родари...

— Те, кто дарит коллекции музеям, нередко хотят, чтобы эти коллекции существовали отдельно, не растворялись в общем фонде. Есть ли у вас такие частные собрания?

— Я не помню, чтобы в последние десятилетия нам кто-нибудь предлагал их. Но отдельные книжные коллекции у нас есть, и у каждой из них своя история. Вот, например, большое книжное собрание, переданное нам патриотами Испании в 1938 году, оно в полной сохранности, стоит не в фонде, а в специальном зале, и, разумеется, им можно пользоваться. Но если эта коллекция была нам подарена, то другую — Шекспириану — многие годы собирали мы сами, она насчитывает более шести тысяч томов и продолжает пополняться.

— В Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде более ста лет существует коллекция «Россика», о которой В. В. Стасов некогда сказал, что это «ни с чем не сравнимая коллекция сочинений о нашем Отечестве, напечатанных во всех краях света и на всевозможных бесчисленных языках». Есть ли подобное собрание книг во ВГБИЛ?

— Такую задачу — собирание иностранной литературы о своей стране — обычно ставят перед собой национальные библиотеки. В Советском Союзе этим занимается Государственная библиотека имени Ленина, там есть и отдел «Россика», начало которому действительно некогда положила столичная императорская библиотека. У нас же несколько другие задачи.

— Как вы считаете, не ослабевает ли тяга людей к чтению?

— На протяжении последних лет, если говорить о количестве наших читателей, можно было наблюдать и подъемы и спады, но никаких катастрофических спадов мы не ощущаем. Пятьдесят процентов наших читателей — студенты, и этот поток совершенно стабилен. Бывают в посещаемости библиотеки некоторые колебания — в зависимости от времени года, от некоторых других обстоятельств. Мы иногда чувствуем рост или ослабление интереса к какой-либо одной области знаний. Но это не показатель роста или падения спроса

на книгу вообще. Нас каждый месяц посещают примерно 18 тысяч человек, и около половины всего фонда — 2 миллиона 200 тысяч книг — мы снимаем с полок каждый год и снова туда ставим. Положение это стабильно, беспокойства не вызывает, хотя мы, конечно, понимаем, что посещаемость библиотеки зависит еще и от того, хорошо ли мы работаем, быстро ли читатель получает у нас нужную книгу, насколько помогают ему каталоги и т. д.

Должна сказать, что определенное влияние на формирование вкусов наших читателей оказывает журнал «Иностранная литература». Нередко после публикации в журнале наши читатели обращаются и к другим книгам писателя, «открытого» «Иностранной литературой», но читают его уже на языке оригинала.

— Среди ваших читателей есть и иностранные граждане?

— Да, библиотекой пользуются многие иностранцы, которые живут в Москве, учатся. Кроме того, мы посылаем много книг в различные районы нашей страны, в том числе и на международные стройки, куда приезжают специалисты из Болгарии, ГДР, Венгрии. Недавно к нам поступил запрос от большой группы корейских читателей, временно работающих в СССР. Просьбы бывают самые неожиданные, и мы с удовольствием выполняем их.

— Пессимисты от культуры предсказывают конец эпохи Гутенберга. Они утверждают, что дни печатной книги сочтены, что современные средства информации если еще не победили, то в ближайшее время победят окончательно. Как вы считаете, книга выживет?

— В западной прессе действительно много пишут о том, что дни печатной книги сочтены. Существует Международная федерация библиотечных ассоциаций, в которой я работала, там тоже поднимался этот вопрос, собирали специалистов — представителей крупнейших библиотек мира. И мы все пришли к такому выводу: одно другому не помеха, а новые средства информации могут служить и уже служат библиотечному делу. Например, если мы редкую книгу будем все время выдавать, следующее поколение уже вряд ли сможет ею пользоваться. Но если мы переведем ее с помощью видеотехники на пленку, то с ней можно работать очень долго, она становится доступна многим, пленку можно пересылать и в другой город. Очень важный вопрос — вопрос о сохранности пленки, ведь пока никто точно не знает, как долго магнитная или другая пленка может хранить записи.

Новые технические средства крайне необходимы библиотеке, например, при работе с периодической печатью, особенно с газетой. Книга имеет компактную форму, ее легко хранить, газета трудна в работе — и для тех, кто ее читает, и для тех, кто ее хранит. Для хранения газет, конечно, необходима пленка или какой-то другой вид записи, например, микрофиш — ее при необходимости можно воспроизвести на бумаге.

Есть еще одна область, о которой можно было бы поговорить,— использование видеозаписи и создание в библиотеках видеотек. За пользование видеозаписями можно было бы взимать небольшую плату. Человек берет фильм, смотрит его дома, а потом сдает обратно. Видеотехника могла бы помочь и в изучении языков, прослушивании лекций, овладении специальностью.

— В ваших лингафонных кабинетах не выдают на дом лекции, уроки? Нет еще такой практики?

— Пока нет. Располагая только одним экземпляром, мы не может выдавать его на дом.

И все же наряду с широким распространением видеокассет, лазерных дисков книга, я думаю, все равно сохранится. Она ведь еще и памятник культуры, образец прикладного искусства.

Это совершенно иная «материя». И тот, кто ее почувствовал, от нее не откажется. Если бы мы с вами завтра пришли в магазин и на полке лежал бы, к примеру, роман «Война и мир» Льва Толстого — в записи на пленку и книга,— я бы, не задумываясь, купила книгу, а не пленку. И таких людей, я думаю, немало. Не берусь предсказывать на века, но на протяжении ближайшего столетия книга, безусловно, будет существовать и на нее будет спрос.

Беседу записала Л. Васильева

◆

Антирубрика

ОНДРЖЕЙ НЕФФ

Портонское зелье

— Готов поспорить: о портонском зелье вы еще ничего не слышали!

И так всегда.

Стоит Эдмонду заметить, что скука вот-вот выгонит из пивной самых твердокаменных завсегдатаев, у него и байка готова, выдуманная, понятно, с начала до конца, но ее слушают хотя бы потому, что бесстыдство старого вруна беспримерно. Шапки и плащи, точно всполошенные птицы в вольере, которые, постепенно успокаиваясь, усаживаются на ветви засохшего дерева, возвращаются на вешалку, и Эдмонд начинает свою историю:

— Рассказал мне это Индра Наливак, тот самый, что содержит забегаловку на восемьсот пятнадцатом километре Амазонского шоссе, а раньше служил в баре «У единорога» в научном центре Портон, штат Айдахо, построенном и финансируемом военно-авиационным ведомством.

В день, когда все стряслось, Индра стоял за стойкой, а один из этих чокнутых научников спрашивал его, нет ли на складе магнитной программы ФХ-17 для компьютера «Хьюлитт Паккард 180». И тут двери распахнулись, и вошел посетитель. Какое-то шестое чувство подсказало Индре, что вот-вот случится несчастье и пора сматываться. Неизвестный был весьма прилично одет, мало того, трезв, но все равно — не научник и не агент, а «У единорога» только и бывали что научники да агенты.

Чужак огляделся и уверенно направился к столику, где, как всегда один, сидел доктор Ричард Хелмс; он пил томатный сок и читал журнал «Квантовая механика». Незнакомец сел напротив Хелмса, и тот сердито поглядел из-за журнала на бесцеремонного невежу. Дело в том, что этот доктор Ричард Хелмс был одним из самых высокопоставленных, то есть одним из самых главных в Портонском научно-исследовательском институте, а последние полгода все говорили о нем как о гении, которого, возможно, ожидает Нобелевская премия. В прошлом году премию получил коллега Хелмса профессор Демартини. По характеру доктор Хелмс был столь высокомерен, что и представить себе не мог, чтобы кто-либо так запросто подошел к нему, без особого повода. Индра уже изготовился указать нахалу его место, но доктор Хелмс вдруг ни с того ни с сего разулыбался и стал трясти руку неизвестному, как самому близкому другу.

Тут снова распахнулись двери, и в бар вкатились трое фараонов — сам начальник охраны центра с двумя подручными. Они устремились к чужаку, а главный фараон ухватил его за плечо.

Доктор Ричард Хелмс привстал и торжественно представился.

Ожидалось, что все присутствующие должны были тут же застыть в почтительной позе, и, действительно, некоторое впечатление на охрану имя доктора произвело — шпики чуть отступили в сторону, а их шеф отпустил плечо незнакомца.

ОНДРЖЕЙ НЕФФ — ONDŘEJ NEFF (род. в 1945 г.)

Чешский писатель, доктор филологических наук. Автор книги «Удивительный мир Ж. Верна» («Podivný svět J. Verne»), работ в области научной фантастики, книг для юношества.

Публикуемые рассказы взяты из сборника О. Неффа «Яйца наизнанку» («Vejce naruby». Praha, Mladá fronta, 1975).

Ричард Хелмс был удовлетворен произведенным впечатлением, ничего другого он от охранников и не ждал. Однако не думайте, что Хелмс был этакий красавчик голливудского типа. Ничего подобного: плешивый сморчок с узкими плечами, фигурой сильно напоминающий бутылку, но не литровую, а от силы — в ноль семь литра. У него вдобавок была забавная черепушка, заостренная кверху, и так как разглядеть нос и уши почти не представлялось возможным, он и впрямь очень походил на бутылку, разве что бутылки в ноль семь литра зеленые, а кожа доктора Хелмса отливала серо-стальным цветом.

— Но, господин доктор,— как можно вежливее возразил шеф портонской полиции,— это Дэвид Апфилд, репортер скандального журнальчика «Сверло», и он, без сомнения, явился в Портон выведать военные тайны!

Доктор Ричард Хелмс для важности немного помолчал, после чего торжественно объявил:

— Господина Апфилда я знаю двадцать пять лет. Мы вместе учились в Технологическом институте, и господин Апфилд был на нашем курсе третьим по успеваемости и способностям после меня и физика Оскара Линга, который получил Нобелевскую премию в 1989 году! Это мой гость, я беру его под свое покровительство, а вам даю минуту: извольте очистить помещение, иначе вам придется командовать патрульной службой в Номе на Аляске — будете там браконьеров ловить!

Пока все в зале с интересом наблюдали за отступлением охраны, Индра Наливак не сводил глаз с нового гостя, провидя в нем источник грядущих несчастий, которые не замедлят постучаться в дверь. Индра отметил, как Апфилд побледнел и закусил губу, когда доктор Хелмс так старательно подчеркнул, что этот самый господин Апфилд был лишь третьим на курсе.

«Весь пожелтел от зависти,— отметил бармен.— Как же получилось, что он всего лишь репортер «Сверла», если уж так хорошо закончил Технологический институт? Это зависть перебила ему ноги, связала руки и стала причиной краха его научной карьеры».

«Ах ты мой золотой, совсем ты пропащий!» И Наливак достал из-под стойки бутылку (у него там всегда хранилась настоящая выпивка на случай). Теперь уж недолго осталось ждать, скоро подойдет к нему этот репортер и станет делать заказ за заказом.

Обычные посетители бара, эти интеллектуалы из центра, кроме томатного сока, ничего не пили — не дай бог, алкоголь повредит их научной работе! Какой же восторг охватил завсегдатаев, когда Индра Наливак установил тут же, рядом с буфетом, несколько компьютеров «Хьюлитт Паккард» и «Тексас инструментс», разумеется с таксометром — 10 000 битов за цент.

Апфилд еще немножко поговорил с Хелмсом, а Индра ждал, когда же лопнет терпение гостя. И действительно, не прошло и десяти минут, как журналист появился перед барменом, вспотевший от тоски и зависти.

Индра без слов налил виски, и Апфилд, не переводя дыхания, выпил.

— Он когда-нибудь лопнет от самодовольства,— пробурчал газетчик.— Еще, шеф.

Наливая, бармен предупредил:

— Будьте осторожны, господин Апфилд, доктор Хелмс очень важная персона и у него длинные руки.

— Вот еще!.. Тоже мне герой! Ужас, как он изменился за последние пятнадцать лет, серый какой-то, а макушка, макушка! Я и не замечал раньше, что она у него прямо-таки остроконечная.

— В последние полгода она еще больше заострилась,— подтвердил Индра,— и многие это заметили.

Вот тут Индра Наливак допустил ошибку. То ли новый гость чем-то затронул его, то ли бармену просто приятно было наливать виски, черт его знает, но Индра позабыл вдруг основной закон своей профессии — никогда не вмешиваться в дела клиентов, что бы ни происходило.

Он наклонился к Апфилду и тихо сказал:

— Хотите завести Хелмса? Так вот: с минуты на минуту придет плешивый толстяк. Вы скажите: «Дорогой доктор! Кого я вижу!» — или что-нибудь в этом роде, вернетесь к Хелмсу и посмотрите, что будет.

Апфилд что-то пробормотал, вроде бы не обратив особого внимания на слова бармена, и продолжал с упорством выпивохи бубнить о своей искалеченной судьбе — кем бы он мог стать, если бы не эта его дьявольская зависть — и, не переставая, вливал в себя виски. Все еще могло обойтись, но что-то так и подгоняло Индру. И когда появился толстяк, Индра указал на него Апфилду.

— Что? А... Ну, ладно... Эй, кого я вижу! Дорогой доктор! — прокричал Апфилд и поплелся за стол Хелмса.

Азарт не отпускал Индру. Он вооружился полотенцем, оставил свой пост и незаметно стал приближаться к Хелмсу и Апфилду, вытирая для вида чистые столы и стараясь не пропустить ни одного слова.

Дело в том, что Хелмс давно раздражал бармена, поэтому Индра так и ждал случая, чтобы как-нибудь хорошенько насолить самодовольному докторишке.

И пошло-поехало.

Хелмс вцепился в руку Апфилда, задыхаясь от волнения.

— Дэви, старина, ты знаешь доктора Спека?

Апфилд был не так уж пьян, чтобы не заметить перемены в поведении Хелмса. Игра понравилась ему, и он не отступал уже от сценария Наливака, подсказанного, наверное, самим дьяволом.

— Всю жизнь.

— Ты хорошо с ним знаком?

— Еще бы!

— Дэви, Дэви! Прошу тебя, уговори его мне помочь!

— А в чем дело?

— В чем, в чем — в этом проклятом зелье, в чем же еще!

— Я, правда, давненько не видел доктора, год или два. Так что это за зелье?

Доктор Хелмс напрягся. Он прикрыл глаза, и теперь его голый череп казался стальным конусом.

— Слушай: это началось как раз два года назад. Ни с того ни с сего в институте объявились новые таланты. Среди рядовых наших сотрудников, середнячков. То у одного, то у другого начали проявляться необыкновенные способности. Самородков становилось все больше и больше. Это было ужасно! Мы пришли в отчаяние.

— Почему? Вы им завидовали?

— Ну что ты, старина! Мы — и завидовать? Все дело было в ритме исследовательской работы. Настоящая научная работа исключает случайности. Таланты проявляются еще в колыбели, как, например, у меня. И только бармен, Индра Наливак, раскрыл нам секрет,— само собой, это стоило кучу денег. Он посоветовал обратиться к доктору Спеку — у него, мол, специальное зелье есть, стимулятор открытий.

Индра при этих словах нахмурился, потому что все, кому он выдавал, скорее, продавал тайну зелья, клялись хранить ее. От Индры не ускользнуло, что Апфилд сразу протрезвел и навострил уши. Он представлял уже, как напишет сенсационный репортаж для своего «Сверла». Ничего себе: раскрыть тайну государственного предприятия, работающего на допинге доктора Спека. Бармен пожалел, что задаром вовлек Апфилда в эту выгодную игру.

— Доктор Спек открыл препарат, который стимулирует мозговую деятельность,— продолжал доктор Хелмс.— А точнее, увеличивает возможность концентрации идей. Ведь что такое талант? У всех примерно равное количество серого вещества. Разница в сосредоточенности Мысли рядового человека постоянно рассеиваются и отвлекаются на посторонние предметы. Более того, он не может разграничивать главное и второстепенное, менее важное. На сколько может человек сконцентрировать внимание при разработке какой-либо проблемы, на столько лучше результаты его труда. На этом принципе основано действие стимулятора Спека.

— Ты тоже пользовался снадобьем?

— Мне не потребовалось. Я принадлежал к высшей категории ученых, был уже тогда начальником отдела. И, кроме того, скоро стали проявляться побочные эффекты эликсира Спека. Люди, которые принимали его, быстро изнашивались и через полгода становились полными идиотами. Однако...

— Ну-ну?..

— Доктор Спек усовершенствовал свой эликсир и получил новую форму — экстра.

— А что это такое?

Хелмс снова прикрыл глаза. Они походили на заклепки в металлической обшивке какого-то невиданного снаряда.

— Я был талантливее тебя, Дэвид. Как ты старался догнать меня! Ты был третьим на нашем курсе, но между вторым и третьим целая пропасть.

Апфилд передернулся и стал искать глазами Индру Наливака. Тот готов был уже броситься на помощь Хелмсу и сделал бы это, если бы высокочтимому доктору грозила опасность, но, к счастью, журналист успокоился, и Хелмс продолжал:

— Но еще большая пропасть между мной и Лингом. Здесь, в Портоне, я стал королем, но о Нобелевской премии могу только мечтать. Тебе недоступна зависть великих. Да и откуда тебе-то о ней знать? Настоящая зависть царит лишь на горних высях. И я чуть не умер, когда доктор Спек предложил мне однажды ампулу эликсира-экстра: «Отличный эффект, поинтересуйтесь у профессора Демартини».

— Тот Демартини, что получил Нобелевскую премию в прошлом году?! — воскликнул Апфилд.

— Результат экстра-зелья Спека,— сухо пояснил Хелмс.— Демартини изобрел равидар, революционный тип радара, основанный на ином принципе. При помощи равидара мы исследовали ядро Земли, нашли на Луне каверны с остатками внеземной цивилизации, волны равидара способны проникнуть в любую материю, на любую глубину...

— А каковы побочные явления, связанные с применением этого экстра-зелья? — спокойно спросил Апфилд, поднимая глаза на остроконечный череп Хелмса.

Это был вполне корректно поставленный вопрос — недаром Апфилд был все же третьим на курсе, где учились Хелмс и Линг.

— Чертово зелье создает удивительную концентрацию мысли. Дэвид. Демартини так сосредоточился на проблематике радара, настолько погрузился в идею, вжился в нее, что сам стал излучать радарные волны и сумел даже их принимать. Из Демартини, Дэвид, получился самый чувствительный из мировых радаров.

— Не может быть!

— Я тоже сперва не поверил,— грустно ответил Хелмс.— Однако вслед за Демартини физик Сильверберг стал радиоактивным, и в настоящее время из его ушных раковин необходимо изымать ежечасно 10 000 ватт, в противном случае доктор сильно страдает от мигрени. Биолог Мрожевский размножается простым делением. Специалист по отравляющим газам Клюге... и не спрашивай!..

Апфилд пожелал взглянуть на доктора Спека. Тот стоял, прислонившись спиной к стойке бара, и улыбался глупейшим образом.

— А чем ты, Дик, сам занимаешься? — спросил Апфилд не отводя глаз от острой макушки доктора.

Тот не слушал.

— Художники, писатели сталкивались с подобным явлением и раньше. Еще Флобер говорил: «Госпожа Бовари — это я». Старик Толстой плакал и краснел от стыда, когда с обнаженными плечами в платье Наташи Ростовой отправился на свой первый бал. Художники и писатели всегда умели вживаться в созданные ими образы. Только для нас, ученых, это было открытием. Дэвид, замолви за меня словечко, прошу тебя как старого товарища! У меня нет выхода. Я и бармена просил, и де-

мартини с Мрожевским за меня хлопотали — ничего не помогло...

— Спек отказался продать тебе свое новое зелье?

— Нет! Он продал мне его, и препарат отлично подействовал. Только я работаю в специфической области — мне нельзя представить изобретение в Нобелевский комитет. Когда я принял лекарство, я както упустил из виду это соображение. Но мне нужна Нобелевская премия, мне необходимо сравняться с Лингом и Демартини. Даже Мрожевский получит премию, а я... Помоги мне, Дэвид, уговори Спека — пусть что-нибудь сделает со мной, поможет мне сменить специальность (я ведь теперь полностью сосредоточен на своих специфических проблемах и не могу заниматься ничем иным) — я прошу помочь мне переключиться... Пусть это будет лекарство от рака или эликсир вечной молодости...

— А чем же все-таки занимаешься ты? Что за специфические проблемы?

— Торпеды. Управляемые торпеды с реле времени. Я изобрел необыкновенные, чудесные торпеды. Они мало отличаются от мыслящих существ, они просто очень умные. Их нельзя обнаружить никаким локатором, а взрывная сила огромна. Но соваться с этим в Стокгольм — сам понимаешь, а другим заняться я не способен. Вот погляди!

Хелмс одним движением ноги сбросил с другой ботинок вместе с носком. Апфилд увидел между пальцами доктора перепонки, как у земноводного. Схватив руку Апфилда, Хелмс прижал его ладонь к своему копчику. Удивленный газетчик нащупал гребной винт.

— Я могу долго находиться под водой. Кожа моя так затвердела, что самым острым ножом ее не пропорешь. Весь мой организм изменился и приобрел гидродинамический вид. Понимаешь, я сам стал торпедой. Я больше так не могу. Стать бы хоть чем-нибудь другим! Хоть пробиркой, хоть прибором Киппа...

Слезы полились из глаз доктора Хелмса. Апфилд в растерянности позвал Спека. Тот, не изменяя выражения лица, все с той же идиотской улыбкой, медленно подошел к ним.

— Ну что я могу... для вас сделать?..

Слова он выговаривал с трудом, будто припоминая их.

— Вы же видите, в каком отчаянном положении доктор! Как ему помочь?

— Понимаете...— пробормотал Спек,— я... работал над этим вопросом и вот... У меня всего одна ампула экстра-форте. Одна-единственная...

Доктор Хелмс сделал резкое движение, готовый выхватить у Спека ампулу, при этом его гребной винт пропорол брюки и застрял в обивке стула. А Спек неуклюже взобрался на стол, с трудом выпрямился и обратился ко всем присутствующим в баре «У единорога».

— У меня для вас печальное известие, друзья! Я сам — жертва портонского зелья. Я-то ведь первым испытал на себе его действие! Только благодаря первому варианту препарата мне удалось улучшить его, создать форму экстра, потом экстра-форте. Но теперь пробил мой час — у меня появились побочные неблагоприятные явления, вызванные этой пакостью. Со мной все кончено. Перед вами последняя ампула портонского зелья, больше ничего не будет — я никогда ничего не смогу...

И Дэвид Апфилд спросил себя: а почему бы и ему при помощи портонского экстра-форте не повысить свой духовный потенциал? И что за беда, если при этом его пальцы превратятся в клавиши пишущей машинки или во что-нибудь такое? Зато Пулитцеровская премия по журналистике у него в кармане.

— Ампула нужна мне! — взревел он.— Меня ждет Пулитцеровская премия!

— Ампула моя! — Хелмс прилагал невероятные усилия, чтобы выбраться из капкана, в который превратился для него стул.— Я уже заказал номер в стокгольмском отеле «Карлтон»!

Своего потребовали и остальные посетители бара — они устремились к обладателю эликсира, наталкиваясь на компьютеры «Тексас инструментс» и «ИБМ», во все стороны летели калькуляторы, словари, журналы; расплескивая по полу томатный сок, ученые смешались в кучу-малу.

Индра Наливак спрятался за стойкой, наблюдая за битвой всех против всех, разыгравшейся в его заведении.

Доктор Спек с ампулой в поднятой руке, похожий на толстую нимфу из фильма киностудии «Коламбия», беспомощно улыбался и повторял:

— Ничего не понимаю, ничего не понимаю, господа!

Вокруг бушевало настоящее сражение, и так как все дрались против всех и каждый за себя, никому не удалось овладеть маленькой ампулой.

Завсегдатаи пивной слушали Эдмонда, разинув рты. Шапки и плащи неподвижно висели на вешалках, ни один стакан не зазвенел, и даже лопасти вентилятора перестали вращаться.

— Ну и что же дальше? — спросил самый старший и самый заслуженный из гостей Эдмонда.

— А вот что: Апфилд сломал ножку стола и ударил Хелмса по макушке. Удар активизировал взрывное устройство, и заведение «У единорога» вместе с научным центром Портон мгновенно сровнялось с землей. Спасся один Индра Наливак. У него теперь бар на стройке у Амазонского шоссе.

— А ампула? — спросил, недоверчиво усмехаясь, один из слушателей.— Что сталось с последней ампулой портонского зелья?

— Об этом Индра Наливак ничего не рассказывал,— с каменным лицом отвечал Эдмонд.— Он учел опыт тех событий и теперь твердо хранит строгий барменский нейтралитет. Когда я в последний раз видел его, он дал страшную клятву никогда не вмешиваться в дела и разговоры гостей.

Эдмонд поставил на окованную медью доску бара стакан, потянул себя за палец

и налил из него, как из бутылки. Когда стакан наполнился, отверстие в пальце исчезло. Эдмонд поднял стакан и провозгласил:

— Ваше здоровье!

Что ни говорите, Эдмонд — образцовый бармен, абсолютно сосредоточенный на своей работе.

Перевод с чешского
Е. Ц. АРОНОВИЧ и И. А. БЕРНШТЕЙН

Почему Филемон и Бавкида не остались вместе навсегда

Филемон любил Бавкиду, а Бавкида обожала Филемона. Нежность Филемона помогала Бавкиде преодолеть грусть, Филемон же в минуты сомнений мог опереться на несокрушимую преданность Бавкиды. Они хорошо дополняли друг друга и были неразлучны. Когда при них превозносили достоинства любви, они просто не понимали, о чем идет речь. Любовь для них была так же естественна, как дыхание или пищеварение. Как сама жизнь.

Время летело, серебрило виски, сгибало спины и наносило на лица знаки, понятные только им. В один прекрасный день Филемон, к своему великому изумлению, обнаружил, что преданность Бавкиды ему осточертела, и сбежал с молоденькой продавщицей. Поскольку ему было жаль Бавкиду, он послал ей вместо себя дублера.

Это был робот, разумеется, по имени Филемон. Программа его была проста и бесхитростна: любить Бавкиду нежно, преданно, до гробовой доски. В схемах робота содержались все индивидуальные особенности живого оригинала. Более того, они были скорректированы в соответствии с идеальными представлениями Бавкиды.

Бавкида была неприятно удивлена, когда однажды вечером вместо мужа домой явился робот. Но чувство кибернетического Филемона было пылким, всепроникающим, и старушка в конце концов смирилась с тем, что нежные словечки перед сном нашептывает ей не человек, а робот с пластиковыми органами.

И снова воцарилась идиллия, пока бедняжка Бавкида не увлеклась вдовцом Томашеком, железнодорожником на пенсии, и не бросила кибернетического Филемона. Но она чувствовала, что должна утешить Филемона в его горе — ведь их связывали прожитые в согласии годы — и потому послала вместо себя замену, кибернетическую Бавкиду.

Так вот случилось, что любовь Филемона и Бавкиды сохранилась в кристаллических супраатомарных схемах кибернетического интеллекта, и была эта любовь такой идеальной, что имена Филемона и Бавкиды перешли в мифологию и стали символом супружеского счастья.

Престарелые супруги скромно жили в убогом бетонном бункере за радиоактивными пустошами. Никто не тревожил их. Лишь однажды прибежала откуда-то взбесившаяся лисица, укусила Бавкиду за ногу, но тут же сломала себе зуб и, ворча, убралась прочь кусать кого-нибудь помягче. Однако Филемон забеспокоился:

— Не навредил тебе этот зверек, моя Бавкида?

— Не волнуйся, дорогой Филемон! Титановая жесть не по зубам жалкой лисе.

— Не знаю, не знаю, может, мне следовало бы пройтись по твоей ножке автогеном. На всякий случай,— хмурился Филемон, а Бавкида отвечала ему звонким смехом, растроганная его заботливостью.

Потом, когда условия на Земле стали непригодными для жизни и человечество переселилось в марсианские пустыни, казавшиеся людям гораздо более приветливыми, чем то, что они оставили дома, Филемон с Бавкидой были брошены на произвол судьбы. Колонисты увезли все необходимое для жизни на Марсе, вплоть до ржавых подков и старых прялок. Но к чему им так непрактично запрограммированные роботы? Филемон с Бавкидой остались на Земле совершенно одни, только это их не волновало, мы же знаем, как они любили друг друга.

Миновало несколько, точнее, много ледниковых периодов, пятеричный период сменился шестеричным, а потом семеричным и восьмеричным. Перед Филемоном и Бавкидой дефилировали представители новых видов животного мира, некоторые даже обладали интеллектом. Старички давно уж не сиживали на пороге бункера, как бывало, поскольку бетон совсем раскрошился за каких-нибудь десять тысяч лет. К тому же теперь их жилище находилось на глубине восьми километров под уровнем моря. Похожие на одинокие валуны, они шептали друг другу:

— Ты любишь меня, Бавкида?

— Да, конечно... А ты меня, Филемон?

— Ты ведь и сама знаешь!

Иногда Бавкида прихварывала, и Филемон терпеливо ухаживал за ней, заменяя изношенные кристаллические блоки новыми, собственноручно взращенными в крохотном микропроцессорном стимуляторе. Филемон шагу не делал без своего переносного стимулятора, всюду таскал его с собой в маленькой котомке. А когда хворь одолевала Филемона, Бавкида так же самоотверженно заботилась о нем.

Ледниковых периодов прибывало, длились они все дольше, пока лед не покрыл Землю, кроваво отсвечивая в лучах угасавшего Солнца. Бесследно исчезли все представители животного мира. На больших камнях — и на спине Филемона, что вызывало хихиканье и добродушное подшучивание Бавкиды,— вырос рыжеватый мох, в прогалинах между льдинами иногда что-то мелькало. Плохая погода не мешала старым любовникам. Еще давным-давно Филемон нарубил урана, наготовил из него атомного топлива. С такими запасами суровая зима не страшна.

Так жили Филемон с Бавкидой, готовые оставаться вместе до конца в соответствии

с программой. Но ничего из этого не вышло. Однажды что-то случилось с Солнцем. Оно как бы лопнуло и стало расти. Свет так ослеплял, что впервые за миллионы лет у супругов автоматически опустились светозащитные жалюзи. К сожалению, это не помогло, когда жар усилился. Дело в том, что, когда Филемон с Бавкидой лечили друг друга, они немножко небрежничали. Новые контакты, любовно припаянные, все же не были такими прочными, как прежние. По мере ослабевания интенсивности солнечного света уменьшалась и мощность солнечных батарей. Это позволяло одряхлевшей электронной сети функционировать довольно надежно. Но когда Солнце оказалось в новой фазе, солнечные батареи заработали на всю катушку. Филемон с Бавкидой резво вскочили, упали друг другу в объятия и начали страстно целоваться, как в первые годы их любви, пришедшиеся на пятеричный период. В этот момент и случилось несчастье. Новая звезда уже поглотила Меркурий, началось таяние снегов на Венере. Кибернеты-долгожители не выдержали наплыва энергии, кибернетические мозги вскипели, и старичков роботов на месте хватил удар.

Минуту спустя супруги все равно сгорели бы враз со всей Землей, превратившись в праматерию и выполнив таким образом заложенную в них программу, ибо данный момент можно со всей уверенностью обозначить как конец света. К сожалению, нашим любовникам недостало ровно минуты, и самый доброжелательный наблюдатель не в силах закрыть глаза на сей печальный факт.

Справедливости ради отметим: Филемон с Бавкидой выдержали вместе так долго, что — с небольшими оговорками — вполне заслужили наше уважение.

Перевод с чешского Т. ОСАДЧЕНКО

ЕСЛИ БЫЛ БЫ ВЕСЬ МИР БУМАЖНЫМ

Из английской народной поэзии

Перевод с английского ВИКТОРА ЛУНИНА

У синей реки в дубраве

У синей реки в дубраве
Когда-то сова обитала.
Чем больше она видала,
Тем меньше она болтала.
Чем меньше она болтала,
Тем больше слушала всех.
И нам бы на мудрую птицу
Похожими быть не грех!

* * *

— Куда ты, красотка? — спросил кавалер.
— Иду за сметаной и маслом, сэр.
Иду за сметаной, иду за сметаной,
Иду за сметаной и маслом, сэр.

— А можно с тобою? — спросил кавалер.
— Вы будете славным попутчиком, сэр.
Вы будете славным, вы будете славным,
Вы будете славным попутчиком, сэр.

— Пойдешь за меня ты? — спросил кавалер.
— Пойду, коль возьмете, любезный сэр.
Пойду, коль возьмете, пойду, коль возьмете,
Пойду, коль возьмете, любезный сэр.

— Скажи, кто отец твой? — спросил кавалер.
— Отец мой — крестьянин, любезный сэр.
Отец мой — крестьянин, отец мой — крестьянин,
Отец мой — крестьянин, любезный сэр.

— А ты не богата ль? — спросил кавалер.
— Богатство мое — красота моя, сэр.
Богатство мое, богатство мое,
Богатство мое — красота моя, сэр.

— Тогда не женюсь я,— сказал кавалер.
— А вас ведь никто и не просит, сэр.
А вас ведь никто, а вас ведь никто,
А вас ведь никто и не просит, сэр!

* * *

Если бы мошки пеклись о шмелях,
А совы любили ежей,
Если бы строились замки в морях,
А час был втрое длинней.
Если бы конь оседлал седока,
А лютики ели коров,
Если бы мышь задала трепака
Целой сотне котов,
Если бы мать отдала ребенка
Цыганам за хлеб и сыр,
Если бы стала мальчишкой девчонка,
Перевернулся бы мир!
Но если бы дива, подобные этим,
Случались бы каждый день,
Я бы, наверное, их не заметил,
Будучи сам набекрень!

*

— Скажите, пожалуйста, мистер Тамм,
Как быстро до Глазго добраться нам?
— Одна нога здесь, а другая — там,
Быстрее никак не добраться вам!

*

Если вы истинный джентльмен,
В чем нет сомненья, ей-богу,
То вы хихикать не станете,
Когда вам щекочут ногу.

Тэффи из Уэльса

Тэффи из Уэльса, Тэффи — плут и вор,
Однажды в дом ко мне пришел и выкрал помидор.
Пошел я к Тэффи, зная, что Тэффи дома нет,
И сапогами полчаса топтал его берет.

Тэффи из Уэльса, мошенник и подлец,
Однажды в дом ко мне пришел и выкрал огурец.
Пошел я к Тэффи, зная, что в доме — никого,
И глиной выпачкал носки и башмаки его.

Тэффи из Уэльса, жулик и нахал,
Однажды в дом ко мне пришел и колбасу украл.
Я снова — к Тэффи, зная, что он ушел давно,
И в печке сжег его штаны и куртку заодно.

Прошу, барабанщик

— Прошу, барабанщик, возьми меня замуж,
Горю я жарче огня.
— Да как же мне взять тебя замуж, красотка,
Коль шляпы нет у меня?

Полезла девица в сундук с добром,
Достала отличную шляпу с пером,
Самую-самую лучшую шляпу
Из тех, что имелись в доме.

— Теперь, барабанщик, возьмешь меня замуж?
Горю я жарче огня.
— Да как же мне взять тебя замуж, красотка,
Коль нет сюртука у меня?

Полезла девица в сундук дубовый,
Достала сюртук совершенно новый,
Самый-самый лучший сюртук
Из тех, что имелись в доме.

— Ну как, барабанщик, возьмешь меня замуж?
Горю я жарче огня.
— Да как же мне взять тебя замуж, красотка,
Коль нет башмаков у меня?

Полезла девица на дно сундука,
Достала оттуда два башмака,
Два наипрекраснейших башмака
Из тех, что имелись в доме.

— Ну что, барабанщик, возьмешь меня замуж?
Горю я жарче огня.
— Да как же мне взять тебя замуж, красотка,
Коль есть жена у меня?

Если был бы весь мир бумажным

Если был бы весь мир бумажным,
И чернилами стала б вода,
И висели бы пышки на деревьях, как шишки,
Что бы пили мы с вами тогда?

Если был бы весь мир песчаным,
Все на свете бы было не так.
Если б трубки пропали, как бы мы поступали
И на что был бы нужен табак?

Если стали бы лопаться бочки,
Если все бы трещало кругом,
И мартышек отряд съел бы весь виноград,
Что случилось тогда бы с вином?

Если мы бы не строили планов
Тех, что в мире рождают зло,
И прошла бы пора музыкантов бродячих,
Что бы с песнями произошло?

Если вещи бы все не старели
И к концу не вели бы пути,
Если дни бы не шли, разве мы бы смогли
Эту песню к концу привести?

■

Наши гости

Ибрагим Самель, Хашем Гамшарик, Насер Рахъяб

ДРА

В редакции «Иностранной литературы» состоялась беседа с афганскими литераторами, находившимися в СССР по приглашению Союза писателей СССР. Это были Ибрагим Самель — поэт, секретарь правления СП Афганистана по организационным вопросам, Хашем Гамшарик — поэт, секретарь отделения СП Афганистана в провинции Кандагар и Насер Рахъяб — критик, главный редактор журнала «Хорасан».

Вопрос: Из трех членов вашей делегации двое — поэты. Случайно ли это?

Х. Гамшарик: Из трех членов нашей делегации — поэты все трое, потому что Насер Рахъяб тоже пишет стихи, хотя и не публикует их. И такая «пропорция», разумеется, не случайна: она полностью соответствует традиционно сложившейся в нашей стране, да и вообще на Востоке, иерархии родов литературы. Поэзия у нас всегда господствовала, вкусы читателей и слушателей определялись любовью прежде всего к стихам, а среди писателей испокон веков большинство составляли поэты.

Вопрос: Такое положение остается неизменным и в наши дни?

Н. Рахъяб: В XX веке, особенно в последние 60—70 лет, у нас стала развиваться и проза, правда, формы ее, особенно поначалу, отличались от традиционных европейских прозаических жанров. Однако сейчас появилось немало молодых прозаиков, чьи произведения вселяют надежду на то, что со временем и этот род творчества займет достойное место в афганской литературе.

Вопрос: А какие новые тенденции наблюдаются в поэзии вашей страны?

Н. Рахъяб: Новое в нашей поэзии — это прежде всего обращение к технике верлибра, которая никогда прежде у нас популярна не была. Правда, поэтов, придерживающихся этого направления (которых явно становится все больше с каждым годом), читают и принимают пока лишь в кругах образованной интеллигенции, по большей части в столице. Широкий же читатель по-прежнему отдает предпочтение классическим жанрам рифмованного стихосложения. Так что сейчас мы становимся свидетелями наметившегося тревожного расхождения между устремлениями создателей и запросами «потребителей» поэзии.

Вопрос: Насколько широк круг читателей в Афганистане сегодня?

Х. Гамшарик: Увы, наша страна остается пока страной малограмотной, ведь к моменту революции около 90% населения не умели читать и писать. Но у нас есть древняя традиция, процветающая и ныне,— традиция устного общения писателя с любителями поэзии. Огромную роль играет здесь, конечно, радио. Большой популярностью пользуются и «живые» выступления перед большими и малыми аудиториями народных ашугов, а также поэтов, пишущих в новых, современных жанрах на самых разных языках нашей родины — на дари, пушту, узбекском, туркменском, нуристанском и других. Такие выступления имеют и немалое просветительское значение.

Вопрос: Если вернуться к афганской прозе, какие проблемы она поднимает сегодня?

И. Самель: Апрельская революция 1978 года оказала решающее воздействие на всю жизнь нашего народа и, разумеется, на нашу литературу. Не только на прозу, но и на поэзию тоже: революционные преобразования в нашем обществе определили содержание и стали внутренним импульсом всей нашей литературы.

Война, развязанная реакционными силами против демократического Афганистана, вызвала к жизни новое направление в нашей словесности, которое я назвал бы «военной» литературой. Поэтому, кстати, для нас очень ценен опыт вашей «военной» литературы.

Х. Гамшарик: И не только литературы, но и опыт борьбы с неграмотностью, невежеством, суевериями, опыт социальных преобразований — в частности, вовлечения в общественную жизнь женщин, создания молодежных организаций, особенно в республиках Средней Азии.

Н. Рахъяб: И опыт организации науки, в том числе и гуманитарных ее отраслей.

Вопрос: Кстати, журнал, который вы возглавляете, это, насколько нам известно, научное издание. Расскажите о нем, пожалуйста.

Н. Рахъяб: «Хорасан» — орган Отделения языка и литературы Академии наук Афганистана. Он выходит на языке дари с 1980 года один раз в месяц тиражом 2000 экземпляров. Мы публикуем научные статьи по проблемам языка и литературы, стараясь наиболее адекватно представить современный литературный процесс и творчество отдельных писателей, состояние обучения населения грамоте и изучения языков. Журнал наш, конечно же, рассчитан в первую очередь на специалистов — филологов, литературоведов, но и задачи народного просвещения нам не чужды. Аналогичный журнал издается на языке пушту.

Вопрос: Читают ли в Афганистане советскую и русскую литературу?

Н. Рахъяб: Да, у нас есть переводы произведений русских и советских писателей на языки народов нашей страны, но, сказать по правде, я не уверен, что уровень этих переводов достаточно высок. Во всяком случае, читая их, я зачастую ощущаю, что в них чего-то не хватает, что это «обедненные» переводы. Вот почему я давно мечтаю прочесть Чехова, Белинского, Маяковского, Есенина в оригиналах. Надеюсь, что когда-нибудь мне удастся выучить русский язык и осуществить свою мечту.

Гости из Афганистана живо интересовались новыми произведениями советских писателей, событиями литературной жизни в нашей стране после VIII съезда СП СССР, работой журнала «Иностранная литература». В свою очередь, они дали ряд полезных советов по конкретным вопросам отбора произведений современной афганской литературы для знакомства с ней советских читателей.

И. ДОРОНИНА

Ченджера Хови

Зимбабве

Англоязычная проза той части Южной Африки, которая раньше называлась Родезией, в целом небогата. Писатели Зимбабве и Замбии были в последнее десятилетие заняты скорее активной — с оружием в руках — борьбой за независимость родины, чем писательским трудом. И все же достаточно известны такие имена, как С. Замканге, У. Катийо, Ч. Мунгоши, С. Ньямфукудза [1]. Их творчество свидетельствует о том, что литература этих молодых государств набирает силу.

Редакцию журнала «Иностранная литература» посетил глава Союза писателей Зимбабве Ченджера Хови, молодой поэт, пишущий как на английском, так и на родном языке шона. Ченджера Хови возвращался на родину из Пхеньяна, где писатели из шестидесяти одной страны мира провели международный симпозиум по вопросу о роли современной литературы в борьбе за независимость, дружбу и мирное сосуществование. Вслед за этим там же, в Пхеньяне, состоялось заседание исполнительного совета Ассоциации писателей Азии и Африки и редколлегии журнала «Лотос».

Отвечая на вопросы сотрудников «Иностранной литературы», Ченджера Хови рассказал о поездке в КНДР, а также о тех задачах, которые ставит перед собой Союз писателей Зимбабве (СПЗ), стремящийся объединить прогрессивные литературные силы соседних стран — Замбии, Анголы, ЮАР и др. Союз писателей Зимбабве, по словам Ч. Хови, ищет и старается создать наиболее благоприятные условия для работы способных молодых авторов, пытающихся правдиво отобразить действительность — постколониальную вообще и самых последних лет в частности. При Союзе существует издательство «Зимбабве паблишинг хаус», которое публикует произведения писателей из всех стран Африки; в настоящее время выпущено в свет тридцать две книги. Книги выходят на трех наиболее распространенных в Зимбабве языках: английском, шона и ндебеле.

Принимая рукопись к изданию, говорит Ченджера Хови, мы особое внимание уделяем взглядам автора на ход общественного развития страны и современную историческую и политическую ситуацию в ней. Очень поощряется «взгляд изнутри», то есть оценка той или иной конкретной ситуации писателем-африканцем. Это чрезвычайно важно, так как до сих пор большая, можно сказать подавляющая, часть исторических, политических, социологических, культурологических и фольклорных исследований по странам Африки, включая и литературоведческие, проводилась представителями иных культур, прежде всего европейцами. «Наша история должна быть написана нами!» —

[1] На русский язык неоднократно переводились рассказы Ч. Мунгоши; роман У. Катийо «Сын земли» вышел в 1984 году в издательстве «Радуга».

заявил Ченджера Хови, и в значительной степени эта задача, весьма трудная, требующая колоссальных усилий, стоит именно перед писателями — передовой частью интеллигенции молодых африканских государств. Наш гость не отрицает, что пока качество работ африканских исследователей недостаточно высоко, но не сомневается, что постепенно оно будет улучшаться, в частности появится и будет развиваться литературная критика, более строгим станет отбор произведений для публикации. Но уже сейчас важно, говорит Ченджера Хови, что у африканца появилось желание осмыслить себя, свою историю: «Мы хотим говорить о себе, а уж вы оценивайте то, как мы это делаем».

Поиск интеллигенцией молодых государств Африки новых способов отражения действительности безусловно предполагает и взаимодействие с литературами, наукой, искусством других стран. Но при этом, говорит зимбабвийский гость, вопрос о партийности того или иного произведения литературы представляется нам первоочередным. О партийности в известном понимании этого слова, означающем, что литература непременно должна быть «причастна», то есть писатель обязан знать, по какую сторону баррикады находится.

На вопрос о читательской аудитории Зимбабве Ченджера Хови ответил, что здесь, как и в других молодых африканских государствах, достаточно остро стоит проблема неграмотности. Издается некоторое количество, как он выразился, «нейтральной» литературы на местных языках, которая «годится для всех». Это и образцы так называемой «ярмарочной литературы», распространенной в англоязычных странах Африки, и упрощенное, развлекательное по форме изложение серьезных проблем. Ченджера Хови отметил, что поскольку подобные книги обычно не содержат сколько-нибудь серьезного политического и социального анализа действительности, они снабжаются соответствующими комментариями, предисловиями, статьями. Для проведения этой работы при СП Зимбабве недавно создано специальное бюро.

Очень важным способом борьбы за народную аудиторию Ченджера Хови считает использование африканскими писателями местных языков, подобно тому как это делает знаменитый кенийский писатель Нгуги ва Тхионго, в последнее время публикующий свои произведения не только на английском, но и на кикуйю. Ту же цель преследует издательство «Зимбабве паблишинг хаус», выпуская книги параллельно на двух языках — например, на английском и шона, или только на местных. Однако, говорит наш гость, изданию серьезных произведений на африканских языках мешает не только недостаточная грамотность масс, но и неразвитость самих этих языков, еще в недавнем прошлом бесписьменных, порой лишенных лексических средств для выражения целого ряда понятий. Наиболее доступными для местного читателя оказываются поэзия и, конечно, драма — самые близкие к фольклору, легче всего воспринимающиеся на слух.

Ченджера Хови проявил большой интерес к принципам организации такого журнала, как «Иностранная литература», с которым прежде знаком не был, выразил удовлетворение по поводу того, что «ИЛ» публикует и произведения писателей Африки. Сотрудники редакции, однако, высказали сожаление, которое разделил и Ч. Хови, по поводу недостаточного развития непосредственных контактов между литературными кругами СССР и большинства африканских стран, вследствие чего мы ощущаем пока зависимость от крупных европейских и американских издательств в смысле отбора произведений африканской литературы и оперативности их публикации. От имени СП Зимбабве Ч. Хови обещал принять все возможные меры для исправления положения, признав, впрочем, что задача будет не из легких, так как должный контакт не налажен сейчас даже между самими писателями Африки. В подтверждение Ч. Хови привел курьезный эпизод, когда СП Зимбабве так и не смог добыть потребовавшуюся ему фотографию одного из крупнейших писателей ЮАР Питера Абрахамса.

«Как раз в плане установления непосредственных писательских контактов,— сказал Ченджера Хови,— мне очень помогла поездка в Пхеньян и Москву, стало понятно, как много у развивающихся стран общих проблем и сколь многого можно достичь, если объединить усилия».

И. ТОГОЕВА

Вниманию читателей!

В феврале нынешнего года гостями журнала «Иностранная литература» были многие известные зарубежные писатели—делегаты московского Международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества». Материалы о состоявшихся в редакции встречах читайте в последующих номерах журнала.

◆

Среди книг

Издано в СССР

РОСТ АРЛЕКИНА ТРИСМЕГИСТА

Гийом Аполлинер. Избранная лирика. Вступительная статья, составление С. И. Великовского. Москва, «Книга», 1985.

Зарубежные поэты приходят к русскому читателю по-разному. Одни сразу же начинают звучать в стихотворном переложении совсем по-русски. Величие других остается на десятилетия, а то и на целые века чем-то совершенно непреложным по традиции. Третьи — забытые, и чаще всего справедливо забытые у себя на родине — принимаются благодаря замечательным, во много раз превосходящим подлинник переводам. Четвертые, увы, так и остаются тенями, обитающими у входа в пантеон...

Все это касается поэзии минувших эпох (и лирической поэзии — в первую очередь). Но и в XX веке мы наблюдаем трагические «невстречи», по слову Ахматовой, или же встречи настолько запоздалые, что вместо радости узнавания чувствуешь лишь досаду и горечь. Ведь поэт, прищедший к нам из дали временной и пространственной, должен, чтобы оказаться услышанным, заговорить с нами на нашем языке и о наших судьбах.

Так заговорил с нами ровесник Блока Гийом Аполлинер. Имя его и судьба пленяли и волновали, стихи — до самого недавнего времени — оставляли равнодушными. Правда, еще в двадцатые годы к творчеству Аполлинера обратился замечательный переводчик французской поэзии Бенедикт Лившиц, но он перевел всего несколько стихотворений, а по-настоящему удачно лишь одно, и долгие годы Аполлинер оставался для нас, по сути, автором «Сумерек»:

В саду где привиденья ждут
Чтоб день угас изнемогая
Раздевшись догола нагая
Глядится Арлекина в пруд
. . . . . .
И между тем как ловкий малый
Играет сорванной звездой
Повешенный под хриплый вой
Ногами мерно бьет в цимбалы

Слепой баюкает дитя
Проходит лань тропой росистой
И наблюдает карл грустя
Рост арлекина трисмегиста

Магия органического слияния несочетаемого или трудносочетаемого, поэтика оксиморона в самом широком смысле слова, изощренная метафоричность, тонкая музыкальность, отточенная техника словоупотребления, превращающего буквально каждое слово в словообраз,— все эти черты поэтической манеры Аполлинера переданы в переводе Лившица во всем блеске... Сохранено и настроение — элегической и ностальгической грусти, и чуткое внимание к символически претворенной действительности, фантастический (или, точнее, сюрреалистический) пейзаж и автопортрет души... Выделяется это стихотворение и в рецензируемой книге — но уже не как абсолютная вершина ее, а скорее как изначальная точка отсчета, от которой идут переводчики — и они идут дальше.

Аполлинер — новатор, подлинный преобразователь французского стиха и французской поэзии, певец традиционных, где-то и старомодных чувств — любовного томления, разлуки; традиционных тем — река, город, война; во многом традиционных, едва ли не стертых слов. Но старые краски он смешал по-новому; увидел — и запечатлел — предмет в его генезисе, в его рождении из разнородного и бесформенного вещества. Творить из хаоса космос — закон высокого искусства; показывать процесс этого сотво-

рения — решающий атрибут поэтики XX века. И здесь оригинальность Аполлинера оборачивается величием... Вот, близко к первоисточнику, перелагает он балладу немецкого романтика Брентано «Лорелея» — балладу, где рассказывается трагическая история души. Красавица Лорелея пленяет — и тем самым губит мужчин против своей воли — и, не вынеся бремени этой вины, бросается с утеса в воду. Так у Брентано. Аполлинер, практически переведя, хотя и в другом размере, немецкую балладу, приписал заключительное двустишие, в корне меняющее ее смысл:

Плененная собой скользнувшей под утесом
Шагнула к сини глаз и золотистым косам

(Перевод Г. Русакова)

Тема города, тема Парижа,— сквозная в творчестве поэта («Зона», «Мост Мирабо», «Вандемьер»). И опять-таки мощь и новаторство Аполлинера в том, что город увиден в диалектическом единстве несочетаемого: «грубых и зримых» примет внешней жизни и неуловимых (потому что неизъяснимых) картин и откровений жизни внутренней. Недаром же образ «Зоны» (рабочих окраин Парижа) использовал, по меткому наблюдению безвременно ушедшей от нас И. Тертерян, один из глубочайших психологических писателей наших дней Х. Кортасар в романе «62. Модель для сборки» — и использовал его на первый взгляд в парадоксальном плане: для обозначения некоего избирательного сродства группы людей, нашедших друг друга под знаком меланхолической резиньяции. Вот как сказано примерно о том же в стихотворении «Вандемьер»:

Пугающие сны дни ночи и поступки
Соитья Бытие и звуки вечной гаммы
Божественная боль Движение Молитва
Мир повторяющий собою нас и вас
Пускай я вас испил но жажда не прошла

(Перевод В. Орла)

Задача и объем журнальной рецензии не позволяют анализировать творчество Аполлинера глубже, цель ее написания—привлечь внимание к изданной, увы, небольшим тиражом книге переводов. Обратившись к сборнику, читатель найдет и предисловие С. Великовского (он же составитель), сочетающее свойства изящного эссе и глубокого литературоведческого исследования, краткие, но точные комментарии Ю. Гинзбург; можно сказать, что даже на аппарате книги лежит отсвет поэтики Аполлинера. Хочется отметить и оформление художника Г. Бернштейна. Он пошел по своеобразному пути: сочетав темы и приемы Пикассо, Руссо, Дали, Мазереля и многих других, он предложил нам как бы суммарный поэтический образ их живописи.

И все-таки главным фактором, предопределяющим, на наш взгляд, успех книги, являются сами переводы. Часто ли мы читаем в переводных книгах строки, исполненные такого, например, лиризма:

Укрыла овечьи стада
Зима в серебристую пряжу
Бьют зорю а я никогда
С изменчивым сердцем не слажу
И как я узнаю куда

Куда уплывут твои пряди
Барашков морских кружева
Куда уплывут твои пряди
И канет ладоней листва
Мой след хороня в листопаде

(«Мари», перевод А. Гелескула)

Часто ли ощущаем трагический накал такой силы:

Что доставалось мне от весен изможденных
Боярышник в цвету когда кругом галдят
Стервятники деля ягнят мертворожденных
И дышащих уже на ладан боженят

(«Мерлин и Старуха», перевод Г. Русакова)

Часто ли поэтическая и разговорная интонации сливаются с такой естественностью:

— Неси кофейник хлеб да тот горшочек сала
Молочник мармелад и масла не забудь
— Елена милочка подлей еще чуть-чуть
— Не ветер за окном латинские хоралы

— Елена милочка подлей еще чуть-чуть
— Взгрустнулось душенька — Влюбилась наша Лотта
— Храни Господь — По мне что право за охота
— Тсс бабушка пора усопших помянуть

(«Женщины», перевод Б. Дубина)

Надо отметить деятельность редактора переводов (и одного из переводчиков) М. Ваксмахера. В том, что столь разные по тембру, да и по объективным возможностям, голоса звучат одинаково чисто — его несомненная заслуга.

Две главные книги Аполлинера «Алкоголи» и «Каллиграммы» не вполне равноценны и не вполне равноценно переведены. Не случайно все вышеприведенные стихи входят в сборник, названный первым. «Каллиграммы» сложнее для воплощения по-русски, угол расхождения между отечественной и французской поэтической традицией здесь шире, и задача перевода того сборника, пожалуй, скорей намечена, чем решена, хотя это заметно лишь на фоне ярких удач перевода сборника «Алкоголи».

За последние годы наметился новый интерес к французской поэзии, классической и современной, новая глубина в ее постижении. «Избранная лирика» Аполлинера знаменует собой серьезный качественный скачок в этом деле. Освоение сокровищницы французской поэзии, исподвольный, порой незримый «рост арлекина трисмегиста» продолжается.

ВИКТОР ТОПОРОВ

«СПРАШИВАЮ СЕБЯ...»

Поэты Китая и Вьетнама в переводах Л. Эйдлина. Москва, «Наука», 1986.

Знаменитый поэт Бо Цзюйи (772—846) как-то доверил бумаге и кисти сокровенные свои планы, утверждая эстетическую и нравственную ценность особого рода человеческой деятельности:

Сегодня я строю
беседку на запад от пруда.
Еще расчищаю
я лес на восток от него.
А что я задумал,
то людям пока неизвестно:

Хочу приготовить
местечко для встречи луны[1].

Лев Залманович Эйдлин исследовательской работой готовил читателей к встрече с великими поэтами Китая, а как интерпретатор этой поэзии сделал такую встречу реальностью. В книгах и статьях по истории китайской литературы он ставил и решал актуальные для литературоведения задачи. Его перу принадлежат важные для общей теории перевода и для теории перевода с восточных языков статьи «Когда поэт переводит», «Мысль и слово», «Читая старых поэтов» и другие. Писал он изящно и строго, не чураясь при этом широких сопоставлений и аналогий; он мог неожиданно увидеть или почувствовать внутреннюю связь между китайским поэтом IV века и «певцом-гусаром» Денисом Давыдовым или найти нечто общее в старой поэзии Китая и в античной лирике К. Н. Батюшкова.

Художественные переводы Л. З. Эйдлина давно уже вошли в советскую поэзию в качестве неотъемлемой ее части. Преодолев огромные трудности в постижении и перевыражении старинного иероглифического текста с его аллюзиями, реминисценциями, недоговоренностью, лаконизмом, грамматическим и стилистическим параллелизмом, Л. З. Эйдлин сумел сохранить мысль и образ, композиционную стройность, звукопись и краски оригинала в русской версии. Переводчик, писал он, должен «шагнуть за иероглиф и войти в многослойную толщу культуры прошедших тысячелетий». Сам он «шагнул за иероглиф» смело и целеустремленно: в его переводах и с его статьями и комментариями увидели свет «Девятнадцать древних стихотворений», произведения Цюй Юаня, «Стихотворения» Тао Юаньмина, «Четверостишия», «Стихи», «Лирика» Бо Цзюйи, «Китайская классическая поэзия», где кроме названных поэтов мы находим имена Мэн Хаожаня, Гао Ши, Цэнь Шэня и многих других прославленных литераторов.

В данных заметках речь пойдет о последней авторской книге Л. З. Эйдлина. Книга «Поэты Китая и Вьетнама», составленная и подготовленная к печати им самим, но вышедшая в свет уже после его безвременной кончины, отличается от всех предыдущих работ Л. З. Эйдлина, хотя без них немыслима. В ней сравнительно немного новых переводов, если не считать вьетнамского цикла, но все сделанное ранее высветлено по-новому и рассматривается как нечто цельное, позволяющее увидеть в этой цельности фундаментальные черты китайской классической поэзии. В строках «От переводчика» Л. З. Эйдлин говорит о «несколько расширенном комментарии» в новой книге по сравнению с предыдущими. Я бы сказал иначе. В книге нет комментариев в обычном, так сказать традиционном, понимании этого слова. Прозаические тексты, предваряющие разделы книги и циклы отдельных поэтов, составляют с этими последними единое художественное целое; перед нами поэзия в прозе, дающая читателям эстетическую возможность проникнуть в духовный мир китайского поэта и не чувствовать себя в нем отчужденно и безучастно.

Разделы — «Простая жизнь», «Времена года», «В пути», «Печаль и успокоение поэта» — демонстрируют (переводчик цитирует слова академика В. М. Алексеева) «всечеловеческое содержание» китайской классики и особенный ее взгляд на мир и человека. В разделе «Простая жизнь» Л. З. Эйдлин пишет: «Китайская лирическая поэзия есть прежде всего поэзия мысли, поэзия раздумий о существе человеческой жизни». Это положение он иллюстрирует стихами Тао Юаньмина (365—427), возвращаясь к этой идее снова и снова. «Одна из тем танской (618—907) лирики — печаль о неизбежности ухода человека из жизни. И поскольку возникает эта печаль задолго до настоящей старости, то сначала ложится на нее не тень телесных недугов, а отсвет душевных радостей поэта». Глубокое и тонкое наблюдение! Оно многое объясняет в китайской поэзии, в том числе так называемые «стоны без причин», дань которым отдали многие китайские поэты более позднего времени.

Обычно при чтении переводной книги у нас порою возникает желание обратиться к оригиналу. У меня такого желания не появилось ни разу, и не только потому, что я знаю, как скрупулезно точен был переводчик в своей работе; он даже пожертвовал рифмой «в строго рифмованном китайском оригинале» в угоду тому, чтобы, как он писал, «полнее воспроизвести слова поэта и наиболее точно передать цезурное деление, междустрочный параллелизм, в какой-то мере синтаксический строй, а также другие особенности стихотворного подлинника». Желания обратиться к оригиналу не возникало главным образом потому, что сами стихи убеждали в своей безусловной достоверности: «Хризантемой душистой/ просветляется темень леса./ Хвоей сосен зеленой,/ словно шапкой, накрыты горы».

Как и В. М. Алексеев, Л. З. Эйдлин пожертвовал рифмой во имя высшей близости перевода и подлинника. Можно оспаривать эту точку зрения и утверждать рифмованную классику. Но давайте сначала прочтем стихотворение Бо Цзюйи в переводе Л. З. Эйдлина, обращенное к ушедшему из жизни другу:

Он новых не пишет больше стихов,
умолкла слава о нем.
На старые свитки насела пыль,
и книжный ларец глубок...
Но стоит мне только средь песен вдруг
услышать одну строку —
Еще не успею ее узнать,
а сердце уже болит[1]

(Из книги «Китайская классическая поэзия»)

Известный китаевед-филолог профессор И. М. Ошанин, руководитель и редактор четырехтомного «Большого китайско-русского словаря», удостоенного в 1986 году Государственной премии СССР, говорил в присутствии автора этих строк: «Когда я читаю переводы Л. Эйдлина, перед моим мысленным взором встает иероглифический текст». Л. З. Эйдлин артистичен в своих переводах, экономен в выборе лексики и тропов, ему

[1] Из книги «Китайская классическая поэзия. В переводах Л. Эйдлина». М., 1984.

свойственна высокая культура стиха: «А в хижине бедной /к чему большие пространства?/ Достаточно, если/ прикроет она постель». «С сердцем моим/ один человек уходит./ И я ощущаю/ город Чанъань пустыней»: «От скорбных цикад/ ни звука не сберегло сь./ Лишь стаи гусей/ кричат среди облаков...» и т. д.

В конце сборника помещены переводы вьетнамской поэзии X—XIV веков. Случайно ли они оказались под одним переплетом со стихами китайскими? Конечно нет. Л. З. Эйдлин много лет изучал вьетнамскую поэзию на ханване; написана она китайскими иероглифами, но читалась по-вьетнамски, «и, значит, никогда не была чужеродным телом,— замечает исследователь,— а становилась прочным элементом своей культуры и так и воспринималась». В 70-е годы Л. З. Эйдлин дважды посетил Вьетнам, где ознакомился с работой по упорядочению классического литературного наследия и одновременно начал работу по переводу[1] поэтов эпохи Ли — Чан (1010—1400) — стихи тринадцати из них опубликованы в книге. Работая над «Историей китайской литературы» и над томами «Истории всемирной литературы», Л. З. Эйдлин изучал общие черты средневековой дальневосточной литературы, и его обращение к иероглифической поэзии Вьетнама было естественным и закономерным: «Мне как китаисту было интересно и увлекательно читать вьетнамские иероглифические стихи...»

Известный вьетнамский ученый профессор Данг Тхай Май высоко оценил труд советского коллеги. Называя Л. З. Эйдлина «давним и сердечным другом», он отмечал: «Составителю удалось открыть для читателей наиболее характерные и яркие стороны нашей поэзии на ханване».

Краткие эти заметки мне бы хотелось завершить стихами, вновь возвращаясь к теме старости и одряхления. Вероятно, было бы логично утверждать, что рецензируемая книга в известном смысле — книга итоговая, книга-предчувствие. И все же утверждать это я не стану, ибо существуют скромные, полные мудрого прозрения строки Тао Юаньмина, столь любимого Л. З. Эйдлиным, в которых — ключ к пониманию душевного настроя и поэта и его переводчика:

Мыслью доблестный муж
устремлен за Четыре Моря,
Я ж хочу одного —
чтобы старости вовсе не знать[1].

Л. З. Эйдлин ее не узнал: «Поэты Китая и Вьетнама» — самое зрелое, но и самое молодое его произведение, в нем — гармония завершенности и требовательное веление самому себе идти дальше, обобщение уже сделанного.

Л. ЧЕРКАССКИЙ

КТО ПОВЕДЕТ ВПЕРЕД?

Коле Омотосо. Воспоминания о недавнем буме. Фелла делает выбор. Роман и повесть. Перевод с английского. Послесловие Г. Анджапаридзе. Москва. «Радуга». 1986.

[1] Из книги: Тао Юаньмин. Стихотворения. М., 1972.

Как дар провидения был воспринят в Нигерии энергетический кризис 70-х годов. Цены на нефть резко подскочили, и в страну, еще не успевшую опомниться от шока гражданской войны, хлынули шальные деньги. Начался экономический бум. В Лагосе и других городах как грибы росли административные небоскребы, нувориши обзаводились роскошными особняками и лимузинами новейших марок.

Впрочем, экономический ли? Страна почти ничего не производила, только, как мощный насос, все качала и качала нефть из своих недр. Промышленные товары — и металлоконструкции, и пластиковые бутылки — импортировались. «Кроме того...— саркастически замечает Коле Омотосо,— все разом стали цивилизованными и отказывались есть то, что сами растили». Речь, конечно, идет о наживалах. Это для них наступили золотые деньки, вакханалия неуемного потребительства. Народные массы в те сумасшедшие годы все больше страдали от инфляции и безработицы, и в начале 80-х, когда появилась книга Коле Омотосо, о времени «беспроигрышного успеха» остались одни воспоминания. Однако осталась также психология рвачества, которую стимулировал недавний бум. Художественное исследование этой психологии и предпринял Коле Омотосо.

Вот уже два десятилетия африканские писатели (первым был Ачебе) пытаются уяснить, почему постколониальный период пока не оправдал чаяний народов, завоевавших свободу ценою больших жертв. Почему образованные, энергичные люди в решающие моменты истории оказывались не на высоте стоящих перед ними задач? Жизнеописание Омомедже Алаки, героя «Воспоминаний о недавнем буме», проясняет истоки этой нравственной несостоятельности.

Детство Севена (так в детстве звали Омомедже) было трудным и полуголодным, как у других его деревенских сверстников. И уже тогда ощущалось в нем притупление нравственного чувства. Деформировалась традиционная культура, рушились старые устои, менялся образ жизни. Этот процесс не уравновешивался встречным развитием новой, полноценной культуры. Люди теряли ощущение корней, нарушалась культурная преемственность поколений, торжествовал цинизм. В детстве Севен разорял святилища богов, воровал жертвоприношения, не испытывая никаких угрызений совести. То, что еще совсем недавно считалось святотатством, стало для него нормой поведения. И не только для него.

Учеба в школе, где нигерийцам запрещается говорить на родном языке, девять лет, проведенных в Англии, дали Севену хорошее образование, но вырос он себялюбцем, которому безразлично все, кроме собственной выгоды. «А я буду помогать бедным тем, что стану богатым»,— цинично декларирует он. Разбогатев на спекуляциях, он не знает, что делать с обрушившимся на него богатством. Новоявленному миллионеру хватает выдумки только на то, чтобы возвести в родной нищей деревне ультрасовременный жилой комплекс, но не для бедствующих земляков — для себя. Пусть не

бескорыстно, но мог бы Севен способствовать процветанию хотя бы своей деревни. Но нет, этот новоявленный буржуа ни на что доброе не способен. Его деньги «бесплодны», как и вся его жизнь. Ему суждено умереть, с горечью сознавая, что жизнь прожита напрасно.

В романе Коле Омотосо силен пафос критического разоблачения, автор пишет о тупиках, в которые ведет страну стихия капиталистического предпринимательства. Но если следовать авторской логике, у таких людей, как Омомедже Алака, нет будущего: дети недолговечного бума обречены на быстрое вымирание. Так ли это, однако? Думается, все тут гораздо сложнее, и гибель в автомобильной катастрофе главного героя можно воспринять не как закономерный финал неправильно избранного пути, а как дань романиста весьма неоригинальному беллетристическому приему. Ведь у Омомедже есть еще родной брат Абуро, он не столь образован и, возможно, менее умен, но гораздо более приспособлен к выживанию в нигерийских условиях. Он тоже бизнесмен и хищник, но в отличие от брата прочно стоит на земле и своего не упустит. То, что будущее, по крайней мере ближайшее, принадлежит ему, сомнений не вызывает.

Коле Омотосо относится к тем национальным писателям, которые с прогрессивных позиций пытаются осмыслить сложные социально-политические реалии современной Африки. Роман «Воспоминания о недавнем буме», содержащий немало проницательных авторских раздумий,— одно из наиболее интересных произведений нигерийской литературы последних лет.

Этого я не могу сказать о повести «Фелла делает выбор». Она вряд ли заслуживает серьезного рассмотрения, как банальный детектив, изобилующий обычными для коммерческих боевиков штампами. От соответствующих образцов западной беллетристики, которым писатель в молодости усердно подражал, эта повесть отличается только тем, что протагонистом-суперменом, действующим в духе незабвенного Джеймса Бонда, здесь выступает контрразведчик-нигериец.

МИХАИЛ ВОЛЬПЕ

Издано за рубежом

В ЗАЩИТУ «ОБЫКНОВЕННОЙ АМЕРИКИ»

Anne Tyler. The Accidental Tourist. New York, Knopf, 1985.

Энн Тайлер. Случайный путешественник. 1985.

Можно предположить, что в построении сюжета очередного романа Энн Тайлер твердо следует решительному мнению, высказанному однажды А. П. Чеховым — «Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все»,— эти чеховские слова приводит в своих воспоминаниях А. И. Куприн. Именно такого рода незамысловатая история становится стержнем «Случайного путешественника» — истории о том, как Мейкон Лири из американского города Балтимора женился-таки на Мюриэл Притчетт и что этому предшествовало.

Слово «женился», наверное, не совсем точно; вернее было бы сказать: «сделал выбор». В заключительных главах книги, оказавшись на несколько дней в Париже, сорокапятилетний Мейкон попадает в ситуацию, хорошо известную по притче о бурибановом осле. Он буквально разрывается между двумя женщинами: покинувшей его Сарой, готовой ныне вернуться в лоно супружества, и молодой решительной Мюриэл, которая прилетает вместе с Мейконом из Балтимора в Париж, чтобы попытаться использовать отпущенный ей судьбой шанс. Скрываясь от обеих, герой бежит из гостиницы, хватает такси, но по пути в аэропорт замечает навьюченную покупками и тщетно «голосующую» Мюриэл. Такси тормозит, выбор становится очевидным, тем более что он уже подготовлен просвечивающими сквозь текст последних глав книги многозначительными намеками.

Слегка водевильная, убыстренная концовка несколько выпадает из общего склада романа, отмеченного, как это обычно свойственно Тайлер, гуманной, задушевной интонацией. Его центральный герой вовсе не наследник Дон Жуана, скорее он продолжает иные литературные традиции. Тип человека не от мира сего, или, согласно распространенному клише, «американского простака», был в 50-е годы представлен в США в произведениях С. Беллоу, Дж. Сэлинджера, Б. Маламуда. Таков в значительной мере и Мейкон Лири, чей склад характера мало совпадает с трафаретными представлениями о живущих своими трудами энергичных и деловых американцах.

По мнению Сары, стремление к удобствам и упорядоченности, страх перед малейшей неожиданностью составляют главное содержание жизни ее мужа. Финансовое положение Мейкона довольно шатко. По заказу небольшой издательской фирмы он сочиняет путеводители для тех бизнесменов, которые по неотложным делам вынуждены сниматься с насиженного места, чтобы вдруг появиться в отдаленной части Америки, а то и за океаном. Пытаясь предупредить любую неожиданность на пути своих потенциальных клиентов, Мейкон долгие годы и сам считал себя «случайным путешественником», чужестранцем в собственном доме, имеющим слишком мало точек соприкосновения со своим окружением.

Инструктируя «туристов поневоле» о всякой всячине, сам Мейкон не очень-то любит бывать за границей. «Везде, знаете ли, одно и то же,— признается он в разговоре.— Очереди на посадку, очереди за багажом, таможенники...» Каждая новая поездка в Париж или Лондон сводится к обходу гостиниц и ресторанов, названия и характеристики которых должны появиться в до-

полнительном издании очередного путеводителя. Хотя, как однажды заметила Сара, идеал Мейкона — жизнь на необитаемом острове, ему приходится испытать немало неудобств, оставшись в одиночестве. Несмотря на все чудеса американского сервиса, он сразу же ощущает себя затерянным в холодном, враждебном мире. Вещи окончательно перестают повиноваться, забот прибавляется. Споткнувшись на ровном месте, он ломает ногу и, найдя затем приют в доме сестры и братьев, получает возможность в течение нескольких недель тщательно обдумать все, что с ним произошло, и не очень веселые перспективы.

Не в первый раз Э. Тайлер приходит к мысли о том, что человеческая разъединенность составляет заметную черту жизненного уклада в Соединенных Штатах. Этому наблюдению нисколько не противоречит тот факт, что современные американцы, как может показаться со стороны, вращаются в кругу постоянного общения. «Здравствуйте и прощайте» — к такой до обидного непреложной формуле сводится в США значительная часть «человеческих контактов», которые подчас лишь восстанавливают против себя людей с тонкой душевной организацией. Мейкон Лири давно уже собирается приобрести пару соединенных с кассетным магнитофоном наушников, но не для того, чтобы слушать на ходу музыку. Они нужны ему как средство защиты от внешней среды, и он с удовольствием отдал бы требуемую сумму ради записанных на ленту тридцати минут ничем не нарушаемой тишины.

И все же напрочь отгородиться от действительности невозможно. Случайное знакомство с разбитной особой по имени Мюриэл расшатывает многие из представлений Мейкона. Эта мастерица на все руки наделена завидной жизнестойкостью, столь же неиссякаемой, как тот поток слов, который Мюриэл обрушивает всякий раз на собеседников. Диапазон того, чем она занимается, поразителен: Мюриэл служит в ветеринарной лечебнице, а кроме того изготовляет по заказу ксерокопии и выполняет десятки других поручений клиентов из богатых кварталов Балтимора. Помимо этих забот у нее есть еще и семилетний Александр, которого попеременно донимают то болезни, то школьные товарищи. Беды этого беззащитного существа особенно близки сердцу Мейкона: ведь несколько лет назад он и Сара лишились единственного сына ставшего жертвой столь обычного в нынешних США безмотивного массового убийства

Переселившись к Мюриэл, Мейкон сближается и с ее окружением — с обитателями далеко не фешенебельной улицы, воплощающими «среднюю» и, пожалуй, даже заурядную Америку, изображение которой давно уж сделалось raison d'être[1] творчества Тайлер. В доме на Синглтон-стрит он встречает ту же атмосферу, что окружала его в детстве, и теперь, много лет спустя, она пробуждает в его душе чувство очистительной ностальгии. Разного рода мелочи быта и хозяйственные хлопоты, мимолетные контакты с соседями и даже безобидное женское празднословие создают в совокупности словно питательную среду, вне которой Мейкону скорее всего была бы суждена участь стареющего анахорета. И неудивительно, что, когда он принимает решение жениться на Мюриэл, в его памяти возникает образ Синглтон-стрит — этого уютного мирка, в котором летом по воскресеньям мужчины возятся с автомобилями, женщины надраивают до блеска ступеньки и тротуар перед домом, а дети плещутся в струях воды, бьющих из пожарных гидрантов.

В Соединенных Штатах реабилитация образа жизни и системы ценностей «обыкновенной Америки» началась в середине 70-х годов, с публикации романа Джудит Гест «Обычные люди». В этой написанной простой домохозяйкой и имевшей громкий успех книге (фильм, поставленный на ее основе, получил еще более широкий резонанс) утверждалось, что так называемая «традиционная» мораль сохраняет свою притягательность для большинства американцев, несмотря на только что прошумевшую в стране «сексуальную революцию». Идейная направленность произведений Джудит Гест, где переосмыслялся конфликт эпохальной для литературы США повести Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», не была, однако, чужда делавшему в ту пору первые шаги «новому консерватизму». Гораздо тоньше трактовалась та же тема, у Э. Тайлер в известных нашему читателю романах «Блага земные» (1977) и «Ужин в ресторане «Тоска по дому» (1982)[2].

Продолжая настаивать на целительности для здоровья Америки обращения к вечным нравственным принципам, писательница вплетает в композицию «Случайного путешественника» еще одну сюжетно-идеологическую линию. Параллельно интриге, связанной с образом Мейкона, в романе излагается история его работодателя и доброго знакомого Джулиана Эджа. Балтиморский издатель внезапно влюбляется, а затем предлагает руку и сердце сестре Мейкона, тридцатипятилетней Розе. Лишенный семейного тепла, совсем еще нестарый Джулиан искренне тянется к олицетворяемому Розой и ее братьями все тому же устойчивому, хотя и весьма камерному микрокосму, через посредство которого иной человек только и может ощутить свою связь с прошлым, питающим его духовное естество.

Подспудная полемичность романа Тайлер сказывается еще и в том, что силам, стоящим в оппозиции к «традиционным» ценностями, не так уж часто представляется в нем право голоса. Разлад между Сарой и Мейконом выглядит скорее набором односторонних претензий, нежели конфликтом двух четко очерченных мировосприятий. Не раз возникая затем на страницах книги, «беглая» жена лишь изредка упоминает о преимуществах обретенной свободы, и чувствуется, что словесный эпатаж дается ей с превеликим трудом.

Как и в других своих книгах, Энн Тайлер рассказывает в «Случайном путешественнике» об очень «домашних» коллизиях, о жизни, переживаемой изнутри, а не проецируемой на события большого обще-

[1] Здесь: главным стимулом (*франц.*).

[2] См. «ИЛ», 1985, № 9, 10.

ственного звучания. Однако выбранный ракурс не помешал писательнице прийти к выводам, которым никак не откажешь в актуальности. «Обыкновенную Америку» в прошлом нередко называли «молчаливой», придавая этому понятию только консервативную окраску. В романе же Тайлер настроения, которые, на мой взгляд, не всегда сводимы к официальной охранительности, получают вполне определенное, хотя и не всегда легко дешифруемое выражение.

А. МУЛЯРЧИК

СИЛЬНЕЕ ПУШЕК

Manuel Díaz Martínes. [1]Poesía inconclusa. Habana, Editorial Letras Cubanas, Ciudad de la Habana, 1985.

Мануэль Диас Мартинес. Незавершенные стихи. 1985.

Несколько лет назад я познакомился с новыми стихами Мануэля Диаса Мартинеса: четко и сдержанно он читал их в музее Наполеона. Публика, в основном состоявшая из молодежи, слушала с явным одобрением. В следующий раз я попал на его чтение в Союзе писателей, где его принимали с не меньшим интересом. Позже мы вместе бывали во многих городах страны и, можно сказать, плечом к плечу выступали перед читателями. Именно так, в живом общении, а не в тиши кабинета, открылись мне простота и изящество поэтического слова Диаса Мартинеса.

Сейчас, когда одна за другой вышли в свет две его книги — «Пока скользит пылающая рыба» и антология «Незавершенные стихи»,— мне бы хотелось просто поговорить о его поэзии, не претендуя на ее научный анализ.

В первую очередь бросается в глаза обращение поэта к семье, к предкам, о скромном бытии которых он вспоминает с глубокой нежностью. Вот хотя бы два стихотворения из книги «Это и значит — жить», написанные на смерть дедов; вспомним пронизанные любовью строки о матери с посвящением любимому поэту Лесаме Лиме:

Распорядитель пышных похорон не назначался
загодя,
и значит, величиной тебя не назовешь.
И все же
ты со мной, твой лоб и руки я вижу,
смерть предела не положит такой, как ты,
решительной и ясной,
тебе слеза моя — не в утешенье.

Вспомним подчеркнуто разговорную интонацию стихов об отце, где с воодушевлением говорится о человеке «высоком, крепком, светлом», о партийце, в молодости рубившем тростник в долине Колумба.

Мы увидим, как подхватывается тема рода, наследия в просветленно-грустной концовке стихотворения «Мануэль»:

Да, Мануэль, слов нет, тебя растили
восторженно,
хотя едва ли мудро.
Любили слепо — такова любовь.

Тема семейного, личного этим не исчерпывается. Достаточно прочесть хотя бы замечательное стихотворение «Как всякий живой человек», где исповедальность сочетается с философскими раздумьями. Размышление, впрочем, преобладает над любовной темой, вспыхивающей лишь на миг в этом произведении, где стих, не разрушаясь ритмически, незаметно сменяется поэтической прозой по мере того, как от строки к строке возрастает смысловая нагрузка слова. Сам поэт, несомненно, относит это стихотворение к числу лучших: он охотно вспоминает о нем всякий раз, когда его просят что-нибудь прочесть.

По простоте и глубине замечательно и стихотворение «Мы вдруг бросаем взгляд», посвященное им жене, Офелии. Недаром за три года до книги «Это и значит — жить» появился цикл «Страна Офелии». Подобно другим представителям поколения — Ретамару, Пабло Армандо — Диас Мартинес вводит нас в мир души, но, пожалуй, делает это с еще большей теплотой.

На мой взгляд, по ясности, гармоничности, естественности стиха и даже по темам поэзия Диаса Мартинеса более всего близка испанской поэзии золотого века. В его творчестве проступает виртуозность Лопе де Вега и острота Кеведо — не исключение тут и свободный стих с его удивительно чистым звучанием. Я в первую очередь имею в виду сонеты «Кто?», «Невозможное одиночество», а также стихотворение «Завещание Луиса де Гонгоры» и, наконец, «Песни путника» — о путешествии по Испании.

Почитатель Пабло Неруды, выступление которого он слышал в 1960 году в Париже; поклонник Пабло де Роки, вдохновившего его на создание ярких политических стихов; поэт, духовно близкий Антонио Мачадо и нашему соотечественнику Наварро Луне, одновременно не чуждый свободному, разговорному, нарочито антипоэтичному стиху, Диас Мартинес, как свидетельствуют о том его лучшие произведения, неизменно сохраняет верность самому себе, стремясь к точности и ясности языка. Вот строки из его стихотворения «Словология»:

А классики нас учат и доныне.
Не бойтесь слова, повторяют жестко.
С горчинкой то, другое слаще дыни.
Лишь было б к месту — в этом вся загвоздка.

Заканчивается стихотворение так:

Слова — как платье, их меняем смело.
Они не скроют душу — обнажат.
И если слово в этом преуспело,
оно благословеннее стократ.

Интересно, что, затронув тему, связанную с речью, а именно с простейшим ее элементом — словом в бесконечно многообразных его сочетаниях,— автор почти все стихотворение строит из простых предложений, с точкой в конце каждой строки, хотя по смыслу такая четкая разбивка на фразы, казалось бы, и не требуется.

Но вот однажды, отбросив сомнения и отказавшись от каких бы то ни было изысков в области формы, поэт предоставил свободу логике абсурда. Что за дерзновенная попытка: выпустить слова на волю, сняв с мысли путы рациональности! Он, по его собственному признанию, позволил себе не думать, разрешив стиху складываться самому, как

[1] См. стихи Мануэля Диаса Мартинеса на стр. 129.

это, возможно, уже случалось с картинами, симфониями, пьесами. Так, к удивлению автора, родилось одно из самых прославленных его стихотворений — «Ужин», которое восхищенный Синтьо Витьер назвал «маленькой Ниагарой»[1]. Достаточно вспомнить его начало, стихийность и естественность, присущие стиху в целом:

Мой дед сажал за стол своих умерших.
Я, глаз не поднимая от тарелки,
знал: дед мой тоже умер.
Мать глядела в тарелку тоже
и была мертва.
Еще мертвее был слепой Хасинто —
слепому, как уставиться в тарелку?
И все же хуже всех пришлось Донате:
тарелки нет и некуда глядеть.

Две последние, лучшие, книги Диаса Мартинеса включают раздумья и опыт человека искреннего и мыслящего, для которого жизнь — череда воспоминаний, порою горьких, но всегда исполненных веры в торжество человечности. Какое краткое и точное определение: «Жизнь — это миг за мигом воздвигать за миром мир».

Иногда в голосе поэта слышна и романтическая нота («Кто?», «О поезда, в открытом море ночи», «Хроника 1958 года»), но едва ли можно назвать ее ведущей. Вероятно, наиболее ярко его мироощущение раскрывается в «Завещании Луиса де Гонгоры» и в «Приглашении дона Франсиско де Кеведо» хотя ясное видение мира и кипение поэтической мысли порой уносят поэта к звездам:

Стих — далекая птица.
Всегда — далекая птица
в невидимой клетке ветра.
И песня той птицы — ветер.
И сердце ее — полуночь.
Живет крупицами света,
но сердце ее — полуночь.

К 1970 году относится стихотворение Диаса Мартинеса «В защиту Эллисон Краус», посвященное девятнадцатилетней американской студентке, убитой полицией во время демонстрации протеста против войны во Вьетнаме.

Поэт не пишет стихов, непосредственно обращенных к революции,— возможно, тому виной присущая ему сдержанность. Однако, обращаясь к Неруде, Пабло де Роке и Антонио Мачадо, он создает и стихотворение, посвященное Хо Ши Мину, и сонеты «Камило» и «Че». Оглядываясь на наше героическое прошлое, он пишет о генерале Кинтине Бандерасе...

Есть у Диаса Мартинеса и стихи, которые не назовешь в прямом смысле слова «поэтическими». Это сокрушительные, гремящие строки стихотворения «Бессмертные», мимо которого нельзя пройти, говоря о способности поэта думать в стихах:

И в самом деле, мы несокрушимей
камней, речных порогов,
стали пушек...

Сейчас, в наше нелегкое время, поэт словно требует ответа на вопрос: равен ли нашей силе наш разум?

ЭРНЕСТО ГАРСИА ЭЛЬСОЛА
Куба

Перевод Н. ВАНХАНЕН

[1] Намек на «Оду Ниагарскому водопаду» Хосе Мария Эредиа.

АНГЛИЙСКИЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ

Обзор новинок

Что будут читать англичане в наступившем году? Огромное количество книг. Это простой ответ, и именно его хотели услышать книготорговцы, ибо два месяца, предшествующие Рождеству,— как раз то время, когда они сбывают почти половину своего годового запаса.

Однако в этом году общественность будет также читать огромное число «хороших» книг, главным образом романов, благодаря бурному успеху конкурса на премию «Букер». Эта премия — ежегодное мероприятие, родившееся в 1969 году. В итоге конкурса каждую осень победитель получает сумму в размере 15 тысяч фунтов стерлингов за то, что жюри сочтет «лучшим романом» года. В первые годы проведения конкурса премия не имела большого значения, и многие над ней смеялись. В конце концов, как можно сравнивать один роман с другим, но в последнее время премия «Букер» стала главным литературным призом. Шесть романов, составляющие список претендентов, обнародуемый за месяц до окончательного решения жюри, получают широкую рекламу, их сбыт, как правило, увеличивается вдвое, начинается гонка за приобретением непроданного еще права на издание романа в мягкой обложке, а окончательное решение объявляется по национальному телевидению. Двадцать лет назад никто не мог и ожидать, что серьезный писатель будет пользоваться в Англии почти таким же вниманием, как звезда поп-музыки, пусть даже в течение одного дня.

Премия «Букер»— солидная премия, присуждаемая за художественное произведение, и на протяжении многих лет она присуждалась книгам, которые даже образованные читатели считали трудными для понимания. Призер 1986 года — книга Кингсли Эмиса,— наоборот, довольно-таки доступна по содержанию, легка для чтения. Речь в ней идет о нескольких пожилых людях из Уэльса, встретившихся вновь через несколько лет, чтобы поговорить о жизни, своих привязанностях и болезнях.

Как видите, эта книга сразу очутилась во главе списка бестселлеров в области художественной литературы (см. прилагаемую ниже таблицу). Если бы не реклама в связи с премией «Букер», она разошлась бы в количестве около 15 тысяч экземпляров — изрядное количество, но ведь Эмис — один из самых любимых читателями, самых плодовитых, ведущих английских писателей. Теперь же только к Рождеству было продано более 50 тысяч экземпляров в жестком переплете.

Еще больший интерес представляет тот факт, что другие три романа из списка кандидатов на премию «Букер» пробрались в первую десятку, заняв там 7, 9 и 10 позиции. Их авторы, несмотря на иностранные фамилии двоих из них, считаются английскими писателями. Речь идет о Мо, выросшем в Англии, он сын англичанки и китай-

ца, и об Исигуро, японце по происхождению. (Премия «Букер» выдается только литераторам из Великобритании и стран Содружества, пишущим на английском языке. За несколько лет 7 из 19 победителей были выходцами из заморских стран, таких как Австралия, Индия, ЮАР.)

Что же касается других шести романов в данном списке бестселлеров в области художественной литературы, то половина из них может быть охарактеризована как добротные произведения. Дик Фрэнсис, занимающий второе место,— бывший жокей, который начал писать приключенческие романы, основываясь на своем жокейском опыте. Теперь он выпускает по книге в год, они распродаются большими тиражами и получают хорошие отзывы критиков. Книга «Да, премьер-министр» основана на очень популярном комедийном сериале Би-би-си, являющемся, по словам миссис Тэтчэр, ее любимой телепередачей, несмотря на то, что в ней высмеиваются позиция и бессилие вымышленного премьер-министра Великобритании. «Ночь лисы», занимающая четвертое место,— еще одно приключенческое произведение, созданное чрезвычайно популярным писателем Джеком Хиггинсом.

Стивен Кинг, чей роман занимает восьмое место в списке,— единственный писатель, не являющийся представителем Великобритании. Он — мастер современного американского романа ужасов.

Остается назвать еще два романа, которые большинство британских читателей, конечно же из издательских кругов, вряд ли охарактеризуют как настоящую литературу. Автор первого, Джеки Коллинз (сестра актрисы Джоан Коллинз), известна своими фривольными, сексуальными романами, действие которых часто происходит в Голливуде; второй писатель, Джеффри Арчер, не увлекается описанием интимных сцен и употреблением грубых слов, предпочитая старомодные приключения и незамысловатое повествование. (Арчер наряду с литературным трудом до недавнего времени занимал пост заместителя председателя консервативной партии. После обвинения в уплате денег проститутке он подал в отставку. Эпизод реальной жизни получился таким же дубовым и неправдоподобным, как сюжеты его произведений. Интересно будет посмотреть, повысится или снизится продажа его книг после отставки.)

В то время как список бестселлеров в области художественной литературы обнадеживает читателей, любящих и серьезную прозу, список «Разное», он же список документальной литературы, довольно банален, в нем преобладают вещи из телевизионного ассортимента: известные люди, сплетни из жизни королевской семьи, массовые увлечения.

В списке есть и книги о королевской семье, они под номерами 1 и 7. Несколько месяцев назад, сразу же после свадьбы принца Эндрю, их было в два раза больше. Книга под номером 7 интересна — отметим ее низкую цену, 7.5 пенсов. «Лэдибёрд» вообще-то детское издательство, специализирующееся на выпуске книг малого формата для маленьких читателей, объясняющих им, как функционирует мир взрослых. Не потому ли книга нравится почитателям королевской семьи?

В списке «Разное» есть две книги, изданные самой Би-би-си, а это означает, что они либо результат, либо каким-то образом связаны с одним из телесериалов. Есть еще пара книг, написанных кинозвездами или рассказывающих о них. Это книги Фрэнка Синатры и Дирка Богарда, хотя, что касается Богарда, он полностью переключился на литературную деятельность и преуспевает в ней. «Алфавит» под номером 3 — напечатанная на глянцевой бумаге книжка с картинками.

Остальные три книги из списка «Разное» рассчитаны на читателей — специалистов по садоводству, виноделию и альпинизму, но вкусы этих читателей очень распространены и широко учитываются рынком сбыта.

Список книг в мягкой обложке содержит почти все перепечатки произведений, пользующихся успехом и первоначально изданных в твердом переплете. Первое место многие месяцы занимает автобиография Боба Гелдофа — инициатора всемирных благотворительных концертов рок-музыки, в результате которых были собраны миллионы для голодающих Эфиопии. В текущем году он был одним из кандидатов в лауреаты Нобелевской премии. Английская королева пожаловала ему звание рыцаря, хотя он — гражданин Ирландии; титул этот почетен, но пока он не называет себя «сэр Боб».

Его книга хорошо написана, очень честная и откровенная, хотя многие были шокированы сквернословием и описаниями половых актов и приема наркотиков. Такие темы считаются совершенно обычными для современной британской прозы, но не очень распространены в книгах, предназначенных для массовой продажи.

«Охотники за мамонтами» — книга, рассчитанная на любителей научной фантастики, а П. Д. Джеймс стала теперь ведущим автором детективов, приняв эстафету у Агаты Кристи. Морин Липман — популярная актриса телевидения.

«Хоксмур» Питера Экройда под номером 5 — сюрприз. Это хорошо сделанный роман об архитекторе. Действие романа частично происходит в XVII веке. Подобные сочинения обычно не забираются высоко в списках массовых книг в мягкой обложке.

Алек Гиннесс — один из ведущих в Великобритании актеров. Его автобиография, изданная в жестком переплете, имела огромный успех. «Законченный подлец» написан тремя комиками-анархистами, очень популярными на телеэкране. Далее идет неизменный Джеффри Арчер и, как всегда, Кэтрин Куксон. Мисс Куксон в свои 80 лет — еще крепко сидит в седле и считается сегодня крупнейшим из живущих писателей по числу продаваемых книг. Ее исторические романы печатаются тиражами около 100 миллионов экземпляров по всему миру. «Темная личность» — комедийно-приключенческое произведение, часть многотомной серии романов.

Списки бестселлеров, публикуемые каждую неделю в еженедельнике «Санди

таймс», а также в еженедельном журнале по вопросам книжной торговли «Букселлер», воспринимаются очень серьезно, хотя им свойствен некоторый субъективизм. Книги, попавшие в списки бестселлеров, пользуются наибольшим спросом. Это расстраивает авторов и издателей, которым не удалось попасть в списки и которые, естественно, отказываются принимать их слишком положительно.

В определенной степени списки бестселлеров уязвимы, ибо может случиться и так, что книгопродавец, составляя эти списки, может внести в него книги, которые он хочет сбыть, так как заказал их в избыточном количестве и теперь стремится от них избавиться. Однако никто еще не осудил такую систему в коррупции, в отличие от перечней бестселлеров по записи поп-музыки. Крупные компании — производители грампластинок — не раз критиковались за то, что они скупают свои же пластинки с целью увеличения показателей сбыта, или за подачки радио и телепрограммам, с тем чтобы те пропагандировали их продукцию. Трудно представить себе нечто подобное в книжном мире. У издателей нет денег на подобные цели.

Эти списки составляются не печатающими их газетами, не книготорговцами, а независимой компанией, обладающей засекреченным перечнем 100 ведущих книжных магазинов по всей стране, которые еженедельно присылают ей свои сведения о продаже. Большинство читателей воспринимают список книг, попавших в первую десятку, как Евангелие. Они убеждены, что книга под первым номером д о л ж н а быть действительно первой в каждом магазине, чего никогда не бывает. Опубликованный номер первый редко становится номером первым по количеству проданных экземпляров в большинстве обследуемых магазинов. А кроме того, статистические данные всегда выравниваются.

В списках не указывается общее количество проданных экземпляров или разница в показателях сбыта между номером первым и всеми остальными, хотя в скобках можно увидеть, сколько времени та или иная книга уже значится в списках, что дает ясное представление об ее успехе в целом.

Считается, что для попадания в список бестселлеров по художественной прозе, пусть даже на десятое место, должно быть распродано около 10 тысяч экземпляров к тому времени, когда конкуренция особенно сильна. Известно, что в февральский список бестселлеров проникают романы даже с пятитысячным тиражом. В самое горячее время продается от 15 до 50 тысяч экземпляров.

Показатели сбыта документальной прозы по разряду «Разное» обычно в два раза выше, а самые популярные из произведений, опубликованные в мягкой обложке, могут рассчитывать на реализацию до миллиона экземпляров.

Издатели, словно фермеры, всегда жалуются на плохое время года, скудный урожай, но в настоящее время наблюдаются две очень интересные тенденции, с которыми сталкиваются английские читатели.

Во-первых, значительно возросло число новых издательских фирм, зачастую очень маленьких предприятий, выпускающих специальную литературу или литературу местного значения, при том, что все большее количество крупных издательских компаний объединяются или поглощаются более крупными.

Другой, еще более удивительный факт — постоянное увеличение публикаций в Великобритании. В текущем году их, вероятно, будет 60 тысяч. Этот показатель возрастал ежегодно на протяжении 14 лет и, судя по некоторым данным, возрастет и в нынешнем году. И никто как следует не понимает почему. Если издатели ныне жалуются, что они не сводят концы с концами, почему же они каждый год печатают все больше книг? Не потому ли, что, производя больше, они надеются заполучить и больше шансов попасть в яблочко, по крайней мере, в списки бестселлеров?

Каковы бы ни были причины, я убежден, что это хорошо для английских читателей, ибо дает им гораздо более богатый выбор, а также и для авторов, ибо предоставляет бóльшие возможности напечататься. Посему я считаю это хорошим признаком и приветствую сегодняшний успех тех литературных произведений, что попали в списки бестселлеров.

Для ознакомления прилагаю таблицу бестселлеров 1986—1987 годов.

ХАНТЕР ДЭВИС
Великобритания

БЕСТСЕЛЛЕРЫ

Книги в мягкой обложке

1	(1) «Это оно?»	Боб Гелдоф	Пенгвин	2
2	(2) «Охотники за мамонтами»	Джин Оэл	Коронет	1
3	(—) «Вкус смерти»	П. Д. Джеймс	Фабер	0
4	(8) «Как это тебе?»	Морин Липман	Футура	1
5	(4) «Хоксмур»	Питер Экройд	Абакус	1
6	(7) «Скрытое благословение»	Алек Гиннесс	Фонтана	3
7	(—) «Как быть законченным подлецом»	Эйд Эдмондсон, Марк Ли, Майк Лепин	Верджин букс	0
8	(5) «Первый среди равных»	Джеффри Арчер	Коронет	21
9	(3) «Гарольд»	Кэтрин Куксон	Корджи	5
10	(—) «Темная личность и дракон»	Джордж Макдональд Фрэйзер	Фонтана	0

Проза

1	(3) «Старые дьяволы»	Кингсли Эмис	Хатчинсон	5
2	(1) «Молния»	Дик Фрэнсис	М. Джозеф	2
3	(—) «Да, премьер-министр»	Дж. Линн и А. Джей	Би-би-си букс	0
4	(—) «Ночь лисы»	Джек Хиггинс	Коллинз	0
5	(2) «Голливудские мужья»	Джеки Коллинз	Хайнеман	2
6	(—) «Дело чести»	Джеффри Арчер	Ходдер	15
7	(8) «Островное владение»	Тимоти Мо	Чатто	15
8	(—) «Оно»	Стивен Кинг	Ходдер	3
9	(7) «Жалоба Габриэля»	Пол Бейли	Кейп	4
10	(—) «Художник плывущего мира»	Кацуо Исигуро	Фабер	0

Разное

1	(1) «Дома и на людях: принц и принцесса Уэльские»	Элестер Бернет	О'Мара	5
2	(2) «Его путь: неавторизованная биография Фрэнка Синатры»	Китти Келли	Бэнтэм	4
3	(8) «Исключительный алфавит»	Майк Уилкс	Павильон	1
4	(—) «Франция — вам»	Фрэнк Холланд	Би-би-си	0
5	(—) «Карманная книга вин на 1987 год»	Хью Джонсон	М. Бизли	0
6	(10) «Задник»	Дирк Богард	Викинг	5
7	(6) «Свадьба королевских особ: Эндрю и Сара»	Одри Дали	Лэдибёрд	12
8	(—) «Годы на Эвересте: жизнь скалолаза»	Крис Боннингтон	Ходдер	0
9	(3) «История английского языка»	Маккрам, Крэн и Макнейл	Би-би-си/Фабер	4
10	(—) «Садовод»	Д-р Д. Г. Хессайон	Пи-би-ай	16

Перевод Г. ВАСИЛЬЕВА

Из месяца в месяц

Болгария

СБОРНИК ПЬЕС СТРАТИЕВА

Издательство «Народна младеж» выпустило новый сборник сатирических пьес Станислава Стратиева. Когда в свое время известный болгарский прозаик обратился к сатире, да еще в таком трудном жанре, как драматургия, у многих критиков это вызвало удивление. Но именно сатира оказалась настоящим призванием Стратиева: пьесы принесли ему поистине мировую известность. Сегодня спектакли по произведениям Станислава Стратиева идут на сценах Польши, Греции, Чехословакии, Венгрии, Швеции. Вошедшие в сборник пьесы «Римская баня» и «Замшевый пиджак» хорошо знакомы советскому зрителю по спектаклям многих театров страны; в «Максималисте» происходит дальнейшее развитие образа бюрократа, с которым мы уже встречались в «Замшевом пиджаке».

Доводя карикатурность до гротеска, Стратиев достигает сильного идейно-художественного воздействия на зрителя, отмечает на страницах «Литературен фронт» критик Чавдар Добрев. Начальственный бюрократ превратился в «Максималисте» в говорящий платяной шкаф и тем не менее по-прежнему имеет право распоряжаться своими подчиненными, управлять ими как послушными рабами. Образ Максималиста, продолжает Ч. Добрев, присутствует во всех пьесах Стратиева: «Максималист — выразитель авторской позиции, он постоянно вступает в бой с теми, кто нарушает социальные и нравственные нормы. Этот герой никогда не отступает, никогда не идет на компромисс, он — настоящий человек современного социалистического общества».

Газета «Литературен фронт» называет С. Стратиева одним из самых ярких представителей болгарской драматургии.

Великобритания

ФОРСТЕР НА ЭКРАНЕ

Замечательный английский прозаик Эдвард Морган Форстер (1879—1970) ошибался, считая свою прозу некинематографичной, и это показали две недавние экранизации. Год назад Дэвид Лин создал киноверсию антиколониального романа Форстера «Поездка в Индию» (1924), и вот теперь в фильме Джеймса Айвори ожили герои «Комнаты с видом» (1908) — одного из ранних романов писателя, где он ниспровергает идеалы викторианской эпохи, обличает сословную ограниченность и снобизм респектабельных английских буржуа.

Главная героиня «Комнаты с видом», юная Люси Ханичерч, не в силах терпеть своего «приземленного» жениха, покидает его и соединяет свою жизнь с Джорджем Эмерсоном — человеком искренним, открытым, свободным от предрассудков. Именно он, оказавшись соседом Люси по пансиону, уступает ей комнату с великолепным видом на Флоренцию — чудесный город становится у Форстера символом прекрасного, символом радости жизни. Мироощущение и взгляды человека в немалой степени зависят от того, с какой точки он глядит на мир,— таков смысл форстеровской

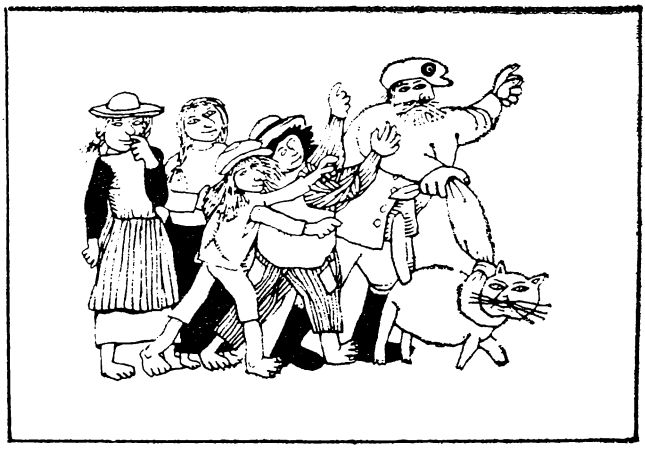
Кадр из фильма «Комната с видом».

(Журнал «Мансли филм буллетин»)

метафоры, давшей название книге.

Режиссер Дж. Айвори и сценаристка Р. П. Ябвала, отмечает рецензент еженедельника «Обсервер» Филип Френч, отнеслись к литературной первооснове с уважением. Не стремясь осовременивать коллизии романа, они в то же время не смотрят на его героев снисходительно и не оценивают их с позиции сегодняшнего дня, хотя и используют — в довольно своеобразной форме — прием остранения. Фильм делится на части, которым предпосланы титры — названия соответствующих глав, воспринимаемые зрителем как иронический комментарий «со стороны». Этот и другие удачно найденные приемы способствовали передаче комических нюансов форстеровского стиля.

Рецензенты отмечают удачный подбор актеров, особо выделяя исполнительницу главной роли Хелен Бонэм-Картер (это ее вторая роль в кино). «Может быть, характеры в фильме получились столь яркими потому, что Айвори, как и Форстер, верит: в каждом человеке наверняка есть что-то хорошее, искупающее его недостатки и смешные стороны», — замечает в газете «Таймс» Дэвид Робинсон. Фильм Айвори завораживающе красив и, несмотря на юмор, элегически грустен — таково мнение Ф. Френча.



В будапештском издательстве «Европа» вышел в свет роман Федора Сологуба «Мелкий бес». Известный литературовед Дёрдь Банчи, откликаясь в журнале «Кёнььвилаг» на венгерское издание книги «этого самобытного, обладающего зорким глазом писателя», высоко оценивает и переводческую работу Имре Макаи: «И. Макаи вновь превзошел самого себя — он с большим умением и с видимым удовольствием воссоздал на венгерском только кажущийся легким, а на самом деле изобилующий идиоматическими выражениями, поэтическими оборотами, скрытыми цитатами текст». Д. Бакчи отмечает также, что иллюстрации к книге, выполненные Иштваном Энгель Теваном, «хорошо передают иронико-сатирическую стихию романа».

На снимке: иллюстрации И. Энгель Тевана к роману Ф. Сологуба «Мелкий бес».

(Журнал «Кёнььвилаг»)

Венгрия

НЕДЕЛЯ СОВЕТСКОЙ КНИГИ

В Венгрии прошла Неделя советской книги, приуроченная к 69-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Журнал «Кёнььвилаг» подробно рассказывает читателям о только что опубликованных в переводе на венгерский язык таких произведениях современной советской литературы, как «Пожар» В. Распутина, «Катастрофа» М. Саат, «Знак беды» В. Быкова, а также о мемуарах А. А. Брусилова «Мои воспоминания» (в венгерском переводе — «В тени царя»). Рекомендуя эти книги читателю, рецензенты пишут о высокой художественности этих произведений, их актуальности.

Венгерский критик Акош Силади приветствует выход в свет сборника ранних работ М. М. Бахтина «Речь и действительность» (составитель и переводчик Чаба Кенцель), подчеркивая, что Бахтин был не просто литературоведом, но и одним из самых значительных русских и советских культурологов.

Известная переводчица русской и советской поэзии Жужа Раб рассказывает читателям о своей работе над стихами эстонской поэтессы Эллен Нийт (книга вышла в издательстве «Европа»). Венгерской переводчице близка задушевность и элегичность стихов Эллен Нийт, их искренность. Эстонская поэтесса, признается Ж. Раб, интересна ей и своими переводами. Она прекрасно перевела на родной язык многие произведения классиков венгерской литературы — Шандора Петёфи, Эндре Ади, Аттилы Йожефа, Миклоша Радноти.

Во время Недели советской книги по городам и селам Венгрии прошли читательские конференции, а также книжные ярмарки, где были широко представлены переводы из русской и советской литературы за несколько лет.

«ЕГО КНИГИ — ПАНОПТИКУМ»

Иштван Рат-Вег (1870—1959) — юрист по образованию, публицист, автор нескольких пьес и романов, но подлинное признание в стране и за ее пределами принесли ему книги, написанные в особом иронико-сатирическом ключе и посвященные парадоксам в истории культуры и человеческого общества.

«Книги Иштвана Рат-Вега, — свидетельствует венгерский критик Ференц Ацел, — это своеобразный паноптикум, демонстрирующий проявления человеческой глупости, чудачеств, всевозможные несуразности. Это собрание великого множества невероятных документов, фактов, нелепых историй, забытых или полузабытых, относящихся к прошлым векам или к недавнему времени. И все его книги написаны чрезвычайно забавно, остроумно, они вполне выдерживают сравнение с лучшими образцами художественной прозы».

В предисловии к «Истории человеческой глупости» (1938), возможно самой известной из книг И. Рат-Вега, писатель признается: «Не много найдется людей, посвятивших себя изучению человеческой глупости. Это

Дюла Ливиус. Иллюстрация к книге И. Рат-Вега «История человеческой глупости».

(Журнал «Хангэриэн бук ревью»)

потому, что материал, подлежащий исследованию, своей обширностью устрашает». Просветительский пафос, стремление писателя предостеречь, уберечь человечество от повторения ошибок ощущают и те, кто сегодня обращаются к книгам И. Рат-Вега, одного из наиболее читаемых в стране авторов, отмечает венгерская пресса. Отдельные произведения «собирателя культурологических курьезов» переводились на английский, немецкий языки, в том числе и «История человеческой глупости». Советскому читателю знакома его «Комедия книги» (русский перевод вышел в 1982 году).

В настоящее время три издательства — «Корвина» (Будапешт), «Кипенхойер» (Лейпциг — Веймар, ГДР) и «Паркланд» (Штутгарт, ФРГ) — работают над совместным выпуском целой серии иронико-сатирических книг Иштвана Рат-Вега. Это «Романические истории» — коллекция знаменитых любовных историй; «Комедия книги», исследующая всевозможные курьезы в «галактике Гутенберга»; «Черная хроника» — собрание нашумевших криминальных историй; «Власть и деньги» — нелепые, абсурдные эпизоды из жизни общества, где правят деньги.

Иллюстрации ко всей серии книг выполнены венгерским графиком Дюлой Ливиусом. «Рисунки Дюлы Ливиуса, напоминающие старинные гравюры на дереве, как нельзя более соответствуют авторскому стилю», — отмечает Ф. Ацел.

ГДР

ПИСЬМА ФЮРНБЕРГА

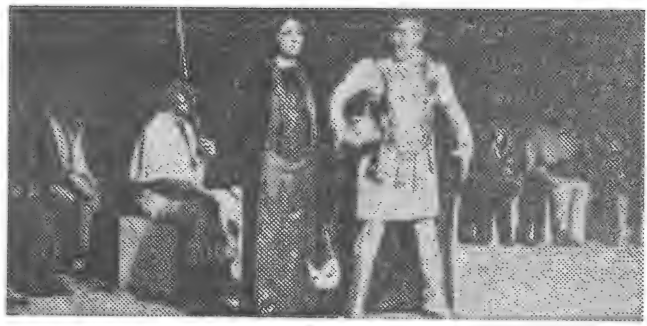
Луи Фюрнберг (1909—1957), немецкий революционный поэт, прозаик, эссеист, родился и вырос в Чехословакии. Издательство «Ауфбау» еще в 1964—1973 годах выпустило собрание его сочинений в шести томах. В 1986 году вышел двухтомник его писем, о котором сообщает газета «Нойес Дойчланд». В письмах отразилась нелегкая, исполненная драматизма жизнь писателя-антифашиста, который после оккупации Чехословакии гитлеровцами ушел в подполье, потом подвергся жестоким пыткам в тюрьме, потом долго и мучительно скитался в эмиграции — и только в последние десятилетия своей жизни получил возможность нормально работать. В письмах раскрывается с новых сторон личность поэта-коммуниста, который был по своей творческой природе прежде всего лириком, но с юных лет активно участвовал в политической жизни и борьбе. Уже в молодые годы он выработал творческое кредо, которое включало ярко выраженную партийность в сочетании с внутренней свободой писателя.

Неприязнь к догматизму, упрощенчеству характерна для писем Фюрнберга последних лет его жизни, когда он был заместителем директора Национального исследовательского и мемориального центра немецкой классической литературы. Он задумывался над тем, как надо — и как не надо — нести в массы наследие классиков: «Конечно, следует создать общедоступный и верный образ Гёте, говорить о нем просто, но ни в коем случае не следует ничего упрощать». В этой связи он писал Р. Аппельту, послу ГДР в СССР: «Нам нужны, как хлеб насущный, работы советских литературоведов, особенно германистов... Нам нужно решительно все, что написано советскими учеными о немецкой классической литературе».

Через многие письма Фюрнберга проходит тема любви к Советскому Союзу. Он впервые побывал в СССР весной 1933 года в качестве участника Международной олимпиады революционных рабочих театров — в письмах к родным из Москвы и Ленинграда отражены его радостные впечатления. В годы войны Фюрнберг близко принимал к сердцу события на советско-германском фронте, выступал с докладами в Советском Союзе. Большой радостью было для него — незадолго до его кончины — известие о том, что его поэма «Брат безымянный» готовится к изданию на русском языке.

В последние годы своей деятельности Фюрнберг, принадлежавший к старшему поколению писателей ГДР, активно заботился о младших коллегах, ободрял и напутствовал их. Характерны в этом смысле его письма к Кристе Вольф. По первым критическим статьям Фюрнберг распознал в ней одаренного литератора и настойчиво убеждал К. Вольф браться за художественную прозу: «Пиши, Криста! Доверяй себе! Если хочешь, считай это приказанием. Тебе не надо доказывать, что у тебя есть талант, — он виден в каждой твоей строчке, в этом я разбираюсь. Пиши!»

Письма Л. Фюрнберга позволяют ближе увидеть не только незаурядную личность писателя, но и существенные аспекты литературной жизни ГДР в годы становления Республики.



Немецко-сорбский музыкальный народный театр г. Бауцена был создан в 1963 году. Он объединил труппы Городского театра и сорбского народного театра.

«За годы своего существования Немецко-лужицкосербский музыкальный народный театр приобрел популярность не только в Бауцене, но и далеко за его пределами благодаря постановкам современных опер»,— пишет журнал «Театер дер цайт».

На снимке: сцена из оперы Пауля Дессау «Осуждение Лукулла» по пьесе Бертольта Брехта.

(Журнал «Театер дер цайт»)

Лун Фюрнберг.

(Газета «Нойес Дойчланд»)

ИСПАНИЯ ЭРИХА АРЕНДТА

«Испанский» архив Э. Арендта пропал летом 1940 года, когда поэту пришлось бежать из оккупированной фашистами Франции. Литературоведу Сильвии Шленштедт удалось реконструировать утерянные доку-

менты. Результат ее работы — вышедшая в ростокском издательстве «Хиншторф-ферлаг» книга «Испанские документы Арендта. Вновь найденные тексты».

«Эта книга — сюрприз,— пишет в газете «Нойес Дойчланд» литературовед Гаральд Вессель. — Мы знакомимся с новым Арендтом: поэт предстает перед нами как публицист. Реконструированные тексты Арендта сообщают нам удивительные подробности далекого времени. Разве слышали мы когда-нибудь о замечательном букваре, о котором Арендт писал осенью 1937 года в газете «Требалл» и в журнале для немецких читателей «Либертат»? В окопах испанской народной армии, рассказывает Г. Вессель, работали четыре «подземные школы». Там, в перерывах между боями, простые испанцы учились читать и писать. Для этих удивительных занятий министр культуры Республики Х. Эрнандес сочинил букварь. На обложке был изображен солдат-республиканец, пишущий по-испански штыком на песке: «Антифашистская школа». К букварю прилагалась тетрадь для упражнений и почтовая карточка, адресованная министру культуры. На ней овладевшие грамотой солдаты должны были что-нибудь написать и отослать карточку по адресу. Так в этой необычной школе сдавали выпускной экзамен...

«Чем сильнее влияние какой-либо общественной эпохи на произведения писателей, тем сильнее влияют эти произведения на эпоху», — отмечал Э. Арендт в статье «Писатель и революция», опубликованной 29 апреля 1937 года в каталонском еженедельнике «Мирадор». Приведя эти слова поэта, Г. Вессель заключает: «Освободительная борьба испанского народа потрясла Арендта. Репортажи, стихотворения тех лет показывают, как непосредственно его слово служило этой борьбе».

Дания

ПРЕМЬЕРА КОМЕДИИ ХОЛЬБЕРГА

Творчество Людвига Хольберга (1684—1754), который родился в Норвегии, а жил и творил в Дании, — национальная гордость этих скандинавских литератур. Его сатирические комедии, направленные против человеческих пороков — алчности, лицемерия, ханжества, невежества, — против сословных предрассудков, до сих пор не утратили своего значения. Об этом свидетельствуют многочисленные постановки его пьес на сценах скандинавских театров.

В копенгагенском театре «Грёнегорд» с успехом прошла премьера спектакля по пьесе «Одиннадцатое июня». В этой комедии Хольберг беспощадно высмеивает общество, основанное на власти денег. Главный герой, Нильс Студенструп, — сын разбогатевшего на бесчестных махинациях ростовщика, привозит в Копенгаген мешок фальшивых денег, желая нажиться на обмане. В столицу со всей страны стекаются купцы и торговцы, выдающие себя за почтенных коммерсантов, — на самом же деле они откровенные мошенники. Все они играют не свои «роли» — слуга Хенрик прикидывается двоюродным братом Студенструпа, «мамзель» Лукреция изображает жену Якоба-трактирщика, содержатель воровского притона притворяется образцовым отцом семейства, авантюрист разыгрывает роль богача. В этой «комедии плутов» все обманывают друг друга, заключая самые невероятные сделки. Наказан и Студенструп — он стал жертвой более изощренных лихоимцев, чем он сам. Обобранный до нитки, он уезжает из Копенгагена, проклиная день и час, когда туда прибыл.

Рецензент газеты «Ланд ог фольк» отмечает, что режиссер Лине Крог, обратившись к одной из менее известных пьес Хольберга, подчеркнула ее современное звучание, вернула ей сценическую жизнь. Высокой оценки заслуживает и игра актеров театра «Грёнегорд»: Сёрена Хаук-Фаусбёлля, Мортена Эйснера, Хеннинга Пальнера, Лене Фальк и других.

Лене Фальк и Хеннинг Пальнер в спектакле «Одиннадцатое июня». *(Газета «Ланд ог фольк»)*

Египет

НОВЕЛЛЫ ИДРИСА АЛИ

Издательство «Аль-Фагар» опубликовало сборник рассказов молодого прозаика Идриса Али «Разлученные».

В сборнике — пять рассказов. Они повествуют о жизни нубийцев — небольшой африканской народности, живущей на юге Верхнего Египта и в северных районах Судана. В древние времена предки нынешних нубийцев создали процветающие государства в долине Нила — Напату и Мероэ, которые имели торговые и культурные связи с древним Египтом: в конце VIII — начале VII века до н. э. в Египте даже правила нубийская («эфиопская») династия фараонов. Районы, где ныне живут нубийцы, — одни из самых бедных в Египте и Судане, и поэтому их жители часто уезжают на заработки в Каир, Александрию и нефтяные эмираты Персидского залива. Эти люди и стали героями рассказов Идриса Али.

По словам обозревателя «Аль-Хиляль», новеллам И. Али присущи «динамизм ранних рассказов Юсуфа Идриса и мифологичность мира Ат-Тайиба Салиха». В них чувствуется также влияние произведений египетского писателя и поэта Мухаммеда Халиля Касема. Вместе с тем творчество Идриса Али глубоко оригинально. «За каждой фразой писателя стоит его собственный опыт», — подчеркивает обозреватель.

Иордания

«ВЕЧЕРНИЙ ПОСЕТИТЕЛЬ»

Издательство «Дар аль-Кармель» (Амман) выпустило новый сборник рассказов писателя Халиля ас-Савахири под названием «Вечерний посетитель», сообщает журнал «Аль-Араби». По словам

обозревателя журнала, в новой книге писатель развивает сюжеты предыдущего сборника «Кафе Башура», в котором рассказывается об израильской оккупации Западного берега реки Иордан в 1967 году. В сборник «Вечерний посетитель» вошли как новеллы, написанные ас-Савахири до 1967 года, так и его последние произведения, рассказывающие о трагедии палестинского народа.

Италия

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ

Самому знаменитому из приключенческих романов Р. Л. Стивенсона предстоит обрести еще одно экранное воплощение, однако теперь старой «Эспаньолой» будет 30-метровый звездолет, который отправится за сокровищами к далекой планете. Идея «переселить» стивенсоновских героев в XXIV век принадлежала известному итальянскому режиссеру Ренато Кастеллани, исходившему из того, что освоение космоса вполне могло бы привести к возникновению космического пиратства. План создания фильма режиссер вынашивал более двух десятилетий; он разработал его в мельчайших деталях, но реализовать так и не успел (Кастеллани скончался в 1985 году). Верность его замыслу сохранил осуществляющий экранизацию опытный постановщик научно-фантастических кинолент Антонио Маргерити.

Стивенсоновский романтический сюжет необычайно осовременен, отмечает в газете «Унита» Сильвия Гарамбуа. Достаточно сказать, что спрятанный на далекой планете клад — это прежде всего изощренное оружие, в том числе два ядерных устройства, а отец юного Джима умирает от радиоактивного заражения после атомного взрыва. Картина должна призвать опьяненных своим технологическим могуществом людей вовремя остановиться, не допустить трагического исхода.

Одного из центральных героев, бывшего пирата Джона Силвера, играет знаменитый американский актер Энтони Куин. Съемки шестисерийной телекартины, в работе над которой принимают участие также кинематографисты Франции и ФРГ, ведутся в разных уголках Италии, в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Норвегия

В БРОНЗЕ И В КАМНЕ

Недавно в Осло, в большом зале Союза художников Норвегии, прошла выставка произведений известного скульптора Одда Хилта. Хилт, выпускник Государственного художественно - промышленного училища и Государственной академии художеств, ученик французского скульптора Осипа Цадкина, ныне является одним из ведущих современных скульпторов Скандинавии.

О. Хилт. Мальчик, играющий на флейте.

(Газета «Фрихетен»)

Вся жизнь и творчество Хилта неразрывно связаны с рабочим движением. Среди пятидесяти произведений в бронзе, дереве и камне, представленных на выставке,—скульптурный портрет выдающегося датского пролетарского писателя Мартина Андерсена-Нексё, памятник членам Коммунистической партии Норвегии, павшим во время второй мировой войны, скульптуры, посвященные людям труда.

«Его глубоко оптимистичные работы, выполненные в своеобразной, энергичной манере, — пишет о Хилте газета норвежских коммунистов «Фрихетен», — рассказывают о сильных духом людях, о теплоте их сердец, о любви к своей родине».

Кадр из фильма «Остров сокровищ».

(Газета «Унита»)

Сирия

ИНТЕРЕС К РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Сирийская пресса сообщает о новых исследованиях, посвященных русской и советской литературе, а также о новых переводах с русского. В одном из последних номеров журнала «Аль-Марифа», издаваемого сирийским министерством культуры и национальной ориентации, опубликована большая статья поэта и литературоведа Аймана Абу аш-Шаара «Борис Пастернак — путь открытия мира», в которой рассматриваются особенности творчества выдающегося русского советского поэта. В дополнение к статье в журнале напечатаны переводы одиннадцати стихотворений Пастернака, выполненные А. Абу аш-Шааром.

В серии «Зарубежный рассказ», выпускаемой министерством культуры и национальной ориентации,

вышел сборник рассказов Андрея Платонова «Цветок на земле» в переводе Акрама Сулеймана.

Не остается без внимания у сирийских издателей и русская классика XIX века. Недавно в Дамаске опубликован роман И. А. Гончарова «Обломов», переведенный на арабский язык Юсуфом Сальманом. Там же вышел новый перевод комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя, выполненный Шарифом Шакером (впервые «Ревизор» был переведен на арабский язык еще в начале века).

США

«ВЫЗОВ В МЕМФИС»

У Питера Тейлора (род. в 1917 г.), по признанию критиков, довольно-таки узкий круг читателей. И хотя этот автор не пользуется шумной популярностью, за четыре десятилетия своего творческого пути он обрел прочную репутацию одного из самых известных мастеров современной американской «малой прозы». Он принадлежит к когорте писателей американского Юга (К. Маккаллерс, Ф. О'Коннор, У. Стайрон), которые пришли в большую литературу после второй мировой войны и дали повод критикам говорить о новой волне «южной прозы». Территория, где разыгрывается действие многих рассказов П. Тейлора,— это так называемый Верхний Юг, точнее — штат Теннесси. Сюда отправляется из Нью-Йорка 49-летний Филлип Карвер, герой новой повести П. Тейлора «Вызов в Мемфис». В Мемфис Карверу пришлось поехать после того, как он получил оттуда тревожное письмо от своих сестер: они сообщали о предстоящей женитьбе их восьмидесятилетнего отца. Филлип вызван на подмогу — расстроить нежелательную свадьбу.

Возвращаясь в город своего детства, Филлип Карвер вспоминает о прожитой жизни, о невзгодах и неурядицах, преследовавших семью Карверов... Шел 1931 год. Джордж Карвер, преуспевающий адвокат в Нашвилле, внезапно узнал, что его компаньон и друг подло обманул и разорил его. В результате Джордж Карвер был вынужден бросить все и перебраться в Мемфис, где надеялся начать свою карьеру заново. «Теперь, по прошествии стольких лет,— пишет рецензент еженедельника «Тайм»,— Карвер-сын убежден, что отец ради карьеры сломал жизнь всем членам своей семьи». По дороге в Мемфис Филлип вспоминает, как отец противился браку обеих дочерей, и те так и остались старыми девами. Как несчастна была их рано умершая мать, с которой отец никогда не считался. И как младший Карвер, Джорджи, из-за тирании отца просто сбежал из дому в начале 40-х годов, пошел добровольцем на фронт и погиб.

Впрочем, отмечает рецензент журнала «Тайм», вирус эгоизма глубоко засел во всех членах клана Карверов. «Вызов в Мемфис» — грустное и ироническое повествование о людях, чье неумение жить в мире со своими близкими вызывает у писателя не только насмешку, но и сострадание.

КНИГА О РУССКО-АМЕРИКАНСКОМ ПИСАТЕЛЕ

В нью-йоркском издательстве «Краун» вышла книга «В. Н. — жизнь и творчество Владимира Набокова». Ее автор Эндрю Филд уже более двух десятилетий занимается изучением творчества русско-американского писателя, многие годы был лично знаком с прозаиком, еще при его жизни выпустил о нем две монографии и тем не менее считает его загадочной фигурой, отмечает рецензент еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью». Загадочность Набокова отчасти была сознательной игрой: «Писатель играл тщательно отрепетированную роль гордого изгнанника, общительного весельчака, неизменно оставшегося одиноким».

Жизнь В. Набокова, считает Э. Филд, можно разделить на четыре почти равных периода. В шестнадцать лет будущий писатель стал обладателем многомиллионного наследства, но после Октябрьской революции юный миллионер вместе с родителями навсегда покинул родину. Следующие двадцать лет он прожил в Германии, Англии, Франции. Здесь началась его писательская деятельность — под псевдонимом Сирин он выпустил на русском языке множество рассказов, повестей и несколько романов. Третий период в жизни и творчестве В. Набокова начался с его переезда в 1940 году за океан. В США он продолжал писать и преподавал русскую литературу в ряде крупных университетов. Как писатель он был почти неизвестен, пока не вышла написанная на английском языке повесть «Лолита» (1955), а позже — «Ада» (1969), обе книжки принесли ему скандальную славу. Но, словно спасаясь от шумной известности, В. Набоков в 1959 году вернулся в Европу и до самой смерти жил с женой в Швейцарии.

По условиям завещания личный архив Набокова, включающий его дневники и письма, может быть опубликован лишь спустя полвека после смерти его жены и сына. Но как бы хорошо ни позаботился писатель о том, чтобы многие его загадки долго оставались неразгаданными, заключает рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью», он все же дал читателям главный ключ к этим загадкам — свои книги, и благодаря лучшим из них — тем, что были написаны в 20—30-е годы, — он вошел в историю литературы нашего столетия.

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ФБР

Как сообщает американская газета «Интернэшнл геральд трибюн», живой интерес посетителей вызвал показ 20-ти «шедевров», отобранных из четырехтысячной коллекции поддельных полотен мастеров мировой живописи, которая накопилась в ФБР. Эти работы использовались в качестве вещественных доказательств в соответствующих судебных процессах и, по утверждению сотрудников ФБР, никогда не будут распродаваться. А спрос на них, как показала выставка, был бы обеспечен.

Эта необычная экспозиция по-своему уникальна: ранее эти произведения были знакомы лишь судебным экспертам. Как пишет газета, цель устроителей просмотра — «напомнить публике, что бизнес по подделке шедевров живописи процветает и ширится», а для разоблачения подделки требуются весьма солидные специальные знания. Привлеченные к подготовке «вернисажа» консультанты из крупнейших художественных музеев страны подтверждают высокий профессиональный уровень изготовителей фальшивок.

Как показала практика, бизнес по изготовлению поддельных картин прежде всего угрожает современным художникам, особенно тем, кто работает в стиле классиков авангарда, абстракции. Чаще всего сотрудникам ФБР попадаются «неизвестные» работы Пикассо, Миро, Дали. Обнаружена и огромная партия литографий, якобы принадлежащих кисти известной американской художницы Дж. О'Киф, изготовленных племянником ее мужа (он собирался продавать каждую из шести тысяч подделок по цене в три тысячи долларов).

После закрытия выставки часть картин украсит помещения Федерального бюро расследований, другие экспонаты вернутся на склады вещественных доказательств.

Франция

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 1986 ГОДА

Гонкуровской премии — крупнейшей литературной награды Франции — удосто-

ен роман Мишеля Оста «Старая вешалка». Ост переносит читателя в затхлый мирок сегодняшних парижских рантье, мало изменившихся со времен Бальзака. Главный герой книги, сорокалетний Филипп, слабоволен, всецело подчинен матери — женщине с сильным характером. Он никогда не работал, никакого смысла в своей жизни не видит, но изменить что-либо в ней не в силах. В названии романа, подчеркивает журнал «Пуэн», заключена злая ирония: безвольный человек с окостеневшим сознанием — не более чем предмет обстановки.

Хозе из романа Кристиана Джудичелли «Курорт» (премия Ренодо) надоело быть мальчиком на побегушках в гостинице — и вот вместе со своей возлюбленной, горничной Мари, он спешит навстречу «красивой жизни», которую в воображении наивного юноши олицетворяет заштатный курорт в Лангедоке. Однако в компании беззаботных отдыхающих он оказывается «белой вороной»... «Юманите диманш» подчеркивает социальное звучание романа Джудичелли, а «Монд» отмечает «нервный, лаконичный стиль» писателя.

Лауреат премии «Фемина» Рене Беллето обратился к жанру «полара» — неодетектива, к которому французская критика относится достаточно серьезно. Возникнув под влиянием американского «черного» романа, «полар», как считает «Пуэн», внес новизну в литературу сегодняшней Франции. В романе Беллето «Ад» при классическом арсенале детектива (похищения, убийства и тому подобное) иронически переосмысляется происходящее, рождается многоплановость восприятия. Одновременно, отмечает газета «Монд», писатель поднимает проблемы, волнующие многих людей, — неискренность в человеческих взаимоотношениях, хрупкость чувств, страх перед трудностями жизни. Не случайно Беллето сравнивает путь героя своей книги с нисхождением в Дантов ад.

Роман Пьера Комбеско «Похороны Сардины», по свидетельству рецензента журнала «Экспресс», «ловко написан, но грешит излишествами». Это произведение, которому присуждена премия «Медичи», охватывает весьма внушительный промежуток времени — от заката Римской империи до 70-х годов XX века. На страницах романа действуют некий римский император, Макиавелли, Лоренцаччо из драмы Альфреда де Мюссе, террорист по кличке Сардина. Из древности в наши дни тянется мрачная цепь интриг, заговоров, злодейств. Газета «Фигаро» называет роман «потрясающей мешаниной жанров», «колдовским котлом, которому позавидовали бы даже макбетовские ведьмы». Рецензенты упрекают писателя в отсутствии чувства меры, но отдают должное его эрудиции и фантазии, выделяющим Комбеско из ряда других авторов.

Среди интересных книжных новинок журнал «Кензен литтерер» отмечает вышедшее в издательстве «Промодис» исследование Сеголены Ле Мен, посвященное французским иллюстрированным азбукам XIX века, которых в фондах Национальной библиотеки насчитывается свыше 700. Как установила С. Ле Мен, авторами азбук, как правило, были матери семейства или домашние преподаватели и лишь в редких случаях — профессиональные писатели. Богато иллюстрированные гравюрами, содержащие немало текстов (главным образом, басни Эзопа, Лафонтена, сочинения Ш. Перро и Бюффона), старые азбуки предназначались не только для обучения детей чтению перед поступлением в школу: они прежде всего воспитывали, знакомили с законами природы, с различными профессиями — в полном соответствии с педагогическими принципами французских просветителей.

На снимке: книжный разворот азбуки XIX века.

(Журнал «Кензен литтерер»)

САМОБЫТНЫЙ ТАЛАНТ

«Холодная весна», «Врата Губбио» — эти романы Даниэль Сальнав хорошо известны французской читающей публике. Молодая писательница заслужила и одобрение критики: в 1980 году роман «Врата Губбио» был удостоен премии Ренодо — второй по значимости литературной премии Франции.

Недавно вышла в свет новая книга Д. Сальнав — «Призрачная жизнь». В ней автор обращается к «вечной теме» — теме краха супружеских отношений. «Но Даниэль Сальнав, — замечает критик Жан-Луи Эзин на страницах журнала «Нувель обсерватёр», — разрушает схему, выработанную литературной традицией».

«Это не мимолетное увлечение, а страсть», — пишет Жан-Луи Эзин о чувстве, которое связывает Пьера и Лор, главных героев «Призрачной жизни». Пьер — тридцатипятилетний учитель в одном из провинциальных городков Франции, Лор работает библиотекарем в том же городе. Пьер любит Лор, но не может покинуть жену и двоих детей и не видит выхода из создавшейся ситуации. «Он не знает, ни кто он такой, ни чего ему хочется на самом деле», — отмечает Алиетта Армель в статье, опубликованной в журнале «Магазин литтерер». По мнению рецензента, эту неопределенность положения Пьера в какой-то мере можно объяснить и социальными причинами: Пьер — потомок перебравшихся в город крестьян и ему так и не удалось до сих пор найти свое место в «новой», городской жизни.

Французская критика считает, что роман «Призрачная жизнь» — самобытное проявление таланта Даниэль Сальнав. Как и в предыдущих своих произведениях, подчеркивает А. Армель, писательница анализирует судьбы своих героев «с тщательностью и терпением энтомолога».

ФРГ

«СОРОК КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ГЕРМАНИИ»

Так называется первый художественный фильм живущего в ФРГ турецкого кинорежиссера Тевфика Басера. Этот волнующий рассказ о драме турецкого «гастарбайтера» Дурсуна и его жены Турны получил высокую оценку на кинофестивалях в Канне и Локарно.

«Как в греческой трагедии, действие разворачивается в ограниченном пространстве. У Басера это стены квартиры в гамбургском бедняцком квартале», — начинает рецензию журнал «Шпигель». Робко, словно гостья, входит впервые в эту квартиру Турна. Ей, крестьянской дочери, двухкомнатное жилье с кухней и ванной кажется дворцом. Но за дверями квартиры для молодых супругов начинается чужой, опасный мир. Дурсун хочет оградить Турну от греховных соблазнов. Уходя на работу, он каждый раз запирает ее на ключ.

«Будто печальный зверь по клетке, мечется Турна по запертой квартире», — пишет «Шпигель». Дни молодой женщины заняты уборкой, стиркой, готовкой — и полны нарастающей тоской. Разговаривать она может лишь сама с собой, да еще при помощи жестов общается с ребенком, живущим напротив.

«Мир для нее замкнут стенами заднего двора, они подступают прямо к ее окну, и лишь в узкую щель между ними можно увидеть мимолетные картины чужой жизни: проехавшую машину, мелькнувшего прохожего, — замечает в газете «Франкфуртер альгемайне» критик Дитер Зайдель. — Ни муж, ни жена не говорят ни слова о том, как оба страдают от этой невыносимой жизни». В фильме вообще почти нет слов — режиссер заставил заговорить вещи, продолжает рецензент. «Кадры, снятые Басером, передают атмосферу замкнутого, напряженного пространства... Это метафора «замкнутого» общества, отчужденности, которая выпала на долю полутора миллионов турок в Германии, и в то же время метафора мучительного гнета турецких национальных традиций», — пишет «Шпигель».

А критик гамбургского еженедельника «Цайт» Карстен Витте отмечает: «Это самый впечатляющий за многие годы фильм, который я видел на западногерманских экранах».

Кадр из фильма «Сорок квадратных метров Германии».

(Журнал «Шпигель»)

Швейцария

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ГРОТЕСК ДЮРРЕНМАТТА

Повесть известного швейцарского писателя Фридриха Дюрренматта «Поручение», вышедшая недавно в цюрихском издательстве «Диогенес», имеет странный подзаголовок: «О наблюдении наблюдателей за наблюдателем». Но смысл этих слов довольно скоро становится читателю ясен.

В некую вымышленную североафриканскую страну прибывает из Европы киножурналистка, желающая создать «портрет нашей планеты». И сразу же она становится объектом чьего-то пристального наблюдения. Каждый шаг ее фиксируется глазком скрытой или же явной фото-, кино- или телекамеры.

Тут же выясняется и другое: человек, следящий за ней, сам является объектом чьего-то наблюдения. А за этим наблюдателем следит с камерой в руках другой наблюдатель.

Масштабы этой поистине тотальной слежки героиня по-настоящему осознает только тогда, когда ее похищают и привозят в «подземный центр наблюдения», расположенный в пустыне. Здесь на мониторах можно увидеть все зафиксированные кадры. Со спутников ведется слежка за наземными объектами, но и за самими спутниками шпионят, в свою очередь, другие спутники. Система полностью автоматизирована, она уже охватывает и космос.

Таинственный подземный центр слежки напоминает мифологический лабиринт — этот образ давно занимает Дюрренматта. И среди персонажей книги читатель узнает осовремененных героев древнегреческого эпоса — Ахилла и Полифема.

Писатель охотно использует в книге приемы детектива, приключенческого и научно-фантастического романа. «В результате родилась яркая, гротескная притча, вобравшая в себя многие приметы нашего времени: терроризм, деятельность тайных служб, ракетные испытания, угроза войны», — пишет рецензент газеты «Франкфуртер альгемайне» Вальтер Хинк. Персонажи рассуждают о новой «антропологии века съемочных камер»: «Человеку нужно, чтобы его уважали и чтобы за ним наблюдали».

Фридрих Дюрренматт.

(Журнал «Магазин литтерер»)

В новой работе Дюрренматта вновь проявилась его склонность к экспериментаторству в области формы. Об этом свидетельствует и странное обозначение жанра: «Повесть в двадцати четырех предложениях». Действительно, более чем стодвадцатистраничная книга выстроена всего из нескольких громадных фраз. «Но эти бесконечные периоды как бы затягивают читателя в водоворот событий и не дают оторваться от повести»,— заключает рецензент.

ЮАР

МЮЗИКЛ — ОРУДИЕ БОРЬБЫ

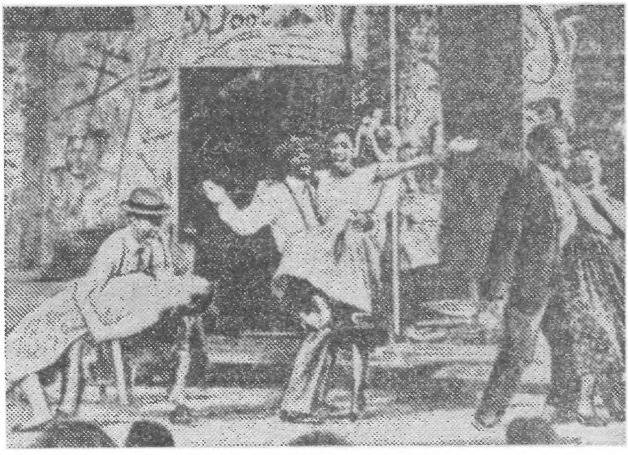
Вкладом в борьбу против апартеида стал спектакль «Как погиб Софайятаун», поставленный труппой «Джанкшн звенью тиэтр компани» из Йоханнесбурга. Этот политический мюзикл повествует о ликвидации в 50-е годы негритянского предместья, оказавшегося в непосредственной близости от белых кварталов. Особую ярость у расистов вызывало то, что этот район, обитатели которого не имели постоянной работы, надежного жилья, уверенности в завтрашнем дне, стал колыбелью самобытной культуры.

В центре спектакля — рассказ о большой негритянской семье, решившей принять в свой дом белую девушку. Ей — а вместе с ней и зрителям — члены общины рассказывают об особенностях своей культуры, быта, о законах Со-

файятауна и привычках его жителей.

Рецензент итальянской газеты «Унита» Никола Фано, побывавший на спектакле во время гастролей труппы в Европе, отмечает удивительную красоту мелодий и выдающееся мастерство актеров-певцов, чьи голоса, «то бесстрашно взлетая до немыслимо высоких нот, то опускаясь к мрачноватым нижним, буквально завораживают публику». Особо он выделяет вокальные пассажи, исполняемые без музыкального сопровождения, и хоровое пение, которым начинается и завершается каждая сцена.

Обличительный пафос спектаклей труппы весьма силен, продолжает рецензент, ибо давление социальных и политических проблем, которые нашли отражение в пьесе, коллектив постоянно испытывает на себе. Деятельность труппы сопряжена с немалыми трудностями; значительную часть средств к существованию обеспечивают ей зарубежные гастроли.



Сцена из спектакля «Как погиб Софайятаун».

(Газета «Унита»)

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Т. П. ГРИГОРЬЕВА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Я. Н. ЗАСУРСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **В. С. ПЕРЕХВАТОВ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

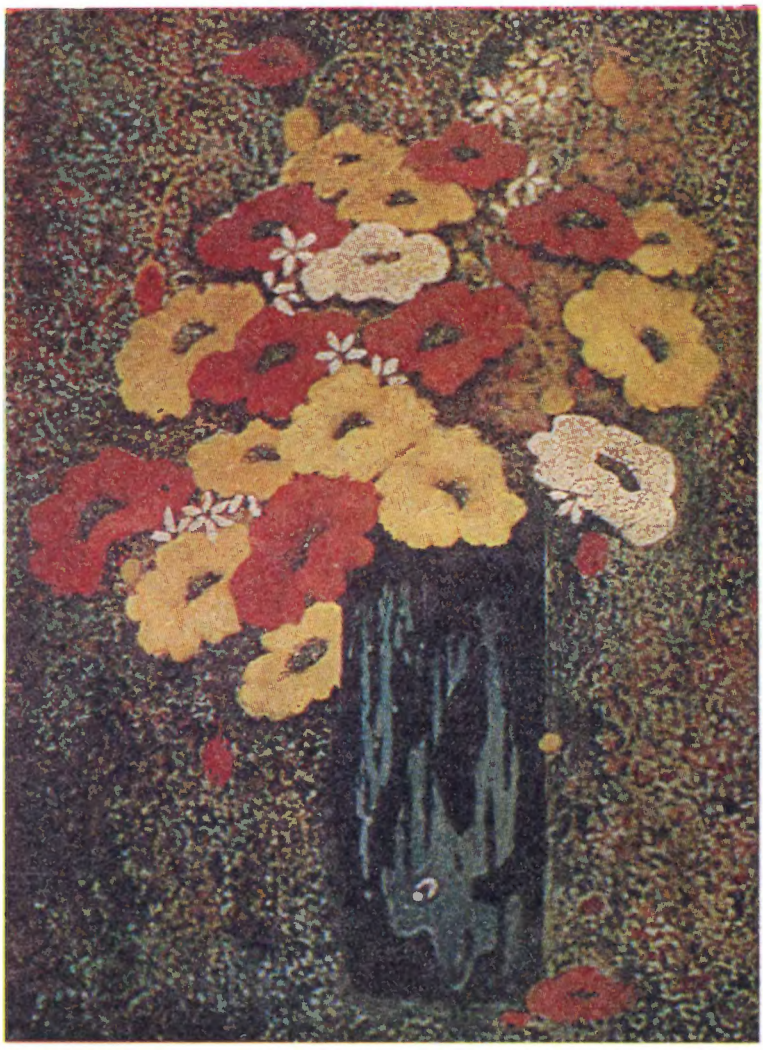
Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 27.01.87. Подписано в печать 12.03.87. А 08414. Формат 70×108$^{1}/_{16}$
Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 27,85

Тираж 465 000 экз. (1-й завод: 1 — 415 000 экз.). Зак. 312.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ВАЙ ЧЖЭНЬСО. «Горное селение».

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394